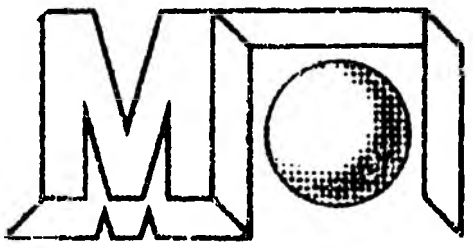
Мир приключений

Павел ВЕЖИНОВ

Синие бабочки





Мир приключений

Павел ВЕЖИНОВ

Синие бабочки

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1990

84. 4 Бл
В 26

Переводы с болгарского

Послесловие
Ю. Болдырева

Иллюстрации
А. Яцкевича

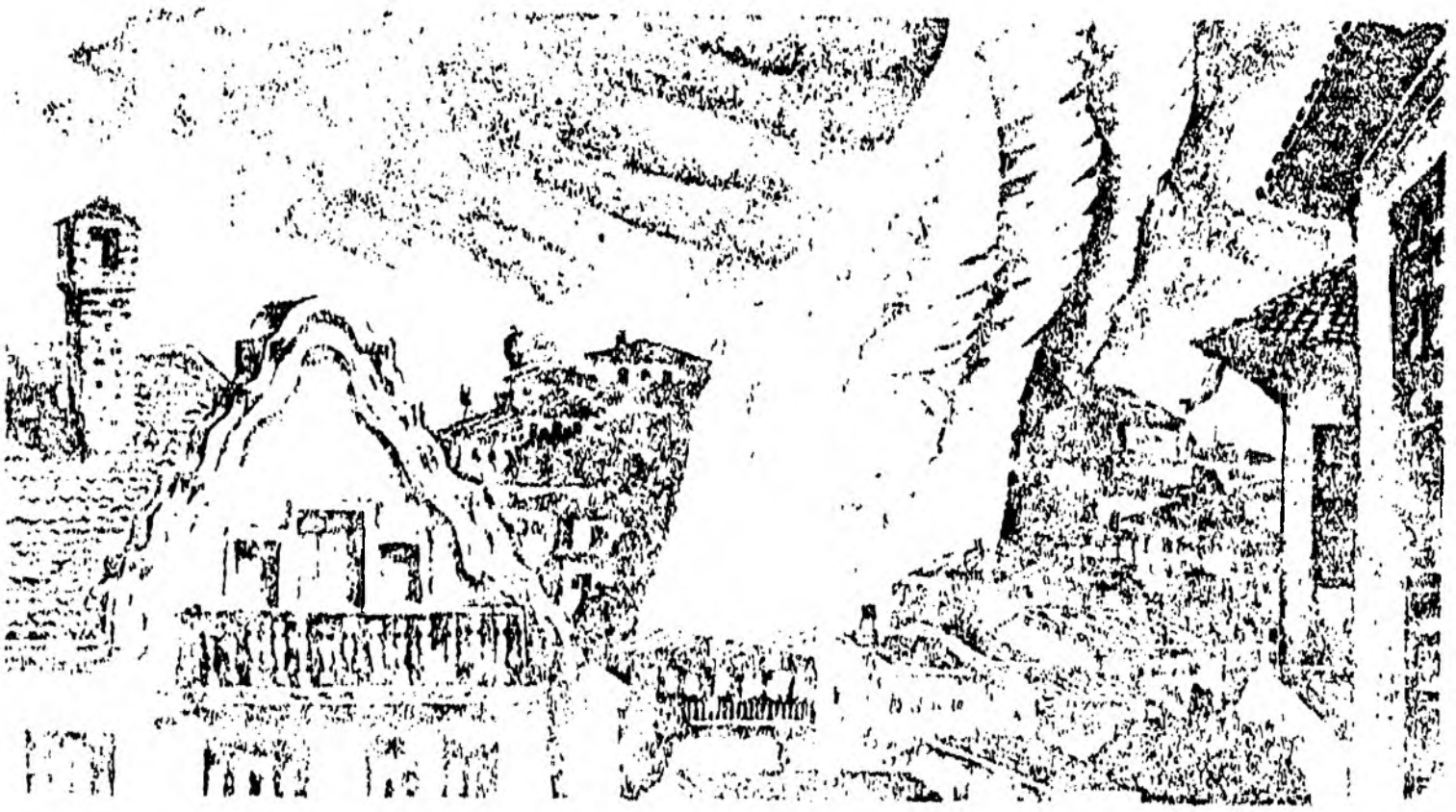
В $\frac{4703000000-1837}{080(02)-90}$ 1837—90

© Издательство «Правда», 1990. Составление. Иллюстрации.

Повести



Барьер



Нине

...И все чаще подстерегает меня по ночам одиночество, прежде такое чуждое и непонятное мне чувство. Оно возникает обычно около полуночи, когда замирает все живое, утихают все шумы, кроме поскрипывания тротуаров, точно у коченеющего мертвеца потрескивают кости. В такие минуты меня охватывает нелепое ощущение, будто я в разинутой пасти хищного зверя — так явственно и отчетливо слышу я чье-то близкое дыхание. Встаю и начинаю нервно расхаживать по просторному холлу, служащему мне кабинетом. Спасения нет. Чувство одиночества — не густое и липкое, а пронзительное и острое, как лезвие кинжала. Оно настигает меня внезапно, пытаясь прижать к стене подле дурацкой позеленевшей амфоры или фикуса, задвинутого в угол моей домработницей. Едва нахожу в себе силы вырваться из его тисков и выскакиваю за дверь, забыв погасить свет. Влетаю в лифт, спускаюсь затаив дыхание с пятнадцатого этажа на первый. Прекрасно знаю, что если застрянешь ночью в этом скрипучем катафалке, то скорее умрешь, чем кого-либо дозовешься. Сажусь в машину, поспешно включаю мотор. Его тихий рокот несравненно приятнее журчания воспетых поэтами горных потоков и мгновенно успокаивает меня. Посмеиваясь над своей глупостью, мед-

ленно трогаюсь с места. И все-таки не могу унять озноба, словно меня вытащили из холодильника. Поеживаясь, открываю окно, чтобы выветрилось зловонное дыхание зверя, преследовавшее меня до самой машины. Что со мной происходит, не пойму, наверно, после развода с женой сдали нервы.

Шины шуршат мягко и монотонно, как дождь. Круто, чтобы услышать укоряющий и вместе с тем ободрительный скрип тормозов, сворачиваю к аллее, которую мы называем улицей. Фары перечеркивают темные фасады домов, точно проводят по ним пальцем. Далекая люстра, выхваченная их светом, сверкнет на миг перед моими глазами и погаснет. Мелькнет и исчезнет белая тюлевая занавеска. Но я уже не один, со мной мотор. Напрасно поносят это терпеливое и непритязательное существо за то, что оно извергает смрад. Ну, извергает, конечно, так по крайней мере делает это пристойно, а не рыгает, как люди после кислого вина и чеснока.

В это время открыт, пожалуй, только ночной ресторан гостиницы «София». Я оставил машину, как всегда, на площади и без особой решительности вошел в роскошный лифт. Я совсем было успокоился, и мне уже почти расхотелось идти в ресторан. Я не любитель выпить, не люблю шумных сборищ, пьяных болтунов, вообще богемы. И все-таки это, можно сказать, моя постоянная среда, к ней влечет меня инерция повседневности. По натуре я человек замкнутый, даже хмурый, губы у меня всегда крепко сжаты. Знаю, что вызываю расположение, но не понимаю почему. Похоже, что люди молчаливые, лишь время от времени изрекающие едкий парадокс, вызывают больший интерес, чем записные остряки вроде тех, какими любила окружать себя моя жена. Я пересек зал, стараясь не смотреть по сторонам, и сел за столик в самой глубине. Однако, вместо того чтобы окончательно успокоиться, почувствовал себя в каком-то странном вакууме.

Заказал белый итальянский вермут, сладковатую и противную бурду, которую и пить-то не стоит. Но чем прикажете надираться в такой поздний час? Только теперь огляделся по сторонам. В этот вечер в ресторане было довольно пусто и непривычно тихо. Тишина словно въелась в красные плюшевые занавески. В ее прозрачной паутине бесшумно, как пауки, скользили официанты, молчаливо и ловко обслуживая посетителей. Это, пожалуй, основное достоинство этого заведения, потому как

холодная телятина, которую мне подали, была жестковата. Я выпил еще рюмку вермута, потом чистое, с одним только кусочком льда виски. По телу разлилось приятное тепло.

В таких случаях воображение сразу же оживает и расправляет, словно готовясь взлететь, тонкие, синие, как у стрекозы, крылышки. Но на сей раз оно только-только зашевелилось, как один из официантов подошел ко мне и вежливо сказал:

— Товарищ Манев, вас приглашают за длинный стол.

Никакого длинного стола я, проходя, не заметил.

— Кто приглашает?

— Большой Жан.

— Пьяный?

— Нет, нисколечко.

Я вздохнул с досадой. Большой Жан был мой портной. Обижать своего портного, особенно если хочешь быть хорошо одетым, нельзя.

— Скажите, что сейчас приду,— ответил я.

Доел, не торопясь, телятину и мрачно направился к столу, за который меня пригласили. Да, Жан действительно собрал с десяток своих почитателей и клиентов. Завидев меня, он встал в своем безукоризненно выглаженном костюме немыслимого сиреневого цвета. Этот человек, с таким вкусом одевавший других, совершенно не умел одеваться сам.

— Представлять моего гостя, думаю, нет необходимости, вы все его знасте.

Вряд ли, подумал я, садясь на почетное место рядом с ним. Я не эстрадный композитор, чтобы на меня с восторгом глазели девушки из модерновых кафе. К счастью, я увидел за столом несколько более или менее знакомых физиономий, режиссера со студии мультфильмов, барменшу из дневного бара. Как часто случается в последнее время, женщин было больше, чем мужчин, и они вовсю веселились, что-то кричали уже визгливыми от вина голосами. В конце концов, я сам виноват: даже острый кинжал одиночества не так страшен, как подвыпившая, шумная и скучная компания.

Но могло быть и хуже, если б они, скажем, были бы совсем пьяные или спорили о машинах и футбольных матчах. Эти по крайней мере толковали о фильмах, хотя и болгарских. Жизнь моя полна таких бесцельно проведенных вечеров и ненужных знакомств, которые иногда

обременяют меня годами. Я уставился в рюмку, стараясь не отвечать на вопросы, не улыбаться, не проявлять излишнего интереса ни к кому и ни к чему. В общем, смертельно скучал. И этот вечер, наверно, бесследно исчез бы из моей памяти, не случись нечто необыкновенное. Но это случилось немного позже, а сейчас я сидел, изнывая от скуки, не ведая, что меня ждет Только иногда украдкой поглядывал на часы, которые тикали все так же равномерно, нимало не интересуясь тем, каково мне сидеть в этой компании. И когда они подтвердили, что я отсидел положенное воспитанному человеку время, я встал, извинился и ушел. Я чувствовал, что Жан не вполне доволен мной, но что поделаешь? Пошлю ему приглашение на премьеру в оперный театр, ведь он так любит премьеры.

На улице заметно похолодало, ветер гнал низко над городом желтые рваные тучи. Храм был словно залит густым абрикосовым соком, купола его смутно поблескивали на фоне неба. На площади не было ни души, если не считать изваянных на памятнике, которые, казалось, шествовали навстречу своей извечной судьбе. Я был в одном костюме и потому поспешил сесть в машину. Но, едва проехав несколько метров, я почувствовал, что за спиной у меня кто-то шевелится. Я так испугался, что остановил машину. И резко обернулся назад, уверенный, что сейчас на меня обрушится страшный удар — вероятнее всего, железной трубой, завернутой в тряпку. Ничего подобного, конечно, не произошло — с заднего сиденья расширенными зрачками на меня уставилось женское лицо, продолговатое, бледное, испуганное. Я не верил своим глазам.

— Что вы здесь делаете? — крикнул я со злостью.

Впрочем, я не столько разозлился на нее, сколько устыдился своего страха. Хотя было от чего разозлиться — с какой стати она забралась без спросу в мою машину?

— Ничего,— испуганно ответила она.— Но вы сразу поехали...

— Зачем вы сюда залезли?

— А вы меня не узнаете? — спросила она удивленно.

— Да откуда мне вас знать? — ответил я почти грубо.

Конечно, не в таком тоне следует разговаривать с молоденькими девушками. А она и впрямь была молоденькой, лет двадцати, не больше, и, как мне показалось в тот момент, не очень опрятной, даже потасканной.

— Мы же с вами сидели за одним столом в рестора не... И вы на меня еще с интересом поглядели.

Что за ерунда — с интересом! Может, и посмотрел, но только уж наверняка думал о чем-то другом. Я вообще не люблю ошивающихся по ресторанам девиц, этих пиявок, которые за вечер могут высосать водки больше любого грузчика. Да и как их разглядишь, если они вечно окутаны клубами табачного дыма!

— Ну положим! Но это еще не причина, чтобы забираться в чужую машину.

Злость моя прошла, осталась легкая досада.

— Но я ждала вас,— пояснила она.— Вы же сказали, что уходите... А на улице очень холодно.

— А как вы догадались, какая из машин моя?

— Другого «нежо» не было... И дверца была не заперта.

— Ну ладно. Зачем же вы меня ждали? Если мне позволено, конечно, будет спросить?

Такая ирония вряд ли понятна подобного рода девицам, этим пиявочкам, хочу я сказать. Она только моргнула и простовато ответила:

— Я хотела попросить вас отвезти меня домой... Уже поздно, и трамваи не ходят.

Ну и ну! Не такой уж глупый предлог... На такую удочку обычно клюют те, кто помоложе или постарше меня.

— А где вы живете?

— Возле Центральной тюрьмы,— ответила она серьезно.

Хорошенькое местечко! Пожалуй, это не предлог! Туда ночью пешком не потащишься. Конец порядочный.

— Вот что, девушка,— сказал я уже другим тоном.— Вы сами видели, что я выпил не одну рюмку... Как я поеду через весь город в таком состоянии? Представьте, что меня остановит ГАИ!

— Но ведь вы все равно собирались ехать на машине?! — удивилась она.

— Собирался, но по боковым улицам, где темно.

— Раз так, делать нечего! — ответила она покорно и взялась за ручку дверцы.

Позднее, когда эта невзрачная и нескладная девчонка неведомо как сделается частью моей жизни, эта ее тихая покорность не раз будет надрывать мне сердце.

— Подождите! — сказал я.— Куда это вы?

— Но раз нельзя...

— Я вас подвезу хотя бы до стоянки такси.

— Спасибо, не нужно.

И вышла из машины. Увидев ее понурую, какую-то неловкую походку, я помимо воли выскочил за ней. Когда я нагнал девушку, она плакала, правда безмолвно, но слезы ручьем текли по ее лицу. Я совсем растерялся. Человек я довольно хладнокровный и не слишком мягкий, но на женские слезы спокойно смотреть не могу. Похоже, что девушка была не из тех, за кого я ее принимал.

— Если у вас нет денег на такси,— сказал я,— я вам с удовольствием одолжу. Не пойдете же вы ночью пешком!

— Нет, нет!— воскликнула она.— Не нужно!

Гордая к тому же! Если б она не плакала, я бы ее опять отчитал. Гордая, а забирается в чужие машины!

— Хорошо, пойдемте, я вас отвезу!— сказал я.— Пока вы не утонули в слезах.

И сердито зашагал к машине. Но не услышал шагов позади себя. Я обернулся: она стояла ко мне спиной и смотрела на небо так, словно собиралась взлететь. Мне даже почудилось, что ее вот-вот унесет ветром — такой легкой и бесплотной показалась мне она.

— Ну что же вы?— спросил я нетерпеливо.

Она послушно двинулась ко мне, но вдруг остановилась в нерешительности.

— Не могу я вернуться домой,— сказала она.— Я боюсь...

— Кого?

— Матери... Она меня так поздно не пустит. Да если и пустит, я к ней не пойду. Вы не представляете, что она за человек!— В голосе ее прозвучало неподдельное отвращение.

— Тогда зачем вы передо мной комедию ломаете?

Она опять смущенно моргнула и сказала просто и ясно:

— А я... я думала, вы меня пригласите...

Сейчас мне трудно припомнить, какие чувства тогда охватили меня. Я не был ни взволнован, ни возмущен, ни даже удивлен. Я не испытывал неприязни к ней. И уж конечно, нельзя сказать, что она мне понравилась. Я смотрел, как она стоит,— такая невесомая, легко одетая,— как ветер закручивает юбку вокруг узких бедер. В ее словах не чувствовалось ни стыдливости, ни робости, но и в то

же время никакой испорченности, словно она говорила не со мной, а со своей теткой. И тогда во мне всколыхнулась то ли жалость, то ли какое-то другое, не очень понятное, но все же естественное чувство. Я вздохнул, пожал плечами и пробормотал:

— Тогда поедем! Не оставлять же вас на улице.

Лицо ее сразу же просияло, словно ветер стер с него слезы. Все это было довольно невинно и в то же время сложнее, чем я предполагал. В тот момент я не пытался вникать в эти сложности. Да и как понять современных девушек, когда они сами себя не понимают.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Доротея...

— Ну хорошо, Доротея, похоже, вы кое-что уже знаете обо мне... Как меня зовут, марку моей машины. А как вы узнали, что моя жена не выгонит вас, если мы сейчас явимся ко мне домой?

— А вы разведенный, — ответила она. — И живете совсем один.

— А это откуда вам известно?

— За столом, пока вы не подошли, Жан рассказывал про вас... Хвалил, конечно. Сказал, между прочим, что вы вспыльчивый, но очень добрый человек.

Да, ясно. Как я сразу не догадался? Девушка была, пожалуй, не так проста, как представлялось на первый взгляд. Ведь сообразила же она, что́ ей надо было делать. И не затеяла ли она какую-то весьма тонкую и далеко идущую игру? Не исключено. Только одно я четко сознавал в тот момент: несмотря ни на что, в ней не было ни хитрости, ни расчетливости. Впрочем, это поколение настолько лишено щепетильности, что ему нет нужды лгать и притворяться.

Мы сели в машину, я снова позволил ей устроиться на заднем сиденье, у меня не было никакого желания сокращать разделявшее нас расстояние. Даже если она в чем-то инстинктивно хитрит, ничего у нее из этого не выйдет. Она забилась в угол, и я даже в зеркальце ее не видел. Молчала — может быть, дремала. Не удивительно, ведь было почти три часа ночи. А ей наверняка пришлось пережить немало неприятных минут, пока она не поймала такого дурака, как я. Но как бы то ни было, чувствовал я себя вполне прилично. Да и, кроме того, я люблю ездить ночью по пустынным улицам и бульварам, по которым ветер гонит пьяниц и бумажный сор. Люблю ощу-

щать прикосновение нагретого мотором воздуха, вбирать его в себя глубокими вдохами, как воздух из кислородной подушки.

Спать ее положу, конечно, в холле. В худшем случае украдет одну из эбеновых фигурок, которые мой брат привез из Африки. Сейчас главное было — незаметно добраться до лифта. Не то что я уж очень дорожу мнением соседей, но юная леди явно мне не подходила. А вдруг придется взбираться на пятнадцатый этаж после этого отвратительного вермута? Я жил на последнем, надо мной были только небо, облака и холеные, ленивые музы.

Лифт, слава богу, работал. Я открыл дверь и с облегчением ввел ее в квартиру.

— А у вас свет горит! — удивленно сказала она.— Может, ваша жена пришла?

— Не волнуйтесь,— ответил я шутливо.— В любом случае влетит мне, а не вам...

Только теперь я смог ее рассмотреть. Она шла впереди меня немного странной походкой — очень легкой и одновременно скованной, как голубь или чайка, осторожно ступающая по мокрому прибрежному песку. Одета она была в девичью шелковую юбочку и черную блузку без рукавов, и то и другое порядком помятое. Чулок на ней не было, хотя весна в этом году довольно прохладная. Не было у нее ни карманов, ни сумочки, ни ключа, ни даже носового платка в руках — она и впрямь походила на птичку божию, что спит на ветках деревьев. Дороте́я опасливо оглядела комнату, потом повернулась, глянув на меня своими прозрачными глазами.

— Как у вас хорошо! — воскликнула она с восхищением.

— Не нахожу...

И правда, ничего особенного. Я не питаю слабости к вещам, а лучшие из них забрала моя жена, и, разумеется, по праву, потому что она их сама покупала. Остались несколько хороших картин на стенах, рояль и на полу венский палас нежного апельсинового цвета, сначала ужасно меня раздражавший. Палас тоже купила моя жена, и притом в валютном, хотя мы уже были в разводе. Она утверждала, что он необыкновенно подходит по цвету к стенам, с той типично женской логикой, которая обязывает женщин шить синий костюм, если у них случайно завелась синяя сумочка. А по-моему, больше всего он шел к густому черному цвету рояля, очень красивого

и старинного, прекрасно выделявшегося на его нежном фоне. Доротея подошла прямо к роялю, подняла крышку и принялась внимательно рассматривать истершиеся и пожелтевшие клавиши.

— Это ваш рояль? — спросила она. — Я хочу сказать — это за ним вы сочиняете?

— Да, за ним...

— А он не слишком старый? — спросила она разочарованно.

— Ничего, работать можно.

Она снова подняла на меня прозрачные глаза. Ее застенчивость окончательно исчезла, теперь она держалась непринужденно, словно у себя дома.

— Сыграйте мне что-нибудь, — попросила она. — Хоть немножко... Обязательно что-нибудь ваше.

— Зачем это вам?

— Я хочу понять, что вы за человек... Правда, я в музыке не очень разбираюсь. Но это неважно.

Интересно, что она могла понять по короткому отрывку, эта пигалочка, какой бы симпатичной и странной она ни была? Но от женщин, как я уверился за свою довольно долгую жизнь, всего можно ожидать. Как от моей жены, например. Она ушла от меня совершенно неожиданно, без всякой причины. По крайней мере я так считал. Не было ни повода, ни оснований, не было даже банального скандала или слез, полагающихся в таких случаях, она просто-напросто взяла и ушла. Нет женщины, которая хоть раз в жизни не совершила бы чего-то безрассудного и непоправимого. Мы ломали голову, какой нам придумать предлог для развода. Возможно, теперь она и жалела о сделанном, но она была не из тех, кто останавливается на полпути. На суде она сидела зеленая, словно отравилась чем-то. Но, только выйдя из зала, заплакала. Я притворился, что не заметил ее слез, — для собственного успокоения, конечно. Особого сожаления я не испытывал, хотя и любил ее. Она была слишком сильной и властной натурой и все время навязывала мне свой стиль жизни. А я с трудом переносил тот художественный беспорядок, который окружал нас. Оставшись один, я сначала работал с большим подъемом, чем раньше, и некоторые критики утверждали, что у меня творческий взлет.

Доротея стояла предо мной и ждала.

— Поздно, — сказал я неуверенно. — Разбудим соседей.

— А вы тихонечко! — опять попросила она. — Никто не услышит.

Я задумался. Два дня тому назад я закончил одну вещицу, но еще не понял, звучит ли она. Нарочно отложил ее на некоторое время, чтобы потом взглянуть на нее свежим взглядом. Когда я работал над ней, какой-то внутренний голос ликовал во мне. А это уже немало. Я довольно трезво оцениваю свое творчество и полагаюсь больше на музыкальную культуру, чем на вдохновение. По-моему, рассчитывать на один талант — все равно что думать, будто ветер может сдвинуть с места грузовик.

— Тогда садитесь, — сказал я.

— А где мне сесть?

— Где хотите...

Она села на оказавшуюся поблизости табуретку. Не села, а опустилась на краешек, как озябший воробей. Впрочем, едва коснувшись клавиш, я тотчас забыл об ее присутствии. Я всегда проигрываю ночью то, что сочинил днем. Мне плохо работается при дневном свете, и вообще я не люблю ясной, солнечной погоды. По-настоящему я могу воспринимать свою музыку лишь ночью или пасмурным дождливым днем, когда яркий блеск солнца не режет глаза.

И сейчас, играя, я снова ощутил в душе тихие всплески ликования. Увлекся и проиграл все до конца. Пожалуй, я совсем становлюсь похожим на тех поэтов, которых не остановишь, когда они упоенно читают свои стихи. Только доиграв до конца, я спохватился, что не один. Поднял голову, взглянул на нее. Выражение ее лица могло мне только польстить.

— Понравилось? — спросил я шутя.

— Очень! — воскликнула она.

— А знаете, как это называется?

— Знаю! — просто ответила она. — «Кастильские ночи».

Если бы она меня укусила, я был бы меньше поражен. Дело в том, что пьеса действительно называлась «Кастильские ночи». Но, кроме меня, об этом не знала ни одна живая душа. Заглавие не было написано. Я смотрел на нее так, словно передо мной был не человек, а привидение.

— А откуда вы это знаете? — наконец выговорил я.

— Знаю, и все...— И, не обращая внимания на мой ошарашенный вид, она добавила: — Я не такая, как все... Я сумасшедшая...

Я не очень молод, но и не стар. Прошлой осенью достиг роковых сорока лет, считающихся в наше время тем рубежом, за которым начинается зрелость. Выгляжу я, пожалуй, немного старше. Главным образом из-за обильной седины в густых волосах и двух глубоких морщин, перерезающих чуть вялые щеки. И в сущности, я не такой уж нелюдим, разговариваю вежливо, держусь приветливо, даже не лишен чувства юмора, которое удачно контрастирует с моим серьезным лицом. Меня называют одним из лучших создателей музыки для кино. Не бог весть какая похвала, но зато никаких материальных затруднений. Написал я и несколько более серьезных вещей, две-три из них широко известны.

От природы я человек здравомыслящий, помимо музыки интересуюсь космогонией и астрофизикой, даже математикой, которую считаю основой всех наук. И полагаю, что сущность природы, в том числе и искусства, составляет гармония. В этом я уверился, изучая простейшие законы природы. И если в чем-то я не могу отыскать гармонии, значит, это нечто ненормальное, или несовершенное, или непостижимое для меня.

Говорю все это, чтобы стало понятно, в каком затруднительном положении я вдруг очутился. Но все же я не мальчик, я быстро овладел собой и спокойно прошелся по комнате.

— А кто вам сказал, что вы не как все?

Любезнее сформулировать вопрос я не сумел.

— Установлено,— ответила она неохотно.

Установлено, оказывается. Может, я человек и грубоватый, но неделикатным меня не назовешь. Расспрашивать дальше я не решился. Она, похоже, это поняла, потому что добавила без особого желания:

— Мне даже жить негде, я живу в сумасшедшем доме... Поэтому мне и некуда было ехать.

— А не сбежали ли вы оттуда?

— Нет-нет! — возразила она почти обиженно.— Я только ночую там, а днем я хожу на работу. Я амбулаторная, как врачи говорят.

Вот уж не знал, что на свете бывают амбулаторные сумасшедшие. Наверно, она была немножко тронутая, а таких можно встретить где угодно, даже у нас в Союзе композиторов. Во всяком случае, я пока не заметил в ней

ничего слишком уж странного. Даже наоборот. Странности, скорее, можно было заметить в моем поведении.

— А кто вас лечит?

— Мой врач — Юрукова,— ответила она, и лицо ее вдруг оживилось.

— А это часто с вами случается? Ну... чтобы вы не возвращались?

— Не очень часто... И она на меня никогда не сердится. Но другие, конечно, ругаются, особенно один врач, Стрезов. Говорит: у нас больница, а не пансионат.

Кажется, я улыбнулся, потому что она поспешила добавить:

— Я понимаю, что без дисциплины нельзя. Но не могу не убегать. Юрукова, наверно, считает, что это тоже идет на пользу. Кому не хочется быть таким, как все?

Я озадаченно посмотрел на нее. Она рассуждала абсолютно разумно, лицо ее в этот миг казалось спокойным и ясным. Уж не разыгрывает ли она меня?

— Значит, вы не такая, как те, в больнице?

— Не совсем, но у меня ведь бывали приступы. Про раздвоение личности слышали, конечно? Но когда это со мной происходит, я все-таки понимаю, где настоящее, а где выдуманное.

Воспоминания, по-видимому, были мучительны для нее, потому что лицо ее вдруг потемнело. Я понял, что должен отвлечь ее от неприятной темы.

— А кто вас туда пригласил? В ресторан, я хочу сказать.

— Никто.

— Как никто?

— Так... никто! Мне иногда хочется побыть в красивом зале, среди нарядных людей. Тогда я начинаю думать, что и я красивая и нормальная. Знаю, конечно, что нормальные люди могут подавлять такие желания. Но я не могу и потому пока не считаюсь совсем нормальным человеком. Я вошла в ресторан и села за первый же столик. Это так легко. И каждый думал, что меня пригласил кто-то другой.

— Не так уж легко,— заметил я.

— Нелегко для таких культурных людей, как вы. А мы люди простые. Потому я и в машину к вам залезла. А что мне еще оставалось делать?

— Да, конечно,— ответил я на этот раз совсем уже мягко. И, немного помолчав, спросил: — Скажите все-таки, как вы догадались про «Кастильские ночи»?

— Не знаю! — проговорила она нехотя.— Сама не всегда понимаю, как это у меня получается... Да и зачем понимать...

Да, большего от нее, пожалуй, не добьешься. И поэтому я прибавил не слишком вежливо:

— Будешь спать здесь, в холле. Белье вот тут, в шкафу. Я думаю, ты сама управишься...

— Конечно,— ответила она, смутившись.

Но по лицу ее я заметил, что она испытала облегчение. У нее было очень выразительное лицо, по нему можно было читать как по книге. Я прекрасно понимал, почему она испытала облегчение. В этот вечер она не должна была платить за свой ночлег.

Я ушел в спальню, но долго не мог заснуть. Старался понять, чем объясняется ее невероятная интуиция. Безусловно, то, что я сыграл, напоминало что-то испанское. Но так отдаленно, почти неуловимо. Это мог определить по отдельным интонациям только очень хороший специалист. Никаких кастильских ночей, конечно, не было. Я и понятия не имел о кастильских ночах. Мадридские ночи я проводил, как и подобает туристу, во всяких кабаках. И ни разу не взглянул на небо, чтобы увидеть звезды, да и какой смысл на них смотреть. Небо над Мадридом ничем не отличается от неба над Софией, или Парижем, или любым другим городом. Да и ночи более или менее одинаковы в этом стандартном мире стандартных кабаков и стандартных напитков. И какими бы различными по вкусу ни были они в разных странах, в конце концов из них получается один и тот же коктейль. Мне уже все равно, на виа Венето ли я или на Елисейских полях. Постепенно я потерял интерес к этим поездкам, в которые так рвался раньше.

Впрочем, кажется, была одна настоящая кастильская ночь. Да, верно, а я совсем было про нее забыл. Может, именно тогда возник у меня в голове основной мотив. Или название. Этого я уже не помню, но сам вечер помню очень хорошо. Мы возвращались из Эскуриала на машине торгового представительства. Смеркалось, небо темнело, ранние огни в окнах делали едва различимыми фасады домов, мелькавших вдоль шоссе. Ресторанчик, в который мы зашли, был старым и грязным. Голые столы, пол,

усеянный огрызками, рыбьими головами и чешуей, розовыми хвостиками креветок. Ни одного туриста, только несколько дорожных рабочих толклись у стойки бара. Это были парни в комбинезонах и желтых защитных касках, уже навеселе, но довольно тихие для испанского темперамента. Их явно сдерживало присутствие хозяйки, довольно пожилой, похожей на немку женщины с рыжеватыми волосами и широким лицом. И в тот момент, когда мы засомневались, остаться или нет, послышался звонкий женский голос:

— Прошу вас, сеньоры, что вам угодно?

Четыре иностранца сразу — этого нельзя упускать. Хозяйка вышла нам навстречу и тем положила конец колебаниям. Она немножко косила. Это делало ее симпатичной.

— Можно нам сесть во дворе? — спросил наш сопровождающий.

— Как вам будет угодно, сеньоры,— ответила она, улыбаясь,— хотя здесь пахнет колбасой, а там бензином.

— Ничего, рискнем.

Мы уселись за широкий деревянный стол, усыпанный сухими листьями и птичьим пометом. Донья Пелайя смахнула все это не слишком чистой тряпкой, потом постелила нарядную бумажную скатерть. Мы заказали херес, крепкое ароматное вино, цветом напоминающее коньяк. Она принесла его с благоговением, осторожно поставила на стол красивую бутылку. Не каждый день, видно, в этом кабачке заказывали херес.

— Лучшее из того, что у меня есть! — гордо сказала она.— Пейте на здоровье!

Настоящий испанский херес — прекрасное вино. Мы выпили и вторую бутылку, даже попробовали кровяную колбасу, которая походила на кишку, набитую сажей и личинками майских жуков. Я едва притронулся к ней — из чистого любопытства. Она не шла ни в какое сравнение с кровяной колбасой, что делают у нас на рождество. Мы молчали. Совсем стемнело, но ночь была безлунная. И тогда впервые я увидел большие кастильские звезды, которые горели над нашими головами. Да, все это так и было. Но мотив, который пришел мне в голову позднее, подсказали не звезды, а золотистое кадисское вино.

Однако откуда у моей гостьи возникли ассоциации с чем-то испанским? Может, она и вправду сама не знала Мало ли что взбредет в такую дырявую как решето голо

ву? Я заснул, а когда утром проснулся, гостьи и след простыл. Можно было подумать, что мне все это приснилось, если бы она впопыхах не застелила диван одеялом наизнанку. Я посмотрел, не оставила ли она записки. Записки не было. Впрочем, что с нее взять, но все же мне стало как-то неприятно. Иной раз боишься отнестись к людям по-человечески, чтобы не показаться наивным. Как ни прекрасна эта черта человеческого характера, но, по-моему, все-таки обидно, когда тебя считают наивным.

Так прошли три дня или, точнее, три странных дня. Как ни гнал я от себя воспоминания о сумасшедшей девушке, что-то от нее передалось мне. Я все чаще ловил себя на том, что делаю всякие глупости. Несколько раз по ошибке включал не ту скорость. Явился на концерт, как последний вахлак, без галстука. А однажды, полагая, что возвращаюсь домой, забрел в дом, где жила моя бывшая жена. Говорят, что любая болезнь, даже ревматизм, заразна. Вполне вероятно. С головой, во всяком случае, у меня было явно не все в порядке.

В субботу вечером меня снова потянуло в ночной ресторан, хотя никакого чувства одиночества я не испытывал. Я сел за тот же столик. Но в ресторане было довольно много народу, и до меня все упорнее доносилось надоедливое жужжание разговоров. Я не хотел признаваться самому себе, зачем пришел сюда. И почему не позвал с собой кого-нибудь из друзей. Потому ли, что у меня не было друзей? Или потому, что какая-то тайная надежда жила во мне? Я старался не думать об этом. Но все же в голове у меня мелькнула мысль: что бы я сделал, если б девушка вдруг появилась из-за стеклянной двери — в туфлях на босу ногу, в своей мятой юбке? Наверно, сбежал бы тайком через черный ход. От такого стеснительного человека, как я, всего можно ожидать.

Домой я вернулся абсолютно трезвый. Снова тихонько проиграл «Кастильские ночи». Настроения у меня не было, и на этот раз они мне нисколько не понравились. Красивые, гладкие, но легковесные аккорды. Вероятно, я был несправедлив к себе — истинная красота не может быть бессмысленной.

В понедельник я позвонил в институт доктору Юруковой. Я ничего о ней не знал, кроме имени, даже не был уверен, что она существует. В ответ послышался грудной

женский голос, такой ровный и спокойный, что, устыдившись, я едва не бросил трубку. Любое мое объяснение казалось мне сейчас глупым и фальшивым. Одна надежда, что хотя бы мое имя внушит ей уважение.

— Да, я о вас знаю,— ответила она, нисколько не удивившись.— Доротея мне рассказывала... Отчего же, конечно, приходите. У меня к вам просьба.

Возможно, многие из вас видели это старое печальное здание с решетками на окнах. Мне запомнились прекрасные деревья, мягкие тени в аллеях, где разгуливали больные, отрешенные и далекие, как галактики. Настоящие безумцы, уверовавшие в значительность своего воображаемого мира, но добродушные, как дети. Они произвели на меня такое неизгладимое впечатление, когда я был здесь однажды, что я не пошел второй раз в клинику, хотя мне и назначили какие-то процедуры. И сейчас, по дороге в больницу, я был преисполнен почтительности и даже какого-то волнения.

Но то, что я увидел, меня разочаровало. Я очутился на оживленной стоянке, машины непрерывно то подъезжали, то отъезжали, словно в городе было полно сумасшедших и нервнобольных. Слава богу, вахтера у входа не было. Но зато новое здание показалось мне ужасающе неуютным и безобразным, как и все современные здания, устаревающие прежде, чем их достроят. К тому же никто не знал, где кабинет Юруковой. Пока я бегал, растерянный, по этажам, перед глазами у меня кружилась, словно карусель, людская толпа, будничная и торопливая. Особенно меня поразили больные в полосатых халатах, ходившие с таким видом, точно они были не люди, а овцы, которых привели только для того, чтобы состричь с них шерсть и отпустить. Врачи с авторучками в руках озабоченно сновали среди них, никто ни на кого не обращал внимания, никто ни с кем не здоровался.

Я ли стал чересчур чувствительным? Или мир так изменился, пока я бренчал на рояле? Наконец низенькая санитарка указала мне на одну из бесчисленных дверей без номера и без таблички. Постучавшись, я вошел и остановился в недоумении. Маленькую, как чуланчик, комнату заполняли почти целиком кушетка, два стула и какое-то пузатое уродство, которое, вероятно, служило письменным столом. Ко всему прочему, оно было покрыто тонким слоем белой масляной краски, кое-где облупившей-

ся, и это делало его похожим на грязный, захватанный кухонный стол.

За этим столом сидела уже немолодая женщина в белом халате. Позади нее, как страж, торчал огромный баллон, наверное, с кислородом. От смущения и досады в первую минуту я ее толком не разглядел. Пробормотал свое имя, она кивком пригласила меня сесть. Сесть пришлось на кушетку: выдвигать стулья, задвинутые под стол, я не решился. Только теперь я смог ее рассмотреть. Ей было под пятьдесят, лицо — цвета пчелиного воска, но без следов меда — было до того гладкое, бескровное, без единой морщинки, словно лицо восковой фигуры из паноптикума. Это впечатление усиливалось высокой девической грудью, идеально округлой и неподвижной, словно вылепленной из стеарина.

Она откинулась на стуле и неожиданно засмеялась. Не знаю почему, но этот смех показался мне мрачным и зловещим, хотя сейчас понимаю, что он был веселым и добродушным. Нервы мои были напряжены, и у меня вдруг возникло опасение, уж не попал ли я в сети, которые они с Доротеей мне хитроумно расставили.

— Успокойтесь, товарищ Манев,— сказала она.— Ничего страшного вы не услышите...

— А с чего вы взяли, что я волнуюсь?— сдержанно спросил я.

— Установила по вашему виду. На мой взгляд, у вас явные признаки невроза

— Извините, но я пришел сюда не лечиться?— сказал я недружелюбно.

— Знаю,— ответила она.— Тогда зачем?

Ее вопрос поставил меня в тупик. Я представлял себе этот разговор более задушевным. И, пожалуй, не сознавал, что по моей вине он начался в таком резком тоне. К тому же за то время, пока мы обменивались этими фразами, кто-то заглядывал в дверь, какие-то личности в белых халатах кого-то спрашивали, словно в этом огромном здании никто не сидел на своем месте.

— Я хотел бы поговорить о Доротее,— ответил я.— И о состоянии ее здоровья. Если это, конечно, не противоречит врачебной практике.

— У меня тайн нет,— сказала Юрукова.— Но похоже, что Доротея вас потрясла.

— Если вы полагаете, что она меня напугала...— начал было я.

— А в машине?

— Она вам все рассказала?

— Такой у нас уговор,— ответила она.— Вы поступили в тот вечер очень тактично. И очень человечно. Так что у меня нет причин что-то от вас скрывать. В данный момент она практически здорова... Я наблюдаю ее лет пять-шесть, у нее бывали легкие приступы шизофрении, периодически, конечно. Я бы назвала их навязчивыми идеями, чтоб вам было яснее. Она воображает себя одной из героинь тех книг, которые читает. Скажем, Ириной из «Табака»... или Козеттой из «Отверженных»... Последний раз она вошла в образ Таис, и это продолжалось, к сожалению, довольно долго. Но вот уже шесть месяцев, как у нее не было никаких рецидивов.

— Совсем никаких?

— Можно считать, никаких...

— В чем, по-вашему, причина ее болезни?

Она кольнула меня быстрым, еле уловимым взглядом — он походил на прикосновение алмазного резца к стеклу.

— Об этом я вам тоже скажу,— ответила она сдержанно.— Пожалуй, лучше, чтобы вы знали. В детстве она пережила два сильных душевных потрясения. Когда ей было одиннадцать лет, легковая машина задавила отца буквально у нее на глазах. Он тут же скончался. Мать ее вышла замуж, жизнь в новой семье скоро стала невыносимой... Она ушла к дяде. В тринадцать лет, когда она только вступала, как говорится, в пору девичества, он пытался лишить ее невинности.

Юрукова на мгновенье замолчала, лицо у нее было хмурое. Да, действительно гнусно, подумал я, ошеломленный. Лучше бы я не спрашивал.

— Но, по-моему, не в этом причина ее болезни,— продолжала Юрукова.— Хотя все это взаимосвязано. Как вы догадываетесь, тут играют роль и некоторые наследственные факторы... Но сейчас она чувствует себя хорошо — тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! Если только что-нибудь не вызовет новый стресс.

Она замолчала, не глядя на меня, но в голосе ее я отчетливо уловил предостерегающие нотки.

— Почему же вы ее не выпишете? — спросил я.

— А где ей жить? У дяди? Или с такой матерью, которая хуже мачехи? Я изобретала всякие предлоги, чтобы удерживать ее здесь. Будто она мне нужна для научного

эксперимента... Но так не может продолжаться вечно, эта обстановка становится для нее опасной. Страшно подумать, что ждет ее в будущем.

Я тоже слегка испугался. Не слишком ли легкомысленно вступил я на неизведанный путь? Зачем, в сущности, я сюда пришел — чтобы нажить неприятности? И только я подумал, как бы мне половчее ретироваться, как она неожиданно спросила:

— Вы вроде бы тоже хотели что-то сказать?

— Да-да...

И с преувеличенным оживлением я описал ей, как Доротея угадала название моих «Кастильских ночей», но скорее почувствовал, чем осознал, что мой рассказ не произвел на врача особого впечатления.

Впрочем, как я теперь сам понимаю, говорил я довольно сбивчиво.

— Ничего странного,— спокойно сказала Юрукова.— Просто она прочитала ваши мысли. Сначала это и меня поражало, но потом я привыкла.

— И вы говорите, что здесь нет ничего странного?— удивленно посмотрел я на нее.

— Телепатия — не досужие выдумки... У Доротеи редко, но бывают поразительные догадки. Как знать, может, через несколько веков телепатия будет нормальной формой общения между людьми...

— Да, через несколько веков, возможно,— пробормотал я.— Но мы пока что живем в двадцатом веке... Да и вряд ли она знает, где эта Кастилия.

— Не относитесь к ней пренебрежительно, она много читает. Конечно, я еще не разрешаю ей читать романы, особенно хорошие. Но в остальном она хватается за все, что попадется, даже за мои медицинские книги. При своей удивительной памяти она знает некоторые вещи лучше многих моих коллег...

— Наверно, это не так уж трудно,— улыбнулся я.

Но моя собеседница словно не поняла намека.

— Притом память у нее не механическая,— продолжала она.— И интуиция отлично помогает ей там, где не хватает знаний или логики. Вообще Доротея очень интересная девушка. С характером...

Этого я уж никак не ожидал услышать.

— Мне она показалась очень робкой.— ответил я.

— Ну, нахальной ее не назовешь. Но если вы полагаете, что она слабая, то ошибаетесь. Она даже физически

весьма выносliва. Ее сослуживцы удивляются, как легко она управляется с прессом.

— А где она работает?

— В мастерской. Штампует детали. Или что-то в этом роде. Работа как работа, но, мне думается, для нее не совсем подходящая. Слишком однообразная, не занимающая воображения. А оно у нее слишком живое, ему беспрерывно нужна пища. Его нужно чем-нибудь населить, но ни в коем случае не химерами. Вот поэтому я и хотела вас попросить... Вы человек со связями, не могли бы вы найти более подходящую для нее работу?

— Какую, например?

— Например, делать куклы. Или расписывать чашки, вазы, тарелки. У нее золотые руки.

— Постараюсь,— ответил я.— Только не говорите пока ей. Не хочется ее огорчать, если ничего не выйдет.

— Она не огорчится. Ей сейчас все равно, где работать. И сколько получать. Для нее деньги просто бумажки. В житейских делах она очень непрактична.

— Ну, не совсем! В ту ночь она прекрасно сориентировалась в обстановке.

— Это скорее инстинкт. Там, где разум бессилен, природа мобилизует таинственные подспудные силы. Я часто наблюдала нечто подобное у моих пациентов. И как врач не могла найти этому объяснения.

Я ушел из клиники в полном смятении. Последние слова Юруковой тащились за мной по пятам, как надоедливые попрошайки. Думал, что отделаюсь от них в машине. Не удалось. Они устроились на заднем сиденье, продолжая изводить меня своими нелепыми вопросами и предположениями. Я включил радио на всю мощность. С тем же успехом. Если природа в самом деле так изобретательна, как утверждала доктор Юрукова, то в данном случае она избрала совершенно неведомые мне пути.

Прошла еще неделя. Единственным моим достижением за это время было то, что раз и навсегда из моего дома было изгнано одиночество. Я уже был не один. Доротея словно незримо жила во мне и рядом со мной, хотя и не как человек, даже не как воспоминание. Воспоминание было не из приятных, и я старался отогнать его от себя. На его месте оставался какой-то осадок, смутное и тягостное, но все же живое чувство. Что это было за чувство? Трудно сказать. То ли горькой укоризны, то ли стыда за свою обычную невнимательность. Я ловил себя на том,

что мысленно веду бесконечные разговоры, но не с нею, а с самим собой. Пытался понять, что же произошло. Ничего не изменилось, кроме того, что я был не одинок. Доротея прогнала одиночество. Все было бы в порядке, если бы она сама не заняла его места. И если бы чувство одиночества не сменилось растерянностью.

Как-то ночью, ворочаясь без сна в постели, я силился припомнить ее лицо. И страннос дело, я не мог себе представить четко и определенно ни одной черты. Казалось, если б я встретил ее на улице в другой одежде, то просто бы не узнал.

Нет, она не была безликой, этого про нее никак нельзя было сказать. Вот припоминаю -- нос у нее длинноват, губы узкие и бледные, волосы прямые, как у Моны Лизы. И все же это не были определенные черты — лицо ее непрерывно менялось, точно поверхность реки, по которой то переливаются солнечные блики, то пробегают тени облаков. Оно словно отражало внешний мир, не выражая ничего своего,— наверно, в этой изменчивости и было заключено его непонятное очарование.

С того вечера, когда мы впервые встретились, прошло более года. Теперь она мертва, и я с ужасом и мучительной горечью чувствую, что так и не могу припомнить ее лица, хотя столько странного, необычайного случилось с нами. И не только ее лица не осталось в моей памяти, но и никакого следа, ни даже пятнышка крови — такой, какую я видел однажды, светлой и негустой, как черешневый сок. Словно ее и не существовало, хотя подобной ей в этом мире не было. Словно она была сон, горячечный бред, плод больного воображения.

Теперь можно сомневаться во всем. И ничему не верить. Ничему, кроме ее правды.

Итак, волею судьбы, как говорится в таких случаях, мне неожиданно быстро и легко удалось выполнить то, о чем меня просила Юрукова. Я тотчас же ей позвонил, и она искренне обрадовалась. И конечно, обещала сейчас же прислать ко мне Доротею. Но Доротея не появлялась несколько дней. Не знаю точно, что я испытывал в эти дни — трепетное ожидание или невольный страх. Но никогда еще я не чувствовал себя таким растерянным. Однако мой здравый и трезвый ум советовал мне хотя бы не торопить события. В этом мире спешить некуда, все дороги человеку отмерены. И потому, несмотря на все свое

нетерпение, я не стал звонить Юруковой второй раз. Пусть судьба сама решит. Зачем ее принуждать?

Наконец в один прекрасный день Доротея объявилась сама, позвонила, как и следовало ожидать, по телефону.

— Это вы, товарищ Манев?

Я сразу же узнал ее голос.

— Что же ты так долго не объявлялась?

Похоже, мой решительный тон ее смутил.

— Нет, что вы, я несколько раз звонила.

Тогда я подумал, что она меня обманывает. Позже я понял, что из всех человеческих пороков этот меньше всего был свойствен ей.

— Когда?

— В обеденный перерыв.

В это время я, естественно, тоже ходил обедать.

— Ну, хорошо,— сказал я.— Приходи ко мне сейчас же. У меня есть для тебя хорошая новость.

— Сейчас не могу,— ответила она робко.— Я на работе и звоню из автомата.

— Бросай ее,— приказал я.— И приходи, я нашел тебе другую работу.

Немного поколебавшись, она согласилась. День, по-мнится, был очень холодный. Она пришла в том же наряде и слегка посиневшая, как мне показалось, от холода, словно провела ночь на садовой скамейке. Как знать, может, она и вправду ночевала где-нибудь в парке. Вероятно, поэтому нос ее показался мне еще длиннее. В сочетании с круглыми глазами он придавал ее лицу какое-то удивленное выражение. Красавицей ее нельзя было назвать, но внешность у нее ни в коем случае не была неприметной и заурядной. Потом, когда мы стали ходить с ней в рестораны, я часто замечал во взглядах моих друзей и знакомых, видевших ее впервые, любопытство, даже одобрение.

— Какую работу?— спросила она с порога.

— Переписывать ноты... Тебе никогда не приходилось этим заниматься?

— Никогда. А разве это работа?— удивленно протянула она.

— Работа как работа. Не бойся, выучишься... Ты же способная.

— Интересно,— ответила она задумчиво.— Ноты — это хорошо. А где?

У меня были друзья в музыкальном издательстве, я мог устроить ее туда. Какой современной девушке захочется портить глаза из-за восьмушек и диезов? Переписывать ноты — дело кропотливое, требующее внимания, усидчивости. Не знаю уж, почему я внушил себе, что она с ним прекрасно справится.

— Я хоть сейчас! — сказала она.

Вид у нее был очень воодушевленный.

— Хорошо, сегодня же отведу тебя туда. Хотя бы представлю директору.

Но, поглядев на нее внимательней, я понял, что поторопился. В мятой юбчонке, с посиневшим лицом, она походила на цветочницу — из тех, что до революции продавали цветы на улицах.

— Ты не могла бы переодеться? — спросил я.

— Нет. Я все оставила у подружки.

— Пойди возьми у нее.

— Нет, не могу! — Лицо ее омрачилось.

— А деньги у тебя есть?

— Да, у нас через несколько дней зарплата.

— Нет, нужно все купить сегодня же. Я тебе дам взаймы, потом отдашь.

— Конечно, — с готовностью согласилась она.

Я хотел было послать ее одну, но передумал. Я лучше знал, как должна выглядеть приличная девушка, поступающая на работу в издательство. Но не только в этом было дело. Меня охватило какое-то возбуждение, желание сделать все самому. Но почему? Ведь у меня никогда до сих пор не возникало подобного желания.

Я повел ее в магазин «Валентина». Платье, которое я ей купил, было теплое, почти зимнее, но сегодня мне непременно хотелось ее отогреть. Когда она вышла из примерочной, лицо у нее было несколько озадаченное.

— Красивое? — спросила она с некоторым сомнением.

Ничего особенного, обычное готовое платье, хотя и из хорошего материала. Но все-таки оно прекрасно сидело на ее стройной, как у манекенщицы, фигурке. Кроме того, мы купили туфли и кое-какие мелочи. Мы обошли несколько магазинов, она настолько принимала все как должное, что мне даже стало немножко обидно. В юности мне жилось трудновато, и я не люблю людей, которые считают само собой разумеющимся, что все блага им достаются даром, словно падают с неба. А может, она действительно не знала цены деньгам и вещам, как мне объяс-

няла Юрукова. Она ни разу не спросила, что сколько стоит, не посмотрела на чеки, относясь ко всему как к чему-то само собой разумеющемуся, словно голубь к рассыпанному вокруг пивного завода ячменю.

Я не успел утром позавтракать и очень скоро проголодался. Мы перекусили в пивном баре гостиницы «Болгария» и вернулись домой. Я терпеливо начал объяснять ей, как надо переписывать ноты, даже переписал для нее две-три строки из «Кастильских ночей». Она внимательно следила за мной, потом попыталась переписать сама. Меня поразило, насколько переписанные ею ноты походили на мои. Так мы прозанимались часа два, не заметив, как пролетело время. Когда я взглянул на часы, было около шести.

— Послушай, Доротея, мне пора на собрание. Вернусь часов в девять. Ты посиди поработай. И жди меня... Потом пойдем куда-нибудь поужинаем.

— Хорошо,— сказала она.

Но я вернулся в десять. Собрание было бурное, вопросы решались важные, правда, не настолько, чтобы из-за них кипели такие страсти. Но она была вне себя от ужаса. Она не понимала, почему с собрания нельзя уйти.

— Я уже думала, что тебя убили!— сказала она все еще испуганно.— На улицах такая страшная темнота.

— Кто меня может убить?

— Как кто? Карбонарии!— ответила Доротея убежденно.

Практически здорова! С чем я и поздравляю доктора Юрукову! Уж не решила ли она переложить свои заботы на меня? Неплохая идея! Человек богатый, свободный, что ему стоит позаботиться о несчастной больной девушке. Но Доротея сама, похоже, поняла свою ошибку, потому что смущенно добавила:

— Что за глупости я говорю... Это просто от страха.

— Кто-то тебе наболтал про карбонариев,— сказал я недовольно.— Совсем они были не такие.

— Конечно, я знаю!— согласилась она.— Это мне из какой-то дурацкой книги запомнилось.

Потом, внимательно посмотрев на меня, спросила:

— Тебе доктор Юрукова все рассказала?

— Откуда я знаю, все или не все,— ответил я.

— Ну хотя бы главное.

— Полагаю, да.

— Ну и ничего страшного! — сказала Доротея почти сердито. — Лучше воображать себя кем-то, чем быть никем.

— Забудь об этом. Дай-ка я посмотрю, что ты сделала.

Лицо ее тут же просветлело, она принесла мне целую стопку нотных листов. У меня опять было такое впечатление, что она не переписала ноты, а сфотографировала их, так они походили на написанные мной. Я, правда, сам умею красиво писать, но все же я поразился ее способностям. Человеку, сумевшему выполнить такую работу, вероятно, многое по плечу. Но тогда я еще не подозревал, насколько это банальное суждение соответствовало истине.

— Да, хорошо, — сказал я сдержанно. — Быстро ты это освоила.

Я смутно понимал, что ее не следует сильно хвалить.

— Ну конечно, книгу лучше переписывать. Здесь ведь не понимаешь, что пишешь. Но все-таки я уже запоминаю сразу по целой строке. Без ошибки.

На этот раз я не сомневался, что она говорит чистую правду. Без этого такую стопку нотных листов не перепишешь.

— Научишь меня их читать? Очень тебя прошу!

— Это не так-то просто.

— Ничего. Мне прямо до смерти хочется узнать, что там написано. А вдруг что-то очень хорошее.

— У меня все хорошее! — засмеялся я. — Ты сыта?

— Нет! — ответила она удивленно.

— Хочешь, пойдем куда-нибудь?

— Сейчас? Нет, не хочется. А у тебя ничего не найдется?

Общими усилиями мы кое-что наскребли: масло, джем, по два яйца всмятку. Только хлеб был ужасно черствый.

— Прямо зубы обломал, — заметил я.

— Зуб сломал? — спросила она огорченно.

— Да ведь я шучу.

— Не люблю я шуток, — ответила Доротея. — Не понимаю я, когда шутят, а когда говорят серьезно. Из-за этого и на смешные фильмы не хожу. Все смеются, а мне плакать хочется.

Мать мне рассказывала, что я тоже обливался слезами, когда мальчишкой смотрел «Новые времена». Решил, что Чарли Чаплина вправду затянуло в машину.

— Может, ты и права,— сказал я.

— Конечно, права! — воскликнула Доротея.— Что смешного в том, что человека толкают, бьют, сбрасывают с балкона...

Ну что ж, логично. Не слишком похвально так откровенно смеяться над чужими бедами и несчастьями. Но хотя Доротея не походила на всех прочих людей, наш скудный ужин она уплетала с отменным аппетитом. Когда я принес и положил на стол яйца, она посмотрела на них почти с нежностью.

— Знаешь, как я давно не ела яйца всмятку!.. С тех пор, когда еще был жив мой отец. Он их очень любил.

Я почувствовал, как она вся сжалась, взгляд ее потух. После сегодняшнего славного, удачного дня этого нельзя было допускать. Я достал из холодильника уже начатую бутылку «Каберне», поставил на стол бокалы.

— Мне не наливай! — сказала она.

— Почему? — удивился я.

— Доктор Юрукова не разрешает.

Ну раз так, делать нечего. Я налил одному себе. Но Доротея не сводила глаз с бутылки, она, видимо, сильно колебалась.

— Налей и мне полбокала! — сказала она.— Не каждый день поступаешь на новую работу, да и вино не отрава.

Я налил ей чуть больше половины, из вежливости, разумеется. У меня не было никакого желания ее спаивать. Но она опьянела от нескольких глотков. Лицо ее разрумянилось, во взгляде появилась чуть заметная рассеянность, по которой моя жена безошибочно угадывала, выпил я одну рюмку или три. Доротея стала вроде бы еще тоньше и как-то вытянулась на стуле, точно превратившись в стебелек цветка.

— Как у меня голова закружилась,— сказала она.— Можно я пойду лягу?

— Да, конечно... нам ведь утром рано вставать.

На всякий случай я довел ее до холла. Ничего, походка у нее была ровная. Но, глядя ей вслед, я отметил, что уши у нее покраснели, как вишни.

— Ничего, ничего, ляг поспи!.. Завтра ты чудесно будешь себя чувствовать.

Но она продолжала упорно смотреть на меня затуманенным взглядом. Вид у нее был довольно смешной.

— Если хочешь, можешь остаться со мной! — заявила она вдруг.

— Не волнуйся, здесь тебе это не угрожает!

— А я волнуюсь,— сказала она.— Я не люблю оставаться в долгу.

Тон у нее был почти дерзкий. Я никогда потом не слыхал, чтобы она говорила таким тоном. Но это был и последний глоток вина в ее жизни.

— А я не привык, чтобы мне так дешево платили,— довольно резко бросил я.— Спокойной ночи!

Она промолчала. Я ушел в спальню, расстроенный не столько ее, сколько своими словами. Безусловно, я мог бы найти более вежливый и подходящий ответ. Но главное было не в этом. Была ли в моих словах какая-то доля правды? Честно говоря, да. И дело не в том, что Доротея капельку выпила и вообще была не в своей тарелке. Разобраться в своих ощущениях мне было не так-то просто. В самом деле, она не была мне неприятна физически. И производила впечатление милого и безобидного существа. Но все же между нами лежала какая-то преграда, о существовании которой я раньше не подозревал. Может быть, инстинктивное отвращение к болезни, даже когда она не заразная. Может быть...

Она осталась жить у меня, хотя мы не сговаривались об этом, так просто, как голубь, приютившийся на моей террасе. Вставала она рано; бесшумно, как тень, двигалась по огромному пустому холлу и уходила так тихо, что даже если я уже не спал, то все равно не слышал ни ее шагов, ни щелканья замка. Только гул водопроводных труб в ванной подсказывал мне, что она встала и моется. Потом я видел ее влажное полотенце, висящее на крючке. На полочке перед зеркалом появилась ее маленькая зубная щетка. Скоро я заметил, что она моется и утром и вечером с такой невероятной старательностью, словно хочет смыть с себя тяжелый больничный запах, воспоминания, все до последнего пятнышка своей прошлой жизни. Она отмывалась и становилась все чище, все прозрачнее, все воздушней. И в то же время все спокойнее. И вся она словно светилась чистотой, от воротничка до кончиков туфель. Даже походка у нее изменилась — она уже не переступала, как чайка, шагающая по берегу моря. Все в ней сделалось умиротворенным, губы ее словно стали сочнее,



даже ее унылый нос казался мне теперь вполне нормальным. Доротея уходила на работу к семи и неизменно возвращалась в четыре. Я не знал, где она питается, мне было как-то неудобно спрашивать. Да поначалу и она сама была неразговорчивой — никогда не говорила ни о своем прошлом, ни о будущем, только о самых простых будничных вещах. Но и в этих случаях она изъяснялась отрывистыми, незаконченными, если не сказать непонятными, фразами. Сначала я полагал, что это от недостатка ума. Позже я понял, насколько был несправедлив. Просто она говорила с людьми, которых носила в себе, с которыми сжилась душой. Они должны были понимать ее так же, как она иногда угадывала даже их помыслы. Но постепенно она стала разговорчивой, даже словоохотливой — болтала о цветах, о деревьях, об уличных витринах, рекламах бюро путешествий, о самолетах, с гулом проносившихся над городом. Только о людях не говорила, даже о своих сослуживицах.

Она никуда не выходила, не интересовалась, что происходит за стенами нашего дома. Не смотрела телевизор, просто, как кошка, не воспринимала его изображения. Когда я читал, она сидела неподвижная и задумчивая, но я чувствовал, что она не скучает. Она, как я полагал, носила в себе все, что ей необходимо,— до последнего цветка или травинки. Все, что было вне, она вбирала внутрь и могла созерцать часами, словно оно непрерывно рождалось и изменялось у нее на глазах. Редко-редко я замечал бледную улыбку на ее губах, словно в уме у нее всплывало воспоминание, одно-единственное, которое она оберегала, как величайшую драгоценность.

В свободное время я учил ее читать ноты. Иногда до позднего вечера наигрывал на рояле, объяснял, заставлял повторять. Я и не подозревал, что во мне живет страсть к преподаванию, да и вообще начисто забыл об учениках и преподавателях после окончания консерватории. Она постигала сложную материю не по дням, а по часам... Это наполняло меня тщеславной гордостью, словно ее успехи были моими. Я никогда ни с кем не занимался, даже со своим сыном, и не представлял, что такие занятия могут доставлять радость. Уж не пробудились ли во мне запоздалые родительские чувства? Чепуха! Она не была ни ребенком, ни девушкой. Она была женщиной — такой же, как и все.

Помню день, когда оживленный женский голос сообщил по телефону, что у меня родился сын. На миг я почувствовал разочарование, потому что ждал девочку. Даже не ждал — я был уверен, что родится девочка. Много месяцев она жила в моем воображении. И я словно бы не мог никогда примириться с этой метаморфозой. Ребенок был живой и крикливый, темпераментом походил на мать. Я не люблю озорных детей. А может, вообще не люблю детей, особенно когда они галдят целой оравой. Стараюсь не ходить мимо школьных дворов — мне противно смотреть, когда дети лупят друг друга портфелями по стриженым головам. Их шумные игры, как бы они ни были невинны и естественны, вызывают у меня невольное раздражение. На мой взгляд, человеческие детеныши с первых дней жизни гораздо сильнее проявляют свои инстинкты, чем детеныши животных.

Впрочем, с тех пор как Доротея поселилась у меня, я словно позабыл, что существуют на свете и другие люди, в том числе и мой сын, о котором я не слишком заботился. Заходил раза два в месяц на старую квартиру, небрежно гладил его по голове, совал размякший в кармане шоколад, который по нескольку дней таскал с собой. Сын не обращал на меня особого внимания, только все прицеливался в меня из деревянного ружья. Наконец в один прекрасный день позвонила моя жена, язвительная больше обычного. Назвала меня «господином». Не намерен ли господин посмотреть, как живет его отпрыск? Или если у него нет такого намерения, почему он не поинтересуется об этом хотя бы по телефону? Да, такое намерение, отвечал я, у господина есть, но до сих пор он был слишком занят, заканчивал свое новое гениальное произведение.

— Знаю я твои новые произведения,— прорычала она.— Стыда у тебя нет!

— Что касается денег,— прервал я ее,— то я их завтра же тебе принесу.

На улице наконец потеплело, белый гребень Витоши становился все клочковатее и грязнее. Чуть ниже по склонам горы проступила бледная зелень и, густея, стекала широкими потоками к ее подножию. Все чаще я поднимался на террасу — так мы называли плоскую крышу нашего небоскреба. Пожалуй, ею пользовались только я да кошки, гонявшие там голубей. От воздушной бездны она отделялась лишь невысокими перилами. Я не любил к ним подходить, а вытянувшись на брезентовом шезлон-

ге, с наслаждением дышал свежим воздухом. Между мной и горами было только поле, перечеркнутое дорогой, словно черной чертой. Или это была речка, потому что по обеим ее сторонам виднелись темные полоски ив. Кое-где можно было различить сельские дворы, заброшенные печи для обжига кирпича, некоторые из них еще дымились, словно земля испускала сквозь трещины ядовитые пары. Картине не хватало законченности, но мне она доставляла удовольствие. Все-таки приятнее, чем смотреть на простирающееся над крышами фантастическое кладбище антенн.

Теперь я не поднимаюсь на террасу, она мне внушает страх...

На следующий день я пошел к Наде. Позвонил. Она не торопилась открывать. Наконец послышалось тихое шарканье тапочек. Дверь распахнулась, и, окинув меня враждебным взглядом, жена посторонилась. Мне был очень хорошо знаком этот взгляд, которым она столько раз встречала меня. Откуда-то выскочила кошка, моя любимица, ласково потерлась о мои брюки. Желтый ее хвост торчал, как мачта, на которой невидимо развевался белый мирный флаг. Звали ее Коца.

— Как Коца? — спросил я.

— Ничего, запор у нее. Входи же, что ты торчишь в дверях?

По правде говоря, я медлил, потому что мне не хотелось входить. Переступая порог, я почему-то боялся, что она шлепнет меня ладонью между лопаток, как непослушного ребенка. В гостиной было не убрано, сын не объявлялся. Как я мог столько времени терпеть такой беспорядок, непонятно.

— Подожди секундочку, я накину что-нибудь на себя.

У моей жены была скверная привычка донашивать дома старые платья, пока новые ее туалеты пылились в гардеробе. И сейчас она была в дешевой, поношенной водолазке, без лифчика, под тонкой материей некрасиво болтались ее груди с большими сосками. Но в общем она была красивая, хотя и сухопарая женщина, с ногами породистой арабской кобылы — длинными, стройными, нервными. Лицо ее было оливковое, губы — цвета перезрелой сливы, злые, крепко сжатые, энергичные. Не много найдется людей, способных выдержать ее испепеляющий, откровенно ненавидящий взгляд. Я лично не пытался, и это выводило ее из себя.

— Как жизнь? — спросила она, садясь на стул, по привычке слегка расставив ноги, чтобы этим тоже подчеркнуть свое полнейшее пренебрежение к миру — и ко мне в том числе.

— Ничего.

— С какой-то девкой связался! — сказала она грубо.

— Она не девка! — почти крикнул я, чувствуя, как раздуваются мои ноздри.

— А кто же?

— Дальняя родственница. Студентка, ищет себе квартиру.

Надя презрительно посмотрела на меня:

— И врать научился!

— Всегда врал! — обозлился я. — Разве с тобой можно говорить откровенно? Только что в броню заковаться.

— А правда, что она шиза?

— А тебе какое дело?

— Мне — никакого, но у тебя все-таки есть сын.

— Его вряд ли волнуют подобные проблемы, — холодно произнес я.

— Да, но завтра ему будет не все равно, какой у него появится братик или сестричка.

— Ну вот что... Держи деньги... А сына зайду повидать в другой раз.

— Ты даже не спросил, где он, нахал этакий!

Так и не узнав, где он, я в ярости бросился к выходу. В сущности, я не был особенно зол, потому что давно знал скверный характер жены. Но не затем же я с ней разводился, чтобы снова терпеть скандалы. Я едва не сшиб по дороге кошку, сидевшую у порога и с надеждой посматривавшую на замок. Ей, видно, тоже надоела эта кабала. Оставалось только схватить ее под мышку и хлопнуть дверью раз и навсегда.

Я пообедал в ресторане и вернулся домой. Сочинять музыку к кинофильму. Сроки, как водится, подпирали. Но работа не клеилась, какие-то гневные, обиженные нотки прорывались в музыке, а действие происходило на образцовой ферме. Доярки жили дружно, и только какой-то тип портил общую картину. Но в конце концов коллектив, разумеется, одержал верх над несознательной личностью. Это нужно было как-то выразить в музыке, но как, я все еще себе не представлял.

Доротея вернулась по обыкновению в четыре. Настроение у нее было приподнятое, она казалась очень ожи-

вленной. Прошлась несколько раз по холлу своей характерной, чуть подпрыгивающей походкой, потом остановилась передо мной и сказала:

— А я уже слышу!

— Что?

— Твою музыку,— ответила она серьезно.

Тогда я обратил внимание не столько на смысл ее слов, сколько на их необычность в устах девушки не слишком интеллигентной. Она как раз переписывала в издательстве что-то из моих сочинений. Там ее уже считали едва ли не феноменом, чудом природы.

— И нравится тебе?— спросил я шутя.

— Да! Конечно!— ответила она порывисто.

В конце концов что уж такого удивительного, ведь я часами учил ее читать ноты. От человека с такими необыкновенными и необъяснимыми способностями, как у нее, этого можно было ожидать. Впрочем, мне было не до музыки, у меня все еще не выходил из головы неприятный разговор с Надей. Больше всего меня беспокоила мысль, откуда она узнала про Доротею. Мы редко ходили куда-нибудь вместе, особенно туда, где бывают мои знакомые. Мои — да, но ее? А что, если Доротея пользуется большей, чем я предполагал, известностью в мужских компаниях? Скорее всего. Эта мысль была мне настолько неприятна, что я невольно нахмурился. Как знать, может, я стал посмешищем в их глазах. Известный композитор, приятный человек с завидным положением, а связался с простой девчонкой, из тех, что шляются по ресторанам. Да еще к тому же шизой, как весьма учтиво выразилась моя жена.

Так я размышлял, лежа на диванчике в скверном настроении. Вдруг я почувствовал, что Доротея смотрит на меня, и поднял голову. Она и вправду не сводила с меня пристального взгляда, словно вслушиваясь во что-то, чего никто другой не мог слышать.

— Ты ходил сегодня к жене?— неожиданно спросила она.

— Откуда ты знаешь?

— Просто спрашиваю.

— Ходил,— ответил я.

Она немного помолчала, потом резко добавила:

— То, что ты думаешь обо мне, неправда.

До сих пор она не повышала голоса в разговоре со мной. Я полагал, что это ее главное достоинство.

— А откуда ты знаешь, что я думаю о тебе?

Я встал с диванчика и взволнованно прошелся по холлу. Теперь она молчала, не глядя на меня. Мне столько всего хотелось ей сказать, что я просто не знал, с чего начать.

— Ты что, читаешь мои мысли?

— Не знаю! Иногда,— ответила она смущенно.

— Что значит — иногда?

— Очень редко.

— И как это у тебя получается ? — Я с трудом скрывал свое раздражение.

— Сама не знаю,— ответила она беспомощно.— Оно само появляется у меня в голове.

— Тебе доктор Юрукова говорила о телепатии?

— Да, конечно. Мы и опыты проводили.

— Удачные?

— Не знаю. Похоже, не очень... Я не могу это делать по заказу. Оно получается само собой.

— Ладно, Доротея. Забудь этот глупый разговор.

Она посмотрела на меня и улыбнулась, все еще грустная.

Вскоре после этого разговора ко мне зашел домоуправ, потрепанный жизнью человек, бывший полковник. От пиореи у него так расшатались зубы, что казалось, стоит ему чихнуть — и они разлетятся во все стороны. Вероятно, поэтому он говорил медленно и осторожно.

— Можно к вам на минутку?

Я ввел его в холл. Было около четырех. Доротея еще не вернулась с работы. Он остановился и обвел комнату внимательным взглядом, точно осматривая поле боя.

— Присаживайтесь, полковник.

Низкие современные кресла были неудобны для его одеревенелого позвоночника. Костлявые колени вздернулись до ушей, коричневых и мясистых, как ласточкины гнезда. Я чувствовал, что он испытывает некоторую неловкость не только из-за неудобной позы.

— Прошу меня извинить, товарищ Манев. Вы знаете, как мы вас уважаем, не только я, но и мои сыновья... Не знаю прямо, с чего начать.

— Смелее, полковник! — сказал я.— Как в атаку!

Он посмотрел на меня, ободренный. Я уже догадывался, что он скажет.

— Видите ли, говорят... сам я не видел, но говорят, что у вас живет молоденькая особа.

— Молоденькая, говорите? — спросил я иронически.

— Да, молоденькая!.. Как-никак человек вы одинокий... Сами понимаете, что это неудобно!

— Видите ли, полковник, девушка — моя родственница... Не могу же я позволить, чтобы она ночевала на улице?

— Да, конечно, зачем же ей спать на улице.— Его шишковатый нос, казалось, стал еще внушительней.— Но все-таки у нас с вами есть законы!

— Какой закон я, по-вашему, нарушил?

— Но ведь она живет здесь без прописки.

— Хорошо! — ответил я.— Я завтра же ее пропишу.

На этом деловая часть нашего разговора была закончена. Полковник, видимо, почувствовал бесконечное облегчение, развеселился, взгляд у него стал по-стариковски добродушным. Я налил ему рюмку хорошего коньяку, он внимательно посмотрел на нее, потом сказал:

— Ну что ж, рискну!.. Жена моя уехала на курорт...

Не докончив фразу, он не спеша и с видимым удовольствием выпил. Уходя, он ступал уже менее твердым шагом. Много ли нужно старому человеку, чтоб у него закружилась голова? Оставшись один, я понял, что мне не так уж легко будет выполнить свое обещание. Доротея пришла ко мне без единой вещицы, даже без носового платка. А что если у нее вообще нет документов? — заволновался я. Не успела она вернуться с работы, как я принялся ее расспрашивать. Есть ли у нее паспорт? Где он?

— Понятия не имею,— сказала она растерянно.— Наверно, есть. Конечно же, есть. Но он остался у Юруковой.

— Тогда сегодня же пойди и возьми его.

— Нет-нет! — воскликнула она.— Мне стыдно!

Конечно, ей было стыдно. С тех пор как она поселилась у меня, мы совсем забыли о Юруковой. Даже ни разу не позвонили ей. И в какой роли я должен был предстать перед ней? Опекуна? Соблазнителя? Только я мог дать этому разумное объяснение.

Делать было нечего, на другой день я сел в машину и поехал в клинику. Громадное здание мрачно возвышалось в тени деревьев, суета вокруг и внутри него нисколько не уменьшилась. Я удачно пристроился в эту карусель, и человеческий поток скоро вынес меня к нужной двери. Слава богу, Юрукова была у себя, сидела за столом, на этот раз в поблескивающих на солнце очках. Когда я вошел, она сняла их и, узнав меня, чуть заметно улыбнулась.

Я объяснил ей цель своего прихода. Не забыв, разумеется, извиниться. Она отнеслась ко всему так просто, словно моя квартира была филиалом ее клиники.

— А как она себя сейчас чувствует? — спросила Юрукова.

— Мне кажется — очень хорошо. Просила извиниться, что до сих пор не позвонила вам.

— Какое это имеет значение,— махнула она рукой.— Я ее прекрасно понимаю. Чтобы выздороветь окончательно, ей нужно не поминать о прошлом. Чем быстрей она о нас забудет, тем лучше.

Я рассказал о новой работе Доротеи. И о внезапном страстном увлечении музыкой. Она слушала меня не слишком внимательно, словно думала о чем-то другом. Но нет, она не думала о другом, она стремилась постичь скрытый смысл и значение моих слов.

— Это хорошо! — заметила она, когда я замолчал.— И опасно, как любое человеческое увлечение. Доротее нельзя чересчур волноваться. А музыка вызывает много эмоций.

— Гораздо меньше, чем вы думаете.

Она словно ушла куда-то далеко, потом вернулась.

— Я была на одном вашем концерте. И знаете, что произвело на меня самое сильное впечатление? Ваша безупречная, изящная логика.

Я удивленно посмотрел на нее. Как она до этого додумалась? Не каждый критик сделал бы такое тонкое замечание.

— А что вы называете логикой в музыке?

— Я не специалист, и мне трудно объяснить. Такая музыка, как ваша, была бы ей полезна. Но не та, которую считают современной и модной.

Было ли в этом что-то обидное для меня, не знаю.

— Не беспокойтесь,— сказал я.— Музыка, которую она переписывает в издательстве, прежде всего скучна. Так что никакой опасности нет.

— Да, верно,— согласилась она.— Даже музыка может быть скучной. И в этом, вероятно, есть какой-то парадокс. В вашей музыке, например, все кажется очень точно рассчитанным. Человеку несведущему она может показаться монотонной...

— Пожалуй, вы правы,— подтвердил я.— В известном смысле музыка — это математика.

Это как будто удивило ее, и она взглянула на меня с интересом.

— Одно время я больше любила литературу. Она, безусловно, не может быть такой математически совершенной, как музыка. Хотя бы потому, что слова слишком грубы, затасканы, даже опошлены. С таким испорченным материалом трудно создавать совершенные произведения искусства.

— А правда, что вы окончили филологический?

— Кто это вам сказал?

— Доротея.

— Правда. Сначала я окончила филологический, а потом медицинский.

— Извините, я не вижу ничего общего между этими науками.

— И глубоко ошибаетесь! — ответила она немного сердито. — Обе науки изучают человека. И человеческую душу, конечно... К сожалению, литература не дала ответа на некоторые главные вопросы, занимавшие меня. И тогда я обратилась к медицине.

— И нашли ответ? — Любопытство мое было неподдельным.

Юрукова неопределенно улыбнулась:

— На все вопросы сразу ответов не найдешь. Но самый важный из них я словно бы нашла благодаря Доротее.

— Серьезно? Какой же?

— Ну, это вы сами должны понять! — рассмеялась Юрукова. — Она всегда несет его в себе. А вы человек интеллигентный.

— Спасибо, — сказал я.

— И долго еще Доротея собирается жить у вас?

Этот вопрос застал меня врасплох.

— Об этом я как-то не думал, — смутившись, признался я.

— Нужно подумать! — твердо сказала она. — Доротея не должна слишком сильно привязываться к вам. Для нее расставание всегда болезненно.

— Судя по расставанию с вами, вряд ли.

Я почувствовал, что задел ее. Она как-то зябко повела плечами, но ответила спокойно:

— Тем лучше... Значит, она входит в норму. Все-таки будьте к ней внимательны. Если у вас возникнут сомнения, приходите посоветоваться.

— Что значит — сомнения? — спросил я осторожно. — Она буквально каждый день чем-нибудь потрясает меня.

— Например?

— Я уже вам говорил о ее способности к телепатии.

— Ну, это не должно вас тревожить! — засмеялась она. — Этот прекрасный цветок скрыт в душе каждого человека. И когда-нибудь должен расцвести...

— А вы считаете, что у нее в душе он уже расцвел?

— Не совсем. Но я видела, как цветет миндаль в январе. А скажите, она предлагала вам летать?

— Нет! — изумился я. — Как это летать?

— Как птицы, например... Это одна из ее навязчивых идей... Или ее мечта, которая характеризует ее с самой хорошей стороны. Вам никогда не снилось, что вы летаете?

— Нет, — ответил я.

— А вот мне снилось. Я лечу спокойно и свободно, как птица. Над лесами и озерами. Вы думаете, это случайно?

Нет, я не думал, что это случайно. Я полагал, что пациенты оказали на нее свое влияние. Она, наверно, тоже поняла, что переборщила, откинулась на стуле, и под халатом четко обрисовалась ее девическая грудь.

— Не пугайтесь незначительных рецидивов, — продолжала она. — И ее тоже не пугайте. Я лечила ее сильными средствами. Она все еще как одурманенная.

— Да, пожалуй, — без энтузиазма согласился я.

— Это не так уж страшно. Ведь вы сможете соприкасаться с ее душой. И вы сами поймете, какая у нее, в сущности, светлая душа. А это большое счастье. Человеческая душа нечто гораздо более странное и невероятное, чем ее мог себе представить даже такой писатель, как Достоевский. Мы не ведаем ни ее настоящей силы, ни ее ужасающей слабости. Кроме, пожалуй, писателей и психиатров. У них хоть есть возможность время от времени заглянуть в щелочку...

Мы помолчали. Каждого из нас занимали свои мысли и опасения.

— Я надеялся, что вы меня подбодрите, — произнес я наконец. — А вы меня, скорее, напугали.

— А может, это я нарочно! — пошутила она. — Хотя я уверена, что вы никогда не перешагнете барьера.

— Какого барьера? — встревожился я.

Она поколебалась, потом как бы вскользь заметила:

— Это я так, к слову... Одно я хочу сказать: ничто не должно резко нарушать ее внутреннего равновесия.

— Да, понимаю,— согласился я.

Позднее я убедился, что ничего не понял. А тогда я почувствовал, что нам и впрямь не следует продолжать разговор, если мы не хотим еще больше перепугать друг друга. Лучше всего было уйти из этого кабинета, в который медленно, как слизь, просачивался больной воздух клиники. Я стал прощаться.

— Спасибо, доктор Юрукова. Буду держать вас в курсе.

— Подождите, вы же забыли, зачем пришли.

Она вышла из кабинета и скоро вернулась с прозрачным полиэтиленовым мешочком в руках.

— Ее вещи...— сказал она.— Проверьте и распишитесь.

Деваться было некуда, я высыпал содержимое мешочка на стол. Кроме паспорта, там было золотое кольцо, золотая монета, зеленый камешек, похожий на яшму. И русый локон, светлый, почти прозрачный, точно тоненький серп луны на светлом небе.

— Это все, что у нее есть... Но ей ничего не давайте. Особенно паспорт. Может, вам покажется смешным, но вы сейчас как бы ее опекун.

— Мне не смешно,— сказал я.

— Хотите, я вам покажу, где она жила?

— Не надо! — почти испуганно воскликнул я.

— Очень хорошая комната! — обиженно произнесла Юрукова.— Последние месяцы она жила там одна.

Что поделаешь, придется испить горькую чашу до дна, раз уж я вступил на этот путь. Я должен был знать, как она жила. Только потом я понял, какую грубую ошибку совершил, насколько был не подготовлен к этому. Но ошибку совершил не только я, Юрукова тоже сделала неправильный ход: словно бог или дьявол, распоряжалась она людскими душами.

Сначала — ничего особенного. Длинный чистый коридор, ряд белых больничных дверей. Без ручек. Наконец мы остановились перед одной из них, ничем не отличавшейся от всех прочих. Доктор Юрукова пошарила в кармане белого халата, достала ключ, как мне показалось, сильно истертый. Привычным движением сунув его в замочную скважину, открыла дверь.

— Входите!

Я вошел с тяжелым чувством. Сейчас ни за что на свете я не мог бы сказать, как выглядела эта комната. По всей видимости, обычная больничная палата с двумя аккуратно застланными койками. С решетками на окнах. Но тогда я ничего не замечал. Стриженая девушка с оттопыренными ушами прошла мимо меня, держа что-то невидимое в ладонях, поднятых к самому подбородку.

— Что с тобой, Бетти? — ласково спросила доктор Юрукова. — Разве ты не видишь, что она грязная?

Девушка неохотно вылила невидимое из ладоней, ничего не выражающим взглядом посмотрела на Юрукову и бесшумно отошла. Глаза ее на какое-то мгновение показались мне совершенно прозрачными.

— Уйдемте! — закричал я.

Доктор Юрукова, по-видимому, поняла, что совершила оплошность. Она заперла за собой дверь, и мы молча двинулись по пустынному коридору. Садясь в машину, я почувствовал, как тошнота неудержимо подступает к горлу. Меня охватило страстное желание оказаться среди людей, что-нибудь выпить, развеяться. Почти машинально я остановил машину у клуба. Я понемногу приходил в себя, но меня все еще мутило.

Сделав над собой усилие, я немного поел. А вино вернуло меня в нормальное состояние. Нет, пожалуй, лучшего лекарства от душевных смут, чем бокал-другой хорошего вина. Потом я отправился к друзьям играть в карты. У меня было такое чувство, словно мне удалось избежать страшной беды, и непременно хотелось развлечься. Опомнился я часам к одиннадцати. Поспешно отдал деньги и ушел, несмотря на протесты партнеров. Войдя в квартиру, я застал Доротею в коридоре, она смотрела на меня так, точно перед ней появился призрак.

— Почему ты в коридоре?

— Я услышала лифт! — смутилась она. — Как он тронулся с первого этажа.

Этого только не хватало, чтобы она ждала меня в коридоре, бледная, с выражением напряженного ожидания на лице, как когда-то моя жена, пока не поняла, что меня не переделаешь.

— Ты знаешь, который сейчас час? — спросил я сурово.

— Половина двенадцатого.

— Вот видишь! А тебе надо ложиться спать в одиннадцать.

— Я так боялась...

— Это меня не интересует. Ты что, хочешь, чтобы я ради тебя изменил своим привычкам? Я не сделал этого даже ради жены!

— Нет, что ты! — воскликнула она. — Вот увидишь, я привыкну!

— Хватит, иди спать! — приказал я.

Вообще я действовал в точном соответствии с наставлениями доктора Юруковой. И, должно быть, не мог иначе, уж слишком я был расстроен посещением больницы и проигрышем в карты. Наскоро поужинал тем, что нашлось в холодильнике. Я уже привык питаться всухомятку, словно ворон падалью. Залив съеденное двумя бокалами белого вина, я окончательно успокоился. Проходя через холл, я посмотрел, легла ли Доротея. Она уже лежала в постели, закрывшись одеялом до самого носа, а глаза ее лучились каким-то внутренним светом.

— Антоний, — окликнула она меня.

Я остановился.

— Антоний, я слышу музыку!

— Ты мне уже говорила! — сказал я с досадой.

— Нет, это совсем не то... Раньше я ее читала... А теперь я ее слышу внутри себя. Как она звучит по-настоящему... Словно оркестр играет.

— А может, ты слышишь что-нибудь другое? — сдержанно спросил я.

— Нет, именно то, что переписываю. Словно у меня в голове маленький транзистор.

Она глядела на меня своими прозрачными глазами, полными радостного возбуждения.

— А когда ты не смотришь в ноты, музыка смолкает?

— Да, конечно. Сразу же.

— Интересно! — процедил я.

А про себя подумал: черт возьми, неужели ты не можешь быть такой же, как все девушки?

— Честное слово! — воскликнула она. — Ты не представляешь, как это интересно. Хоть бы и завтра было так же.

— Хоть бы не было, — рассердился я. — Лучше я куплю тебе два транзистора, чем у тебя будет звенеть в голове.

И быстро вышел, чтобы не видеть, как угасает радостный блеск ее глаз.

Дней десять она жила как во сне. Возвращалась, как всегда, с работы прямо домой и тотчас же хватала первые попавшиеся под руку ноты. У меня была большая библиотека — все великие композиторы, которых я люблю и ценю. Она устраивалась поудобней на диване, на котором спала, поджав под себя ноги, и ее девичьи колени сияли над зеленым одеялом, как две маленькие вечерние луны. Лицо ее непрерывно менялось, точно она дирижировала тем произведением, которое читала по нотам. Наблюдать за ней было забавно, но я не смеялся, зная, насколько это серьезно. По ее лицу я мог безошибочно угадать, какую из частей концерта, какой пассаж она слышит. Для меня уже не было сомнения, что она слышит все, что читает по нотам. И так как я знал большинство этих произведений, а некоторыми когда-то дирижировал, то я иногда следил за ней по часам. Нет, ошибки быть не могло, каждое произведение звучало ровно столько, сколько ему положено было звучать.

Я не сказал бы, что этот странный дар Доротеи меня как-то особенно удивил или поразил — от нее можно было всего ожидать. Скорее, меня охватило какое-то беспокойство. Я помнил предупреждение доктора Юруковой. Любое увлечение, любое перевозбуждение грозили поколебать ее душевное равновесие. Но не в этом было дело. Есть, очевидно, свойство, глубоко заложенное в человеческой природе. Подобно всякому нормальному человеку, я инстинктивно воспринимал как ненормальное все то, на что сам не был способен, или то, что другие делали не так, как я. Теперь я прекрасно понимаю: это свойство — лишь проявление невежественности и посредственности. Но что поделаешь, так уж устроен человек. Так устроена и курица, которая испуганно квохчет, с берега предостерегая высиженных ею желтых утят, уносимых счастливым течением реки.

И я не просто обеспокоился, а испугался. Я готов был вырвать у нее из рук эти проклятые ноты и швырнуть их в окно. Но все же я не делал этого — нельзя растоптать то, что выше тебя. Я или враждебно молчал, тайно терзаясь, или старался отвлечь ее разговорами на всякие другие темы, иногда довольно удачно. Но как только она оставалась одна — тут же снова утыкалась в ноты.

— Что тебе больше всего понравилось,— спросил я у нее однажды,— из того, с чем ты до сих пор познакомилась?

— «Лебединое озеро»,— не задумываясь ответила она.

Я не удивился, даже обрадовался. Это был хороший повод.

— Чудесно!— сказал я.— Хочешь, пойдем с тобой в театр? По-моему, на этой неделе есть спектакль.

— Как спектакль?

— Очень просто, ведь «Лебединое озеро»— балет. Увидишь — поймешь.

— Хорошо,— согласилась она.

Но в ее голосе мне послышалась какая-то неуверенность, даже сожаление. Я прекрасно понимал, что, в сущности, ее пугало. На это я и рассчитывал. Купил два дорогих билета в ложу и потащил ее на представление, предвкушая свою победу. Она облокотилась на барьер, не глядя в зал. По правде говоря, и в зале никому до нее не было дела. Она была очень взволнована, я чувствовал, что она вся погружена в себя, словно старается что-то припомнить.

— На, почитай программу!— сказал я.

— Потом,— отмахнулась она.

Пожалуй, она впервые отказалась выполнить мою просьбу — до сих пор она безропотно повиновалась мне. Когда прозвучали первые звуки, я заметил, как напряглось ее лицо, как вся она притихла и вжалась в кресло. Но постепенно лицо ее смягчилось, чуть заметная улыбка заиграла на нем. Мой эксперимент явно не удался. В антракте, ведя ее в буфет, я спросил с притворной небрежностью:

— Ну что, есть разница?

— Нет,— ответила она.— Почти никакой...

— А что лучше?

— Конечно, в театре. Но все-таки это не одно и то же. То, что я одна слушаю, словно происходит во мне. Как будто я сама играю.

Как хорошо мне было знакомо это невыразимое чувство внутреннего ликования, хотя я испытывал его, увы, не слишком часто. А у нее, наверное, душа до краев была переполнена ликованием. Когда я вел ее в театр, я рассчитывал, что звучание оркестра откроет ей истинную

красоту музыки и она разочаруется в той бледной копии, которая рождалась ее воображением. В антракте, когда я угощал ее скверным тепловатым лимонадом, один из моих приятелей, полный идиот, подскочил к нам.

— Ты еще не женился? — с ходу поинтересовался он.

— Представь себе, нет, — ответил я.

К моему удивлению, Доротея окинула его таким презрительным взглядом, что он устыдился своей наглости и поспешил ретироваться к своей жене, которая сгорала от любопытства, какую же она услышит новость. После спектакля мы пошли ужинать в ресторан. Только тут Доротея снисходительно заметила:

— Неплохая сказка. Немножко наивная.

Чего-чего, а таких заявлений я от нее не ожидал.

— Почему же наивная?

— Не знаю, хорошо ли это — из лебедя превратиться в человека. Да еще в принцессу. И сидеть в скучном дворце.

Она говорила серьезно, и в голосе ее звучала неподдельная искренность.

— А наряды? — пошутил я. — А принц?

— Да, но лебеди *летают!* — простодушно сказала она.

Я насторожился. На незначительные рецидивы, советовала доктор Юрукова, не следовало обращать внимания. Не надо было наводить ее на мысль. Учтем. Я притворился, что не расслышал. Мы с удовольствием поужинали, но вернулись домой молчаливые и отчужденные.

Лето наступило такое внезапное и жаркое, что таял асфальт на улице. Теперь на террасу можно было выходить только вечером, после захода солнца, когда из Валдайского ущелья начинало тянуть прохладным ветерком. Я просто видел, как он мчится по окружной дороге, как где-то возле Бояны сворачивает вниз к городу. Он подлетал к нам, все еще молодой и самоуверенный, и, ударившись об острые углы зданий, спешил дальше. Но вскоре сникал, смешиваясь с бензиновыми парами города.

Несмотря на жаркое летнее солнце, Доротея оставалась такой же бледной. И я повез ее на Искырское водохранилище, не столько для того, чтобы прогуляться, сколько — чтобы она немного побыла на солнце. Поехали мы вроде бы на рыбалку. Я, правда, не рыболов, и разрешения у меня нет. Но дача генерала Крыстева была расположена в заповедной зоне, инспектора рыбнадзора туда не заглядывали. Самого генерала на даче не было, да он и не

был нам нужен. Все необходимое мы захватили с собой. Я собрал длинное бамбуковое удилище, и мы отправились в бухту. Было прекрасное летнее утро, озеро перед нами отливало серебром. Солнце еще не успело разорвать тонкую пелену испарений, и мы ступали по колено в траве в каком-то туманном, сказочном мире. Скоро ноги у нас стали мокрыми от утренней росы, точно мы перешли вброд ручей. Но Доротея этого не замечала и смотрела вокруг как зачарованная.

— Как хорошо-то, боже мой! — произнесла она наконец.

В голосе ее слышалось несказанное удивление. Вполне возможно, что она впервые соприкасалась с природой. Может, впервые ступала по росе. Этого я никогда так и не узнал. Но местность и вправду была на редкость красивая. Рыбаки прозвали ее Золотым рогом не только за обилие рыбы. В этом месте озеро походило на фьорд, врезавшийся в молодой сосновый лес. Берега не было. Вода после буйных весенних ливней поднялась и залила луг и молодые посадки. Сейчас над гладкой ее поверхностью торчали остроконечные макушки сосенок, зеленые шапки затопленных прибрежных ив. И все пестрело желтыми и синими цветами, такого множества цветов Доротее, вероятно, не приходилось видеть никогда в жизни. Я привязал к удилищу двухметровую леску, прикрепил крючок. В это время года почти на любую наживку хорошо клюет белая озерная рыбка с розовыми плавниками.

— Что ты собираешься делать? — удивилась Доротея.

— Наловлю рыбы.

— Не надо. Я не ем рыбу, я никогда ее не ела.

— А я ем!.. Она очень вкусная...

— А мне что делать?

— Делай что хочешь. Возьми в машине одеяло, постели вон там, на опушке. Отдыхай, читай, загорай.

Столько возможностей сразу. И все такие приятные. Она, успокоенная, повернулась ко мне спиной и ушла к машине. В тот день рыба клевала как остервенелая. Ее некому пугать на этих берегах, и она, по-видимому, не подозревала об опасности. У меня даже не было времени собирать рыбешек, я бросал их через плечо прямо на землю. Они стукались о берег, я слышал, как они судорожно бьются в траве. Некоторым из них удавалось добраться до воды, и я видел, как они, оживая, стремительно ныряли

на дно. Пусть себе живут, ведь я им не враг, я просто забавляюсь.

— Антоний,— послышался голос Доротеи.

А я как раз подумал: куда это она подевалась? Голос ее звучал ясно, но словно бы издалека. Я обернулся — на берегу не было ни души.

— Антоний! — опять позвала она.

Я с тревогой взглянул на озеро. Туман рассеялся — синее и гладкое, оно сверкало передо мной. Только присмотревшись, я заметил ее русую голову почти у противоположного берега.

— Ты что, с ума сошла? — крикнул я сердито.

Вряд ли я мог сказать что-нибудь более бестактное. Но она приняла это абсолютно спокойно, я видел, как она улыбалась, повернув ко мне белое пятно своего лица.

— Возвращайся назад,— добавил я уже не так сурово.

Я знал, что она услышит меня, даже если я прошепчу. Как всегда покорно, она повернула назад, все еще смеясь — вероятно, над моим испугом. Это опять рассердило меня. А если бы вдруг появился генерал? В заповедной зоне купаться строго запрещено. Но ей-то откуда это знать? Я сам, конечно, виноват, надо было ее предупредить. Доротея приближалась к берегу, уже не улыбаясь — видно, почувствовала, что я сержусь. Плыла она легко и свободно и в то же время неуклюже, как головастик, у которого только что отвалился хвост. Подплыв к берегу, ступила на дно и выпрямилась во весь рост. Она была совершенно голая, но словно не сознавала этого. Да и впрямь, наверное, не сознавала: взгляд ее был спокоен и чист, в нем не было ни тени смущения, ни капли женской игривости. Похоже, что она не испытывала чувства стыда, как дети или античные наяды. И пошла ко мне, стряхивая рукой светлые капли с плеч. Она была такая, какой я и ожидал ее увидеть: прозрачно-белая, голубоватая, с узкими бедрами и плоской грудью.

— Я не знала, что здесь нельзя купаться! — смущенно сказала она.— Откуда мне знать, я здесь первый раз.

— Ничего... А я и не думал, что ты умеешь плавать.

— Плавать?.. Я вошла в воду и поплыла. Первый раз в жизни, честное слово, Антоний.

Я недоверчиво посмотрел на нее, хотя знал, что она никогда не лжет. Но все-таки...

— И ты не училась?

— Нет,— ответила она, останавливаясь в нескольких шагах от меня.— Зачем учиться тому, что естественно?

— Может, ты и права,— ответил я.— Ты так свободно плыла... как головастик. Верно говорят, что человек произошел от земноводных... В частности, от лягушек.

— Человек произошел от птиц! — возразила она.

— А тогда почему же ты плыла, как головастик? Кто тебя научил? Это скрытый в нас инстинкт.

— Не знаю... Может, ты произошел от лягушки, Антоний. А я — от птиц. Я в этом уверена.

— Хорошо,— сказал я.— Иди оденься. И вообще, неужели ты меня не стыдишься?

— Тебя — нет! — ответила она, собирая в пучок мокрые волосы.

Не так уж лестно для мужчины, если его не стыдятся.

— Отчего же?

— Ты — Антоний!

— Антоний,— кисло улыбнулся я.— Дядя Антоний?

Еще один промах — я забыл об этой страничке ее прошлого.

Она опять не обратила внимания на мои слова, будто я ничего особенного не сказал.

— Ты Антоний Смешной,— сказала она.— Ты что, умеешь жарить рыбу?

— А ты что, не умеешь?

— Умею, но не хочу... Ни ощипывать цыплят, ни варить их...

— Надоела ты мне со своими птицами,— сказал я, раздосадованный.— Ладно, иди одевайся!

Она повернулась и пошла, осторожно и неловко ступая оттого, что трава колола ее нежные ступни. Я собрал всех рыбешек, которые еще подавали признаки жизни, и бросил в озеро. Одни тотчас же нырнули в глубину, другие плавали брюшком кверху на отмели. Я знал, что большинство из них все-таки оживет и еще будет плавать. Долго стоял и смотрел, как они уходят под воду: то брюшком вверх, то бочком, открыв рот. Одна рыбка так и осталась лежать на траве. Она шевельнула разок желтым хвостом и застыла, неподвижная, безжизненная. Меня охватило тягостное предчувствие, что когда-нибудь придется ответить за это злодеяние.

Доротея постелила два одеяла в редкой тени деревьев и лежала на спине, следя за своими птицами, которые порхали в ясной синеве неба. Это были ласточки с остры-

ми черными крылышками, с продолговатыми шейками, они, вероятно, не ловили насекомых, а упивались прозрачным воздухом. Лег и я на клетчатое одеяло, своей яркой, огненной расцветкой сейчас раздражавшее меня. Доротея жевала травинку, лицо ее становилось все задумчивее.

— Хочешь, я тебе кое-что расскажу? — спросила она наконец.

— О чем, Доротея?

— Как умер мой отец!

— Не сейчас, — сказал я, сердце у меня сжалось. — Потом.

— Потом у меня не хватит духу, — сказала она.

Я понимал, что ей нельзя мешать. Она должна была освободиться от этого.

— Ладно, только не волнуйся.

— Я никому до сих пор не рассказывала, — продолжала Доротея. — Даже Юруковой. Но она знает об этом.

С того места, где мы лежали, мне было видно бледно-зеленое поле овса. И где-то вдали кусочек озера, синего и твердого, как стекло.

— Хорошо, я тебя слушаю, — сказал я.

— Знаешь, Антоний, мой отец был чиновник. Он сам говорил, что он чиновник. Теперь никто не употребляет этого слова, сейчас все говорят «служащий». Почему — служащий? По-моему, глупо и обидно. Это слово не подходит человеку. У нас была собака Барон. Мы кричали ей: «Эй, Барон, служи!» И Барон вставал на задние лапы. Передние лапки он поджимал, живот у него был бледный, прямо прозрачный, с маленькими розовыми сосочками. Мне так смешно было смотреть на бедного Барона, а глаза у него были такие жалобные, как будто он вот-вот заплачет. Собаки ужасно не любят служить. И люди не любят, и собаки, а о птицах и говорить нечего. Ты был когда-нибудь в зоопарке? Видел орлов в клетке? Нет никого на свете мрачнее орла за решеткой. Разве орел может быть «служащим»? Конечно, нет.

Мой отец был худой как скелет. В молодости он не был таким тощим, но год за годом все худел и худел. Пока от него не остались только кожа да кости. Знаешь почему? Потому что мама по ночам, когда он спал, пила из него кровь. Вставляла ему сзади под самым затылком тру-

бочку и высасывала ее. Не пугайся, Антоний, я это говорю не потому, что сумасшедшая, это я так думала, когда была маленькая. Доктор Юрукова говорит, что у меня слишком сильно развито воображение. И отсюда все мои несчастья, потому что я не могу, как она говорит, отличать видений от действительности. У меня вправду были видения, но с тех пор, как она стала мне давать лекарства, я просто отупела. И сейчас живу как во сне. Папа тоже жил как во сне. Он никогда не улыбался, говорил тихо, нос у него всегда был влажный, как у Барона. И, как Барон, он служил, кто бы и что бы ему ни приказал. И до того он был жалкий, Антоний, до того покорные были у него глаза. Даже в самую сильную жару он хлюпал носом и сморкался в мятый-премятый платок. И хотя он был очень грустный и молчаливый, но нисколько не был похож на орла. Скорее на тощую унылую ворону, которая зимой сунет клюв под крыло и сидит. Я видела, как он плакал. Тогда я не знала, что мама завела себе любовника, какого-то пожарника. Когда папа умер, они поженились. Пожарник был такой здоровый, что когда он зимой раздевался и оставался в одной майке, то от него валил пар, как от лошади. Я никогда не слышала, чтобы папа с мамой ругались из-за него, хотя он приходил к нам в гости и то и дело брал под козырек, очень ему нравилось отдавать честь и тереть сапогом о сапог, пока не завоняет вакси. Он был ужасный обжора. Один раз, когда мы с ним остались вдвоем на кухне, он стал поднимать крышки с кастрюль и есть изо всех подряд. Потом засмеялся и ущипнул меня там. Мне было так стыдно, что я целый день проплакала, но маме не посмела сказать. Незадолго до того, как папа умер, он стал приходить к нам чаще. Тогда папа уходил из дому и, наверно, бродил по пустынным улицам и плакал. Доктор Юрукова сказала, что у меня плохая наследственность, что я похожа на отца и потому такая тощая и такая чувствительная.

Когда мы в то утро пошли с ним покупать мне пальто, он был очень расстроенный. Я делала вид, что ничего не замечаю, но чувствовала, как он время от времени поднимает руку, чтобы смахнуть слезы. Пальто у него не было, зимой он ходил в плаще с подстежкой из козьего меха. Никогда в жизни, Антоний, не видела я такого истрепанного плаща, как у него, он стал такой белесый и грязный, как халат у продавца. Но в этот день было не очень холодно, только ужасно скользко. Это ведь было в декабре,



за два дня до Нового года. Накануне даже шел дождь, потом подул холодный ветер, и дождь прекратился. Капли так и застыли, мы давили эти пузыри подметками, и они лопались, как человеческие глаза. Было страшно ступать по человеческим глазам, но мы все шли и шли, а папа иногда так сильно сжимал мне руку, что я вскрикивала от боли. Так мы дошли до центра, там прохожие, слава богу, все уже растоптали, и мы могли идти совершенно спокойно.

Папа купил мне синее пальтишко с белым воротником из искусственного меха. У меня никогда до этого не было такого красивого пальто. Продавщица хотела завернуть, но я его тут же надела, а завернули старое. Даже отец повеселел, когда увидел, как оно мне идет. Мы вышли из магазина и заторопились домой. Он опять крепко взял меня за руку и прямо нос задрал от гордости, что идет по улице рядом с дочерью, нарядной как кукла. Ты, наверное, догадываешься, Антоний, что нос у меня отцовский, из-за него в школе меня прозвали Диди, Малайский Медведь. Я не сердилась. Не знаю, видел ли ты на картинках малайского медвежонка, они такие смешные, носишки у них похожи на хоботы, только черные-черные и блестящие.

Так вот, мы с папой шли по тротуару, и он крепко держал меня за руку. На улицах было полно народу, все что-то тащили: кто елку, кто детские игрушки. А мы никогда не покупали елки, меня водили на елку в то учреждение, где работал отец. Но что это за елка, которой и полюбоваться не успеешь, как является пьяный Дед Мороз с приклеенным носом и дарит тебе деревянного коня. А зачем мне деревянный конь? Я его сразу же меняла на книжку — кто не захочет поменять книжку на коня? Но тогда я не думала ни о какой елке, даже не попросила у папы купить какую-нибудь книгу, хотя мне так хотелось. Тогда я была рада и этому проклятому пальто, из-за которого приключились все беды моей жизни.

Плохо было то, что, пока мы шли, папа опять приуныл. Сначала я почувствовала, что рука его обмякла и стала влажной. Потом он совсем отпустил мою руку. Это его и погубило. Я не видела его глаз, но чувствовала, что он опять смотрит перед собой невидящим взглядом. Я и раньше замечала, что он ходит по улицам, ничего не видя, как слепой. Мы прошли через городской сад и зашагали по улице Ивана Вазова. На углу улицы Раковского

мы собрались переходить, но папа остановился перед сугробом у тротуара. Поколебался немного, но все же перепрыгнул через него. Обо мне он совсем позабыл. И сделал-то всего один шаг на мостовой, нерешительно так — вспоминал, видно, не оставил ли он чего позади себя. А я стояла со свертком в руке.

И в этот самый миг на него налетела машина. Хоть сто жизней проживу, Антоний, а эта картина все будет стоять у меня перед глазами, будто это случилось вчера. Она мне так врезалась в память, что ничем ее не сотрешь. Когда я потом бывала сильно больна, этот кошмар преследовал меня, даже если наступало просветление. Я все еще не могу отделаться от него, никак не могу, иначе не стала бы я об этом рассказывать и расстраивать тебя. Я сейчас отчетливо вижу эту машину, зеленую, нарядную, со сверкающими фарами. Она мчалась с дикой скоростью. И подбросила отца так, что он, раскинув руки, упал на капот, а машина пронеслась еще несколько метров и остановилась как вкопанная. Папа по инерции полетел вперед. Мне показалось, что он летит целую вечность — время словно остановилось. Руки и ноги у него были раскинуты, голова свешивалась вниз, я ясно видела белую плешь на темени. Потом он грохнулся о тротуар, голова его раскололась, как яйцо. Я не упала в обморок, не отвела взгляд, застыла, оцепенев от ужаса, и смотрела, смотрела.

Отовсюду набежали люди. Из машины вылез водитель, совсем еще молодой парень, но лицо у него было все в морщинах, как у старухи. Кто-то пытался поднять отца, но большинство сгрудилось вокруг парня. Один схватил его за ворот, другой кулаком ударил по шее. Они словно озверели. Парень дергался, как тряпичная кукла. Потом он бросился на грязный асфальт, рвал на себе волосы и выл, но я чувствовала, что он притворяется. Люди брезгливо отворачивались, многие мрачно проходили мимо. За все это время я не шелохнулась.

Отца положили в одну из проезжавших машин. Я видела его разбитую голову, знала, что он мертв. Но никто не замечал меня, никто не догадывался, что я была вместе с ним. Милиционер увел парня, толпа постепенно разошлась. Только там, где упал отец, краснело небольшое пятно. Наконец и я сдвинулась с места. Перешла как во сне страшную улицу и поплелась домой. Но как ни была я потрясена и убита горем, я ни на миг не забывала, что

на мне новое пальто. Брела, как мертвец, в новом пальто, шаг за шагом, еле передвигая ноги.

Не помню, как я вернулась домой, что сказала маме. Помню только, что лицо у нее стало белое, как мука, но глаза были совсем пустые. Не было в них ни горя, ни радости, ничего, кроме пустоты. Потом я кинулась на кухню, упала на пол, не успев добежать до умывальника, и меня начало рвать чем-то отвратительно зеленым. Желчью. Мне до смерти хотелось вспороть мягкий мамин живот, чтобы оттуда полилась вся гадость, что скопилась у нее внутри. Мне так страшно хотелось этого, что у меня даже губы потрескались. Вот что такое человек, Антоний, не думай о нем лучше, чем он есть.

Доротея кончила свой рассказ, последние слова точно замерли у нее на губах. Вид у нее был измученный, взгляд потухший.

— Дай я немного посплю, Антоний,— сказала она.— Я ужасно устала.

Я отправился гулять по берегу один. Бродил долго, может, час, может, больше. Мне чудилось, что я бреду по небу с застывшими облаками, так отчетливо было его отражение в неподвижной воде. Как человек замкнутый, я мало обращаю внимания на то, что творится вокруг. Окружающее не интересует меня, не находит отзвука в моей душе; даже то, чем восторгаются другие, не вызывает у меня восторга. Равнодушно стоял я и перед пирамидой Хеопса, и перед Ниагарским водопадом. Но в этот день меня все волновало и трогало. Возможно, это был инстинкт самосохранения, но успокоился я гораздо быстрее, чем можно было предположить. Доротея права, вот что такое человек, думал я, человек, слепленный из грязи, озерной воды и облаков. Каковы бы ни были пропорции, составные элементы этой смеси, вероятно, останутся неизменными.

Так незаметно я дошел до опушки леса. Это был сосновый лес — молодой, но уже густой. Нижние ветки высохли, зеленели одни пробившиеся к свету верхушки. Внизу все было голо. Не росло ни травы, ни цветов, ни даже папоротника — ничего, кроме незнакомых мне грибов, белых и гладких, как куриные яйца. И все же что-то смутно влекло меня вглубь, должно быть, ощущение не-

известности и таинственности, такое же древнее, как мир. Походив немного по лесу, я медленно зашагал обратно.

Когда я вернулся, Доротея уже не спала и задумчиво смотрела вдаль. Она не слышала моих шагов, но, увидев меня, улыбнулась все еще грустно.

— Долго я спала?

— Не очень,— ответил я.

Она никогда не носила часов, время ее не интересовало.

— Проголодалась?

— Немного.

— Хочешь, поедем куда-нибудь? Тут поблизости есть приятный ресторанчик.

— Давай,— как всегда, с готовностью согласилась она.

Еду мы, конечно, захватили с собой. Но после такого тягостного разговора я не мог себе представить, что мы сядем друг против друга и примемся уплетать колбасу и вареные яйца. Мы молча сложили вещи. Какая-то едва уловимая натянутость, вернее, неловкость еще оставалась между нами. Всякая исповедь рождает стеснение и неловкость — с обеих сторон. Сели в машину, я включил зажигание. И только когда мы тронулись с места, я с облегчением почувствовал, что все снова стало просто и естественно, как, в сущности, проста и естественна жизнь.

Вероятно, и Доротея чувствовала то же: я заметил, что она улыбнулась. Но мне некогда было раздумывать об этом, потому что мы въехали в лес. Дорога была узкая и в густой тени деревьев все еще сильно размытая. Несколько раз машина начинала буксовать, и мне с огромным трудом удавалось выводить ее туда, где посуше. Я весь взмок, пока выбрался на шоссе.

— Я тебе помогла! — засмеялась Доротея, когда шины наконец зашуршали по асфальту.

Что угодно мог я себе представить, только не Доротею, толкающую машину своими тонкими ручками.

— Ты? Каким образом?

— Мысленно.

— Внушала мне бодрость?

— Нет, толкала машину.

Я тоже засмеялся. Так обычно говорят дети. И не только говорят, но и верят в это. Я вспомнил, что однажды в детстве видел телегу, увязшую в глубокой грязи. Возница нещадно лупил палкой лошадей по их понурым

головам. Но когда наконец телега стронулась с места, я свято верил, что это я сдвинул ее — мысленно.

— Это другое дело! — ответила Доротея. — А я и вправду могу мысленно кое-чем управлять.

Тогда я не придал значения ее словам. Или не захотел к ним прислушаться. В тот день я наслушался достаточно. Позднее эти слова, всплывая в моей памяти, неотвязно преследовали меня.

Вскоре мы добрались до ресторанчика на Пасарельском водохранилище. Это, разумеется, никакой не ресторан, а обыкновенная закусочная. Правда, она славилась своими шашлыками, но сейчас мне было все равно, что есть. Сбоку от нее росло во дворе несколько старых деревьев, под ними стояли столы, конечно, не покрытые скатертями. Однако наш стол официант застелил скатертью и вытянулся рядом с ним, как солдат. Я давно заметил, что простые люди относятся ко мне очень почтительно, наверно, принимая меня за переодетого генерала. А может, моя шикарная машина внушает им особое уважение. Я заказал шашлыки нам обоим и ментовку себе. Официант мигом принес ментовку.

Крепость у ментовки небольшая, шоферы ее пьют без опаски. И напрасно. Она иногда оказывает весьма коварное действие. Во всяком случае, я неожиданно для себя захмелел. То ли оттого, что был утомлен дорогой и взволнован. Или просто перегрелся на солнце. И, ощущая приятное кружение в голове, я вдруг проявил несвойственные мне легкомыслие и бесцеремонность.

— А что же случилось потом? — спросил я.

— А что могло случиться? — встрепенулась она.

— Тебе лучше знать.

Доротея молчала, словно не слышала меня.

— Ну же, Доротея! — ободрил я ее. — Тебе нелегко, я понимаю. Но больной зуб надо рвать разом. Лучше одним махом покончить...

В этот самый момент официант принес шашлыки. Они так и остались нетронутыми.

— Вскоре после того, как папа умер, они поженились, тайком от меня, конечно. Но хорошо хоть, что не остались жить у нас, а переехали. Они это сделали не потому, что были такие уж совестливые, а потому, что были очень жадные. Мы снимали квартиру, правда, недорого, но

все-таки приходилось платить. И они решили перебраться к Цтану. Он сам так себя называл, проглатывая слог из своего имени — Цветан. А мама звала его Цецо. Он был жутко скупой, дрожал не то что над левом, а над каждой стотинкой. С тех пор я возненавидела жадных людей, Антоний, не выношу ни их самих, ни их деньги. Пока будут на свете деньги, люди, как бы они ни притворялись, всегда останутся такими же ничтожными и мелочными. У денег нет своего лица, они таковы, каков человек, в чьи руки они попадают. Есть грязные деньги, Антоний, есть ничтожные деньги, есть жалкие деньги. А есть деньги, у которых нет никакой цены и на них ничего не купишь. Это деньги жадных людей.

Помню тот день, когда мы переезжали к Цецо. Приехал грузовик, без грузчиков, конечно. Мы сами все перетаскали. Мама могла бы лошадь поднять, такая она была здоровущая. А Цецо и подавно. Оба они набросились на мебель, как на добычу. У нас была очень красивая мебель, которая досталась нам от деда. Они хватали все подряд и тащили по лестнице. То, что не могли нести, волокли по ступенькам, сопели, пот катился с них градом, лица у них покраснели от натуги. Только с буфетом они еле справились. Это был длинный, громоздкий буфет из мореного дуба, как объяснял мне папа. Как сейчас вижу их: ноги раскорячены, глаза выпучены, чуть не выскакивают из орбит. А буфет — ни с места. Колени у них подгибаются, губы побелели, как у рыб. Наконец они немножко его приподняли. И впервые поссорились: они брызгали слюной, выкрикивая бессвязные, обидные слова, изо рта у них словно запрыгали жабы, маленькие и зеленые, как пуговицы на кофте. Мне опять стало плохо, я заперлась в уборной и рыдала там, пока меня не затошнило. Когда меня выволокли оттуда, все вещи уже были погружены. Все, Антоний, даже буфет. Прямо не верится, но так это и было. Нужда ведь всему научит, и такие у тебя силы появляются, что потом диву даешься, откуда они взялись.

Дом Цецо был в Ючбунаре. Господи, никогда до того дня, Антоний, не видела я такой хибары — маленькая, покосившаяся, в два окошечка, кривобокая, точно на детском рисунке. Они до сих пор там живут. Она и на дом-то не походила, а на репу, наполовину торчащую из земли. Цецо сажал такую во дворе, а осенью меня заставляли ее убирать, и я надрывалась, вытаскивая ее, словно это была не репа, а коренные зубы. Домишко был ста-

ренький, обмазанный глиной, а сверху выкрашенный синей, как синька, краской. Но краска уже здорово облупилась, и, когда полили дожди, домишко стал похож на грязный мячик. Чтобы войти в него, надо было спуститься на две ступеньки вниз. Не знаю, как уж это так получилось — то ли во двор натащили земли, то ли сам домик врос в землю. Другого такого дома не было на всей улице. Мама и Цецо снова набросились на мебель. Но буфет, как и следовало ожидать, в дверь не пролез. Его оставили под навесом, он и сейчас там стоит. Семь лет он мок под дождями, зимой снегом его заносило, летом жгло солнце, а ему хоть бы что. Только немножко покривился, а так буфет как буфет. Я на него не смею и взглянуть, и он на нас не глядит, так мы ему опротивели своим хамством и неблагодарностью. Они, конечно, могли его продать, но все надеялись выиграть квартиру по лотерейному билету, тогда и ему бы нашлось место. Так им и надо, что не выиграли, хотя буфет мне очень жалко.

Вот так, Антоний, я и прожила семь лет в этом доме. До сих пор не понимаю, как он не развалился. Была там только одна большая комната и кухонька. Мы с бабушкой жили в кухне. Она приходилась Цецо не матерью, а бабкой или прабабкой. Было ей лет сто, наверно, а она и сама не знала, сколько ей лет. У нее не было ни одного зуба. Ни одного волоска на маленькой птичьей головке. Была она толстая и потому во сне громко храпела. Храпела и днем и ночью, потому что только и делала, что спала или что-то жевала. Не могу тебе описать, что это был за храп. Иногда я по целым ночам не могла заснуть. Но терпела, даже не возненавидела ее. Да и что мне еще оставалось делать, как не терпеть, терпеть и терпеть? Другого выхода у меня не было. Хотя, в сущности, был. Потому что я научилась летать — с тоски. Ведь с горя чего не сделаешь. Но летать можно только по ночам, да и то редко. Что скажут люди, если увидят, как среди бела дня над крышами летает какая-то сумасшедшая. Хорошо, что хоть время от времени меня забирали в больницу к доктору Юруковой, как в санаторий.

Но больше всего меня изводила ужасная скупость Цецо, да и мамина тоже, потому что она скоро стала во всем походить на него. Они говорили, что копят на квартиру. Но мне не верилось. Они так жались, что я уверена — они никогда не потратят из этих денег ни гроша, если только дом и вправду не рухнет. Всю еду в доме Цецо запирал

ото всех, даже от мамы. А когда раз в неделю он покупал мясо, то очень точно, прямо до грамма, делил его на десять равных частей. Мясо обычно тушили с картошкой, в медной посудине, похожей на таз. Когда мы садились обедать, Цецо клал себе четыре куска, маме два, а бабушке, мне и близнецам по одному. Не знаю уж, к чему ему было так наедаться, когда он целыми днями сидел без дела. За всю свою жизнь он не погасил ни одного пожара, самое большое — растоптал несколько окурков в коридорах того учреждения, где он работал. Он был не толстый, но сил у него было хоть отбавляй. А мама очень похудела. Она теперь работала уборщицей в поликлинике и вся пропахла карболкой и еще какой-то гадостью, у нее начали расти усы, а руки покрылись бородавками. Я думала, что судьба или что-то в этом роде накажет и отомстит за папу. Но с ними и до сих пор ничего не случилось, мне даже кажется, что они с Цецо счастливы. Вот уж не понимаю, как это может быть такое жалкое счастье. Или даже подленькое счастье. Но, выходит, есть. А я-то думала, что единственное счастье для человека — летать!

Одежды они мне не покупали. Учебников и тетрадок тоже. Да мне, по правде сказать, они были ни к чему. Память у меня потрясающая. Я ничего никогда не забываю. Наверно, это и есть, Антоний, нормальная человеческая память, а все остальное — отклонение от нормы. По всем предметам, кроме гимнастики, у меня были шестерки. А мини-юбки, если хочешь знать, я изобрела. Я так вытянулась в один год, что платьице у меня задралось вот досюда. Так я и ходила с голыми ногами, такими тонкими, как у меня сейчас руки. Чулок и то у меня не было. Мне покупали одну пару в год, и они все у меня были штопаны-перештопаны. «Штопать» — это самое для меня ненавистное слово, Антоний. Мама все мне рассказывала, как один офицер женился на бедной девушке. Увидел, что она хорошо штопает, сказал: лучшей жены мне не найти! И они поженились. Сначала мне было обидно, что я так плохо одета. Очень я стыдилась, что я такая оборванная. Но сейчас я им благодарна, честное слово. Кем я только в жизни не была! И Таис, и Зоей Космодемьянской, и даже Сонечкой Мармеладовой. А они как были, так и остались никем.

В первый же год у них родились близнецы. Они были русые, кудрявые, толстенькие, как поросята. И, как поросята, по целым дням визжали от голода. Я их очень

любила, пока они были маленькие. Кормила их, купала, мыла им розовые заднюшки. Вообще, заботилась о них, пока была здорова. Но как-то — им исполнилось уже по шести лет — я застала их, когда они кое-чем занимались. Наверняка ничего серьезного не было, так, баловались дети. Но никогда в жизни я так не злилась. Сейчас я даже не могу понять, почему. Я избила их до синяков. Цецо меня выгнал, и я переселилась к доктору Юруковой. А потом мы встретились с тобой, Антоний, вот и все.

Она замолчала и принялась жадно пить лимонад. Она не выглядела такой измученной и подавленной, как в первый раз. Даже какие-то веселые огоньки поблескивали в ее ясных глазах. И тогда, все еще необычно возбужденный, я снова допустил бестактность:

— Прекрасно знаешь, что не все!

— А что еще, Антоний? — взволновалась она.

— Расскажи про дядю.

— Нет! — привстав со стула, крикнула она.

Никогда не видел я ее такой — не испуганной, нет, а внутренне напряженной, мертвенно-бледной, с плотно сомкнутыми губами.

— Нет! — повторила она. — Прошу тебя, Антоний!..

— Конечно, конечно! — не меньше ее взволновался я. — Не хочешь — не надо!

Мы посидели еще немного и уехали, но настроение у нас снова испортилось.

С этого дня что-то изменилось в наших отношениях. Они стали проще и естественнее. И жизнь наша стала естественнее. Доротея возвращалась домой запыхавшаяся и разрумянившаяся, быстро прибирала квартиру. У меня было странное ощущение, что предметы, к которым прикасались ее руки, обретали невесомость и сами становились на свои места. Иногда она читала что-нибудь, что попадалось ей под руку в моей библиотеке, но только не романы. Иногда бралась за ноты. Но я заметил, что уже без прежнего увлечения. Все чаще она включала магнитофон. Иногда часами расспрашивала меня о композиторах, особенно о Чайковском. Я недоумевал, о чем ей рассказывать, а о чем промолчать, особенно когда речь шла о его женитьбе. Слушала она внимательно, сама, вероятно, догадываясь о недосказанном. Или по крайней мере мне так казалось.

Я очень к ней привык, скучал, когда ее не было дома. Не вздрагивал нервно, когда случайно касался ее руки. Не пугался, когда порой она часами молчала. Или часами наблюдала за полетом птиц. Каждый день мы выходили на террасу, сидели там, пока не заблестят звезды. Только теперь я стал замечать, как много на свете птиц. А ворон даже больше, чем нужно. Безошибочно я различал только ласточек, в основном по их стремительному полету. Но Доротея была замечательным орнитологом и о птицах знала едва ли не больше иного старшего научного сотрудника. Не столько об их строении, сколько о характере и привычках. Она говорила о них как о людях, с их жизнью, судьбой, даже мечтами. И это меня ничуть не поражало. Иногда по ночам без всякого страха я думал, что, возможно, и я уже не в своем уме. Но мне так приятно жилось, что ни о чем другом я и не мечтал.

Мы ходили куда-нибудь ужинать, обычно на террасу ночного ресторана. Она предпочитала этот ресторан, хотя и не возражала, если я предлагал пойти в другое место. Пожалуй, посидеть в приятной обстановке нарядного зала было единственным ее развлечением. Я прекрасно понимал ее, ведь я видел ее палату в больнице. Теперь она вела себя непринужденно, смеялась моим шуткам, ела с аппетитом. Только когда кто-нибудь из моих друзей или знакомых случайно подсаживался к нашему столику, она хмурилась, держалась с ними недружелюбно, почти грубо.

А в остальном она становилась все приветливей и спокойней. И главное — проще. Она немного поправилась, если судить по ее чуть округлившимся щекам. Я радовался переменам в ней, уверенный, что она постепенно обретает настоящее душевное здоровье. Наконец-то у нее был свой дом, и я считал, что пока этого вполне достаточно. Мне не хотелось думать, чем все это кончится, важно было, чтобы она выздоровела окончательно.

Снова наступил день, в который я обычно относил деньги жене. Но на сей раз я предварительно позвонил по телефону, чтобы подготовить почву. Мне не хотелось выслушивать ругань и оскорбления.

— Послушай, Надя,— сказал я миролюбиво,— прошу тебя, если можно, без дурацких выходок.

— Ну, знаешь,— ответила она сухо.— Хочешь — приходи, не хочешь — не надо. Только без ультиматумов.

Я долго раздумывал, не благоразумнее ли послать деньги по почте. И все-таки пошел. Я не из тех, кто увиливает от своих обязанностей, как бы ни были они неприятны. С трудом заставил себя нажать кнопку звонка. Кошка, заслышав звонок, стрелой ментнулась в прихожую. Мне было слышно, как она хрипло мяукнула за дверью. В гостиной она уселась немного поодаль, глядя на меня укоризненным взором. Своим поведением я, видимо, окончательно уронил себя в ее глазах.

Надя тоже уселась напротив меня. Только теперь я заметил, что на ней чистая, свежевыглаженная блузка. И что она не в стоптанных тапочках, как обычно. Против обыкновения она молчала, задумчиво глядя перед собой. Похоже, совсем забыла обо мне, погруженная в свои будничные, невеселые мысли. Но она явно не была сердита. Наконец она повернулась ко мне и сказала:

— Я видела твою полоумную.

Вероятно, мне следовало встать и молча уйти. Не отдав деньги. Но, как это обычно бывает, любопытство пересилило обиду.

— Где? — спросил я неприязненно.

— Подкараулила ее у издательства.

Как это было на нее похоже!

— Там работает по крайней мере человек десять девушек, — сказал я.

— Но среди них только одна полоумная. И не так уж трудно угадать, какая. Она, ничего не подозревая, села в трамвай, я — за ней. Мне хотелось ее хорошенько рассмотреть. Ничего девушка, недурна, только ноги у нее на твой вкус слишком тонкие. Для тебя женщина состоит из одних ног, Антоний, ты даже не замечаешь, если ли у нее голова.

— У тебя ее вообще не было! — мрачно заметил я.

— Неостроумно! — отозвалась Надя неожиданно спокойно. — Ну, положим, не такая, как твоя, но и мой котелок варит неплохо. Хотя эта твоя девушка очень чуткая, но на меня она не обратила никакого внимания, слишком торопилась домой. Даже пустилась бежать от ваш. й остановки. И я, конечно, изо всех сил за ней. Ну ладно, она-то ненормальная, а я-то, спрашивается, с чего? Все мы, бабы, Антоний, немножко полоумные, не то что вы, мужики. Но пока я, еле поспевая, бежала за ней, я ее не :ножко полюбила. Пустая, ветреная, самовлюбленная девчонка не будет так бежать.

Никогда до сих пор я не слыхал, чтобы Надя отозвалась одобрительно о другой женщине. Или она не считала Доротею женщиной, что было, в общем-то, справедливо.

— Да, жалко девушку! — сочувственно продолжала она. — Чего она дождется от тебя? В жизни не видала человека осторожнее и эгоистичнее. Да и закон на твоей стороне.

Я удивленно посмотрел на нее, и это ее разозлило.

— Что ты уставился, как будто не понимаешь, что́ я хочу сказать! По закону ты не можешь жениться на сумасшедшей, и ты ничем не рискуешь — так, приятное щекотание нервов.

— Что за чушь! — разозлился я в свою очередь. — Мне это и в голову не приходило.

— Тогда зачем же ты с ней связался?

— Не будь вульгарной. Просто хочу ей помочь.

— Скажите, какой филантроп нашелся! — Она окинула меня уничтожающим взглядом. — А у самого тонкий расчет. Не злись, надо полагать, бессознательный. Хочешь, скажу мое мнение? Немедленно порви с ней. Ты, видно, не представляешь себе, что она за человек. Ты же знаешь, где остановка, так вот, она бежала как угорелая почти полкилометра, я остановилась на полпути, выругалась и пошла обратно. Мне стало стыдно — за себя, конечно. Любому стало бы стыдно.

— Поэтому ты сегодня так вырядилась? — спросил я.

На мгновенье в ее глазах блеснула ненависть.

— Да! — сказала она твердо. — Человек должен уважать себя. Хотя бы за ту каплю человеческого, что в нем есть.

На этом наш разговор закончился. Что мы еще могли сказать друг другу? Что еще осталось между нами? Я вынул из кармана деньги, положил на стол и выпрямился в неловкой позе.

— Что же ты не спрашиваешь о сыне? — глянула она на меня.

— Да, как он?

— Как он, спрашиваешь? Не пожелал прийти. Раскричался — останусь у бабушки, хочу у бабушки, и все тут! У бабушки жить захотел! Я-то знаю, в кого он пошел! Все вы, мужики, или почти все, боитесь настоящих женщин, Антоний. Они вам кажутся непонятными и неудобными.

Другое дело — бабушки. Моя добрейшая маменька так ему будет угождать, что избалует окончательно.

— Давай отдадим его моей матери,— предложил я.— В детстве она меня порядком драла!

— Но и битье не всегда помогает,— возразила Надя.— Ладно, иди, не люблю, когда ты стоишь как истукан.

Я пошел к двери. Кошка провожала меня. Она, по-видимому, была возмущена мной и решительно не понимала: чего мне здесь недостает? Постель удобная, жена покупает свежую телятину. Конечно, она иногда кладет так много лука и черного перца в котлеты, что их и понюхать противно. Но все-таки это еще не причина для того, чтобы спать на крыше, как эти дураки — бездомные коты. Я наклонился, погладил ее и выскочил из неприбранной прихожей. Тогда я не подозревал, что пройдет много-много печальных месяцев, прежде чем я снова появлюсь в этом доме.

Лето становилось все жарче. Даже по утрам было очень душно. А с работы Доротея возвращалась мокрой курицей. Но это не очень удручало ее — она вообще не обращала внимания на мелкие неприятности. А я перестал работать, даже не прикасался к раскаленным клавишам рояля. Но, несмотря на это, я был спокоен, меня не грызло вечное стремление заполнять нотные листы черточками и точками. Заполнятся, когда придет время, имеет же человек право принадлежать самому себе. В этот месяц мы часто отправлялись на водохранилище, обычно рано утром, еще затемно. Было так приятно мчаться на полной скорости, ощущать, как овевают тебя струи рассекаемого машиной воздуха. Одна за другой выплывали из сумрака далекие вершины, озаренные лучами утреннего солнца. Над озерами, встречавшимися по пути, курился бледный, прозрачный туман — каким бы теплым ни было утро, вода в них была еще теплее. В их глубине таилась рыба, но я ею больше не интересовался, даже не брал с собой удочки. Было кому ловить вместо меня.

Генерал Крыстев взял отпуск и жил на даче вместе со своей женой Зоркой, которую мы с Доротеей звали тетей. С вечера он насаживал на огромные крючки уклеек и другую мелкую рыбешку и забрасывал снасти у берега. А утром вытаскивал таких громадных рыб, что сам долго и с удовольствием разглядывал их, словно каких-то морских чудовищ. Тетя Зорка тушила их в масле, заливала

вкуснейшим майонезом собственного изготовления. Мы съедали все с аппетитом. Доротея приучилась есть рыбу, к которой раньше не притрагивалась. Иногда с генералом выпивали мы по стаканчику холодного белого вина. Мне казалось, что Доротея по-настоящему счастлива впервые с того дня, как мы познакомились. Генерал и его жена очень привязались к ней. Своих детей у них не было, но вряд ли только этим объяснялась их любовь к Доротее. Генерал Крыстев, по всей видимости, навел о ней справки. Такая была у него работа, обязывала знать все. Во всяком случае, он ни разу не спросил меня, кто она и кем мне приходится. Но тетя Зорка своим чутким сердцем наверняка угадывала, что она мне не любовница. Оба они ходили за ней, как собачонки, изо всех сил старались ей угодить. Самым странным было то, что Доротея не тяготилась этим необыкновенным вниманием, находя его вполне естественным. Вероятно, считала, что сполна платит им той же монетой — ответной любовью.

В один из таких дней мы лежали в купальниках на берегу озера. На душе у меня было так спокойно и ясно, как редко бывало в моей жизни. Какой-то шорох вывел меня из задумчивости. Это Доротея, стоя, равномерными движениями натиралась кремом для загара. Она очень загорела за последний месяц, и на смуглом ее лице глаза блестели, как бриллианты.

— Дай я тебя натру! — сказал я.

Это вырвалось у меня нечаянно. Доротея только улыбнулась и подала мне флакон. Я отлил чуть-чуть на ладонь и приложился к ее худенькой смуглой лопатке. Током, разумеется, меня не ударило. Я размазал по спине густую маслянистую жидкость спокойно, без стеснения и без внутреннего трепета.

— Какой ты милый, Антоний! — произнесла она.

— Ну, не такой, как твоя тетя Зорка! — пошутил я.

— Они оба такие добрые! — сказала Доротея серьезно. — Потому что они такие несчастные.

— Почему ты так думаешь?

— Ведь у них нет детей!

Мы оставались на даче до позднего вечера. Ужинали, выпивали одну-две бутылки холодного, прямо из холодильника, пива. И только после этого возвращались домой. Мы приезжали почти ночью, но, несмотря на это, в городе было нестерпимо душно, тяжко, пахло асфальтом и пылью. Чаще всего мы не торопились заходить

в квартиру, а поднимались на террасу. Там босоногий ветерок уже расхаживал по крышам домов, легонько раскачивая антенны. Мы лежали, было приятно просто дышать свежим воздухом. Обычно молчали, погруженные в то внутреннее ощущение покоя и умиротворения, которое свойственно, вероятно, одним только кротким жвачным животным. И потому меня так удивили внезапно произнесенные ею слова:

— Антоний, хочешь, я расскажу тебе про дядю?

— Да, конечно,— согласился я.

— Только я боюсь, Антоний.

— Чего?

— Чтобы оно не передалось тебе... Страшно носить такое в душе.

— Для мужчины, Доротея, это не имеет значения.

— Имеет,— ответила она с горечью.

И долго молчала, прежде чем начать свой рассказ.

— Я ведь тебе говорила, Антоний, про бабушку? Она была очень старая, еле передвигала ноги. Редко-редко, чаще всего весной, она выходила из дому и часами сидела на пороге. Когда она пыталась мне что-то сказать, я не понимала ни словечка. У нее ведь не было ни единого зуба, и она говорила, словно у нее была каша во рту. Она никогда не ходила в баню. Да и как ей было туда добраться? Конечно, Цецо мог бы ее на руках отнести не то что в баню, а на край света, если б захотел. Но он, вероятно, считал это лишним. Сам он мылся раза два в год, хотя мама и прогоняла его в баню. «Да ведь я и так чистый! — оправдывался он.— И работа у меня чистая!»

Иногда мама мыла бабушке голову. Обычно летом, во дворе. Таз горячей воды, чайник, простое мыло. Она хорошенько намыливала ей голову, потом поливала из чайника водой. Голова у бабушки становилась маленькая-маленькая, как груша, по носу стекала вода. Бабушка терпела, только время от времени отфыркивалась, как буйвол. Вода брызгала во все стороны, мама страшно сердилась, ругала ее на чем свет стоит. Но один раз она увидела, как я хорошо купаю близнецов, и решила, что я должна мыть голову и бабушке. Сунула мне в руки кусок мыла и ушла.

Никогда я не думала, Антоний, что это так страшно. Я кое-как намылила ей голову, но когда начала тереть, меня вдруг охватило ужасное отвращение. Сейчас я даже

не могу объяснить, отчего. Я бросила мыло и опрометью кинулась со двора. Мне казалось, что она гонится за мной, мокрая, страшная, вот-вот схватит меня за косы. Не знаю, долго ли я бежала и куда. Наконец я опомнилась. И подумала: что если бабушка умерла, захлебнулась мыльной водой или бог весть что еще с ней случилось? И я снова понеслась во весь дух, теперь уже домой. С бабушкой ничего не случилось, она доплелась до кухни, сидела там с мокрой головой и плакала. Цецо, вернувшись, избил меня, а мама отправила к дяде.

Дядя встретил меня приветливо. Когда я рассказала ему, как я мыла бабушке голову, он очень сочувствовал мне. Самое страшное, Антоний, что был он необыкновенно похож на моего отца. Только он был намного старше, почти совсем лысый. Он, правда, был не такой худющий, как папа, но зато подбородок у него был до того острый, что его совсем будто бы и не было. Он мне напоминал морскую свинку, но такую старенькую, что ей и жить-то уже надоело. А еще, по-моему, он был похож на опоссума, хотя такого зверя я никогда живьем не видела. Но мне все время казалось, что если опоссум встанет на задние лапки, то брюшко у него повиснет между ними, как мешочек. Точно такой вид был и у моего дяди. Два передних зуба торчали у него над нижней губой. Одно время я даже думала, что он питается человеческими головами, прогрызает им макушки, а потом выбрасывает в окно, как пустые кокосовые орехи. И другие жуткие картины представлялись мне. Чудилось мне, что у него нет ни костей, ни фигуры и весь он какой-то бесформенный. То мне виделось, что он удлиняется, как червяк, или разбухает, заполняет собой всю комнату от стены до стены, как густая студенистая масса. Я прямо умирала со страху, как бы этого не случилось на самом деле, но бежать мне было некуда, домой я боялась вернуться из-за бабушки.

А вообще-то он был неплохой человек, Антоний, набожный и добрый. Зимой собирал со стола крошки и кормил воробьев и голубей. Очень он любил голубей, так нежно их гладил, только в глазах у него при этом появлялся какой-то странный блеск. Но, в общем, чем же он был плохой? Глаза у него постоянно слезились, как у папы, может, потому, что его тоже бросила жена. Мы жили совсем одни в пустом доме, нет, не в доме, а на этаже, но разве этого мало? Иногда мне было жутко. Чаще я его жалела, такой он был ничтожный и гадкий. Мне бы-

ло его жалко, даже когда он кашлял или сморкался. Очень смешно он сморкался: весь синел, а глаза чуть не вылезали на лоб. Я все думала, что он не сегодня-завтра умрет, но он и сейчас жив и, может, даже не постарел нисколечки. Должна тебе сказать, что папа его не любил и никогда не водил меня к нему. Дядя был невозможно трусливый: боялся лошадей, собак, молнии, даже автобусов. И автобусы тоже от него шарахались. Не знаю уж, почему — может, они брезговали им. Однажды автобус при виде его так круто свернул в сторону, что врезался в витрину. Говорили, что было скользко и у автобуса отказали тормоза, но это неправда, ему просто было противно столкнуться с дядей.

Я говорю тебе об этом, Антоний, потому, что и я боялась его. Когда он гладил меня по волосам, я вся сжималась в комок, как зайчонок. Иногда он гладил меня и по коленкам, и глаза у него становились неподвижными и потными, словно они были стеклянные. Я поселилась в комнате, где раньше жила тетя. Сначала там ничего не было, кроме дырявого пружинного матраца, в котором поселились мыши. Потом дядя принес мне одеяло, простыни, стол и кое-что из вещей. И стал ко мне еще добрее.

Но на душе у меня все же было тревожно. Хотя я сама не знала, отчего я его боюсь. Ничего плохого он мне не делал. Только по ночам я слышала за дверью его шаги. Ходил он тихонечко, на цыпочках и изредка чуть слышно поскуливал, как щенок. Вряд ли мне это мерещилось, когда я лежала, затаив дыхание от страха, и напряженно прислушивалась. Мне тогда и в голову не приходила мысль об *этом.* Я все думала, что он и мне прогрызет голову и выбросит ее за окошко, как кокосовый орех.

В тот день небо было серое, почти осеннее, моросил мелкий дождик. И дядя попросил меня подняться с ним на чердак, чтобы, мол, поискать какой-то конверт с квитанциями, который он будто бы засунул в один из старых чемоданов. Я сразу догадалась, Антоний, что должно произойти. Только не понимала, зачем было лезть на чердак, когда поблизости и так не было ни души — кричи не кричи, никто не услышит. Наверное, он меня задушит, а потом повесит на балке, вроде как я сама повесилась, пронеслось у меня в голове. Если ты думаешь, Антоний, что я была как загипнотизированная от страха и не сознавала, что делаю, то ошибаешься. Мне уже не было так страш-

но. Я могла бы убежать по лестнице, позвать на помощь. Но я этого не сделала. Я чувствовала, Антоний, как он весь дрожит, и мне стало ужасно его жаль. Никогда до тех пор не испытывала я такой жалости и сострадания к другому человеку, я вся прямо разрывалась от боли и жалости, до того он был слабый, отвратительный и несчастный. Потом такую жалость я испытывала только к той девушке, с которой мы жили в одной палате в больнице у доктора Юруковой. Она была милая, добрая и совсем-совсем нормальная, только по ночам ей представлялось, что на нее нападают крысы. Она страшно кричала, отбивалась от них, и мне так было трудно разбудить ее, внушить ей, что никаких крыс нет. Я даже ужасно похудела от переживаний, Юрукова наконец догадалась, в чем дело, и перевела меня в другую палату.

Вот теперь ты все понимаешь. Наверно, у нормальных людей бывает иначе, но со мной все случилось именно так. Я поднялась на чердак, словно шла на казнь. Было темно, противно пахло прелым тряпьем. И когда он наклонился ко мне, я вдруг пошатнулась и потеряла сознание. Думаю, что это меня и спасло. Он испугался больше моего, я представляю, как он перетрусил, не в силах был пошевельнуть ни рукой, ни ногой. А может, все это я себе вообразила...

Небо было темное, почти серое, стояла неописуемая тишина. Не тишина, а невероятное безмолвие, поглотившее меня, точно яма.

Потрясенный, я судорожно перебирал бившиеся во мне слова, истинное значение которых я забыл. Я думал, что знаю о людях все или почти все — по собственному опыту или из книг. Но сейчас я понял, что никакие книги, никакие слова не выражают всей правды. Или не смеют ее выразить.

— Тебе тяжело, Антоний?

— Тяжело? Почему? — переспросил я.

— Ведь все передалось тебе!

— Не думай об этом! — сказал я. — Оно могло мучить только тебя... Над другими оно не властно.

— Какой ты добрый, Антоний!

— Нет, Доротея... Я не хочу быть добрым. Так, как ты это понимаешь.

— Хочешь, чтобы тебе стало легче?.. Легко-легко?

— Нет, не хочу! — твердо ответил я.

Я не хотел, чтобы мне было легко. Зачем мне облегчение? И от чего мне избавляться? Наоборот, я хотел нести то, что обрушилось на меня, я хотел раскалить это добела, чтобы оно засветилось и прорезало тьму. У меня не укладывалось в сознании, как я мог жить до сих пор таким беззаботным, ничем не отягощенным, словно в невесомости. Но, даже поглощенный своими мыслями, я не мог не почувствовать, что она устремила на меня пристальный взгляд.

— Встань, Антоний! — тихо произнесла она. — И не бойся, я не причиню тебе зла.

Я покорно встал.

— Дай мне руку!

Я протянул ей руку. Ее пальцы показались мне неожиданно теплыми и сильными.

— А теперь, Антоний, взгляни на небо. Ты должен привыкнуть к нему.

Привыкнуть к нему? Зачем человеку привыкать к небу? Я смотрел на него, и теперь оно мне казалось ниже, словно я стал исполином и мог дотянуться до его высот. Низкое, черное и непривычно холодное. Но звезды сияли таким ослепительным блеском, что я невольно зажмурил глаза.

— Скоро, Антоний, ты почувствуешь удивительную легкость. Словно ты стал вдруг воздушным... Молчи... Ответь мне только, чувствуешь ли это, да или нет?

— Да! — сказал я немного погодя.

— Вот мы и взлетели, Антоний!.. Расслабься... Не делай резких движений. И главное, не думай ни о чем!.. Вот и все — будь счастлив!

Голос ее звучал необычайно звонко и мелодично. Я даже не почувствовал, как мы отделились от террасы. Мы летели в вышине, под нами дрожали огни города. Они были нам видны, как с самолета, идущего на посадку. Мы словно плыли среди безбрежного моря огней. И все-таки это было непохоже на полет самолета, мы не летели, мы парили, как птицы с надежными, крепкими крыльями. Я ощущал и свое тело, и воздух, омывавший меня, словно вода.

— Тебе не страшно, Антоний? — спросила она. — Да или нет.

— Нет, нисколько!

— Хочешь, поднимемся выше?



— Да!.. Да!..

Мы летели к звездам, которые становились все крупнее и ярче. Ураганный ветер бил мне в лицо, лоб мой застыл, ноздри расширились. Я не был в этот миг ни бесчувственным, ни бесплотным, ее рука, ставшая, как мне показалось, еще сильнее, еще горячее, крепко сжимала мою. Потом ураган стих, хотя воздух сделался почти пронизывающе холодным. Мы снова парили в вышине, но теперь я видел одни звезды, резавшие мне глаза своими алмазными гранями.

— Доротея, где же земля?

— Под нами! — ответила она.— Не бойся, мы летим на спине.

Неужели она допускала, что я мог испугаться? То, что я испытывал в тот момент, представлялось мне естественнее и реальнее всей моей прежней жизни. Доротея была права: люди произошли от птиц.

— Ты счастлив, Антоний?

— Да, Доротея...

— Вот видишь... Но человек не может быть счастлив, если он этого не заслужил.

— А чем же я заслужил, Доротея?

— Тем, что поверил мне.

Мы снова ощутили теплое дыхание земли. Как далеко остались почти неразличимые огни города! Он казался мне маленькой земной галактикой, затерянной в пустыне вселенной.

— Где мы сейчас, Доротея?

— Над горами... Поэтому внизу так черно.

— Черно и мертво! Но все равно прекрасно!

Мы парили над горами выше спящих на вершинах орлов.

— Тебе не холодно, Антоний?

— Немножко.

— А мне никогда не бывает холодно,— сказала она.— Чувствуешь, какая я горячая? Я думала, что мое тепло перейдет к тебе, Антоний... Но ничего, мы уже спускаемся.

И действительно, мы спускались, приближаясь к городу, огни которого становились все отчетливей. Нас омывали струи воздуха, то теплые, то прохладные, словно мы плыли в море. Я чувствовал себя все более легким, почти звенящим от легкости.

— Ты летала когда-нибудь прежде, Доротея?

— Много раз, Антоний.

— Сколько?

— Не знаю. Но это не так просто... Мы не можем взлететь, как птицы, когда захотим.

Голос ее постепенно слабел. Видно, она была права: нам нельзя было разговаривать. Наверно, это отнимало у нее силы. Мы спускались все ниже и ниже, я уже ясно различал дороги со скользящими по ним огоньками машин. Потом начал различать улицы и площади, даже отдельные здания с их неоновыми коронами. Я ощущал, как ее рука постепенно остывает в моей, как дрожат ее пальцы.

— Нужно спускаться,— произнесла она едва слышно.

— Хорошо,— согласился я.

Трудно было представить, что вновь будешь ступать по твердой земле. Что придется передвигать отяжелевшие ноги. Вдыхать раскаленный воздух. То, что мне казалось безграничной свободой, оборачивалось рабством, безутешным в своей неизбежности.

— Ты сможешь найти наш дом, Доротея?— спросил я.

— Не разговаривай, Антоний!— ответила она глухо.

Я почти не заметил, как мы коснулись теплого бетона террасы. Мы не приземлились, а опустились на нее, точно птицы. Я не мог разглядеть как следует ее лица, но мне казалось, что она сильно побледнела. Нащупав ее теперь холодную как лед руку, я повел Доротею за собой. Мы спустились по темной лестнице, я отпер дверь квартиры. Медленно подняв руку, повернул выключатель. Вспыхнул свет. Я не спал. Раз я не просыпался, значит, это мне не приснилось. Я почувствовал, как рука, которую я сжимал в своей, снова задрожала.

— Потуши свет, Антоний!— сказала она умоляюще.

Я снова повернул выключатель, и мы потонули во тьме, теплой и влажной, точно мы были в берлоге. Я почувствовал, как Доротея отделилась от меня и исчезла, словно растворилась в воздухе. Все мое тело трепетало, я, видно, был сильно напуган тем, что случилось. Или не случилось? Этого я не знал. Но страх все сильнее охватывал меня; густой, липкий, он просачивался сквозь все поры, проникал в сердце, и я чувствовал, что цепенею.

— Антоний!— позвала она.— Антоний, что же ты не идешь?

Услышав ее голос, я испытал огромное облегчение. Я все еще бессмысленно стоял на пороге, даже не прикрыв дверей.

— Я не вижу тебя! — ответил я.

— А я вижу,— сказала она.— Иди прямо!

Голос ее не был так звонок и ясен, как там, вверху. И все-таки это был ее голос, слегка усталый, настоящий живой человеческий голос. Я осторожно пошел вперед, ударился обо что-то — верно, об угол дивана, но боли не ощутил.

— Тебе не холодно? — спросила она.

Я вздрогнул, так неожиданно близко раздался ее голос.

— Не очень.

— Но ты же дрожишь, Антоний!

— Знаешь... Вверху...

Я не посмел докончить свою мысль. А если никакого «вверху» не было? Да, конечно же, не было и не могло быть. Вечер как вечер, мы только что спустились с террасы, собираемся ложиться спать.

— Иди, я согрею тебя! — сказала она.

Я слышал, как она лихорадочно раздевается в темноте. Слышал ее учащенное дыхание. Призрачно мелькали во мраке ее тонкие голые руки. Я порывисто обнял ее и в тот же миг отпрянул. Жуткое ощущение, что я обнял мертвеца, пронзило меня.

— Что с тобой? — вскрикнула она.

— Но ты... ты просто как лед! — воскликнул я и испугался звука собственного голоса.

Помедлив секунду, она сказала:

— Антоний, эта сила исходит от меня одной! А сегодня нас было двое... Не бойся, Антоний, я не лебедь, я человек.

Да, значит, это случилось на самом деле, раз она так спокойно говорит об этом. Конечно, никто не может летать в вышине, не жертвуя ничем. Беспечно, без всякой разумной цели летают одни библейские ангелы. Я снова стал спокоен так же, как *там, наверху*. Я ласкал похолодевшими пальцами ее гладкие щеки, плечи и девичью шею. Ощущал, как к ней постепенно возвращается настоящее человеческое тепло, как оживает и становится упругой ее кожа. Сначала согрелись ее руки, потом стройные ноги. Все горячей становилось ее дыхание, все больше наливалось силой ее гибкое, тонкое тело. Даже легкие во-

лосы обвивались вокруг моих пальцев, как живые. Я чувствовал, как у меня все сильнее и сильнее кружится голова, словно я с безумной скоростью падал с высоты. Но теперь мне было все равно: там, внизу, меня ждала такая привычная земля. И все равно, что́ она мне принесет — жизнь или смерть, все равно. В это мгновение я постиг, как звери или деревья, простую истину, что жизнь и смерть — лишь два иллюзорных, сменяющих друг друга лика вечного бытия.

Проснулся я поздно. Доротеи не было. Ее постель была пуста. Не было никаких, даже малейших, следов ее присутствия, точно ее никогда не было на свете. Странное ощущение охватило меня, будто я вернулся назад во времени, перенесясь в какое-то ушедшее лето. Или в один из прошлых веков, уже пустой и безжизненный, как воспоминание о мертвых. Я боязливо огляделся вокруг — никакого прошлого века. Оранжевый палас, два кресла с деревянными подлокотниками, крышка рояля, блестящая, как зеркало, в лучах летнего солнца. Несомненно, я был у себя дома... По комнате была разбросана моя одежда. Да, случалось и такое в моей безалаберной жизни — когда я не знал, где я, зачем и почему нахожусь именно тут. Но сейчас сомнений не было — я у себя дома.

Одно за другим всплывали воспоминания, яркие и отчетливые. Но все же они были как бы вне меня, отделенные от меня тонкой преградой. То ли фанерной стенкой, то ли дверью, от которой нет ключа. Я уже видел это. Длинный тоскливый коридор, каменный пол, еще влажный после мытья. Окна с решетками. Я это уже видел. Девушка, бледная, с оттопыренными ушами, несущая воздух в ладонях. Когда и где? Я плотнее налег на дверь, я не хотел никого и ничего впускать. Но он упорно просачивался сквозь замочную скважину, сквозь все щели — мой страх.

Я машинально встал с постели, подобрал валявшуюся на полу одежду. Вошел в ванную. Там, на стеклянной полочке перед зеркалом, лежали *ее* вещи — маленькая зубная щетка, крем, шампунь. Господи, уж не сошел ли я вправду с ума? Весь дрожа, я встал под холодный душ. Сколько мог, стоял под ним, потом как ошпаренный выскочил из ванной, поспешно натянул на себя одежду, снова вернулся в холл. Теперь мне стало лучше, я даже посмотрел в окно. Обычный жаркий летний день, запах асфальта, ослепительный блеск никелированных поверх-

ностей стоящих возле дома машин. Поодаль на газоне надоедливо жужжала косилка. Седой старик в поношенных штанах рассеянно и уныло толкал ее перед собой. Я взглянул на часы — двадцать две минуты десятого. На календаре — двадцать шестое. Конечно, двадцать шестое июля, а вчера было двадцать пятое. Я понимал, что самое разумное — выйти из дома на улицу, очутиться среди людей. Достаточно всего лишь несколько минут послушать обычную человеческую речь, чтобы прийти в себя.

Я облегченно вздохнул, сев в машину, включил мотор. Мой единственный друг, неодушевленный, но верный, собранный из стальных частей, проводов, железок — в который раз ты спасаешь меня? Я медленно свернул за угол и вскоре выехал на бульвар. По твердому булыжнику мостовой лениво полз гигантский экскаватор. Его уродливая голова, такая крохотная по сравнению с громадным туловищем, была грустно опущена, словно он обнюхивал дорогу. Я осторожно обогнал его и покатил дальше. Я знал, куда ехать. Только там мне помогут — и больше нигде.

В это утро в клинике было не так людно. Тяжелый больничный запах, скорее воображаемый, чем реальный, снова ударил мне в нос. Я вошел в кабинет Юруковой. Она сидела за столом, внимательно вчитываясь в убористо напечатанный на машинке текст. Услышав стук, она подняла голову. Какой бы хладнокровной и привыкшей к неожиданностям она ни была, все-таки я уловил в ее взгляде беспокойство.

— Садитесь, товарищ Манев!

Я молча сел, стараясь отдышаться. Только сейчас осознав, что, поднимаясь, не просто быстро шел, а бежал по лестнице.

— Вы чем-то, кажется, расстроены? — сочувственно сказала она.

— А что, заметно?

— Да на вас прямо лица нет. А может, вы чем-то напуганы?

Она говорила как-то необычно мягко, ласково, дружелюбно.

— Да, немного.

— И что же случилось?

— Мы летали! — выпалил я. — Доротея и я.

Сейчас я отдаю себе отчет в том, что в моем голосе, очевидно, прозвучала злость, даже ненависть. Но я никак не ожидал, что мои слова произведут на нее такое силь-

ное впечатление. Ее мягкое восковое лицо с выражением безмятежного иконописного спокойствия мгновенно преобразилось, стало напряженным и озабоченным. Я догадывался, что она испугалась, но старается это скрыть.

— Расскажите подробнее! — сказала Юрукова невозмутимо.

Пожалуй, я достаточно толково рассказал о том, о чем вряд ли можно было связно рассказать. Я кончил, она молчала. Я догадывался, что она напряженно пытается сохранить самообладание. Нелепость того, о чем я повествовал, почти успокоила меня. Но от ее молчания мне стало жутко. Наконец Юрукова подняла на меня спокойный взгляд.

— Прежде всего не волнуйтесь! — сказала она ласково. — Вы абсолютно нормальны, никакая опасность вам не грозит.

— Нормальные люди не летают! — сказал я со злостью.

— Никаких доказательств, что вы летали, нет! — продолжала она. — Галлюцинации иногда могут казаться реальнее самой действительности.

— Да, но у меня никогда не было галлюцинаций. У здорового человека не бывает галлюцинаций. Почему у меня вдруг ни с того ни с сего начнутся галлюцинации?

— Вы ошибаетесь! — ответила она. — Вы же знаете, что Доротея — девушка не совсем обыкновенная. Раз она способна читать мысли, то почему бы ей не обладать силой внушения?

Я был поражен, такая мысль не приходила мне в голову.

— Вы считаете, что она меня загипнотизировала?

— Ну, не совсем так. Но что-то в этом роде.

Да, конечно, разве может быть иначе? У меня точно камень с души свалился.

— Вы исключаете возможность полета?

— Не исключаю, — мягко ответила она. — Хотя он представляется мне маловероятным.

— Не исключаете? — почти закричал я.

Мне почудилось, что в ее глазах мелькнула досада. А может, едва уловимое презрение.

— Чего вы от меня хотите? Я могу утверждать то, что мне известно и понятно. Вы вполне нормальный человек, и вам ничто не грозит. Разве вам этого недостаточно?

Да, этого мне было недостаточно. Я продолжал смотреть на нее с недоумением.

— Товарищ Юрукова, вы знаете, что такое гравитация?

— Нет, не знаю! — ответила она сердито. — Даже физики не знают.

— Дело не в определении... А в сути. Вы, вероятно, слышали, какая огромная энергия нужна для того, чтобы вывести ракету на орбиту?

— А вы считаете, что человечество знает все о так называемой энергии?

— Я вас не понимаю.

Юрукова нахмурилась.

— Товарищ Манев, научно доказано, что есть энергия, присущая только живой материи, — сказала она. — И ее нельзя объяснить никакими известными нам законами физики.

Эта женщина была, по всей вероятности, не в своем уме. Или ничего не смыслила в своей профессии. Неужели так трудно было заглянуть мне в душу? И просто-напросто успокоить меня. Я не хотел допускать, что я летал — это представлялось мне абсурдным и страшным. Тысячу раз я предпочел бы быть загипнотизированным.

— Вы не должны пугаться этой мысли! — продолжала она. — Не ради установления истины. Но ради вашего душевного здоровья. Я не убеждаю вас в том, что вы летали... это действительно невероятно. Но это не так уж глупо или страшно, как вы полагаете. Мы все еще не знаем ни всех возможностей человеческого сознания, ни того, к чему может привести развитие мыслящей материи.

— Человек не может летать! — произнес я упавшим голосом. — Это не дано людям. Это безумие.

— Товарищ Манев! Зачем вы прикидываетесь дураком? — неожиданно рассердилась она. — Попытайтесь мыслить немного более современно. Это не мистика, не безумие! Это — наука!

На этот раз я промолчал, понимая, что, чем дольше буду говорить с ней, тем хуже для меня. Я вообще не собирался спорить с ней по поводу ее сомнительных научных теорий. Кто-то сдвинул пуговицу силой мысли. Дело большое. Не такой уж я серый человек, чтобы не знать, что такое, к примеру, парапсихология. Но летать?

— Прекратим этот разговор! — пробормотал я. — Обо мне не беспокойтесь, я как-нибудь справлюсь с собой.

Юрукова деланно улыбнулась.

— Я вам дам таблетки,— сказала она.— Будете принимать их три дня по три раза. Потом опять придете ко мне.

— Спасибо.

— И ни в коем случае не тревожьте Доротею. Не расспрашивайте и не разубеждайте ее. Она, естественно, верит в то, что делает. Сейчас нам не следует ей противоречить. Но если она опять вам предложит летать, то откажитесь, как бы она ни обижалась.

— Будьте спокойны! — неприязненно сказал я.

— А я беспокоюсь! Разве вы не понимаете, почему она проделала именно с вами этот, если можно так его назвать, эксперимент?

— Это меня больше не интересует! — сухо ответил я и вышел.

Домой я вернулся часа в два. Теперь я уже страшился не того, что произошло, а того, что произойдет. Я боялся нашей встречи с Доротеей, самой Доротеи, слов, которые мы должны были произнести. Я испытывал к ней непонятное чувство враждебности. Разве не была она незваным гостем, совершившим грубое насилие над моей личностью и человеческой природой?

Я не стал ее дожидаться. Когда стрелка часов приблизилась к четырем — времени, в которое она обычно возвращалась с работы,— я поспешно сел в машину и погнал ее куда глаза глядят. Заглянул в дневной бар гостиницы «София», выпил сто граммов водки и только тогда набрался храбрости позвонить по телефону.

— Это ты, Доротея?

— Я, Антоний, откуда ты звонишь?

В ее голосе слышалась тревога.

— Из Союза композиторов,— хладнокровно солгал я.— Сижу на заседании. Вернусь часам к десяти. Ты никуда не уйдешь?

— Конечно, нет. Ты же знаешь, что я никуда не хожу.

Я вернулся раньше десяти, ободренный водкой, которую смешал с большим количеством лимонного сока, опасаясь, как бы Доротея не заметила, что я пил. Может, время сотрет что-то у меня из памяти. Но знаю, что до последнего часа мне будет помниться ее взгляд. Что он выражал? Ищу и не могу найти слов для объяснения. Найти слова — значит понять все. Но, видимо, это мне не

по силам. В нем читались и надежды, и недоумение, и молчаливый вопрос, граничащий с ужасом.

— Привет! — сказал я как можно развязнее.— Ну что, скучала без меня?

— Ты же знаешь, что я никогда не скучаю, Антоний,— тихо ответила она.

— Знаю, потому и спрашиваю.

Я продолжал играть эту жалкую комедию еще минут десять. Признался, что выпил одну-две рюмки в компании. Но в отличие от нее умирал от скуки. Она улыбнулась, на душе у нее, видно, стало легче. Мое неестественное поведение она, наверно, объясняла тем, что я пьян. Пока я неожиданно для самого себя не проронил:

— Вот что, Доротея, завтра я уезжаю в Пловдив... На два-три дня.

— Зачем? — встрепенулась она.

— Там дают концерт из моих произведений... Я должен присутствовать на двух последних репетициях.

— Хорошо, поезжай,— согласилась Доротея.

Ничего хорошего тут не было. Она опять помрачнела, лицо ее вытянулось. И я заметил, что со вчерашнего дня она как будто осунулась, похудела. Острая боль внезапно пронзила мне сердце.

— А на концерт мы поедем вместе! — прибавил я с наигранным оживлением.— Ты бывала в Пловдиве?

Но она словно не слыхала меня. Задумчиво подошла к открытому окну, долго стояла возле него. Когда она обернулась, лицо ее было очень бледным.

— Антоний, я совершила ошибку! — сказала она чуть слышно.—Я не хотела тебя испугать. Я думала... я думала, что ты поймешь меня!

О чем это она? Ведь столько всего произошло вчера вечером. Я едва нашел в себе силы произнести:

— Доротея, не будем говорить об этом сегодня.

— Хорошо,— сказала она.— Хочешь, я согрею тебе чаю?

— Нет, спасибо... Я безумно устал.

Во мне словно что-то надломилось. Я встал и медленно ушел в спальню.

На другой день я проснулся рано, почти на рассвете. Чтобы не разбудить Доротею, я прошел через холл на цыпочках, как вор. Она спала, повернувшись лицом к окну, за которым уже брезжило утро. Ее гладкая шея нежно белела в предрассветном сумраке. Сейчас я уже не бору-

чусь, что она спала. Может, не хотела, чтобы я знал, что она не спит, что она не спала всю ночь. Или у нее не было сил попрощаться со мной. Но я был убежден, что вернусь. Я верил в это, как верят в судьбу. И не через три... Всего через два дня. Мне только надо успокоиться, собраться с духом. Я не хотел, действительно не хотел бежать от судьбы, какой бы она ни была. Это я твердо решил после долгой беспокойной ночи.

Садясь в машину, я еще не знал, куда поеду. Во всяком случае, не в Пловдив... Пловдив, как любой другой город, полон шума и движения. А мне были нужны спокойствие и тишина. И чтобы ни один знакомый не мозолил мне глаза. Я поехал в Боровец. Там в это время года тоже было довольно много народу, гостиница была переполнена. Случайно все же нашелся свободный номер, куда я перенес свои вещи — если так можно назвать мой единственный чемодан. Здесь было тихо и пустынно, но эта прозрачная пустота и неподвижные деревья подавляли меня. В первое утро я погулял по лесу. В старом глухом лесу царила тишина, не слышно было даже пения птиц. Шагая наугад по тропинке, я наткнулся на муравейник, настоящий маленький Вавилон из земли, сухих листьев и сучьев, кишмя кишащий большими черными муравьями. Дошел до просторной солнечной поляны, желтой от цветущего молочая. Постоял с минуту и вернулся назад.

После обеда вышел на террасу, которая одновременно служила кафе. Пил дешевый, скверный коньяк, ничего другого не было. Пил не спеша, но много. Впервые в жизни пил один. Солнце давно спряталось за горные склоны, улицы и аллеи погрузились во мрак. Чем больше я пил, тем острее понимал свою глупость. И свою безмерную подлость. Я старался не думать о Доротее, но время от времени она возникала в моем воображении, и в глазах ее, полных ужаса, был все тот же немой вопрос.

В первый вечер я ушел к себе в номер сразу же после закрытия кафе, пьяный и трезвый одновременно, охваченный зловещим предчувствием. Во сне мне грезилось, что я снова лечу над городом, над горами, среди легких как дым облаков, стелющихся в вышине. Я был бесконечно счастлив. Но проснулся с тревожным чувством. За окном сияло ослепительное летнее солнце, сильно пахло смолой от сосен, подступавших к самому моему окну. Я вышел на узкий цементный балкон, в сущности, было еще очень рано — глубокие долины меж гор утопали в те-

ни, где-то неподалеку журчала вода. Я наклонился: уборщицы, оживленно болтая, терли мокрыми тряпками плиты террасы. Спустился вниз, заказал яичницу с ветчиной и бутылку пива. Оно было такое холодное, что я неожиданно приободрился. В конце концов не так уж важно, в своем уме человек или нет. Важно, чтобы ему было хорошо. А я был счастлив во сне, чего же еще?

Вечер застал меня на террасе, я был пьян и угрюм. Я не вставал из-за стола целый день. В часы наибольшего оживления ко мне подсаживались немецкие туристы, большей частью в шортах, со смешными кожаными кепочками на голове. Некоторые, в основном женщины, посматривали на меня с интересом, даже с известным уважением — что это за мрачный тип сидит, один как сыч, равнодушно взирая на окружающих? Ну что ж, сегодня второй и последний день, завтра я уезжаю. Но почему завтра?.. Почему непременно завтра?.. Разве я обязан соблюдать какой-то срок? Или я нашел здесь то, что искал? Разумеется, нет. Зачем же тогда ждать завтрашнего нетерпимо знойного дня? Я встал из-за стола и, как слепой, побрел к машине — не расплатившись, не сказав никому ни слова, не взяв вещей. Включил мотор и выехал на шоссе. Руки у меня все еще тряслись, зубы отбивали дробь. К счастью, дорогу я знал как свои пять пальцев и мог проехать по ней в каком угодно состоянии. От напряжения я протрезвел, прежде чем въехал в город. Впрочем, я даже не заметил, как промчался по нему. Опомнился я, только когда остановил машину перед высокой темной башней нашего дома. Не заперев дверцы, я взбежал по ступенькам. Лифт работал. Поднялся на свой этаж, дрожащей рукой повернул ключ в замке, с размаху открыл дверь. О, слава богу, святые угодники — в прихожей горел свет! Свет горел и в холле, с порога я увидел, что на столе лежит ее синяя сумочка.

— Доротея! — закричал я радостно.

Но Доротеи не было дома.

Да, ее не было, но все говорило о том, что она только что вышла. И вот-вот вернется, раз она даже не погасила свет. Внимательно, пядь за пядью, я обследовал всю квартиру. Она не ужинала. Не взяла с собой никакой одежды. Не взяла, вероятно, и денег, раз оставила свою сумочку на столе. Но особенно меня поразило и испугало то, что в прихожей стояла единственная пара ее туфель. Не могла же она уйти босиком? Нет, конечно, разве только на

террасу. Как же я сразу не догадался, разумеется, она там. И я бросился вверх по лестнице.

Но на террасе никого не было. Расстроенный, я подошел к низким перилам. Невольно поднял глаза к небу, словно Доротея была не человеком, а птицей, которая в любой миг могла выпорхнуть из темноты. Ничего, кроме тусклых, грязноватых звезд и темных теней облаков. Я спустился вниз, посмотрел на часы. Было без десяти двенадцать. Я сел в кресло и стал ждать.

Сейчас я с трудом вспоминаю ту кошмарную ночь. Да и нечего вспоминать. Медленно, как огромная гусеница, в дом вполз липкий ужас. Словно привязанный к креслу невидимой веревкой, я не мог ни сбежать от него, ни остановить его, ни раздавить. Напрасно я старался успокоить себя разумными доводами. Чего не случается в жизни. Глупого, обыкновенного и все же неожиданного. Может, у нее кто-то умер, например мать, и ее попросили срочно прийти. Может, она купила новые туфли. Может, сидит расстроенная за чьим-нибудь столиком в ночном ресторане, прислушиваясь к чужим разговорам. Может, случилось худшее — началась снова ее болезнь, и она, безумная, бродит по безлюдным улицам. Но даже это я предпочитал самому страшному. Я предпочитал видеть ее пусть обезумевшей, чем не видеть вовсе. Пусть ее привяжут к кровати, пусть она кричит и стонет, но пусть будет здесь, рядом со мной! Я нашел бы в себе силы, непременно нашел бы силы и возможности вернуть ее к нормальной жизни.

Часам к трем я вспомнил про злополучные таблетки Юруковой. Выпил две, через полчаса еще одну. Так я просидел до утра, оцепенелый и бесчувственный, без единой мысли в голове. Часам к восьми я заставил себя сдвинуться с места. Принял холодный душ, переменил рубашку и белье, потом снова медленно поднялся на террасу. Отсюда все пространство вокруг дома было видно как на ладони. Никто не мог проникнуть в дом незаметно для меня.

Именно поэтому мое внимание привлекла кучка людей, стоявшая недалеко, метрах в ста от нашего дома, посреди большого пустыря, изрытого ямами и усеянного строительным мусором. Они сгрудились, наклонившись к земле, некоторые даже присели на корточки. Они были явно чем-то взволнованы. Что-то тревожно угадывалось в их суетливых движениях, до меня долетали их испуган-

ные голоса. Большинство из них, судя по защитным каскам, были рабочие с соседней стройки. Они подняли что-то с земли и неловко, мешая друг другу, понесли к дому. Я прекрасно видел, что это женщина, ее тонкие босые ноги свисали, словно у мертвой. Когда они подошли ближе, я разглядел знакомое платье. Я кинулся вниз по лестнице — у меня не было сил дожидаться лифта.

Они несли Доротею. Как я узнал потом, она пролежала всю ночь на голом, изрытом грейдерами пустыре. Она лежала там, пока крановщик случайно не заметил ее с высоты своей кабины.

Лишь к обеду мне удалось дозвониться генералу Крыстеву. В нескольких словах я объяснил ему случившееся. Помолчав, он ответил мне своим обычным глуховатым голосом:

— Хорошо, приходи ко мне. Я закажу пропуск на твое имя.

Через полчаса я уже сидел в его кабинете. Передо мной словно был другой человек — сосредоточенный, спокойный, чужой. Но особенно поразили меня его глаза — никогда бы не подумал, что у него может быть такой холодный, острый и проницательный взгляд. Только когда он заговорил, в голосе его зазвучало что-то знакомое и дружеское.

— Во-первых, успокойся, — сказал генерал. — И расскажи мне все как можно подробнее. Все, что произошло между вами.

Все, что произошло? Разве можно было это выразить словами? Разве я сам понимал, что случилось? И мог ли я ему рассказать, как мы в полночь парили вдвоем в темной вышине неба? Я слишком хорошо знал неумолимую логику его трезвого медлительного ума. Рассказать все у меня просто не хватило духу. Но, утаив главное, я почувствовал, что рассказ мой звучит неубедительно, даже неправдоподобно.

— Ты что-то скрыл от меня! — сказал генерал, когда я замолчал.

— Ничего! — твердо заявил я.

— Тогда не понимаю, почему ты вдруг укатил в Боровец?

— Я же тебе объяснял, почему! В эту ночь мы впервые были близки. Ты вряд ли поймешь, как это потрясло меня. Все-таки она не была обыкновенной девушкой

с обычной судьбой. Мне надо было собраться с мыслями, успокоиться.

— Да-а, ты поступил весьма неразумно! — сказал, нахмурившись, генерал.— А тебе не пришло в голову, что и ее надо было успокоить, сказать ей доброе слово? Особенно после такой ночи.

Я почувствовал себя припертым к стенке.

— Что поделать, так уж получилось,— сказал я беспомощно.— Теперь-то я понимаю, но что от этого толку?

— А почему ты хотя бы не позвонил ей из Боровца?.. Одно-два ласковых слова утешили бы ее.

— Да я хотел было. Но пришлось бы заказывать междугородный разговор, и она догадалась бы, что я не в Пловдиве.

Как видно, он ждал такого ответа, потому что лицо его немного прояснилось. Но он сидел по-прежнему неподвижно, занятый своими мыслями. Только теперь я понял, как он расстроен и подавлен, как ему трудно владеть собой.

— Насколько я понимаю, ты меня допрашиваешь,— сказал я.

— Да, допрашиваю! Правда, не так, как полагается в подобных случаях.

— В каких случаях?

— Совершено страшное преступление,— ответил он,— Доротею убили. Спросишь, как? Ее сбросили из окна верхнего этажа или с высокой террасы — такой, как ваша, например. Тело ее изуродовано, кости перебиты, прости, что я тебе об этом напоминаю...

У меня потемнело в глазах, хотя я и ожидал, что он скажет нечто подобное. Но я быстро взял себя в руки и спросил:

— Почему ты считаешь, что ее сбросили, а не она выбросилась?

— Потому что там, где нашли труп, нет никакого строения. Очевидно, ее перенесли после... А кто мог это сделать, кроме убийцы?..

Он рассуждал, конечно, вполне логично.

— А в какое время это произошло?

— Медицинской экспертизой установлено достаточно точно — между одиннадцатью и двенадцатью ночи. Как раз в то самое время, когда ты вернулся домой.

— Да, я понимаю, что на меня падает весьма серьезное подозрение! — сказал я равнодушно.— И для этого есть основания.

Меня в самом деле охватило равнодушие. Какое значение имеет то, что меня подозревают? Она была мертва, и это непоправимо. И никакое следствие не могло воскресить ее. Да и как я смею оправдываться, если я действительно был виновником ее смерти.

— Я этого не говорил,— сухо ответил генерал.— Есть некоторые факты, которые снимают с тебя подозрения.

— Какие? — спросил я без всякого интереса.

— Если бы она была сброшена с вашей террасы, то она бы упала на асфальтовую дорожку перед домом. Тогда на теле у нее остались бы следы многочисленных кровоизлияний. А таких следов нет! Глупо было бы думать, что, сбросив ее в другом месте, ты перетащил труп сюда. Зачем? Чтобы против тебя появились улики?

— И это все? — спросил я.

— Нет, конечно! Но это главное. И все же вопрос остается открытым — кто убийца? Зачем он перетащил труп? Чтобы отвести от себя подозрение? Отчего он не оставил труп где-то на тротуаре? Похоже, что убийца был сумасшедший, какой-нибудь психопат.

Естественно!.. Что еще можно подумать? Неужели нормальный человек мог допустить, что она просто упала с неба? Я молчал, генерал мрачно смотрел на меня.

— Вид у тебя...— произнес он уже другим тоном.— Иди домой, попробуй заснуть, если сможешь... Дела против тебя возбуждать не будут.

— Какого дела? — сказал я с отвращением.— Плевать я хотел на ваше дело!

Я вернулся домой. Идти мне было некуда, весь мир был мне ненавистен. Пустые душные комнаты, пылающие на солнце занавески, жесткий блеск металлических пепельниц. Даже горе и мука словно мгновенно испарялись в раскаленном воздухе. И это было самое страшное. Я чувствовал себя не столько несчастным, сколько безмерно опустошенным. Теперь мне не давала покоя моя жалкая ложь. Зачем я не сказал ему правды? Он, конечно, не поверил бы. Решил бы, что я сошел с ума! Ну и что из этого? Разве правда не превыше всего? Какая бы она ни была! Если я погубил ее своим ничтожеством или слабостью, то какое оправдание мог придумать мой злосчастный рассудок?

Я долго стоял под сильной струей ледяного душа, но и это не принесло мне успокоения. Я старался утешить себя надеждой, что не виновен в ее смерти. Разве я думал, что случится несчастье? Я ведь даже не знаю, что же на самом деле произошло. И никто никогда не узнает. А что, если она нарочно сложила крылья? Или неожиданно для себя обессилела и упала в бездну. Но какой смысл обвинять себя или оправдываться? Все это касалось только меня. А Доротея? Нет силы в мире, способной вернуть к жизни единственное человеческое существо, которому было дано летать.

Поздно вечером я с тяжелым сердцем поднялся на террасу. Я не посмел взглянуть на небо, на невзрачные звезды, слабо мигавшие у меня над головой. Они никогда не будут моими. У меня нет крыльев взлететь к ним. И нет сил. Доктор Юрукова сразу же угадала, я никогда не перешагну барьера. И не поднимусь выше этой нагретой солнцем голой бетонной площадки, на которую время от времени садятся одинокие голуби.

Белый ящер



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

И тогда Несси впервые увидел себя среди ледяных вод океана, настолько синих и плотных, каким не бывает и небо в самые студеные зимние дни, в самые ясные утра. Все словно бы дрожало как в ознобе, вода искрилась, будто наэлектризованная, и над всей этой промерзшей маленькой вселенной разносился нежный, еле слышный стон — это тихонько сталкивались леденеющие верхушки волн.

Он вошел в этот мир внезапно и неожиданно, словно бы шагнул сюда из другого существования. Но не испытывал ни малейшего удивления. Спокойно всматривался в бесконечную синюю пустыню — самое живое из того, что до сих пор видели его глаза. Белоснежные птицы рассекали холодную голубизну неба. Совсем один лежал он, лениво раскинувшись на громадной белой, более птичьих крыл, ледяной глыбе — тогда еще он не знал, что имя ей — айсберг. Лежал и смотрел на солнце, да, прямо на солнце, как ни ослепительно сверкало оно, маленькое и круглое, в этой пустоте. Лежал, охваченный ощущением, что тут он родился, тут и сольется когда-нибудь с веч-

ностью. Ни в ком и ни в чем он не нуждался. Ему вполне хватало этого пустынного мира, синего и белого. И птиц. Разум, его разум, самое невероятное из всего, чем он обладал, отдыхал лениво и спокойно, не слышно было даже еле уловимого шума, производимого великолепным, точным, прекрасно смазанным механизмом, который днем и ночью жужжал в жесткой коробке его черепа.

И тут появились киты. Три. Самец плыл чуть впереди, могучий, величественный, с блестящей кожей, казавшейся почти черной в бурлящей воде. За ним, чуть поодаль, следовали самки, каждое их движение выражало уверенность и покорность. Но все трое плыли очень мощно, ныряли в тугую эластичную воду, которая через какое-то время с силой выталкивала их на поверхность. Сначала в мягком солнечном свете появлялись головы, тонны воды на какое-то мгновение застывали на плоских лбах и тут же обрушивались на спины — уже не вода, а целые водопады хрусталя. И все это бесшумно, да, абсолютно бесшумно, хотя они и плыли с такой силой. Только нежный звон по-прежнему звучал у него в ушах, нет, даже не в ушах, а где-то внутри, в самой глубине.

Да, киты не делали больше ничего, только плыли. Все так же мощно ныряли и выныривали из воды, скатывавшейся с их блестящих спин. Ныряли и выныривали, только и всего. Но Несси смотрел на них не в силах оторвать взгляда, с огромным напряжением, с ощущением чего-то небывалого, рокового. И даже не пытался понять, что все это значит, откуда пришло, зачем. Просто лежал и смотрел.

И вдруг он вновь оказался в реальном мире, в своей собственной детской кроватке, которая давно уже стала ему короткой и тесной. Было раннее утро, в открытые окна лилась прохлада. На улице громыхали колеса трамваев, скрипели рессоры автобусов. Этот знакомый, почти не воспринимавшийся им шум плыл над городом, заглушая все остальные звуки. Несси вздрогнул и огляделся: все вещи стояли на своих местах — привычная, спокойная и будничная картина.

Несси увидел китов, когда ему было всего три года. Что это, сон или просто какое-то нелепое видение — он не знал. Слово «видение» было ему, разумеется, известно, но Несси был убежден, что за ним кроется очередная человеческая глупость или абсурдная выдумка. Значит, сон?.. Но ведь ему никогда ничего не снилось. Несси, ко-

нечно, тоже спал, как и все прочие люди, но совсем иначе. Просто закрывал глаза и проваливался в небытие. Время? Никакого времени. Просыпаясь, он испытывал чувство, что прошло всего несколько мгновений.

На эту тему Несси не раз беседовал с наблюдавшими за ним врачами и психологами. От них он узнал, что сновидения — это нечто путаное и нереальное, алогичное по самой своей сути, деформированное как образ и чаще всего неприятное как переживание. Сновидения, сказали ему, есть некое смешение пережитых или по крайней мере реально существующих в бодрствующем человеческом сознании ощущений. Объяснили, что в основе любого, даже самого невероятного сна заложена какая-то истина (или, может быть, представление о ней), причудливо перепутанная с явлениями действительной жизни. Несси был просто счастлив, что не видит снов: они казались ему слишком уж человеческими и потому отвратительными.

Но сейчас Несси, как никогда, чувствовал себя в растерянности. То, что он видел, походило на что угодно, только не на сон. Прежде всего это было до невероятности истинно и прекрасно. И полностью совпадало с какой-нибудь возможной действительностью — логичной в своем развитии и реальной во времени. Киты были настоящими китами, хотя он ни разу в жизни не видел этих животных. И все же Несси был уверен, что они выглядят именно так, в этом он ни секунды не сомневался. Тогда откуда возник этот внезапный, ничем не спровоцированный образ? Быть может, он еще младенцем видел какой-нибудь фильм по цветному телевидению, а потом забыл? Но как он мог забыть, если вообще никогда и ничего не забывал?

И Несси продолжал лежать в своей тесной детской кроватке. Небо становилось все светлее, в металлический грохот улицы все чаще врывались резкие истерические взвизги тормозов. Он чувствовал, что встревожен. Встревожен не самим сном или видением, а своей беспомощностью, тем, что он не в силах проникнуть в его суть. Обыкновенным людям, когда им не хватает знаний, помогает инстинкт или интуиция. Но у Несси не было даже этого. Иначе в нем, пусть даже где-нибудь глубоко-глубоко, быть может, шевельнулось бы сознание, что видел он всего лишь начало своей страшной, нечеловеческой судьбы.

2

Несси не был, как может показаться, кибером или каким-нибудь другим искусственно созданным организмом. Те, кто хорошо знают людей и умеют провидеть будущее, понимают, что этого никогда не случится. Даже если перед человечеством встанет угроза неотвратимой биологической гибели, оно и тогда не создаст своего искусственного человекоподобного продолжения, построенного на других принципах. Оно уже будет знать истину о своей сущности. И исчезнет в небытии, как еще раньше исчезнут муравьи, майские жуки, суслики и гремучие змеи.

Несси был человеком, как и все,— из плоти и крови, созданный и рожденный отцом и матерью. Как это ни странно, никто из наблюдавших за ним специалистов не мог ни обнаружить, ни угадать истинных причин этих, как они осторожно выражались, «отклонений от нормы». Наука, по существу, просто-напросто отрекалась от всех своих претензий. Ведь все, что называется духовной жизнью, до сих пор заставляет людей блуждать среди догадок и мистификаций. Каждый, у кого хватит смелости и терпения дочитать до конца эту весьма мрачную историю, поймет хотя бы, что претензии нашего времени вряд ли соответствуют его реальным возможностям.

Родители Несси были вполне обычные люди. Нельзя сказать, что стандартные, но все же обычные. Правда, занятия у них были не совсем обычные, но и только. Мать Несси, Корнелия, играла на лире. Как известно, этот инструмент на современного человека не производит никакого впечатления, кроме разве удивления, что вот есть, мол, еще на свете такие старомодные оркестры, которые его используют. Она и сама была похожа на лиру изящными линиями тела, благородными очертаниями тонких рук. Волосы у нее были пепельные, лицо можно было б назвать красивым, не будь оно таким бесцветным. От природы тихая и задумчивая, вечно словно бы погруженная в мечты, она почти не занималась домашним хозяйством.

Отец Несси, Алекси Алексиев, был старшим научным сотрудником в Институте радиоактивных изотопов. Люди утверждали, что на свете не найти другого столь же костлявого человека. И столь же волосатого — не брейся он по два раза в день. Честолюбия у него было много, разумеется, чисто научного, но, к сожалению, гораздо боль-

ше, чем возможностей. Правда, все соглашались, что человек он хороший, честный, абсолютно неспособный на какой-нибудь низкий поступок. Алекси очень любил свою жену, сам стирал, сам готовил, сам поддерживал в доме порядок — дело, конечно, довольно необычное, но ведь и чудом его тоже не назовешь.

Поженились они довольно поздно и долго не имели детей. Несмотря на все увещевания, Алекси не удалось показать жену хорошему специалисту. Корнелия была настолько стыдлива, что не решалась раздеться даже в присутствии мужа, а тем более перед кем-то незнакомым. Поэтому прошло немало времени, пока однажды она не прошептала, спрятав на груди у мужа бледное, слегка зарумянившееся лицо:

— Похоже, я забеременела, Алекси.

Радость его была настолько велика, что он даже испугался. Теперь-то она, конечно, покажется врачу, надо же проверить, действительно ли свершилось чудо. Он так и сказал — чудо. И, разумеется, был прав. Нет у природы ничего более великого и загадочного, чем зачатие человека. В нем она словно бы реализует свои наивысшие возможности. Потому что создает при этом не просто новую жизнь, а нечто гораздо большее. Когда Несси появился на свет, Алекси понял, насколько это верно. Но тогда он только пробормотал:

— Завтра я отведу тебя к врачу!

— Нет! Нет! — воскликнула Корнелия с энергией, на какую только была способна ее меланхолическая натура.

— К женщине-врачу, милая.

— Какой смысл, Алекси? Рано или поздно это все равно выяснится.

Но прошло три месяца, а ничего не выяснилось. Видно, Корнелия ошиблась. Однако спустя еще три месяца она снова сказала:

— На этот раз, Алекси, я, кажется, и вправду забеременела.

Да, на этот раз она не ошиблась. Как, вероятно, не ошибалась и раньше. Через несколько месяцев беременность стала вполне заметной. Ребенок в ней все рос и рос, становился крупнее и крупнее. Теперь Корнелия напоминала не лиру, а контрабас, настолько увеличился ее объем. Прошло еще несколько месяцев, она уже еле передвигала ноги. И так стыдилась своего вида, что вообще перестала выходить из дому. Алекси всерьез встревожил-



ся, но поделать ничего не мог. Корнелия целыми днями лежала, все более унылая, апатичная, с обреченным выражением лица, словно и не надеялась, что живот когда-нибудь перестанет расти.

Прошло еще несколько месяцев. Корнелия уже с трудом вставала с постели. Она лежала, укрывшись легким бумажным одеялом, живот возвышался над ней, как холм, вернее, как гора, настолько он был крут и объемист. Но по-прежнему категорически отказывалась показаться врачу. Алекси не понимал, что, в сущности, она права — чем тут может помочь врач? Разве только скажет, что у них должен родиться бегемотик.

Так никто и никогда не узнал, сколько продолжалась эта беременность — то ли десять месяцев, то ли больше года. Наконец Алекси пригласил известного профессора. Тот долго осматривал и ощупывал живот Корнелии, и лицо его становилось все более недоуменным и озабоченным. Корнелию осмотр довел чуть не до обморока — даже губы побелели. Профессор мрачно прошелся по комнате, окинул Алекси презрительным взглядом.

— Ребенок один... И находится в абсолютно нормальном положении.

— Тогда что вас тревожит? — осторожно спросил Алекси.

— Как что? Его размеры, вес. Культурные люди и такое невежество. Тем более вы — научный работник. Дали ребенку раскормиться в матери, как поросенку. Нужны были прогулки, труд, движение, теперь это каждая крестьянка знает.

Алекси виновато молчал. Уходя, профессор озабоченно сказал:

— Боюсь, так просто ей не разродиться. Этакий младенец может вспороть мать словно топором.

Прошло еще два месяца. Два ужасных трагических месяца — во всяком случае, такими они были для Алекси. Врачи встревожились не на шутку, каждую неделю собирали консилиумы, терялись в догадках. Все сроки давно прошли, а ребенок был жив и вполне жизнеспособен. Похоже, он неплохо чувствовал себя в материнском чреве, где можно было спокойно и без помех жить на чужой счет,— во всяком случае, никакого желания появиться на белый свет он не выказывал. Корнелия совсем ослабла, только взгляд у нее стал другим — в нем уже не было ни уныния, ни отчаяния, наоборот, появилась какая-то не-

ожиданная лучезарность, словно она собиралась подарить миру не ребенка, а по крайней мере мессию. Но как это сделать, если ни родовых болей, ни потуг она не чувствовала, а в последние дни как будто бы и шевеления не замечалось. Только тогда врачи забрали Корнелию в родильный дом и заявили Алекси, что если в течение двух дней ребенок добровольно не покинет материнского тела, они извлекут его с помощью кесарева сечения. Несмотря на весь свой страх и тревогу, Алекси сразу же согласился. Узнав об этом, Корнелия тихо сказала:

— А может, ему и не нужно рождаться, Алекси? Раз он не хочет...

— Меня не интересует, что он хочет!.. Главное, нужно избавить тебя от этого чудовища!

3

Так оно и получилось. Сделали кесарево сечение, извлекли Несси из материнского чрева. Когда хирург наконец взял его в руки, все, кто был в операционной, прямо-таки остолбенели. Ребенок никак не походил на новорожденного, это был вполне сформировавшийся и подросший мальчуган, который, казалось, вот-вот встанет на ножки и пойдет. Хирург крепко шлепнул его, чтобы пробудить дыхательный рефлекс. Несси, вероятно, счел этот поступок по меньшей мере невежливым, потому что повернул голову и удивленно взглянул на врача поразительно осмысленным взглядом. Грубым и несимпатичным показалось Несси это опрокинутое вниз лицо. Он попытался обругать врача, но, к его великому удивлению, из горла у него вырвался звук, который, пожалуй, больше всего напоминал крик павиана. Однако врача это вполне устроило.

— Готово! — довольно хмыкнул он.— Взвесьте его!

Пока сестра взвешивала новорожденного, остальные столпились вокруг, все еще не в силах оправиться от изумления.

— Восемь килограммов двести граммов! — потрясенно сообщила сестра.

Несси лежал на спине в холодной выгнутой чашке весов и не мог отделаться от чувства, что все это он уже когда-то видел. Не людей, конечно,— о людях он знал. Затаив дыхание, Несси разглядывал их белые халаты, вернее,

пятна крови на них — яркий, насыщенный, вкусный цвет воспринимался, казалось, прямо желудком. И вдруг он понял, что голоден, по-настоящему, по-человечески голоден, голоден ртом, а не жалкой пуповиной, столько месяцев обвивавшей его тело. Но и тут вместо членораздельной фразы из его горла вновь вырвался визгливый лай.

— Да он вроде бы говорит с нами! — засмеялся один из ассистентов.

Крупно и тяжело ступая, подошел хирург. Его хмурое недоумевающее лицо стало еще мрачнее.

— Это не человек! — пробормотал он. — Это что-то невероятное!

— Да будет вам, чудесный ребенок! — обиженно воскликнула сестра.

И она была права, разумеется. Ни в этом, да и ни в каком другом родильном доме никогда еще не появлялся на свет такой красивый младенец, то есть, вернее, такой красивый мальчик. Потому что, как известно, новорожденные младенцы — фиолетово-красные, сморщенные, словно печеные яблоки, с кривыми несоразмерными конечностями и белесыми, заплесневевшими в сырости материнской утробы пальчиками. А у Несси была молочно-белая кожа, стройное тельце, ясный взгляд больших голубых глаз, лоб мудреца. Но и старый профессор тоже был прав. Несмотря на физическое совершенство, в этом мальчике, казалось, было что-то нечеловеческое, противоестественное, почти уродливое. Впрочем, такое же впечатление производит и голая целлулоидная кукла с ее идеальной соразмерностью и вытаращенными, немигающими глазами.

Вообще женщинам в операционной Несси понравился куда больше, чем мужчинам, которые почувствовали себя чуть ли не оскорбленными. Мальчика сняли с весов, искупали, заботливо запеленали. Странное впечатление производили эта торчащая из пеленок крупная голова философа и ясные глаза, по-прежнему внимательно изучающие обстановку. В конце концов, думают они его кормить или нет, эти полоумные двуногие, которых, кажется, называют людьми?

Матери его показать было пока нельзя — она еще не пришла в сознание. Но хирург был уверен, что блестяще провел эту необычную операцию, и потому спокойно направился к себе в кабинет, где его дожидался Алекси. Завидев профессора, он нервно вскочил со стула, взъеро-

шенный, словно до смерти напуганный кот. За эти два часа щетина на его щеках выросла на полсантиметра.

— Как Корнелия? — с трудом прохрипел он.

— Не волнуйтесь, все в порядке!

— А мальчик?

— Почему ты думаешь, что это мальчик?

— Ну, при таких размерах...

— Действительно мальчик... Да не простой...

И хирург спокойно и обстоятельно рассказал Алекси, какой необыкновенный родился у него сын. Странный, почти фанатичный блеск появился в глазах молодого отца.

— Могу я его увидеть?

— Конечно. Только надень халат.

Костлявый, волосатый, словно горилла, Алекси склонился над ребенком. Напряжение исказило его лицо, дыхание стало учащенным и прерывистым. Неужели он и есть творец сего шедевра? — недоумевал профессор. Что-то было в этом противоестественное и аморальное.

Постепенно лицо Алекси смягчилось, взгляд засветился тихим торжеством.

— Вот оно! — наконец вырвалось у него.

Так восклицает человек, увидевший именно то, что он ожидал увидеть.

— То есть? — быстро взглянул на него хирург.

— Неужели не понимаешь?.. Впервые за миллионы лет!

Профессор скептически молчал.

— Не думаю, — ответил он наконец. — Скорее, просто необъяснимая случайность.

— А разве мутация не случайность?

— Не уверен.

— А как же Дарвин?

— Что Дарвин? — уже с некоторым раздражением ответил хирург. — Мутации возникают вовсе не так слепо и хаотично, как думают иные. В них наверняка заложено некое накопление качества. И что бы там ни говорили — некая направленность, заранее детерминированная условиями и особенностями материала.

Алекси еле заметно вздрогнул.

— Возможно. Иначе почему мальчик родился таким красавцем, а не, скажем, уродом вроде меня?

Но хирург словно бы не расслышал его последних слов. Или просто не обратил на них внимания. Оба молча

вернулись в кабинет. И там продолжали молчать, погруженные каждый в собственную путаницу мыслей. Старое, усталое лицо профессора, лицо лошади — из тех, которых убивают, помните? — понемногу прояснилось.

— А может, ты и прав,— словно бы с облегчением сказал он.— Может, тут мы действительно имеем дело с мутацией... Сейчас я уверен: ребенок находился в теле матери больше года. И кто знает, может, он вообще бы не родился без нашего насильственного вмешательства. Что в принципе свидетельствует о глубоких нарушениях генетического кода, то есть о резком изменении структуры какого-либо гена, или, иными словами, о мутации.

— Точно! — возбужденно воскликнул Алекси.

— И возможно, сейчас у нас в палате лежит существо, ценность которого превыше всех сокровищ мира... И кто знает, вдруг именно нам предстоит вырастить из него нового Адама?

Алекси молчал, побледнев, глаза его из-под густых бровей сверкали, как у какого-нибудь восточного дервиша.

— И все же чем может быть вызвана такая мутация? — продолжал рассуждать вслух профессор.— В конце концов ничто в этом мире не бывает случайным.

— Не понимаешь? — как-то странно взглянул на него Алекси.

— Чего?

— Вспомни, где я работаю!

Профессор прекрасно знал, где работает этот чудаковатый старший научный сотрудник, но не сразу понял, при чем тут рождение чудо-ребенка.

— Мне ведь приходится иметь дело с редкими радиоактивными изотопами... И часто — без всякой защиты. Количества у нас очень незначительные, радиация ничтожная. И все же — чем черт не шутит? Природа! Много ли мы знаем об истинных ее движущих силах?

— Да, ясно! — с облегчением сказал профессор.— Это все-таки хоть что-то объясняет.

Он явно развеселился. Но неужели до сих пор он считал, что тут не обошлось без дьявольских козней? Или божеских, все равно. Это неожиданное, необъяснимое, сверхчеловеческое существо, слишком совершенное, чтобы его просто можно было счесть некой игрой природы! Но разве не сам он говорил, что мутации вовсе не так уж слепы, как может показаться на первый взгляд?

— Как ты его назовешь? — спросил он.
— Анастас!
— Ну и имя!
— Анастас — значит «воскресший»... Разве он не воскрес в материнской утробе, словно феникс?

Так мальчик получил имя, которое позже для краткости переделали в Несси.

4

Для наблюдения за развитием Несси был создан особый совет ученых-специалистов, которому предстояло сделать из него по возможности научно значимые констатации и выводы. Вначале совет, несмотря на всякого рода драматические ситуации, взялся за дело с большим энтузиазмом. Надежды были так велики, что их просто страшно было выразить словами. Но постепенно настроение ученых явно изменилось. Термин «мутация» употреблялся все реже и реже, пока наконец совершенно не исчез из обихода. На смену ему пришло другое, гораздо более модное словечко — «акссперация», не только звучавшее скромней и безобидней, но и ничего фактически не значившее. Оно приводило в трепет и недоумение лишь нынешних родителей, особенно матерей, которым слишком рано приходилось задумываться о половой гигиене своих дочек.

С точки зрения анатомии Несси был точной копией любого другого человека, даже аппендикс у него был на месте. Единственное различие состояло в том, что он развивался значительно быстрее остальных детей. Но, как мы уже говорили, в наше время этим никого не удивишь. В странах с более высоким жизненным уровнем дети раньше начинают говорить, ходить, они быстрее растут, быстрее развиваются умственно.

И все же в случае с Несси ученые столкнулись отнюдь не с типичным проявлением акселерации, которая в конечном счете представляет собой вполне терпимое отклонение от нормы. Развитие этого ребенка было необыкновенным, потрясающим. Уже на втором месяце Несси заговорил, причем вполне сносно и правильно. Не было никаких «ба-ба-ба» и «ма-ма-ма», как у других детей. Довольно долго он бормотал что-то непонятное, бессвязное, но все же до странности напоминающее человеческую

речь, пока однажды из этого невразумительного хаоса внезапно не вырвались обычнейшие человеческие слова, к тому же безукоризненно произнесенные.

— Хочу есть! — заявил он.

Рядом не было никого, кроме матери. Корнелия прямо-таки подскочила, ошеломленная неожиданной репликой. Надо сказать, что она была, пожалуй, единственным человеком, равнодушным к этому удивительному младенцу, никогда не ласкала его, не прижимала к груди, не шептала нежных слов. На сына она смотрела с каким-то страхом, с трудом заставляла себя к нему прикасаться, даже отказалась кормить. После родов Корнелия не ожила, не стала веселей, не почувствовала, как это бывает со всеми матерями, великого облегчения и душевного подъема, а, наоборот, стала еще более унылой и озабоченной. Едва оправившись от неожиданности, она торопливо схватила бутылочку с молоком.

— Этого я не хочу! — еще более ясно и четко заявил Несси.

— Чего ж тебе дать?

— Каши!

Рассказ Корнелии, как и следовало ожидать, произвел в научном мире настоящую сенсацию. Несси и вправду ел много и жадно и рос не по дням, а по часам, становясь все красивей и великолепней. В три месяца он выглядел как годовалый. И тогда же встал на ноги и пошел. Ходил он с очень серьезным, даже сердитым видом, часто спотыкался, но никогда не пробовал ползать, как это делают другие дети. Говорил Несси мало, но почти сразу стал составлять довольно сложные предложения: «Мама, у меня болит живот» или «Здесь очень жарко». Ученых, наблюдавших за ним, не выносил, встречал их хмуро и враждебно, особенно если их было больше двух. А как-то, вглядевшись в одного смиренного лысоватого педагога, почти грубо заявил:

— Ты уходи!

— Почему? — серьезно спросил председатель совета.

— Он мне не нравится.

— Почему? Можешь сказать поточнее?

— А зачем он меня разглядывает?

— Дело в том, что ты не такой, как другие дети! — Ученый почти смутился.

— Знаю! — коротко ответил Несси. — И что из того?

И это говорил годовалый ребенок! Члены комиссии были единодушны — у Несси исключительный ум. Через год они утверждали, что ум у него колоссальный, несвойственный даже взрослым. К этому времени Несси уже свободно читал и считал не хуже счетной машинки. Так что, если ум его и представлял собой какое-то чудо, то чудо прежде всего математическое. Эксперты-математики с удовлетворением отметили, что знания Несси не уступают знаниям гимназиста, не говоря уж о его памяти, которая просто невероятна.

И все-таки ученых мужей всерьез смущали некоторые на первый взгляд мелочи. С каждым днем Несси становился все более недружелюбным, замкнутым и молчаливым. Он много читал, но не отличался особой любознательностью. Не проявлял никаких умений или дарований. Да и воображения у него словно бы не было никакого — впрочем, может, ученым это просто казалось. Потому что иногда он все же задавал нелепые, но такие естественные для детей вопросы: «Почему самолеты не машут крыльями?», «Почему лебеди не тонут?»

Похоже, у Несси не было даже инстинктов. Он страшно удивился, обнаружив, что горячий утюг или конфорка плиты могут обжечь пальцы. И поверил в это только после многократных опытов. Но особенно большая неожиданность произошла, когда Несси привезли на курорт. Корнелия, разумеется, на пляж не пошла — она и представить себе не могла, что можно появиться на людях в каком-то там купальнике. Так что Алекси выпала честь сопровождать мальчика к морю. Нельзя сказать, что оно произвело на Несси большое впечатление. Гораздо сильнее поразило его невероятно волосатое отцовское тело. Мальчик скептически, даже с некоторым отвращением оглядел его, потом спросил:

— Ты почему такой волосатый?

— Бывает! — неохотно отозвался Алекси. — Знаешь ведь, что человек произошел от обезьяны?..

— Во всяком случае, ты больше похож на собаку! — бесцеремонно изрек сын.

Алекси обиженно забрался под зонтик. Оставшись в одиночестве, Несси небрежно направился к морю. Здесь было мелко, и он спокойно, без всякого колебания вошел в воду. Вначале мальчик словно бы удивился ее прохладе. Однако, заметив, что люди не обращают на это никакого внимания, двинулся дальше. Вода уже доходила

ему до шеи, но Несси все так же невозмутимо шел вперед. Когда вода коснулась его подбородка, Алекси вдруг поднял голову и понял, чем это может кончиться. Как безумный, он бросился в воду и настиг Несси, когда над поверхностью виднелись одни лишь его темно-русые волосы. Вытащив сына, Алекси тут же впервые в жизни закатил ему пощечину, которую тот, как потом выяснилось, не забыл до конца жизни. Но сейчас он только мрачно взглянул на отца и спросил:

– Ты почему меня ударил?

— Неужели ты, дурень этакий, не понимаешь, что чуть не утонул?

— Что значит утонул? — спросил мальчик без всякого признака страха.

— Легкие, которыми мы дышим, наполняются водой, и человек задыхается.

— Как же они могут наполниться? — не понял Несси. — Ведь рот у меня был закрыт?

— Но ты б его обязательно открыл... Потому что захотел бы глотнуть воздуха.

— Глупости! — презрительно хмыкнул Несси. — Что я, не знаю разницы между водой и воздухом?

— Это делается инстинктивно, дурень!

— Если ты еще раз назовешь меня дурнем, я в тебя плюну! — сухо сказал Несси.

Но Алекси торопливо вытащил мальчика на песок, все еще встревоженный его неожиданным поступком. Впрочем, почему неожиданным, это было вполне в его стиле. Как и немедленно последовавший вопрос:

— Что все-таки значит инстинкт? Я то и дело слышу это непонятное слово.

Как всегда, вопрос был задан без особого любопытства. Но на этот раз Алекси понял, что обязан ответить.

— Инстинкт — врожденное поведение животных...

— Но я не животное.

— Подожди, не торопись. У людей тоже есть инстинкты, хотя и не столь многочисленные. Инстинкт самосохранения спасает человека там, где ему не хватает опыта... Как в этом случае с морем, например. Что-то вроде безусловного рефлекса. Человек подчиняется ему, не раздумывая.

— Я всегда думаю! — сказал мальчик. — И мне кажется, что этого вполне достаточно.

— Недостаточно! — закричал отец. — Не вытащи я тебя, ты бы утонул...

На этот раз Несси задумался надолго.

— Кажется, у меня и правда совсем нет инстинктов, — сказал он. — Это значит, что я не человек?

Тут Алекси впервые недоуменно вгляделся в красивое бесчувственное лицо сына. И впервые сердце у него сжалось от нежности и сострадания к этому чудо-ребенку, который, вероятно, был гораздо беспомощней остальных — обычных — людей.

— Нет, конечно, — мягко ответил он. — У человека инстинкты постепенно уступают место разуму и сознанию.

Лицо мальчика вдруг оживилось.

— А может, я сверхчеловек? — спросил он. — Раз я обогнал людей даже в отношении инстинктов.

Алекси недовольно нахмурился.

— Не люблю я это слово, — ответил он. — Потому что люди, которые себя так называют, обычно стоят даже ниже животных.

В то лето Несси еще раз смертельно напугал родителей. Семья отправилась на прогулку в Аладжа-монастырь близ Варны. По дороге Несси вдруг рванулся в сторону, и, когда вновь появился, в его руке извивалась полуметровая змея. Правда, мальчик держал ее за горло, так что та не могла его ужалить, но Корнелия при виде этой ужасной картины тут же лишилась чувств. Алекси, растерявшись, не знал, кому раньше прийти на помощь. Рядом без чувств лежала жена, а его сын по-прежнему держал перед собой змею, с холодной злобой глядя ей прямо в глаза. В сущности, Несси не испытывал к змее никакой ненависти. Просто ему не хотелось уступать. В конце концов ведь она была в его власти, а не наоборот.

— Несси! Брось немедленно! — вне себя крикнул Алекси.

Мальчик взглянул на него с недоумением. Почему люди впадают в такие нечеловеческие состояния? Что же оно такое — то, что заставляет их так резко менять свое поведение? — понять было невозможно. Сам Несси никогда и ни при каких обстоятельствах не терял душевного равновесия. Мальчик на секунду задумался, потом недовольно отшвырнул добычу. Змея изогнулась в воздухе, шлепнулась на землю и мгновенно исчезла. Корнелия уже пришла в себя и, наверное, решила, что ей что-то привиделось, настолько спокойным и невозмутимым вы-

глядел Несси. Алекси подошел к нему, кадык его прыгал от возмущения.

— Слушай, ты что, не знаешь, что такое змея?

— Конечно, знаю.

— А знаешь, что она ядовитая?

— Это ведь уж,— ответил мальчик.— А ужи не ядовиты.

Алекси только махнул рукой и бросился к жене. Она все так же испуганно глядела на мальчика. Мальчик тоже глядел на нее — пренебрежительно и равнодушно. Тогда Корнелия опустила голову и впервые заплакала — тихо и безутешно. Без всхлипов, почти без слез, просто беззвучно изливала свою боль.

Возможно, была и другая причина. За последний год Алекси словно бы забыл о жене, настолько он был увлечен сыном. Вначале он просто не находил себе места от радости и все время пребывал в таком упоении, что, не замечая странного состояния жены, до поздней ночи донимал ее разговорами о чуде, посетившем их дом. Они создали современного Адама, который положит начало новой породе людей, некоего сверхгения — таков был постоянный лейтмотив его рассуждений. Но шли месяцы, энтузиазм Алекси постепенно угасал, он становился все более задумчивым и рассеянным. И по-прежнему не замечал жены, которая была уже прозрачней воздуха. Но не это пугало и угнетало Корнелию, не это делало столь безысходной ее тоску. Она боялась собственного сына.

В этом Алекси убедился, еще когда они были на Золотых песках. Уже там он скорее догадался, чем понял,— Корнелия вообще перестала спать по ночам. С каждым днем она становилась все бледней, печальней и беспомощней. Пока однажды его не разбудил тихий плач, такой горький, жалобный и отчаянный, что он похолодел.

— Что с тобой, Корнелия?— испуганно спросил он.

— Давай вернемся в Софию!— умоляюще прошептала она.

— Конечно. Завтра же... Если тебе здесь плохо...

— С тобой мне всюду хорошо, Алекси,— ответила она.

— В чем же дело?

— Не могу я спать в одной комнате с этим мальчиком.

Действительно, она уже несколько месяцев как спала отдельно. Правда, занятый сыном, Алекси тогда не обра-

тил на это внимания. Но сейчас, пораженный ее словами, он спросил:

— Да ты понимаешь, что говоришь, Корнелия? Как это не можешь?

— Не знаю!..— беспомощно ответила она.— Я его просто боюсь.

Алекси ничего не ответил. Теперь уже он и сам до утра не смыкал глаз, изо всех сил стараясь проникнуть в смысл ее странных слов. Иногда на какие-то мгновения это ему вроде бы удавалось — истина вот-вот готова была обрушиться на него всей своей мощью. Потом он как будто куда-то проваливался, ничего не помнил и ничего не понимал. Никогда еще Алекси не испытывал такого странного состояния, порой ему даже казалось, что он помешался. Рассказать ей правду? Нет, будет еще хуже, гораздо, гораздо хуже. А он теперь должен заботиться только о ней — ни о ком и ни о чем другом. Только о ней.

К рассвету Алекси наконец уснул. Разбудило его жаркое летнее солнце, светившее ему прямо в кровать. Он уже забыл о своих ночных кошмарах. Осталась лишь уверенность, что, если он не хочет потерять жену, нужно немедленно возвращаться в Софию. Больше ничего он не знал и знать не хотел. Причины его уже не интересовали, все равно постичь их было невозможно.

Они действительно уехали в тот же день. И единственное, что ему осталось от этих тягостных часов, был робкий, полный благодарности взгляд жены.

5

Первые несколько недель, казалось, все было в порядке, словно внезапно вернулось доброе старое время, когда Несси еще не было на свете. Алекси вновь готовил вкусные, тонко приправленные мясные блюда, которыми он славился среди коллег. Стиральная машина просто пела под его руками. На поблекшем грустном лице Корнелии стала изредка появляться бледная улыбка. Это еще больше вдохновило Алекси, и как-то он сам сводил жену в театр, не поинтересовавшись даже, на что. Но давали «Видения» Ибсена, и Корнелия вернулась домой совсем расстроенная, хотя внешне никак этого не проявила. Алекси понял и стал к жене еще внимательней. Теперь уже и он порой посматривал на Несси

так, словно мальчик и вправду был во всем виноват. Но Несси не обратил на это никакого внимания. Ему давно надоел этот некрасивый, волосатый человек, чье навязчивое внимание тяготило его гораздо больше, чем заботы этих тупиц — ученых мужей. Но от них он все же хоть что-то узнавал, а от отца — ничего. Для него отец был просто-напросто ограниченным человеком. Вот мать — та вызывала у него хоть какой-то интерес, он и сам не знал, почему. Во всяком случае, ее отчужденность и холодность импонировали ему гораздо больше.

Отнюдь не отличаясь наблюдательностью, Несси, однако, заметил, что мать перестала даже глядеть в его сторону. С каждым днем все более подавленная и задумчивая, в их просторной квартире она казалась тенью. После временного прояснения тучи вновь сгустились. Пока Алекси был на работе, Корнелия целые дни проводила в своей комнате, погруженная в апатию и меланхолию, которые порядком испугали бы Алекси, если бы он мог видеть ее в таком состоянии. Но при нем она из последних сил, порой даже чрезмерно, старалась казаться оживленной, пыталась прислушиваться к его разговорам, иногда и сама роняла несколько слов. Корнелия действительно любила мужа и жалела его за то, что ему так не повезло в жизни — главным образом, как она считала, с женитьбой. К тому же именно в это время перед Алекси забрезжило что-то вроде научной удачи, и он рванулся к ней, словно старый, усталый пес, наконец-то напавший на след косули. Разочарованный в сыне, измученный вечным страхом за жену, Алекси отдался работе с какой-то нечеловеческой страстью, поразившей даже его коллег. Быть может, в эти дни он впервые в жизни поверил, что именно ему удастся прославить свой институт.

Но поскольку, как всегда, сил его явно не хватало, он трудился как одержимый, а вечером мозг, разгоряченный непосильной работой, не давал ему уснуть. Алекси часами вертелся, не сознавая, что рядом, тоже без сна, в смертельном страхе, как бы он этого не заметил, лежит жена. И однажды он все-таки заметил. Вернее, не он, а его полное любви сердце — это оно первым прислушалось к ее бесшумному дыханию, угадало истину.

— Ты не спишь, Корнелия? — тихонько спросил Алекси.

— Только что проснулась, — солгала она.

Алекси не поверил. И внезапно в каком-то внутреннем потрясении осознал, что снова забыл о ней. Пораженный, он помолчал, а потом заговорил снова:

— Что с тобой, дорогая? Что тебя мучает?

Корнелия молчала. Алекси казалось, что она перестала дышать.

— Ты должна мне сказать, неужели не понимаешь? — умоляюще продолжал он.— Тебе самой станет легче, вот увидишь.

Всем сердцем почувствовала Корнелия его доброту и поняла, что больше не может молчать.

— Не знаю, Алекси,— беспомощно ответила она.— Я просто чувствую себя лишней в этой жизни. Лишней и никому не нужной. Я только отравляю тебе жизнь, мешаю, самым ужасным образом убиваю в тебе веру в себя.

— Но ты же прекрасно знаешь, что это не так! — горячо возразил Алекси.— Умоляю, скажи мне настоящую причину. Уж не в Несси ли все дело?

— Не знаю! — подавленно ответила Корнелия.— Ничего я не понимаю. Но это началось после его рождения.

— Что тебя в нем раздражает? Что тебе невыносимо?

— Я же говорю, Алекси, не знаю. Может быть, его бесчувственность. Он не любит ни меня, ни тебя, ни даже себя самого. Он никого и ничего не любит... Разве это человек? Неужели это мы его породили? Просто не могу поверить. И это меня пугает, понимаешь?

— Глупости, милая! — воскликнул Алекси.— Уж это-то не должно тебя тревожить.

— Почему, Алекси? Прошу тебя, объясни.

— Но это же так просто,— ответил порядком приободрившийся Алекси.— Сама видишь, мальчик отличается невероятно сильным, исключительным умом. Пока, по крайней мере в этом возрасте, ум его доминирует над всем остальным. И подавляет своей мощью все: чувства, инстинкты, страсти. Они у него есть, только пока никак не могут проявиться.

— Не знаю! — ответила Корнелия.— Я думаю, он просто родился таким — бесчувственным.

— Нет, нет, это невозможно! — горячо возразил Алекси.— Ты же знаешь, что чувства пробуждаются намного медленней разума. То есть я имею в виду, большие, сильные чувства. И, к сожалению, гораздо быстрей увядают. Они пробудятся и у него, Корнелия, вот увидишь. Если разум — это и вправду свет, он укажет ему верный путь.

— Почему же разум, Алекси? — тихо сказала Корнелия. — Не помню, каким было мое чувство и когда оно родилось во мне. Но, увидев первый в своей жизни цветок, я уже твердо знала, что его люблю. И меня вовсе не интересовало, как он называется, где растет, сколько у него тычинок. Мне вполне хватало того, что это цветок.

— Не забывай, ты все-таки женщина, дорогая... Вот увидишь, он еще переменится.

— Может быть, — уныло сказала Корнелия. — Но все, что прорастает с трудом, обречено на малокровие и рано увядает.

Алекси знал, что она права. Но согласиться с ней — значило лишить ее последней надежды.

— И все-таки все зависит от почвы! — чуть не в отчаянии возразил он. — Только от почвы, Корнелия... На доброй почве все вырастает высоким и сильным...

Алекси даже не подозревал, насколько поможет Корнелии этот безнадежный разговор. Впервые за несколько месяцев в ее взгляде появился слабый блеск и даже, пожалуй, какая-то робкая надежда. Прошло еще несколько дней, и Корнелия снова взялась за лиру, тронула ее сильные, упругие струны, издававшие такие нежные звуки. Услышав их, Алекси понял, что перейден какой-то очень важный, может быть, роковой рубеж.

Так эта странная семья вновь зажила обычной будничной жизнью без каких-либо особых потрясений. Алекси все больше терял интерес к Несси, пока однажды не осознал, что и сам он тоже побаивается сына — вернее, не его, а ледяного взгляда и холодного равнодушия, с какими тот высказывал свои мысли и суждения. Казалось, между ними нет ничего общего, хотя они и были отец и сын. Несси все больше и больше читал, причем с какой-то невероятной быстротой. Порой, глядя, как мелькают под его рукой страницы, Алекси не без основания спрашивал себя, думает ли мальчик о том, что читает. Несси проглатывал книги одну за другой, но при этом ни одна жилка не трепетала на его красивом лице, ни одна самая слабая искорка не вспыхивала в глазах. Он был похож на змею, которая заглатывает мышей и лягушек без признака жадности или удовлетворения — просто чтобы набить ими желудок. Именно в это время встал вопрос о его образовании. Но как отдать его в школу, если по возрасту Несси подходил разве что для детского сада? Да и ученые мужи хорошо понимали, что такому мальчику тесны стены лю-

бой школы. Если так пойдет и дальше, в семь лет ему нужно будет поступать не в начальную школу, а прямо в университет. Но как, на основании каких документов? Кто выдаст ему аттестат? Ни заочное, ни частное обучение детей такого возраста законом не предусматривалось.

Доцент Колев взял на себя эстетическое воспитание Несси, не смущаясь тем, что такого предмета нет ни в одной учебной программе. Видно, тоже решил обогатить эту священную область новыми методами, итогом многолетних размышлений. И естественно — создать научный труд, долженствующий взбудоражить дремлющую педагогическую мысль. Доцент Колев прекрасно понимал, что опыт будет невероятно трудным, даже рискованным. Ведь воспитать гармонически развитую личность намного сложнее, чем изобрести какую-нибудь электронную машину. И все же молодой ученый даже представить себе не мог, какую несокрушимую железобетонную стену придется ему пробивать. Через несколько месяцев упорнейшей работы он вынужден был признать, что к «миру прекрасного» Несси просто-напросто не может иметь никакого другого отношения, кроме презрительного.

Были и еще открытия, поразившие доцента и приведшие его в полное недоумение. Так, например, мальчик совершенно серьезно считал, что все, о чем написано в романах, имело место в действительности. Но это еще куда ни шло. Доцент Колев с изумлением обнаружил также, что Несси принимает показываемые по телевизору художественные фильмы за прямую передачу с места событий. А с тем, что называется «фильмовым временем», его могучий разум вообще не желал считаться. Факт, что некоторые герои старели у него на глазах, не производил на мальчика никакого впечатления.

Несси был страшно удивлен, когда молодой доцент объяснил ему, в чем тут дело. Все, что тот говорил о художественном вымысле, о его отличии от реальной действительности, показалось мальчику чистейшим обманом.

— Вымысел есть вымысел! — раздраженно возражал он. — Не может вымысел быть истиной. Это логический абсурд.

— Художественный вымысел нечто большее, чем обычная реальность, — упорствовал доцент. — Это конденсированная истина.

— Глупости! — холодно ответил мальчик. — Истина одна, простая и неприкрашенная. Ваша конденсированная истина — уже не истина, а ложь.

Но доцент Колев не хотел сдаваться. На следующий день он принес две прекрасные цветные репродукции «Махи обнаженной» и «Махи одетой» Гойи. На них Несси соблаговолил взглянуть с некоторым интересом.

— Какая из двух картин тебе больше нравится? — спросил молодой доцент.

— Конечно, голая! — не задумываясь, ответил Несси.

— Да, все так и говорят, — довольно кивнул доцент. — А как ты думаешь, почему?

— Голая гораздо красивее.

— Так. А что здесь красивее, рисунок или женщина?

— Конечно, женщина.

— Видишь ли, Несси... Маха эта умерла очень давно, она всего-навсего прах, и только. Логично?

— Вполне.

— Значит, это картина красивая, а не женщина.

— Не верю, — невозмутимо возразил мальчик. — Живая Маха, наверное, была еще красивее.

— Почему ты так думаешь?

— Очень просто. Что лучше, эта репродукция или сама картина?

— Естественно, картина.

— Вот видите! Как может копия быть лучше оригинала?

Доцент Колев не собирался сдаваться, но упорство ему не помогло. Он даже представить себе не мог, какой ужас следует из всех этих эстетических разговоров. На следующий день Несси пришел к матери и спокойно сказал:

— Мама, я хочу увидеть голую женщину!

Как ни привыкла Корнелия к неожиданным выходкам сына, в первый момент она растерялась.

— Зачем?

— Просто так!.. Интересно.

— К сожалению, в моем распоряжении нет голых женщин, — враждебно ответила мать.

Но Несси совершенно не умел замечать подобных оттенков.

— Тогда возьми меня в баню, — сказал он.

— Детей туда не пускают.

— А Румена вчера водили. Он мне сам сказал.

— Румен еще маленький... Ты по сравнению с ним вон какой верзила! — уже с трудом скрывая ненависть, ответила мать.

Несси нахмурился.

— Тогда я хочу видеть тебя.

— Меня? — Корнелия задохнулась. — Я же тебе мать, скотина ты этакая!

— Подумаешь, мать! Что из того? Ты ведь такая же женщина, как другие?

Что-то оборвалось в душе Корнелии, кроткой, ласковой, доброй женщины, которая даже к фикусу относилась с нежностью, словно к человеку. Не помня себя, она схватила кухонный нож и подняла его над головой.

— Убирайся отсюда, ничтожество! — в исступлении закричала она. — Убирайся, или я тебя убью!..

Но Несси спокойно смотрел на нее своими ясными синими глазами. Вид у него был по-прежнему невозмутимый. Правда, необычное поведение матери удивило его, но не настолько, чтобы заставить отступить хоть на шаг. Так он никогда и не узнал, насколько, в сущности, в ту минуту был близок к смерти. Корнелия отшвырнула нож и как безумная, с глухим рыданием бросилась прочь из комнаты.

В тот вечер Алекси вернулся домой довольно поздно. Он был приглашен на ужин с иностранцами, куда нельзя было не пойти. Раздевшись в темноте, он торопливо нырнул под одеяло.

— Спишь, Корнелия? — спросил он тихо.

— Не сплю, — непривычно ясным и твердым голосом ответила она.

Алекси сразу понял — произошло что-то ужасное.

— Что с тобой? — вскинулся он. — Что случилось?

— Теперь я знаю, Алекси!.. Мы родили не человека, мы родили чудовище! Какого-то огромного белого ящера!

— Ведь мы же договорились, Корнелия... — неуверенно возразил он.

— Да, он чудовище! — продолжала она задыхаясь. — Мы в этом виноваты, Алекси, мы и должны его убить.

— Ты с ума сошла! — Алекси мгновенно протрезвел.

— Да, сошла! Я сумасшедшая, сумасшедшая, сумасшедшая! — слабеющим голосом всхлипывала несчастная женщина.

В ту ночь Алекси не понял, что это была правда. Через два дня Корнелия повесилась. Алекси был на работе, но словно бы почувствовал миг, когда остановилось ее сердце. Казалось, какая-то тень прошла сквозь его душу. Он испуганно поднял голову. Ничего, самый обычный день. Никого нет. Весеннее солнце мягким, спокойным светом заливает кабинет, за окнами еле заметно покачиваются зеленые верхушки двух тополей... Алекси вскочил и бросился из комнаты. Потом он никогда не мог вспомнить, как добрался домой. Нервно позвонил, но за дверью было тихо. Не было слышно мягких, знакомых шагов жены. Тревога душила его. Прежде чем найти ключи, он два раза обшарил карманы.

— Корнелия! — крикнул он еще в прихожей.

Никто не ответил. Он обошел холл, спальню, в последней надежде заглянул в пустую неприбранную кухню. Наконец нашел ее в ванной — посиневшую, застывшую, страшную. В ночной рубашке, босая, она висела на белом шелковом шнуре от своего японского кимоно. Померкшие глаза смотрели прямо на него. Шея невероятно удлинилась, искривленная там, где шнур врезался в тело.

Алекси так никогда и не узнал, сколько времени простоял перед трупом. Очнулся он, лишь почувствовав, что рядом появился Несси. Лицо мальчика странно вытянулось и напряглось, но глаз его отец не увидел. Это продолжалось словно бы целую вечность. Наконец Несси, похоже, овладел собой, и, когда он наконец посмотрел на отца, взгляд его, как всегда, был пустым и спокойным.

— Зачем она это сделала? — спросил он серьезно.

— Не знаю, — ответил отец. — Ты видел ее утром?

— Да.

— Она что-нибудь говорила? Ты ничего необычного не заметил?

— Ничего, — ответил мальчик. — Она вообще на меня не смотрит... Я для нее давно уже не существую.

Алекси с такой силой стиснул зубы, что они скрипнули.

— Убирайся отсюда! — Голос у него был мертвый. — И знай: ты для меня отныне тоже не существуешь.

Во врачебном заключении было сказано, что Корнелия покончила с собой в результате сильной психической депрессии, возможно, в параноическом состоянии.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Не будем подробно рассказывать о жизни Несси до его тринадцати лет. Правда, данных об этом периоде так много, что в них можно попросту утонуть. Но это материалы и исследования, интересные главным образом для специалистов. Мы же, как вы, вероятно, убедились, хоть и придерживаемся фактов, частенько пытаемся разглядеть и то, что кроется за ними. Конечно, нас можно упрекнуть, что мы подменяем литературу некоторыми науками, но это в данном случае не самое важное. В конце концов все мы в одинаковой степени заинтересованы в том, чтобы понять смысл этой странной судьбы. Потому что при всей своей необычности она не более невероятна, чем, скажем, телевидение каких-нибудь полсотни лет назад.

В сущности, до десяти лет в жизни Несси не произошло никаких особых событий или приключений. Вероятно, у любого мальчишки с его улицы биография гораздо богаче и интереснее. Да и могло ли быть иначе? Безошибочный механизм его разума предохранял Несси от естественных в юности необдуманных поступков, мальчишеских ошибок, рискованных шагов, и, естественно, со стороны жизнь его могла показаться скучной и монотонной. Но это было не совсем так. Несси никогда не скучал. Жизнь представлялась ему своего рода огромной книгой, заполненной формулами и уравнениями, которые он ненасытно решал с утра до вечера. В его размеренном существовании не было неожиданностей, для каждого икса и игрека он всегда, рано или поздно, находил точное и окончательное значение. Абсолютно уверенный в себе, он не ведал никаких внутренних конфликтов.

Одевался Несси очень аккуратно, хотя нельзя сказать, чтобы со вкусом. К чести его нужно отметить, что на моду он не обращал никакого внимания. Лохматые немытые парни в потертых и залатанных джинсах и в нечищеной обуви вызывали у него безмерное отвращение. Он просто не понимал, как это можно, не чувствуя постоянного зуда, носить бороду. И неужели она не мешает им спать? Несси ненавидел магнитофоны, современную музыку, сборища на квартирах — «на хатах», как выражались соседские парни и девушки. Он не курил, не прикасался к

спиртному. Последнее вызывало у него особенно мрачные воспоминания. Однажды он из любопытства выпил две рюмки водки, да еще, по чьему-то совету, залпом. Это настолько затуманило ему голову, так спутало ясные, безупречно отрегулированные мысли, что Несси попросту испугался. «В самом деле, только законченные кретины могут так по-идиотски разрушать самое прекрасное и ценное, что есть у человека».

Он не бывал ни в кино, ни в театре, иногда только смотрел по телевизору спортивные передачи, обычно по легкой атлетике. Но к футболу испытывал глубокое презрение. Эта игра казалась ему безобразной и, главное, противоестественной. Что путного можно сделать ногами, если сама природа предназначила их для ходьбы, а не для всякого рода манипуляций? Однако наибольшее недоумение у Несси вызывали преступления, в том числе самые мелкие. К чему так бессмысленно рисковать, если труд — это же очевидно — наиболее разумное и оправданное средство для достижения любой цели. А уж убийство казалось ему совершенно необъяснимым, так же как и войны. Это не менее ужасно, чем посягнуть на собственную жизнь. На такое можно решиться лишь в полном умопомрачении, как это было, например, с его матерью. Несси знал, что из всех развитых животных только крысы нападают на себе подобных, да и то очень редко. Что же заставляет человека, одаренного всемогущим разумом, опускаться даже ниже, чем крысы? Неразрешимая загадка, загадка с неопределимыми неизвестными, алогизм, свинство.

В десять лет Несси уже был студентом и походил на студента. Высокий, стройный, с волевым и умным лицом он просто не имел бы себе равных, если б не стеклянный, непроницаемый взгляд его лазурно-синих глаз. Чересчур совершенный, он и вправду напоминал искусное творение человеческих рук. Женщины кружили вокруг него, словно мухи, привлеченные не столько его внешностью, сколько странной судьбой. В свою очередь, Несси тоже уделял им довольно много времени, не балуя их, впрочем, особой внимательностью. Правда, отношения эти возникли довольно-таки поздно, конечно, если учесть специфические законы его развития. Переходный возраст он давно пережил, но по-прежнему не расставался с книгами, и женщины скорее раздражали его своим назойливым интересом. Физиологи наблюдали за ним молча, с

обостренным любопытством, постепенно теряя всякую надежду. Наконец одному из них пришло в голову слегка помочь юноше. Несси был просто-напросто соблазнен, правда, без особого труда. А затем пошел по этому пути с явным интересом и удовольствием. Врачи и физиологи с удовлетворением записали в свои отчеты, что и в этом отношении их подопечный абсолютно соответствует норме. Эмоциональная же сторона их ни капельки не интересовала.

Только отец Несси не разделял этого мнения. Он испытывал отвращение и к сыну, и ко всему, что тот делал. Возможно, это был своего рода комплекс. А может быть, связи Несси глубже, чем что-нибудь иное, противоречили его представлениям о поведении, морали, характере и инстинктах человека. Вначале Алекси, казалось, не обращал никакого внимания на довольно-таки бесцеремонное поведение сына. Даже наоборот, можно было подумать, что он им доволен. После смерти Корнелии все дурное в Несси вызывало у него своеобразное удовлетворение, что-то вроде скрытого злорадства. Но это было скорее защитной реакцией, чем естественным чувством. Алекси отрекся от сына у тела жены и во имя ее памяти хотел сдержать свое слово во что бы то ни стало.

Со дня смерти Корнелии прошло почти семь лет. Алекси не забыл ее и знал, что не забудет до последнего вздоха. Больше того — горе его, хоть и потеряло остроту, с течением времени стало еще глубже и безысходней. Впервые в жизни он до конца постиг смысл того страшного состояния, которое люди называют душевной болью. Раньше оно казалось ему чем-то надуманным, вроде самовнушения. Теперь же Алекси знал: боль эта сильнее тоски и отчаяния, бессмыслицы и безнадежности. Может быть, настоящим ее именем была невыносимая пустота.

С течением времени у него, разумеется, исчезло чувство, что причиной смерти жены был именно Несси. Нет, нет — болезнь таилась в ней самой, она и свела ее в могилу. Но сына Алекси все же сторонился. У Несси было все — все, кроме отцовского внимания. Ужаснее всего, что сам он, казалось, находил поведение отца вполне естественным. Или по меньшей мере наиболее для себя удобным. Между ними воцарился мир, как это бывает у насекомых, которые, никого не замечая и не мешая друг другу, ползут по своим делам. Алекси остался совсем один в окружающей его пустоте. Даже работа его больше

не интересовала. Правда, по какой-то иронии судьбы именно теперь ему улыбнулась удача, не то что десять лет назад, когда, охваченный болезненной жаждой успеха, он трудился как одержимый.. Его назначили заместителем директора института с весьма серьезными видами на дальнейшее повышение.

Неожиданно именившееся поведение сына вывело Алекси из глубокого оцепенения. Вначале он просто не замечал, что происходит в его доме. Впрочем, ничего особенного и не происходило — просто у них стали появляться девушки. Правда, не одна, не две, как ему вскоре стало казаться — легион. Какое-то время он пытался запомнить их лица, одежду, фигуры, надеясь, что девушек все-таки не слишком много. И никогда не мог этого установить более или менее точно. Дело в том, что все эти особы, на его взгляд, походили одна на другую, как кирпичи или готовые котлеты. Рослые, с нахальными лицами и массивными ногами, они тяжело топали мимо, не поднимая глаз, не здороваясь, не считая нужным замечать, что и он тоже живет в этом доме. Одевались они тоже одинаково — чаще всего на них были босоножки с деревянными каблуками, куртки и безобразно широкие брюки или джинсы, в которых ноги их напоминали туго набитые колбасы. Только по грудям и можно было установить, что это девушки. Все эти семь лет Алекси прожил как во сне и сейчас ошеломленно наблюдал, как странно изменилась жизнь. Неужели они все такие — современные девушки? Или просто такой вкус у его сына? Второе казалось ему более верным. Этот тип холодных рациональных людей, вероятно, нуждается в особо сильных возбуждающих средствах.

Больше всего его поражало, с каким равнодушием Несси относился к своей сексуальной жизни. Разумеется, Алекси не мог знать, как тот ведет себя наедине со своими дамами, но по телефону сын разговаривал с ними очень сухо и деловито, кратко и решительно назначал или отменял свидания, не слушая ни извинений, ни оправданий, не позволяя себе ни одного интимного слова. И с тем же деловым выражением вводил их к себе в комнату, иногда по две, а то и по три сразу. Никогда им не улыбался, не провожал дальше порога, хотя некоторые задерживались у него до полуночи. Алекси не замечал, чтобы он хоть раз угостил их чем-нибудь — даже лимонадом, даже стаканом воды.

Постепенно все это стало Алекси раздражать. Правда, он и представить себе не мог, насколько спасительно для него это раздражение. Все хорошо, все благо, что может вытеснить пустоту,— даже разочарование, даже обида и унижение. А эта молодежь его всего лишь раздражала, не больше. Или правда, что в мире действительно произошла так называемая сексуальная революция? Нет, глупости, какая там революция? Можно ли называть революцией нахальство, наглость, бесстыдство? Можно ли хоть как-нибудь связать это со свободой, с нравственностью? А уж о более или менее настоящем чувстве вообще не может быть речи.

Однажды Алекси окончательно потерял терпение. Через холл, словно маленькие шагающие экскаваторы, протопали две девицы и скрылись за дверью сына. Алекси не выдержал.

— Подожди-ка! — окликнул он Несси.

Тот остановился, во взгляде его была явная досада.

— Что это за девицы к тебе таскаются? — враждебно спросил отец.

— Мои подружки.

— Что ты под этим подразумеваешь?

— То же, что и все.

Алекси чуть не зарычал. До чего же ему хотелось влепить в это красивое надменное лицо увесистую пощечину!

— Послушай, я не какой-нибудь старомодный тупица,— сказал он, еле скрывая раздражение.— Я прекрасно понимаю, что значит юношеская дружба. И во что она может вылиться,— добавил он с иронией.— Но то, что я здесь вижу, больше всего напоминает разврат. Если, конечно, тебе известно, что это слово значит.

— Нет, не известно,— сухо ответил Несси.— То, что я делаю, делают все люди и животные.

— А что означают эти толпы девушек? По-твоему, это нормально?

— Думаю, вполне,— ответил Несси.— Не только нормально, но и разумно. В свободном обществе эти отношения тоже должны быть свободны.

— Свобода не значит распущенность. Человек не животное.

— Знаю! — с досадой ответил Несси.— Именно поэтому. Что-то ведь должно заменять инстинкты, если они от-

сутствуют. А для человека нет стимула более действенного, чем разнообразие. Я по крайней мере такого не знаю.

Алекси нахмурился. Он и не подозревал, что у сына может быть какое-либо оправдание.

— А к чему приводит такое разнообразие, тебе известно? К полнейшему однообразию, к мертвечине.

— Знаю,— ответил Несси.— Для меня важно пройти через это, рано или поздно, все равно. Чтобы затем стать совершенно свободным.

— Свободным? Для чего?

— Как для чего? Для себя самого, разумеется. Для своих мыслей, своей работы, какая разница. Даже животные не всегда заняты своими детородными инстинктами.

На том их разговор и кончился. Алекси вернулся к себе в кабинет с чувством полного поражения. Конечно же, он проиграл эту маленькую схватку, и довольно бесславно. Может, со своей точки зрения, мальчик действительно прав? Особенно если воображение у него и вправду такое бедное, как утверждают ученые. Алекси давно, еще со студенческих лет, знал, что бедное воображение хуже бедной жизни. Маленькая комнатка в мансарде, которую он снимал в юности, была насыщена и перенасыщена воображаемой жизнью — интересной, красивой, богатой, невероятно полной. Он просто рвался поскорее вернуться туда и остаться наедине со своими мечтами, столь совершенными и столь покорными силе его воображения. Сейчас все это безвозвратно утеряно. Он стал беднее, чем когда бы то ни было в жизни.

А какой выбор был у Несси? Никакого. Единственное, что ему оставалось,— это умножать факты действительности, пока хватит сил и возможностей. Но если от пресыщения гибнут даже самые крылатые мечты, то что уж говорить о жалкой человеческой действительности. Конец пути. Или начало, как сказал сын. Сам он этого понять не мог. Его путь кончился.

К великому удивлению Алекси, с того дня сын все-таки перестал водить в дом девичьи орды. В квартире воцарилась прежняя тишина, печальная и глухая, как и все последние годы. Пока однажды, когда Алекси сидел в холле с газетой, с ним не поздоровалась девушка. Он поднял голову и изумленно взглянул на нее. Девушка была гораздо миниатюрнее шагающих экскаваторов, почти стройная, с дружелюбной улыбкой. Вдобавок лицо ее показалось ему вроде бы знакомым, где-то он ее уже видел.

— Руми! Ты ли это?

— Я, дядя Алекси,— ничуть не смутившись, ответила девушка.

Да, это была она, Румяна, дочь Трифона, его давнего приятеля и коллеги. За последние годы Алекси совсем отошел от друзей, но они все же существовали. Повырастили дочерей, сами же, вероятно, постарели и поглупели. Что ж, такова жизнь. Какова именно, Алекси вряд ли сумел бы определить точно. Вот и Руми, как все остальные, без всякого стеснения ринулась в скотобойню его сына... Омерзительно. Еще омерзительнее, чем раньше. Те, мясистые, с могучими бюстами и пышными задами, были ему незнакомы, то есть все равно что нереальны. Какие-то городские отбросы, которые его сын умудряется подбирать неизвестно где. А Руми? Он знал ее младенцем, ребенком, девочкой. Однажды она обмочилась у него на руках, к полному восторгу этого дурня, Трифона, в те годы его лучшего друга.

Почти неделю Алекси боролся со своей совестью. И наконец совесть победила. Черт побери, какое он имеет право оставлять дочь друга во власти этого получеловека-полувыродка. Скрепя сердце и ужасающе хмурясь, Алекси посетил Трифона в его министерском, роскошно обставленном кабинете, где за массивной спиной хозяина висел дешевый ковер. Сам Трифон, растолстевший, цветущий, все же показался Алекси каким-то сломленным. Гостю он обрадовался — правда, пожалуй, слишком бурно,— предложил ему кресло, сам вышел из-за стола и уселся напротив. На пороге появилась секретарша, тоже массивная, благоухающая духами, с буклями на висках. Трифон велел принести кофе, тоник, даже коньяк, от которого, впрочем, Алекси решительно отказался. Оба чувствовали себя неловко, особенно Алекси, который не знал, с чего начать. Хоть бы этот толстяк догадался спросить, с чем он к нему пожаловал. Помаявшись некоторое время, Алекси неожиданно выпалил:

— Ты знаешь, в котором часу вернулась вчера домой твоя дочь?

— Знаю,— ответил Трифон, делая жалкую попытку улыбнуться.

— А где она была, знаешь?

— И это знаю.

— Значит, ничего не имеешь против?

Сердитый огонек мелькнул в глазах Трифона и тут же погас.

— А что я могу поделать?

— Как что? Уши ей надрать, вот что.

— Глупо и бесполезно! — устало ответил Трифон. — Глупо и бесполезно.

— Почему бесполезно?

— Неужели ты не понимаешь, приятель, нет у нас выхода, — безнадежно сказал Трифон. — Никакого. Нам остается только сдаться — полностью и безоговорочно.

— Ты думаешь? — растерянно спросил Алекси, который никогда и никому не сдавался, кроме разве Корнелии.

— Конечно!.. Потому что любое наше действие кончится для нас бесславным поражением. Мы можем потерять все, понимаешь, все. И прежде всего детей.

— А на что оно тебе нужно, это отребье?

Глаза Трифона яростно сверкнули. Нет, он еще не был до конца сломлен. Какая-то искра в нем еще тлела. Но как раз тут появилась секретарша и, продемонстрировав мужчинам мощные бедра, налила им кофе. Когда она наконец удалилась, Трифон заговорил снова — правда, крайне неохотно.

— Послушай, ведь в конце концов это наши дети! Чего ты хочешь? Объявить им войну? Испортить всем жизнь? Кто от этого выиграет? Никто. И в первую очередь пострадают они, дети. Пока они еще под нашей крышей, мы хоть чем-то можем им помочь.

Алекси вернулся домой в полной растерянности. Со своей точки зрения, Несси был прав. Трифон со своей — тоже. Но не могут же все быть правыми вот так, для себя. Тогда у нас будет не общество, а сборище людей, где каждый с трудом выносит остальных. Уж если Трифон не может помочь собственной дочери, то ему и подавно это не удастся. Тем более что Руми все же была не такой, как те, другие. Она была девушкой. И почему надо считать ее бесстыжей, когда она, быть может, просто естественна. В конце концов любая более или менее длительная связь предполагает известные взаимные чувства. А как раз в этом Несси нуждается больше всего.

Но дружба между Несси и Руми продолжалась чуть больше месяца. А затем девушка исчезла так же внезапно, как и появилась. Алекси подождал несколько дней — мо-

жет, заболела или уехала куда-нибудь. Но Руми не приходила.

— Что случилось с Руми? — не вытерпел наконец Алекси.

— Ничего, просто мы расстались,— спокойно ответил Несси.

— По чьей инициативе?

Несси нахмурился.

— Послушай, отец. Люди мне быстро надоедают,— неохотно произнес он.— С какой же стати мне их терпеть?

— Но люди все-таки не вещи... Нельзя же их выбрасывать, когда вздумается.

— Никто не имеет права подчинять себе других,— мрачно ответил Несси.— Ни по какой причине. И ничем — ни силой, ни слабостью. Это отвратительней любой политической тирании.

Алекси молчал. Что он мог ему ответить? И все-таки нельзя же было отступить просто так, без всякого сопротивления.

— Ты вообще веришь во что-нибудь?

— Зачем? — Несси бросил на отца презрительный взгляд.— Достаточно правильно мыслить. Декарт сформулировал это в нескольких словах: «Я мыслю — значит, я существую». По-моему, этим все сказано.

— Ты никогда не будешь счастлив! — изрек вдруг Алекси.— У человека есть еще и сердце, если ты об этом что-нибудь слышал.

— Сердце всего лишь жалкий насос,— ответил Несси.— Говорят, больше всего на человеческое сердце похоже свиное.

Алекси забился в кабинет, как преследуемый барсук в нору. Как всегда после разговоров с сыном, во рту горчило — знакомый вкус поражения. Если верно, что разум — самое совершенное и самое ценное из всего, что есть у человека, то Несси, безусловно, прав. В таком случае полное удовлетворение этого разума, вероятно, и можно назвать счастьем. Величайшие умы человечества были несчастны? Одиноки? Если даже и так, все равно — это единственная цель, достойная настоящего человека.

И снова затопали по холлу маленькие шагающие экскаваторы, направляясь в комнату Несси. И снова Алекси, как барсук, прятался у себя в кабинете. Наступило лето.

Город обезлюдел. Пустые улицы навевали непреодолимую скуку. Каждый стремился куда-нибудь уехать — к морю или в горы — лишь бы избавиться от удушающей бензиновой гари. Алекси, изнывая от жары и обливаясь потом, не мог ни работать, ни думать. Лишь Несси был таким же, как всегда, — невозмутимым и безукоризненно опрятным, на его чистом лице не было ни капли пота, хотя ходил он, как и зимой, в пиджаке и при галстуке. Отдыхать он, понятно, никуда не поехал — любое безделье казалось ему непонятным и абсурдным.

В один из этих летних дней в кабинет Алекси внезапно ворвался Трифон. Несчастный, взмокший, теперь уже окончательно сломленный. Несколько растерявшийся Алекси пригласил его сесть. Трифон не сел, а попросту повалился в кресло, словно хотел раздавить все его пружины.

— Что случилось? — испуганно спросил Алекси.

— Что случилось?! — с неожиданной силой взревел Трифон. — Случилось то, что мы с тобой скоро станем дедушками!

Алекси онемел. Лицо его побледнело, губы пересохли. Трифон и не ожидал, что новость произведет на друга такое впечатление.

— Ты уверен? — тихо спросил Алекси.

— Вполне. Мы были у врача.

Алекси молчал. Казалось, он отключился от всего, ушел в себя, совершенно забыв, что, кроме него, в этом тесном, раскаленном кабинете есть кто-то еще. Трифон, успевший немного оправиться, недоуменно смотрел на него.

— Что ж, ты мне так ничего и не скажешь? — спросил он наконец.

— Ребенок должен родиться! — еле слышно проговорил Алекси.

— Это я и хотел от тебя услышать! — обрадовался Трифон. — Поговори со своим негодником... Нужно его подготовить...

— Ты с ума сошел! — воскликнул Алекси. — Несси не должен ни о чем знать.

Теперь уже растерялся Трифон.

— Почему? Что ж, ребенок так и родится без отца?

— Ты думаешь, Несси может быть отцом? Ведь ему всего десять лет! Хочешь иметь зятя-урода?

Это слово ошеломило Трифона, но не заставило отступить. Как можно так говорить? Парень как парень, красивый, умный. Обогнать других не порок и не преступление. Отстать — вот порок. Алекси потратил не меньше часа, пытаясь втолковать приятелю, что Несси вовсе не «парень как парень», что он не может жить ни с кем, что он холодный, преступный эгоист и принесет несчастье его дочери.

— Неужели мы вдвоем не сможем вырастить одного ребенка? — взорвался наконец Алекси. — Зачем нам чья-то помощь?..

Но Трифон так и ушел мрачный, неубежденный. К удивлению Алекси, на помощь ему пришла мать Руми. Ей, сказала она, и глядеть-то на него противно, не то что брать в зятья. Почему — не объяснила. Но ее хмурое лицо, на котором было отчетливо написано еле сдерживаемое отвращение, говорило лучше всяких слов. Алекси не обиделся, наоборот, был ей глубоко благодарен. Она согласилась, что Руми должна рожать. С трудом, но согласилась. Алекси ликовал, но ничем этого не выдал. Сейчас самым главным было добиться рождения ребенка.

Несси ни о чем не сказали. И ребенок родился — ровно через девять месяцев, как все прочие дети. Окаменев от напряжения, Алекси сидел в кабинете главного врача, мокрый снег с дождем царапал оконное стекло. Долго ждать не пришлось — вскоре его позвали взглянуть на новорожденного. Младенец как младенец — маленький, фиолетовый, морщинистый, будто печеное яблоко, с тоненькими ножками и редкими волосиками на мягкой головке. Алекси бросил на него какой-то странный, безучастный взгляд, отвернулся и вышел.

Так рухнула его последняя надежда. Как сильно ни разочаровался он в сыне, в глубине души Алекси тайно надеялся, что тот все-таки положит начало новому виду людей — «Homo super», как он однажды выразился. Печальная, иллюзорная цель, а главное — бессмысленная, потому что, как он впоследствии убедился, человечеству дано развиваться лишь одним-единственным путем — естественным. Не может быть жизнеспособным то, что не выстрадано, не приспособлено к окружающему миру.

Алекси вернулся домой поздно вечером, остановился у окна. В голове было пусто. По-прежнему падал мокрый мартовский снег, трамвайные дуги рассыпали над черны-

ми крышами фиолетовые искры. В комнате сына гремел магнитофон. Алекси уже знал, что Несси включает его лишь во время своих сексуальных сеансов — вероятно, чтобы заглушить все остальное. Алекси слушал музыку с отвращением, словно это и были те самые звуки. Нет, этому парню надо во что бы то ни стало помешать создавать детей. Где гарантия, что следующий не окажется каким-нибудь выродком? У Алекси были слишком серьезные основания для таких мыслей.

Так и осталось неизвестным, узнал Несси о своем ребенке или нет. Об этом между ними не было сказано ни слова. Достоверно лишь одно — ребенок о своем отце не узнал ничего. Записан он был на фамилию матери, а когда имя отца таким ужасным способом всколыхнуло всю страну, ему исполнилось всего три года, и все уже были просто обязаны скрыть от него страшную правду.

2

В тринадцать лет Несси стал младшим научным сотрудником. У него был прекрасный кабинет в новом здании Академии наук, большая библиотека и никаких определенных обязанностей. Это, конечно, не означает, что он бездельничал, потому что назвать Несси добросовестным — значит не сказать ничего. Работа заполняла всю его жизнь, бездействие для него равнялось несуществованию. В этом отношени Несси не слишком отличался от пищущих машинок или телевизоров. Даже во время еды или отдыха в голове у него чуть слышно, но безостановочно пощелкивал ужасный мозговой механизм.

В остальном жизнь его протекала спокойно, как река, вышедшая на равнину — ни резких поворотов, ни порогов, пологие берега поросли травой, вода мутная и словно бы мертвая. Рыбы в ней не так уж много, но зато нет и лягушек. Как и любая речка, она не знает, в каком направлении, к какой цели течет, да это ее и не интересует. Каждый день Несси был похож на другой, единственное разнообразие вносили женщины. Сменялись только они. Но Несси менял их не так, как меняют обстановку или украшения, а, скорее, как блюда, которые обедающий рассеянно выбирает в меню. Просто потому, что не принято каждый день есть одно и то же — не зря же утверждают,

что от этого пропадает аппетит. Вряд ли оно так: чаще всего аппетит пропадает как раз у того, кто слишком дотошно изучает меню.

Среди немногих человеческих добродетелей Несси больше всего уважал точность. Он просто носил ее в себе — так же, как свое могучее сердце или исправно действующие почки. Вставал Несси в пять часов утра, все равно зимой или летом. Мгновенно, как заранее заведенный механизм, просыпался и тут же вскакивал, даже не оглянувшись на постель. Да и зачем, ведь из-за постели только даром теряешь время. Снов он по-прежнему не видел, но теперь этот вынужденный отдых не был таким безжизненным и бесчувственным, как в детстве. Порой ему словно бы что-то грезилось — что-то далекое и смутное. Поднявшись, Несси открывал окно, независимо от того, разгоралось ли над городом летнее утро или снежный вихрь кружился в желтоватом сумраке фонарей.

Конечно, Несси предпочитал летние утра, спокойные, тихие, полные скрытого света и сияния. Он стоял у окна, свободно и сильно дыша — именно так, как это рекомендуют медицинские журналы,— и совершенно не замечал запаха бензина и масла, струившегося от неостывшего за ночь асфальта,— обоняние у него было слабым. Не засматриваясь на нежный румянец восхода, он рассеянно обводил взглядом пустынные фасады напротив. Большинство окон было открыто, в них отражались улица, тополя, даже дальние горы, укрытые белой шапкой облаков.

В десять минут шестого Несси появлялся на бульваре в голубом тренировочном костюме и безупречно белых кедах. Маршрут его всегда был одинаков — те же улицы, повороты, скверы. Ровно через шестнадцать минут он уже был в парке. Где-то за телевизионной башней делал короткую утреннюю зарядку. Затем бег — ровно пятьдесят минут, ни больше ни меньше. Пожалуй, это было самым лучшим в его монотонной жизни — Несси бежал быстро, энергично, остро ощущая силу и жизнеспособность своего тела. Бег вызывал в нем что-то вроде исступления, переполняя какой-то непонятной физической алчностью. Но и тут он никогда не увлекался настолько, чтобы забыться. Неумолимые внутренние часы заставляли его останавливаться с точностью до секунды. Пять минут отдыха, после чего Несси измерял пульс — все те же неизменные пятьдесят два удара в минуту — день за днем, год за годом.

Приятней всего было возвращение, он и сам не понимал почему. Возвращался Несси не по аллеям, а напрямик через лес по еще влажным и мягким от опавших листьев тропинкам. В лесу было очень тихо, лишь время от времени шуршал в листве какой-нибудь дрозд. Но Несси был не из тех, что глазеют по сторонам. Белки прыгали по деревьям, он их не видел. Косули пересекали тропу, он не останавливался на них взглянуть. И все же тихий покой леса каким-то необъяснимым образом сообщался ему, даруя ощущение силы и внутреннего мира. Только тут, в лесу, он смутно начинал догадываться об истинном значении того надоевшего слова, о котором ему прожужжали все уши,— природа. Только тут, в лесу, мозг его словно бы незаметно затихал, не вызывая ни тревоги, ни недоумения.

Ровно в половине восьмого Несси переступал порог своего кабинета. В сущности, эта небольшая комната была его единственной под небом законной территорией. Только здесь он становился настоящим хозяином своих мыслей. Только тут полностью осуществлял себя. Или по крайней мере то, что, он знал, таится в нем,— разум с его жадностью, его ненасытностью. Сознание полноты жизни заменяло ему то, что у обычных людей называется удовлетворением или радостью. Даже деревья видят солнце. Даже муравьи прекрасно чувствуют земное тяготение. А Несси? Таилось ли в нем хоть зернышко земного счастья? И где? Вне стен этого кабинета для него не было ничего настоящего.

В свои тринадцать лет Несси уже неплохо знал людей. Не понимал их, но знал. Он изучил специальные труды о поведении человека, попытался постичь его с помощью художественной литературы. И ни разу не пожалел, что лишен того душевного содержания, которым обладают обычные люди. Если верить Фрейду, оно омерзительно, если Достоевскому — ужаснее бездны. А по его собственным наблюдениям — нечто хилое, недоразвитое, неосознанное. Нет, он не хотел быть, как другие, не хотел разделять с ними их безысходность, их слабость, их жизнь, раздираемую страстями и страданиями.

Сам он никогда не задумывался о своей судьбе, о своем существовании среди других людей. Он знал лишь, что его жизнь пройдет безмятежно. В его тихом существовании не будет ни криков, ни слез, ни безнадежного пьяного шатания по темным улицам. Несси не задумывал-

ся даже о своем пути в науке, о своих открытиях и успехах. Не интересовался ни своим будущим, ни будущим человечества. Он знал, что жизнь свою проведет спокойно и мирно и когда-нибудь умрет. Это было все.

3

Однако жизнь Несси все-таки изменилась, изменилась внезапно и резко, без всяких видимых причин и оснований. Так оно обычно и бывает у людей, да и в природе — землетрясения, ураганы, катастрофические наводнения случаются вслед за особенно тихими, безоблачными днями. В то утро он проснулся как всегда, ровно в пять часов, словно заводная кукла, открыл свои ясные глаза, по привычке выглянул в окно. Все как обычно — летнее утро, еле брезжущее снаружи, плотное и прохладное в комнате. Он легко вскочил, распахнул окно. В тени высоких зданий улица казалась темной, несмотря на совсем уже светлое небо. Светлое, зеленоватое, шелковистое — эти подробности его не интересовали. Но Несси не любил слишком ярких солнечных дней, жарких послеполуденных часов, душных вечеров. А день обещал быть именно таким.

И вдруг эти мгновения покоя нарушило смутное ощущение какого-то дальнего движения. Он взглянул на окна напротив, все еще темные в предутреннем сумраке. В одном из них вроде бы мелькнула какая-то тень. В той комнате, он знал, жила старушка, черненькая и юркая, как мышь, целыми днями неутомимо сновавшая по квартире. Старушка подошла к окну и вдруг, словно в сказке, превратилась в девушку. Несси улыбнулся, даже ему эта внезапная метаморфоза была приятна. Девушка была в светлой пижамке, сама тоже светлая, волосы — словно горящая свеча. Постояла и вдруг вскинула к небу руки, как будто собралась взлететь. Да нет, это она просто потянулась, может, даже слегка зевнула при этом — с тем внутренним удовольствием, с каким, проснувшись, потягиваются и люди, и кошки, и львы в пустыне, что, в общем, доказывало, что все они, как ни крути, произошли из одной первичной клетки. При движении пижамка распахнулась, и он на мгновение увидел девичью грудь, пышную, необычайно красивую в утреннем свете.

Несси почувствовал, как в нем вспыхнул и тут же угас какой-то огонек, матово-голубой и всепроникающий, как рентгеновский луч. Там, у окна, девушка еще не успела опустить руки, а огонек уже погас, оставив после себя мгновенное и необъяснимое ощущение пустоты. Собственно говоря, с этого все и началось.

Несси никогда не всматривался в себя, никогда не анализировал своих поступков. Все происходившее с ним неумолимо вытекало либо из разума, либо из необходимости. В его поведении не было ничего необычного и необъяснимого. В гранитной глыбе его логики — ни одной трещины. Но, возвращаясь домой из парка, он почему-то вспомнил этот вроде бы ничего не значащий случай. То, что мелькнуло перед ним сегодня утром, он видел так часто, что вообще не обращал на это внимания — разве что при непосредственном соприкосновении. Для него это была просто вещь, хоть и специального назначения, но все же вещь, не обладающая даже ценностью многих других вещей на свете. Несси никогда не засматривался на фотографии голых женщин, как другие парни. Это не вызывало у него никаких эмоций.

Ровно в половине восьмого Несси, как и всегда, уже сидел у себя за столом. Знакомая обстановка сразу же вернула ему уверенность, рассеяла непривычные мысли. Теперь ум его был полностью свободен, можно было приниматься за работу. Он чуть не фыркнул от нетерпения, словно измученная жаждой лошадь, перед которой поставили ведро воды.

Несси достал из стола папку в зеленой блестящей обложке, и внешний мир перестал для него существовать. Чем занимался Несси? Всем, что ему поручали. Ни одна задача не казалась ему второстепенной или не стоящей внимания. Как старинные серебряные щипцы, он с легкостью раскалывал любой орех, безошибочно отделяя от скорлупы крепкие целехонькие ядра. Его не останавливали самые запутанные формулы, самые головоломные вычисления. Иногда просто так, шутки ради, ему подсовывали какую-нибудь сложную математическую проблему, над которой бились десятилетиями ученые, и Несси решал ее не задумываясь, не пролив ни капли пота. Только Риман заставил его посидеть несколько месяцев, но и его геометрию он одолел, словно реку, — не плавая, а лишь осторожно ступая по дну. Собственно говоря, в его жизни, пожалуй, не было более серьезного испытания.

Однако в то утро ему предстояло заняться материей, которая Несси в принципе была не слишком по вкусу,— теорией вероятности. Это немного охладило его порыв, но он упрямо продолжал работать. И все же часам к одиннадцати поднял голову, охваченный непривычным чувством легкой усталости и какого-то непонятного внутреннего сопротивления, которое он даже не мог заставить себя осознать. Внезапно вспомнилась девушка у окна. Несси тут же прогнал этот образ. Наверное, так поступал и Лобачевский, выводя свои формулы.

Киты. Звенящая вода. Белая ледяная глыба. Почему он так и не увидел себя самого на ее гладкой поверхности? Странная и неожиданная мысль, от которой перехватило дыхание.

Зазвонил телефон. Несси удивленно взглянул на него — звонили ему очень редко. Несси не замечал этого, но люди, словно сговорившись, избегали его — не от неприязни, а просто от неловкости. Кто его знает, как себя вести с этим странным человеком, ни мальчиком, ни мужчиной, которому даже порядочного анекдота не расскажешь, не рискуя встретить недоуменный взгляд. По служебному телефону ему звонил лишь Кирилл да иногда его непосредственный начальник.

Недоумевая, Несси снял трубку. Конечно, лучше бы это был Кирилл, сейчас такая мысль показалась ему даже приятной.

— Ты, Несси?

Низкий женский голос, нервный, с еле заметной хрипотцой где-то в самой глубине горла — след никотина. Никогда еще она не звонила ему в институт, обычно Несси сговаривался с ней вечером из дома.

— Я, Фанни,— ответил он сдержанно.

— Как, мальчик, не проголодался?

Что за неприятная привычка называть его «мальчик», даже иногда «мой мальчик». Это сюсюканье в его лексикон не входило.

— А в чем дело?

— Просто так. Хочу пригласить тебя пообедать.

До сих пор они никогда не обедали вместе.

— Но я на работе,— ответил Несси.

— Один ты, что ли, работаешь? Я тоже работаю, но сейчас хочу пообедать с тобой.

— Видишь ли, Фанни...

— Не виляй, пожалуйста. Отвечай прямо — да или нет.

Несси уже готов был решительно ответить: «Конечно, нет», но произошло невероятное. Открыв рот, он вдруг сказал:

— Ладно, раз ты настаиваешь.

Он и сам не мог поверить, что сказал такое. На том конце провода послышался низкий смех — может, чуть насмешливый, но, в общем, довольный.

— Значит, есть все-таки в твоей коробке что-то человеческое!

— В какой коробке?

— В черепной, конечно. Жди меня в половине двенадцатого перед академией. И не бойся, я увезу тебя так, что никто не заметит.

— Чего мне бояться? — недовольно отозвался Несси. — Никто меня в узде не держит, я сам хозяин своей работы.

— Браво! — воскликнула она радостно. — А что такое узда, ты знаешь?

— Конечно. Это вид руля, с помощью которого управляют лошадьми, людьми и некоторыми другими видами животных.

— Несси! Ты меня поражаешь! У тебя сегодня прорезалось чувство юмора! — Фанни совсем развеселилась. — Это предвещает нам с тобой чудесный денек.

Несси положил трубку и бесцельно зашагал по комнате. Он был почти смущен — кто это говорил его голосом? Из какой странной, неведомой каморки выскочило это желание? Или просто ему сегодня не работалось с вероятностями, неопределенностями, неуверенностями?

В этот час улицы кишели людьми и машинами. Несси стоял на краю тротуара, на берегу железного потока, который с порожним грохотом катился мимо него. Он не видел его, даже не чувствовал. Просто стоял с пустой головой и ждал, пока появится желтого цвета «вольво». С Фанни Беловеждовой Несси был знаком около двух месяцев — невероятно большой срок для его связей. Но и Фанни, бесспорно, превосходила всех этих маленьких мастодонтов, топавших по паркету его дома. Прежде всего, она была гораздо старше — лет тридцати пяти. Нельзя сказать, что очень уж красивая. Небольшая головка, слегка впалые щеки, вздернутый нос, острый, как клюв дрозда. Но зато все говорили, что ни у кого в городе нет такой

красивой и изящной фигуры. Как мы знаем, в этом отношении Несси был не бог знает каким эстетом и тощие дамы такого типа ему не слишком нравились. Фанни была художницей, работала главным модельером в экспортном объединении, имела «вольво». Но Несси не страдал и тщеславием. В Фанни его прежде всего привлекал ум, самый острый из всех, какие он встречал в жизни. Фанни была единственной женщиной, с которой Несси разговаривал с ощущением внутреннего удовлетворения. Ему нравилось следить за странным бегом ее мыслей, которые так легко и виртуозно перескакивали с темы на тему. Это его не раздражало, скорей увлекало. Да он другого и не ожидал от художника-модельера, интересующегося прежде всего линией и формами.

Фанни подъехала через несколько минут, как всегда эффектная — в желтой машине, в желтых до локтей перчатках. Даже губная помада была у нее какого-то сомнительного желтоватого оттенка. Резко затормозив, она распахнула дверцу и почему-то шепотом сказала: «Садись». Глаза ее смеялись, хотя лицо продолжало оставаться серьезным. Длинные искусственные ресницы придавали ей слегка напряженное выражение, как у сидящей на горшочке маленькой девочки. Несси сел рядом с ней, вытянув, насколько возможно, свои длинные ноги. Фанни рванула с места, словно участвовала в гонках, обогнала несколько машин и первой остановилась у светофора перед Военным клубом. Лишь теперь Несси с интересом взглянул на ее птичий профиль.

— Уже успела выпить?

— А как же! — невозмутимо отозвалась Фанни.— Иначе я бы пригласила кого-нибудь другого.

Не дождавшись зеленого света, она свернула налево и яростно помчалась прямо на нескольких задержавшихся на «зебре» пешеходов. Но Несси даже не дрогнул, он хорошо знал ее стиль вождения. Машина с ревом неслась по улице, глаза Фанни так и горели от возбуждения.

— Куда ж это мы?

— К Золотым мостам.

— Вот спасибо,— сдержанно отметил он.— Давненько я не едал свиных отбивных.

Почему она так любила таскать его в глухие пригородные ресторанчики? Нарочно, чтоб не показываться с ним на людях? Или просто чтоб произвести на него впечатление своим шоферским мастерством? И то и другое было

ему безразлично, он и не думал протестовать. Всю дорогу Фанни оживленно болтала — о знакомых, о фильмах, которые она видела на закрытых просмотрах. Несси слушал ее рассеянно, все еще слегка смущенный и недовольный собой. Фанни рассказывала о каком-то франко-американском фильме — как ему показалось, бессмысленном и отвратительном, полном извращений. Под конец Брандо задушил свою партнершу собственными руками — «просто так, ни за что», заключила она с каким-то скрытым удовлетворением. Несси, немного помолчав, спросил:

— Где это ты успела набраться с утра пораньше?

— На пресс-конференции, — ответила она и двинула машину прямо на сидевшую у тротуара злую желтую кошку.— Мои модели имели фантастический успех.

Кошке удалось спастись, но переднее крыло со звоном ударилось обо что-то и погнулось.

— Ты правда находишь, что я сегодня возбуждена? — спросила Фанни с надеждой.

— Во всяком случае, так ты выглядишь,— ответил Несси спокойно.— Чуть не свалила мусорный бак.

— А зачем она за ним спряталась? — мстительно сказала Фанни.— Нашла место!

Обернувшись, она окинула его искрящимся взглядом. Только тут Несси заметил, что на одном глазу у нее чуть-чуть отклеились ресницы. Да и губная помада не совсем в порядке. «Похоже, кто-то потискал ее сегодня где-нибудь в раздевалке»,— подумал он равнодушно.

— Знаешь, Несси, мы вот уверены, что создаем кино и вообще искусство,— неожиданно серьезно заговорила Фанни.— Все это самообман. Искусство должно быть как удар хлыста — по чувствам, по воображению. Иначе это никакое не искусство.

— Искусство — вообще дело пустое,— ответил Несси спокойно.

Фанни скривила тонкие красивые губы. Вероятно, хотела изобразить ироническую усмешку. Но ничего не получилось. Сегодня она явно не владела своим лицом. Должно быть, утром дело не ограничилось одной-двумя рюмками.

— До чего же ты скучный, Несси! — заявила она внезапно.— Просто до смерти скучный!

— Тогда зачем ты пригласила именно меня? — пренебрежительно спросил он.

— Ты действуешь на мое воображение.

— Чем это?

Она засмеялась чуть нервно, легкая дрожь пробежала по ее лицу.

— Очень просто, ты не такой обычный, не такой нормальный, как все. Ты просто нескладный тринадцатилетний мальчишка. Конечно же, это меня возбуждает!

Несси на секунду задумался — не обидеться ли? Нет, какой смысл, на что тут обижаться? К тому же сейчас Фанни подвыпила и, вероятно, была абсолютно искренна. Он не допускал до себя людей, которые лгут и притворяются.

— До чего же ты испорченная,— сказал он наконец.

— Ты прав,— ответила она.— Может, возьмешь плеть, Несси?

— Нет,— сказал Несси.— С какой стати?

— Потому что ты тоже в ней нуждаешься! Оба мы с тобой несчастные, неужели не понимаешь? Ни у тебя, ни у меня нет никаких чувств. Свои я погубила, а у тебя их вообще нет и никогда не будет.

И, словно сама испугавшись своих слов, замолчала и больше не проронила ни звука до самого ресторана. Она заметно помрачнела, даже побледнела слегка под густым слоем тонового крема. Руки ее судорожно сжимали руль, словно пытались задушить кого-то. Этот Брандо, этот опухший от пьянства несчастливец, может, именно из-за него она напилась сегодня? Добавит в ресторане, думал Несси, а потом нас того и гляди подберут с проломленными головами. Но это его не пугало: Несси вообще не знал, что такое страх.

Вскоре они уже были на месте. Фанни оставила машину в редкой тени деревьев. Стояли тут и другие машины — с блестящими, нагретыми солнцем спинами. Было очень тихо и прохладно — здесь, наверху, этот обеденный час скорее напоминал раннее летнее утро. Под деревянным мостиком о громадные гладкие валуны билась вода, невидимкой журчала под ними. Не оборачиваясь, не удостоив взглядом застывшие в вечной живой неподвижности сосны, они молча вошли в ресторан. Внутри тоже было прохладно, но непроветренно, пахло окурками и застывшим жиром, уныло жужжали большие ленивые мухи. Так же лениво слонялись меж столиков плохо умытые, плохо выбритые официанты, говорили они шепотом и удалялись с таким видом, словно больше никогда не вернутся. Фанни нашла уединенный столик, подозвала

официанта, затем метрдотеля, заставила сменить скатерть, пепельницу, переставить вазочку с искусственным цветком. Последним явился повар, потный и кислый, мрачно выслушал Фанни, но удалился с явным почтением. Фанни вздохнула и откинулась на спинку стула — похоже, она совсем протрезвела. Обернулась к Несси и сказала, улыбаясь:

— Все будет так, как ты хочешь!

— Но я ничего не хочу!

— Ты должен научиться хотеть! — сказала Фанни. — Человек узнается по желаниям, особенно неосознанным.

— Должен тебя разочаровать, Фанни... У меня не бывает неосознанных желаний.

— Надо, чтобы были! — твердо сказала Фанни. — Только они — настоящие. Настоящее вообще только то, что в нас глубоко скрыто. Все, что обращено наружу, к людям, — фальшиво. Или по крайней мере стерлось от долгого употребления.

Несси решил про себя, что в такой пустой разговор лучше не вступать. Вскоре официант принес им салат и две рюмки водки.

— Ты ведь прекрасно знаешь, что я не пью!

— Знаю, Несси, — ласково ответила Фанни. — Но сегодня я хочу, чтобы ты выпил.

В ее голосе чувствовалась холодная острота бритвенного лезвия. Взгляд у нее был тоже холодный и не терпящий возражений.

— Не понимаю, Фанни, зачем тебе нужно, чтоб я напился?

— Потому что я так хочу. И потом, я не люблю, когда мне отказывают. Просто не привыкла. Такой уж у меня характер.

— А если я все равно откажусь?

— Тогда я тут же встану из-за стола и уйду. Причем навсегда!

Несси еле заметно усмехнулся.

— Откуда ты знаешь, может, я именно этого и хочу? — спросил он.

— Все равно. Значит, мне пора уйти, — холодно ответила Фанни.

— Не все равно. Это будет для тебя поражением. А поражение снести гораздо труднее, чем вежливый отказ.

— Пошел ты к черту со своей логикой! — взорвалась Фанни.— Или пей, или убирайся!

— Разве ты никогда не знала поражений?

— Знала. И не раз. Будет еще одно. Возьму вот и напьюсь в одиночку. До чертиков.

Несси задумался. Придуривается или нет? Фанни и так пьяна, с нее в самом деле станется выполнить свою угрозу. Напьется, сядет в машину и, может быть, никогда больше не вернется в Софию. Сердце его оставалось холодным. Несси еще никогда никого не жалел — даже собственную мать, когда та покончила с собой. И все же к чему так бессмысленно уничтожать две эти красивые игрушки — женщину и ее новенькую машину? Глупо да и безобразно. Но он-то чем виноват? Во имя чего должен посягать на свой разум, отравляя его этой омерзительной жидкостью?

Несси взял рюмку.

— Ладно, Фанни, не будем ссориться... Пусть на этот раз побежденным буду я. Честолюбием я не страдаю. Будь здорова!..

Лицо Фанни мгновенно прояснилось, клювик-нос даже покраснел от удовольствия.

— Будем! — сказала она.— Если б ты знал, Несси, какой ты сегодня милый!

Несси пригубил рюмку. На мгновение ему показалось, что он глотнул кусок стекла — так обожгло горло. Но пока он встревоженно анализировал, что с ним происходит, по всему его телу разлилось приятное тепло, наполнило его каким-то смутным радостным возбуждением. Нет, начало, пожалуй, не так уж плохо, плохое, верно, будет потом. Он сделал еще один глоток, побольше, затем сказал:

— И все же я не понимаю, Фанни. Зачем ты заставила меня это сделать?

— Для компании, Несси. Кому охота пить в одиночку.

— Нет, причина не в этом.

— Послушай, неужели ты никогда не испытываешь желания стать другим? Каким-то особенным, странным, небывалым? Стать чем-то, чем ты никогда еще не был?

— На научном языке это называется неадекватностью, Фанни. А попросту — сумасшествием.

— Почему сумасшествием? Неужто тебе никогда не хотелось быть Галилеем, Ньютоном, Эйнштейном?

— Я не могу хотеть невозможного.

— Знаю. Но если напьешься, может быть, захочешь.

Он прекрасно знал, что не захочет. И все-таки спросил:

— Хорошо, пусть так. Но при чем тут алкоголь?

— При том, что он выводит на поверхность подсознание и тем дает возможность удовлетворить самые тайные, самые сокровенные желания. Иллюзорно, правда, но это неважно. Главное, человек освобождается.

— Верю, Фанни,— улыбнулся Несси.— Но дело в том, что у меня нет никакого подсознания.

Фанни энергично помотала головой.

— Ошибаешься. Подсознание есть у каждого, Несси. Как железы или почки. Как память. Может быть человек без памяти? По-моему, подсознание — это изгнанная и оскорбленная память. Неудовлетворенная, запрещенная или греховная память, как хочешь. Все то, что человек подавляет в себе. У тебя, разумеется, тоже есть подсознание, только ты еще не знаешь, как к нему подступиться.

— Думаешь, алкоголь его высвободит?

— Уверена! — твердо сказала Фанни.

— Что ж, будем здоровы, Фанни. Опыт есть опыт, а в опыте всегда заложен какой-то смысл.

Вполне успокоившись, Несси отпил еще глоток. Подали свинину, а к ней принесенную самим метрдотелем бутылку импортного вина невероятно красивого цвета — густого, теплого, какого-то нутряного, словно бы светящегося в чьем-то темно-красном зрачке. Его Несси пил уже с гораздо большей легкостью, с ощущением вкуса, которого до сих пор ему явно не хватало. Чувствовал он себя великолепно. Правда, мысли его время от времени путались, но зато неслись они с гораздо большей легкостью, пожалуй, даже с вдохновением, хотя он и не верил в подобные слова. Но когда они собрались уходить, вдруг выяснилось, что Несси не может подняться со стула. У него словно бы отнялись ноги. Правда, двигать ими было можно, но колени ни за что не хотели сгибаться. Два официанта, ухмыляясь, взяли его под мышки и вывели через черный ход. Фанни, не опьяневшая ни на градус больше, чем была до обеда, устроила его под старой, ободранной сосной, укрыв взятым из машины одеялом. Все это она сделала с серьезной заботливостью — изысканная светская дама вдруг превратилась в обыкновеннейшую женщину, жену какого-нибудь бухгалтера или токаря, обихаживающую своего пьянчужку-муженька. Несси проспал около двух часов тяжелым, непробудным сном, почти одереве-

нев, с открытым ртом, на который бесстрашно садились мухи. Некоторое время Фанни отгоняла их, потом и сама задремала рядом.

Несси проснулся около пяти часов, мрачно огляделся вокруг, с трудом проговорил:

— В первый и последний раз.

— Ты на меня сердишься?

— Нет. Поедем ко мне.

Они молча сели в машину. Фанни уверенно выехала на городскую дорогу. Несси никогда никого не приводил к себе раньше восьми вечера, это было для него законом. Но сегодня вся его жизнь смешалась, почему бы не пойти еще на одно, последнее нарушение? Дома никого нет, отец на работе. Впрочем, это волновало Несси меньше всего — он давно привык не обращать на отца никакого внимания. Тем более теперь он сам зарабатывал, имел собственные деньги, хоть в общем и не очень ими интересовался.

Оказавшись в своей прохладной и затененной в этот час комнате, Несси почувствовал, как его охватывает странное, ни разу в подобных ситуациях не испытанное возбуждение. Словно бы легкий озноб пробежал по его коже, когда он обнял легкое и сильное тело Фанни. Она, казалось, угадала его необычное настроение, потому что приблизила губы к его уху и умоляюще шепнула:

— Сделай это, как Брандо, Несси! Прошу тебя!

— Глупости! — ответил Несси, шокированный.

— Очень прошу! Ради меня. Я ведь тебя никогда ни о чем не просила.

— Ладно! — неожиданно согласился Несси.

Почему бы нет? Раз другие так делают, может, в этом и есть какой-то смысл. Но пока он старался изобразить Брандо, случилось невероятное. Дверь распахнулась и на пороге появился его отец. Находившийся к нему спиной Несси не мог его видеть, он только почувствовал, что открылась дверь. Но Фанни встретилась с Алекси взглядом и, не зная, что делать, зарылась лицом в подушку. Отец мгновение ошеломленно смотрел на них, словно не веря своим глазам, и, потрясенный, выбежал из комнаты. Всего мог ожидать Несси, только не этого. Что-то неприятное, острое, даже страшное пронзило его с головы до ног, что-то такое, чего он еще никогда не испытывал и, конечно, не знал, что у людей это называется — стыд. Машинально поднявшись, он стал одеваться.

— Как ты мог не запереть дверь? — нервно сказала Фанни. — Собственную дверь!

— У меня и ключа-то нет! — мрачно ответил Несси.

— Нет ключа? — Фанни не верила своим ушам.

— На что он мне?.. Отец вот уже лет десять не заходил в мою комнату.

Несси вышел в холл. Отец сидел в кресле с истертой и выгоревшей обивкой, не обновлявшейся после смерти жены, и читал газету. То есть, конечно, не читал — какое тут чтение, если газета пляшет в руках. Несси подошел к нему и — странно! — ему вдруг показалось, что он стал совсем маленьким, меньше, чем был в первые дни своей жизни. Но стыда больше не было — одно только дурацкое ощущение, что каким-то невероятным образом он стал меньше ростом.

— Ты меня зачем-то искал? — спросил Несси.

Отец опустил газету. Сын отчетливо видел, как дрожит его заросший волосами кадык.

— Сожалею! — сухо ответил Алекси. — Но я не ожидал нарваться на такое свинство.

— Почему свинство? — Несси еле заметно вздрогнул.

— Ты прав! — Алекси еле сдерживал ярость. — Даже свиньи так себя не ведут, это привилегия человека.

Несси вдруг почувствовал, что его смущение окончательно улетучилось.

— Послушай, я не обязан давать тебе объяснения. Скажу только, что пороки мне не свойственны. Как и добродетели, разумеется. Я просто разумный человек.

— Во всяком случае, по тебе этого не заметно! И не порок это, а просто гадость.

Он почти кричал. Несси решил, что дальше говорить с ним не к чему. Разве только, чтобы еще и еще раз убедиться, до чего ограниченный и посредственный человек его отец. Какое значение имеют те или иные человеческие поступки? Они проходят и исчезают навсегда, в большинстве случаев бесцельные и бесполезные. Единственный их смысл состоит в том, что они дают пищу разуму.

— Зачем я тебе все-таки понадобился? — снова спросил Несси.

— Не мне — Кириллу! — мрачно ответил отец. — Как я понял, по делу.

По делу? Что-то совсем непривычное. До сих пор еще никто не звонил ему домой по делу. Кирилл, как и Нес-

си, работал в академии, порой они встречались, но деловых отношений между ними никаких не было. Несси поспешил ему позвонить. В трубке раздался — почему-то слишком громкий — голос его единственного друга, если это слово имело хоть какой-то смысл для такого человека, как Несси.

— Послушай, нам с тобой предстоит сопровождать Кавендиша. Сам президент назначил, лично. Сегодня мы с ним ужинаем, а в понедельник отбываем в Варну.

— Подожди, не спеши. Какой Кавендиш? Бертран Кавендиш?

— Какой же еще? Ты что, газет не читаешь?

Нет, Несси газет не читал, они его не интересовали.

— А при чем тут я? Насколько я знаю, это какой-то там философ.

— Какой-то? Всемирно известный ученый!

— Пусть так. Но я-то математик.

— Это не важно. Главное, что мы с тобой лучше всех болтаем по-английски! — Голос Кирилла звучал весело.— И кто ему будет таскать чемоданы? Не академики же.

Так или иначе Несси пришлось согласиться. Когда он наконец вернулся к себе в комнату, то застал там не Фанни, а взбесившуюся дикую кошку.

— Как ты мог оказаться таким невежей? Деревенщина!.. Хам!.. Оставить меня одну в этом дурацком положении! — кричала она срывающимся от ярости голосом.

— Должен же я был объясниться с отцом,— сухо сказал Несси.

— Плевать я хотела на твоего отца! — окончательно перестав сдерживаться, заорала Фанни.— Какое мне дело до этой мрачной гориллы? В конце концов, я женщина. И ты обязан относиться ко мне хотя бы с элементарным уважением.

— Может, Брандо тебе еще больше обязан! — презрительно бросил Несси.— Вот и ступай к нему.

— Хам! — взорвалась Фанни и вихрем вылетела из комнаты.

Чувствуя себя опустошенным, Несси задумчиво подошел к окну. Мог ли он представить себе, при каких невероятных обстоятельствах суждено ему увидеть Фанни в следующий раз?

4

Кирилл сидел в роскошном красном кресле гостиничного холла, уставившись на электрические часы. Это его забавляло, хотя часы были обычные, стандартные, вмонтированные в стену. Каждую минуту раздавался еле слышный щелчок и большая стрелка передвигалась еще на одно деление. До восьми оставался один-единственный щелчок, и Кирилл знал, что вместе с ним в холле, молчаливый и элегантный, появится Несси. Именно это его и забавляло.

При всей несхожести характеров Кирилл и Несси внешне очень напоминали друг друга — фигурой, даже манерой одеваться. Оба по-спортивному поджарые и рослые, аккуратно подстриженные, в хорошо сшитых, чуть отстающих от моды костюмах. Оба сдержанные, с безупречными манерами, по крайней мере на людях. Но Кирилл был гораздо энергичнее, на его живом худощавом лице лежала печать одухотворенности, а насмешливый взгляд смущал всех собеседников, за исключением, разумеется, Несси. Может, потому они и сошлись. Между ними сложились естественные, равноправные в лучшем смысле слова, непринужденно искренние отношения. Оба считались блестящими молодыми учеными, и это сближало их больше, чем общие интересы.

Часы наконец щелкнули. Но Несси не было. Легкая улыбка на губах молодого человека медленно угасла. Несси никогда не обманывал. Несси никогда не опаздывал. Слово Несси было законом. Эти качества, не так уж часто встречающиеся, особенно привлекали Кирилла. Несси пришел, лишь когда часы щелкнули еще раз. Чуть запыхавшийся и немного смущенный. Это удивило Кирилла больше, чем если бы тот заявился в гостиницу в одних плавках. Сев в кресло, Несси в мгновение ока овладел собой и спокойно сказал:

— Ну, рассказывай.

Кирилл вытянул ноги. Все в порядке. В конце концов, одна минута опоздания отнюдь не причина, чтобы менять мнение о приятеле.

— Больших знаний от нас не потребуется,— начал он.— Кавендиш не собирается устраивать нам экзамен. По взглядам своим он позитивист, бихевиорист, эмпирик. Тодор Павлов назвал его даже идеалистом, да к тому же запоздалым махистом. Но ты этому не придавай значе-

ния. По-моему, он вообще никакой не философ, хотя порой у него встречаются мысли, по-настоящему гениальные. Гораздо серьезнее он как социолог, правда, страдающий известным объективизмом. Все надеется вырвать социологию из-под опеки идеологии и превратить ее в „служанку за все“. Он уверен, что беспристрастные социологические исследования и выводы могут одинаково служить любой идеологии, любому политическому строю, так же, как, например, математика.

— По-моему, это элементарно,— невозмутимо вставил Несси.

— Отнюдь,— столь же невозмутимо возразил Кирилл.— Иногда Кавендиш путает социологию со статистикой, хотя, в общем, не чужд и проблеме развития общества.

— Что же тогда, по-твоему, в нем всемирного?— усмехнулся Несси.

— Во-первых, слава... Известность... Это буржуазный ученый, считающий, что буржуазная цивилизация неудержимо и навсегда сходит с мировой сцены. Рекомендую прочесть его „Энтропию миров“, у меня есть.

— Предпочитаю, чтобы ты вкратце пересказал ее своими словами.

— Вкратце трудно. Но в общем это что-то вроде футурологического исследования развития человеческих цивилизаций, их зарождения и гибели.

— Шпенглер?

— Не совсем. Хотя Кавендиш, как и Шпенглер, считает, что любая цивилизация живет сама для себя и умирает без всякой связи с теми, которые ей предшествуют или за нею следуют. Более того, он считает, что каждая новая цивилизация тем сильнее, чем ярче она противостоит предыдущей. В этом смысле Кавендиш принимает и революцию — не как хирурга, разумеется, а исключительно как могильщика.

— Это тоже верно,— пробормотал Несси.

— Отнюдь,— еле заметно усмехнулся Кирилл.— Кавендиш существенно отличается от большинства западных футурологов. Он считает, что человечеству угрожает отнюдь не то, чем нам изо дня в день забивают головы,— разрушение экологической среды, истощение ресурсов, перенаселение. Он убежден, что основная беда — замедление процессов развития, девальвация целей, превращение человека из творца в потребителя. Что, по его мне-

нию, вызывает полное истощение и опустошение духовного мира человека и, главное, человеческих эмоций.

Несси помолчал.

— А как считает Кавендиш, что происходит с человеческим разумом? — неохотно спросил он.— Разум развивается или деградирует?

— И развивается, и деградирует.

— Но это же логический абсурд! — неприязненно возразил Несси.

— Но не диалектический! — Кирилл засмеялся ясным, правда, чуть злорадным смехом.— Разум, конечно, развивается, мозг увеличивает свой вес, растет количество мозговых клеток. Но, по Кавендишу, это оружие двуострое. Разрастаясь, мозг постепенно подавляет то, что его стимулирует: эмоции, воображение, мораль, эстетические категории. Все это он считает гораздо более естественным для человека, чем инстинкты. Совсем исчезают интуиция и прозрение как наивысшие формы знания.

— Нет такого знания! — заметил Несси.

— По Кавендишу — есть! По его мнению, разум сам по себе — бесполезен и беспомощен. Лишенный своих естественных стимулов, жизненных соков, он быстро атрофируется. А это приводит к тому, что вся человеческая жизнь постепенно замедляет свое движение, остывает. В результате чего и возникает энтропия.

— Очень наивно,— презрительно возразил Несси.— С чего он взял, будто эмоции и воображение важнее разума?

— Кавендиш имеет в виду не мозг. В сущности, еще ни один умник на свете не выяснил, что такое мозг. И какого типа энергия помогает ему осуществлять свои важнейшие функции. Под разумом Кавендиш понимает способность человека к активному мышлению.

Прошло уже десять минут, а философа все не было. Подождав еще немного, они позвонили в номер. Никто не ответил. Ключа у портье тоже не оказалось. Кирилл всерьез встревожился. Обежал все холлы, заглянул в бары и наконец нашел его у ресторана. Маленький, худощавый, но с мягким, округлым животиком, выступающим из-под шелкового жилета, Кавендиш напоминал цаплю, неизвестно почему торчащую у дверей на своих тонких, сухих ногах. Знаменитый ученый стоял, сунув руки в карманы полосатых брюк, и с интересом разглядывал посетителей. Мимо проносились официанты с подносами, веж-

ливо обходили его, но философ их попросту не замечал Как не заметил сначала и молодых людей, в недоумении остановившихся перед ним. Потом взгляд его задержался на приветливо улыбающемся лице Кирилла. Ни малейшего неудовольствия, а тем паче вины ученый явно не испытывал.

— Ведь мы же договорились встретиться в холле, господин Кавендиш? — спросил Кирилл.

— Разве? — рассеянно ответил ученый. — Не все ли равно?

— Как это все равно, господин Кавендиш? Мы уже полчаса вас дожидаемся.

— Все равно, все равно, — пробормотал философ. — Я тут кое о чем раздумывал.

Молодые люди переглянулись.

— О чем же, господин Кавендиш?

— О портрете нации. То есть, я имею в виду, вашей нации. Иногда лицо человека говорит больше, чем примерное, хорошо обдуманное поведение.

— Извините, но здесь каждый второй — иностранец, — безжалостно сказал Кирилл.

Но Кавендиш ничуть не смутился.

— Все равно, все равно... А это, вероятно, молодой господин Алексиев?

— Да, разрешите вам его представить.

Но Кавендиш даже забыл протянуть руку, с таким откровенным любопытством он воззрился на Несси — словно впервые увидел болгарина. Похоже, глаза его немного, еле заметно, косили, хотя смотрели проницательно и сосредоточенно. Лишь когда все уселись, Кавендиш дружелюбно сказал:

— Красивый, представительный молодой джентльмен. Вам, юноша, очень пошел бы белый жилет, вы не находите?

— Эта мысль давно меня мучает, сэр, — вполне серьезно ответил Несси. — Да все не наберусь смелости.

Что-то дрогнуло во взгляде философа, он вынул из кармана записную книжку, переплетенную в искусственную шагреневую кожу, и записал что-то.

Официант поспешил подойти к столику с английским флажком, который Кавендиш нетерпеливо задвинул в угол. Заказали закуску и водку. Ждать пришлось недолго. Кавендиш тут же ухватился за рюмку.

— За ваше здоровье, молодые люди! Один мой ученый друг вполне серьезно утверждал, что вы не знаете отчуждения именно потому, что у вас есть водка.

— Это импортная, господин Кавендиш.

— Э, все равно, все равно... А вы, господин Алексиев?

— Извините, я не пью.

— Почему?

Несси поколебался, потом неохотно сказал:

— Не знаю, сэр, мне кажется, это деформирует разум.

— А вам не кажется, что деформированный разум порой рождает очень интересные идеи? И весьма причудливые образы?

— Зачем она нужна, эта причудливость? Им достаточно быть истинными.

— Все великие истины странны, молодой человек. И необъяснимы. Чтобы не сказать, сверхъестественны, каковыми они, разумеется, не являются. Что такое, например, земное притяжение? Или время? Можно ли их постичь разумом? А что такое воображение? Да есть ли вообще что-нибудь более невероятное и загадочное, чем человеческое воображение?

— Но разве воображение не есть комбинаторная способность человеческого разума?

— В этом и заключается одна из серьезнейших загадок природы,— сказал Кавендиш, потирая руки.— Вы никогда не задумывались над тем, почему самое живое и интенсивное воображение свойственно именно молодым людям? Чем старше человек, тем реже он им пользуется, тем меньше мечтает. И в конечном итоге получается, что разум подавляет воображение, вместо того чтоб его стимулировать.

Несси мрачно молчал.

— И чем вы это объясняете, сэр? — спросил Кирилл.

— Ничем! Это выше моих сил! — с удовольствием сказал философ.— И не хочу объяснять. Даже нейрофизиологи не могут сказать об этом ничего внятного. Но факт остается фактом. Если принять, что мозг — единственное средоточие и носитель психической деятельности, то что получается? Получается, что более молодой и более бедный клетками и нейронами мозг выполняет самую ответственную и тонкую работу.

— Это логический абсурд,— сказал Несси.

Кавендиш с живостью обернулся к нему.

— Где же вы здесь видите логическую ошибку?

— В утверждении, что воображение — самый тонкий продукт психической деятельности. Таковым, несомненно, является мышление, и именно абстрактное мышление.

— Да. Охотно соглашаюсь с вами. Лично я разделяю это мнение, потому что я философ, то есть моя профессия — абстрактное мышление, основанное на безупречной логике. Но что подсказывает нам действительность? Или, вернее, практика? Философы стареют и забываются. Самых гениальных ученых что ни день опровергают. Только люди искусства остаются вечно молодыми и сильными. Больше того, Гомер или Шекспир сейчас производят гораздо более мощное впечатление, чем в те времена, когда они создавали свои шедевры. А что такое искусство? Прежде всего воображение. И воображение это тем богаче, чем моложе и сильнее породившие его чувства и порывы.

Несси молчал, пораженный. Эта логика была столь безупречной и несокрушимой, что он не видел никакой возможности ее опровергнуть.

— И что же вы в конечном итоге хотите доказать? — сдержанно спросил он.

— Ничего хорошего. Ничего ободряющего. По всему видно, что природа заботится прежде всего о том, что молодо, что растет и крепнет. К окрепшему и сильному она безразлична. И полна ненависти ко всему, что уже прошло через зенит своего развития, приказывая ему состариться и умереть. Единственный способ сохранить себя — это оставаться молодым. Что относится не только к отдельным людям, но и ко всему человечеству. Следовательно, вы как личности, как индивидуумы вполне можете относиться ко мне снисходительно.

— Так мы и делаем, сэр, — сказал Несси.

Кавендиш окинул его быстрым взглядом. Нет, молодой человек не шутил. Философ добродушно усмехнулся.

— Все дело в том, что молодость отнюдь не чисто биологическое понятие. Я хочу сказать, что она не находится в прямой зависимости от состояния внутренних органов, даже от их совокупности. Я не виталист, конечно, но думается, мы весьма легкомысленно вычеркнули из словаря это слово. Не зря же престарелый Соломон спал меж двумя отроковицами.

— Сейчас даже мы, молодые, стараемся этого не делать! — засмеялся Кирилл. — Нынешние отроковицы много курят и потому ужасно храпят.

Приход официанта прервал разговор. Поборник духовных ценностей с острым любопытством уткнул хрящеватый нос в папку с меню.

— Один мой ученый друг рекомендовал мне попробовать ваше знаменитое жиго из барашка. Говорит, что-то особенное.

— Боюсь, как бы вы не разочаровались, господин Кавендиш, — осторожно заметил Кирилл.

Но барашек если и разочаровал философа, то лишь размером. Кавендиш очистил тарелку до последней крошки гарнира, сопроводив еду изрядным количеством хорошего вина. Вероятно, именно оно и заставило его задержать молодых людей до самого закрытия ресторана. Кавендиш один выпил две бутылки — не торопясь, не насилуя себя, мягкими чмокающими глотками, которые производили на приятелей почти отталкивающее впечатление. Но Несси с удивлением заметил, что, чем больше философ пил, тем живее, остроумней и желчней становилась его мысль. И в то же время — ясней и логичней. Неужели разум этого старого человека сильнее, чем у него, Несси? Он не путается в сложных нитях рассуждения — все тот же тихий голос, внимательный и сосредоточенный взгляд. Лишь сигара, которой он чуть не поджег свои редкие желтые усы, свидетельствовала о том, что делается у него внутри.

Теперь уже Кавендиш не рассуждал, он расспрашивал. На первый взгляд, вопросы эти задавались как бы невзначай, мимоходом, но Кирилл, заранее подготовленный к встрече, сразу почувствовал подводное течение. Все они сводились к одному — каковы наиболее характерные черты современного болгарина. Кирилл прекрасно знал, каковы, но предпочитал не слишком откровенничать. Конечно, Кавендиш — прогрессивный ученый, друг Болгарии, но кто знает, как он потом изобразит свое пребывание здесь? Так продолжалось, пока философ не заявил:

— Видите ли, господин Захариев, ложь подтверждает истину больше, чем себя самое. Если хотите, чтоб я от вас отстал, лучше не отвечайте совсем.

— Так я и сделаю! — засмеялся Кирилл.

Тогда Кавендиш перенес свое внимание на Несси. Глаза его сейчас, казалось, косили еще больше, но взгляд от

этого стал еще более пристальным. Хлынул целый водопад вопросов. Какие науки ему нравятся? Какие книги он читает? Ходит ли в кино? А в театр? Сколько раз в год? Как относится к телевидению? Никак? А к балету? К жиго из барашка? К футболу? Джазу? Сколько часов спит? Какие сны видит?

— Никаких! — ответил Несси, не только не умевший лгать, но и считавший это ненужным.

— Абсолютно никаких?

— Абсолютно.

— Не может быть. Вы их просто не помните.

— Нет. Я и в самом деле не вижу снов.

Кавендиш пристально посмотрел на него.

— Это плохо,— сказал он.— Вы недопустимым образом подавляете ваше подсознание.

— Если говорить искренне, сэр, я не считаю подсознание научным понятием.

— Правильно. И все же это не значит, что его не существует. Назовите его хоть засознанием, если вам так больше нравится, но в любом случае сознание должно иметь какую-то камеру или кладовку, где можно держать ненужные или поломанные вещи.

— Рискую показаться нескромным, но замечу, что мое сознание, как мне кажется, не производит ненужных вещей.

Кавендиш задумался.

— Теоретически это допустимо,— сказал он наконец,— хотя и самая точная машина порой производит брак. Все же припомните, вы действительно никогда не видели снов?

— Только раз,— неохотно отвстил Несси.— Правда, я не уверен, что это был сон.

Кавендиш настаивал, и Несси был вынужден рассказать ему про китов. Философ слушал с большим интересом, потом достал шагреневый блокнотик и опять что-то записал. Молодым людям показалось даже, что он взволнован.

— Да, прекрасный сон,— сказал он наконец.— Очень хороший, очень обнадеживающий сон.

— Вы умеете разгадывать сны? — попытался пошутить Кирилл.

— Не пробовал... Но этот кажется мне предельно ясным.

И замолчал. Приятелям не удалось выудить из него больше ни слова.

— Вы интеллигентные юноши! — сказал он резко.— И сами должны понять, в чем тут дело. Особенно вы, господин Захариев. Всегда легче понять других, чем самого себя.

Кавендиш попытался заказать третью бутылку, но, к счастью, было уже поздно. Философ и не настаивал. Еще спускаясь в ресторан, он приметил, где находится ночной бар. Сердечно попрощавшись, он отпустил приятелей, и те с облегчением удалились.

Ночь была теплой и тихой. В желтом свете фонарей тускло поблескивали пыльные спины машин, уравненных усталостью и ночью. Все одинаковые, они словно бы мстили незнакомому городу за безразличие, отравляя его тяжелым металлическим дыханием. Молодые люди, не замечая их, прошли мимо, занятые своими мыслями.

— Ну как он тебе? — спросил наконец Кирилл.

— Никак. Довольно скучный старикашка. И невоспитанный к тому же.

— Невоспитанный? Почему?

— Ты же видел, как бесцеремонно он записывал.

Кирилл виновато умолк.

— И вообще, неужели тебе не ясно — он приехал сюда ради меня!

— Какое это имеет значение? Все равно мы о нем узнаем больше, чем он о нас.

— Мне нечего от него скрывать! — сухо ответил Несси.— Ни от него, ни от себя.

Расстались они у автобусной остановки возле университета. Несси отправился домой. Странное чувство оставил в нем этот день, полный необычных событий, которые его мысль, едва коснувшись, отбрасывала с отвращением — чувством, пожалуй, столь же неведомым ему, как стыд, пронзивший его сегодня. Мир, представлявшийся ему таким покорным и подвластным разуму, вдруг оказался сложным и уродливо хаотичным. Впервые в жизни Несси почувствовал, что за всем, что он видит, что так легко постигает мыслью, кроется нечто невероятно глубокое и темное — глубже и темнее самых мрачных и бездонных вод.

5

Он плыл по ним с удивительной легкостью, без всяких усилий. Вода неуловимо скользила по его гладкой спине, прохладная, блестящая, еле ощутимая. Вокруг не было ничего, кроме сумерек, темневших и сгущавшихся где-то вдали. И все же слабые его глаза напряженно смотрели вперед, он был начеку. Он не знал, чего страшился, но страх переполнял все его существо — от пустого желудка до кончиков тонких желтых пальцев. Он весь был — плывущий страх и голод. Да, голод, неудовлетворенность и беспомощность.

И вдруг он увидел рыбу. Огромную, неизмеримую взглядом. Она медленно плыла в тихой, упругой воде, лупоглазая, спокойная, наверное, не очень голодная. Потом лениво разинула рот, и он на мгновение увидел белесую пасть, бледные розовые жабры. Верно, сглотнула что-то невидимое. Ощутив это всем своим напряженным существом, он быстро нырнул вниз, вжался в холодную скользкую тину. Здесь он почувствовал себя увереннее — теперь он был так же невидим, как вода, которая по-прежнему ласково струилась над ним. Замерев, он следил, как сверху проплывает твердый белый живот. Потом он исчез, оставив за собой лишь слабые толчки воды, волнуемой мерными ударами рыбьего хвоста.

Но он все лежал не шевелясь в мягкой тине. Зрение у него было гораздо слабее остальных органов чувств. Вот и сейчас он словно бы кожей ощутил, как из черных глубин выплывают змеи. И только потом увидел их — они плыли, сплетаясь, неторопливыми волнообразными движениями, гигантские змеи, каждая намного больше той рыбы. Он уже совсем ясно видел их желтые злые глаза, но знал, что змеи его не замечают, так плотно он слился с дном. Змей он боялся меньше, чем рыбу, даже иногда, в приступе отчаянной смелости, плыл рядом, не упуская их, впрочем, из виду. Змеи тоже его видели, но никогда не нападали — знали, что он плавает быстрее и может внезапно и резко менять направление.

Он снова поплыл вперед, предусмотрительно держась над самым дном, подальше от полупрозрачной бледности, простиравшейся наверху. Наверное, сам того не замечая, он все-таки поел, потому что почувствовал приятное насыщение и удовлетворенность. И тут на него напала другая рыба, непохожая на первую. Очень острая морда, пол-

ная зубов пасть. Рыба чуть не проглотила его, но он успел увернуться, и та промчалась мимо, больно царапнув его острым плавником. Он знал, что рыба попытается повторить нападение — еще стремительней, еще яростней. Алчная и ловкая, с хорошим зрением, она могла разглядеть его даже на дне. Он уже чувствовал ее разинутую пасть и с отчаянной быстротой ринулся вверх, поближе к свету, к спасительной границе с другим миром. Что-то ослепительно ударило его по глазам, под ним была грубая земная твердь. И вдруг все кончилось.

На этот раз он не сомневался — это был сон. Несси лежал на спине и смотрел на румянец неба, прохладный, прозрачный, почти осязаемый, словно вода, и, как вода, казалось, готовый хлынуть в их тесный гостиничный номер. Только что пережитый страх все еще струился в его крови, отчетливо бился в висках. Никогда еще не было у него такого живого, такого беспокойного пульса. Казалось, сердце вообще больше никогда не вернется к своему невозмутимо-размеренному ритму. Несси взглянул на соседнюю кровать. Кирилл спал, повернувшись к нему спиной, спокойно и ровно дышал. Наверное, и сны у него тоже такие — спокойные. Уж его-то вряд ли преследуют в темных глубинах призрачные рыбы.

Часа через два Несси и Кирилл завтракали на верхней террасе ресторана. Они были одни, мраморный мозаичный пол все еще струил ночную прохладу. Молодые люди заказали лимонный сок, чай, яичницу. Дожидаясь, пока подадут завтрак, поглядывали на море, еле вздымавшееся над желтой полоской пляжа. День обещал быть жарким, безветренным, на твердой эмали неба не видно было ни единого облачка. Внезапно Несси прервал молчание:

— Теперь я знаю, что такое страх.

— Что же? — вскинул на него глаза Кирилл.

— Как бы тебе сказать? — хмуро проговорил Несси. — Знаю только, это нечто позорное и отвратительное.

— Да, ты прав, — ответил Кирилл. — Пожалуй, страх — главное, что в нас есть. Восемьдесят пять процентов нашего тела составляет вода. Девяносто процентов человеческой души — страх. Тотальный страх перед всем, что стоит на нашем пути, — от лифта до начальства.

Несси подавленно молчал.

— И что же такое, по-твоему, страх? Инстинкт или чувство? — спросил он наконец.

— Как тебе сказать. Во всяком случае, разум обычно его поощряет. Не говоря уж о воображении. Не зря же храбреца обычно называют безрассудным.

— Хочешь сказать, что человек трусливей животного?

— Конечно! — Кирилл даже удивился. — Станет на дороге какая-нибудь корова, и плевать ей на твою ревущую машину.

— Тогда почему я не знаю страха?

— Ты же сказал, что знаешь?

— То было во сне.

И Несси пришлось рассказать Кириллу о своем странном сновидении. Он и не ожидал, что произведет на приятеля такое сильное впечатление. Кирилл слушал не шевелясь, затаив дыхание. Когда Несси наконец умолк, за столом воцарилось долгое молчание.

— Ну, что скажешь? — не выдержал Несси.

— Может, тебе покажется странным, но, думаю, ты увидел кусочек картины, сохранившейся в твоей генетической памяти, в какой-нибудь клеточке мозга, словно фотопленка в хорошей кассете. Сместились какие-то пласты, и она вклинилась в механизм сна. Я бы даже не сказал, что это сон. Фрейд, вероятно, в чем-то прав: сновидения — штука далеко не случайная. Просто мы их слишком свободно, даже произвольно толкуем. Но твой сон образно очень точен — никакой деформации.

— Никакой? А рыбы? А змеи? Даже палеонтология не знает таких громадных животных.

Кирилл снисходительно усмехнулся.

— Не они были огромны, — сказал он. — Ты — мал.

Это было так просто и так убедительно, что Несси буквально разинул рот.

— А тебе никогда не снилось ничего подобного? — спросил он. — Праисторического, я имею в виду.

— Не знаю. Может быть. Снилось мне, например, что я летаю. А ведь это еще более странно. В своей бесконечной эволюции человек вряд ли когда-нибудь был птицей.

— Тогда?..

— Не знаю. Но, может, какое-нибудь крохотное земноводное, скажем, в когтях у птицы... Если птица его выронила...

— Да, понимаю, — кивнул Несси.

— Послушай, ты согласился бы увидеть этот сон еще раз? — неожиданно спросил Кирилл. — Я хочу сказать, этот страшный сон. Или что-нибудь еще более страшное?

— Да, конечно! — невольно вырвалось у Несси.

Окончить этот разговор им не удалось. На террасе появился Кавендиш. В мохнатом розовом халате, который отнюдь его не украсил. Худые ключицы, жирная, отвисшая, как у старухи, грудь, только животик вздымался над плавками, белый и гладкий, как фарфоровая чайная чашка, даже, пожалуй, белее. Разумеется, маститому ученому и в голову не приходило, насколько комично он выглядит. Он горделиво вышел на середину террасы и объявил:

— Иду купаться! Говорят, утреннее купание полезней всего!

И правда, через некоторое время они нашли его на пляже. Войдя по колено в прозрачно-зеленую воду, философ всматривался в даль пустыми глазами. Плавки у него были, конечно же, совершенно сухими, но мягкий животик беспокойно напрягся.

— Очень уж холодная вода! — виновато сказал он. — Здесь всегда так?

И, повернувшись, понес свою плоскую спину к ближайшему зонтику. Приятели выкупались и присоединились к нему. Свежесть, распространявшаяся от их влажных тел, заставила Кавендиша прямо-таки съежиться. Философ был явно не в духе. Некоторое время они лежали молча, со всех сторон окруженные голыми телами. Совсем близко возвышались пышные, словно подушки, зады двух женщин. Философ с отвращением взглянул на них и мрачно сказал:

— Не знаю почему, но голое тело вызывает у меня мизантропию.

— Даже женское?

— Особенно женское. Извините, молодые господа, но это не пляж, а братская сексуальная могила.

Первые дни прошли спокойно. Вероятно, чтобы не подвергать себя сексуальным разочарованиям, Кавендиш вообще перестал ходить к морю. Лишь иногда приятели находили его на лечебном пляже, где тот сидел скрючившись, как старая, замученная дворняга. Похоже, женское племя окончательно отвратило его, отчего, вероятно, он и выглядел таким грустным и чуждым всему окружающему. Не обращая никакого внимания на разлегшихся рядом немок-парикмахерш с тяжелыми, оплетенными синими венами ногами и расплывшимися грудями, Кавендиш работал, желтым кривым ногтем отмечая в книге отдельные абзацы и строчки и порой сердито бормоча

что-то. Однажды он выругался так громко, что у парикмахерш вывалилось из рук вязанье. Иногда он спорил со своими молодыми спутниками — главным образом понося человечество за тупую беззаботность и близорукость, за чудовищную его жадность, жертвой которой, по его словам, могут стать даже горы, словно сложены они не из камня, а из жирных окороков и бифштексов.

— Сожрет и не поперхнется,— с ненавистью бормотал он.— До последней косточки. Нет на свете животного более прожорливого, чем человек. Разве что солитер. Но и тому лучше всего живется в человечьих кишках.

— Но вы-то едите очень мало,— примирительно заметил Кирилл.

— Потому что кормят в ресторане отвратительно. А вообще-то я ем, вернее, просто жру, как скотина.

Помолчал немного и добавил:

— Знаете, как я представляю себе современного человека? Хлипкая фигурка, тонкие ножки и между ними — громадный мягкий живот.

Молодые люди, не удержавшись, хмыкнули. Философ мрачно взглянул на них.

— Ничего не вижу смешного, дорогие господа. Наоборот, все это весьма грустно.

Только вечером, обычно после третьей рюмки, Кавендиш приходил в хорошее настроение, становился доброжелательным и склонным к шутке. Но тогда он впивался взглядом в Несси и принимался за свою бесконечную анкету. Ходил ли он когда-нибудь в церковь? Что думает о боге? Ну если не о боге, то хотя бы о самой идее бога? Несси, потеряв терпение, неприязненно отвечал:

— Это самая нелепая идея из всех, созданных человеком. Она прежде всего свидетельствует о его ограниченности и беспомощности. И, конечно, о мании величия.

— Тогда какова, по-вашему, первопричина возникновения мира?

— А зачем она нужна, первопричина, господин философ? Достаточно первоосновы.

— Не будем ловить друг друга на слове, господин младший научный сотрудник.

— Во всяком случае, оно никак не может быть неким огромным и всемогущим сознанием.

— Вы уверены, что во всей бескрайней вселенной не найдется места для такого сознания?

— Может, и найдется. Скажем, какой-нибудь колоссальный разум, огромный, как, допустим, солнце. Или как галактика. Но и он ни в коем случае не может быть первопричиной, лишь продуктом.

Что-то хищное появилось во взгляде философа.

— А как, по-вашему, чем мог бы заниматься такой разум?

— Как чем?.. Тем же, что и всякий другой. Размышлением.

— И в конечном итоге просто бы лопнул, превратившись в какую-нибудь новую звезду.

— Почему?

— От скуки. Или от безделья, все равно. Такой огромный разум, наверное, в мгновение ока передумал бы все возможные мысли. Познал бы себя, за ничтожный отрезок времени просчитал бы все варианты существования. И, самоисчерпавшись, стал бы работать вхолостую, пока в конце концов не свихнулся бы. И лучшее, что он тогда мог бы сделать,— это наброситься на другие звезды и сгореть с ними и в них. Таким образом он по крайней мере получил бы возможность возродиться заново — через миллиарды лет.

Несси взглянул на него с досадой.

— Неужели вы не понимаете, господин Кавендиш, что размышляете со всей ограниченностью человеческой природы... Подобный колоссальный разум наверняка нашел бы возможность удовлетворить себя.

— Не нашел бы! — сварливо возразил философ.

— Почему?

— Очень просто — потому что никакой разум не может работать для собственного удовлетворения.

Так спор завершился на той же точке, с какой он, в сущности, и начался. Кавендиш допил рюмку, взглянул на пустую бутылку и сказал:

— Вам никогда не бывает скучно?

— Никогда! — ответил Несси.

— А мне скучно. Вы знаете, что это значит? Скука означает, что внутреннее движение сознания ослаблено. стимулы его исчерпаны. Куда вы меня сводите, господин Кирилл? Найдите-ка на завтрашний вечер какое-нибудь заведение поинтересней, чтоб было много музыки и движения.

Они повели его в „Цыганский табор". С трудом нашли место за большим столом вместе с какими-то шведами,

довольно уже пьяными. Подали сильно наперченную, слегка поджаренную на вертеле домашнюю колбасу, густое мелникское вино. Не успели они усесться, как ударили бубны, заверещал кларнет и на площадку к самым их ногам высыпала толпа цыганок, веселых, белозубых, в ярко-красных платьях с зелеными поясами. Толстый слой грима и слишком черные, без блеска волосы наводили на мысль, что это скорей всего не цыганки, а просто девушки из окрестных сел, одаренные чувством ритма. На мгновение они застыли, но тут всей своей мощью грянул оркестр, зазвенели тарелки, и цыганки, как фурии, понеслись по площадке. Кавендиш, вероятно, и представить себе не мог, что увидит такую внезапную, такую бурную пляску. А темп все возрастал, и пляска была уже не пляска — настоящий вихрь красок, блестящих зубов, сверкающих глаз, бегающих лучей прожекторов, протяжных цыганских воплей. В полном исступлении гремели бубны, крепко запахло надушенным женским телом. Когда танец, казалось, достиг вершины, мелодия вдруг резко оборвалась и цыганки замерли на площадке, как небрежно брошенные цветы. Шведы вскочили, Кавендиш с ними. Все бурно аплодировали.

Но это было лишь начало. Им принесли еще вина и запеченных цыплят, снова появились цыганки, на этот раз ленивые и сладострастные. Звучали только скрипки да тихонько позванивали цимбалы. Волоча за собой шелковые шали, цыганки веером расселись у сцены. И тогда вышла певица, роскошная, как искусственная — вся из атласа и бархата — роза. Это была крупная, уже немолодая и слегка располневшая цыганка. Словно черным крылом, взмахнула шалью, расправила плечи и запела глубоким, сильным альтом. Щеки вздрагивали от его мощи, песня лилась густая, тяжелая, как смола. Кудрявые парни в лиловых безрукавках вились вокруг нее, тихонько подпевал оркестр. Затем певица и дирижер подошли к шведскому столу, она низко поклонилась сначала всем вместе, потом отдельно философу, платье распахнулось, и в ярком свете прожекторов блеснули груди — сильные, величественные, невероятные. Почему она выбрала эту развалину, этого смешного тощего старика с колючим взглядом, как своим цыганским чутьем угадала его беспокойную душу? Но все дальнейшее произошло так легко и естественно, словно было заранее отрепетировано. Кавендиш приподнялся, достал из кармана двадцатилевовый банкнот и неприну-

жденным жестом сунул его в карман дирижера. Певица царственно удалилась, даже не взглянув на сидевших рядом элегантных, красивых молодых людей. Соседка Кавендиша, молодая двухметровая шведка в розовом платье, наклонилась и поцеловала его в щеку.

Веселье продолжалось до поздней ночи. Программа окончилась, остался только оркестр. Теперь уже танцевали и пели все, кто как может,— старинные танцы, романсы. За шведским столом остался один Несси. Не из каприза — просто не умел танцевать. Чувство ритма у него отсутствовало изначально. Он сидел, внешне равнодушный, и все больше мрачнел. Он не узнавал сам себя — еще никогда не доводилось испытывать ему столь тягостного чувства. Но уйти все-таки не решался. А может быть, и не хотел: этот обезумевший дансинг притягивал его словно магнит. Он просто не мог понять этих глупцов, которые сами не знали, что вытворяют, и все же не мог избавиться от глубокого и сильного желания быть вместе с ними, быть как они, как этот совершенно взбесившийся философ, танцующий со своей громадной шведкой. Правда, к удивлению Несси, шведка довольно пластично двигала ножищами, зато Кавендиш лишь бесстыдно подпрыгивал рядом, ни чуточку не заботясь о ритме. В изумрудном свете прожекторов оба выглядели фантастически, напоминая сценку из древней вакханалии. Наконец оркестр замолк, философ и шведка, взявшись за руки, направились к столу.

— Прошу меня простить, друзья, но я собираюсь пойти с ними! — заявил Кавендиш.— Надеюсь, вы ничего не имеете против?

— Куда это — с ними? — сдержанно спросил Кирилл.

— Они предлагают искупаться... По-шведски, разумеется, в костюме Адама.

— Не слишком ли вы рискуете, сэр? — раздраженно спросил Несси.

— Нет, молодой человек! — с достоинством ответил Кавендиш.— Я выгляжу не так плохо, как вы, может быть, думаете.

Но тут ринулся в бой Кирилл. Отбросив в сторону все ссылки на эстетику и приличия, он призвал на помощь медицину. Человеку его возраста, да к тому же усталому, потному, подвыпившему, такая полуночная ванна грозит просто-напросто инфарктом. В прошлом году при подобных обстоятельствах погиб известный всему миру специ-

алист по семантике Жоливер. Чистое вранье, разумеется, потому что француз просто-напросто уснул на надувном матраце и его унесло в море. К счастью, имя это было Кавендишу знакомо, он опомнился и, хотя не без горьких сожалений, отдал себя в руки молодых людей. Шведка окинула их презрительным взглядом — рухнула ее мечта увидеть голым этого пьяного старика.

— Жаль мне вас! — с искренним огорчением заявил Кавендиш.— Лучше умереть голым среди дам, чем одетым среди прелатов.

Но по дороге в гостиницу Кавендиш и сам понял, что у него не хватило бы сил добраться даже до пляжа. Вскоре он окончательно ослабел, и молодые люди уже не поддерживали, а буквально волокли его под мышки. Кое-как впихнули в лифт, поднялись на этаж. Самым разумным было бы раздеть старика и уложить его в постель, но они решили, что и так возятся с ним слишком много. Ничего, пусть поспит ночку одетым, в другой раз будет осторожней и со спиртным, и со шведками.

В коридоре оба с облегчением перевели дух. Ночное это приключение окончательно прогнало сон, в тесный и душный номер не хотелось даже возвращаться.

— Давай поднимемся на верхнюю террасу,— предложил Кирилл.— Немножко придем в себя...

На террасе было совсем темно, фонари погашены, шезлонги сложены и убраны. Молодые люди облокотились на каменную балюстраду и устремили взгляды на еле видное в ночном мраке море. Оно простиралось почти прямо под ними, у самых скал, о которые в непогоду с тяжелым гулом разбивались волны. Но эта ночь была так тиха, что они с трудом улавливали его могучее дыхание, ровное и приглушенное, словно во сне. Большое темное облако с прозрачными краями, словно веко, прикрыло красноватую луну. Оба молчали, говорить не хотелось. Но и тот и другой думали о Кавендише — каждый по-своему, разумеется. Наконец Несси не выдержал.

— В сущности, Кавендиш всего-навсего жалкий паяц! — сказал он враждебно.— Или шут, все равно!.. Даже певица это поняла.

— Певица просто предпочла его другим! — сдержанно отозвался Кирилл.

— А я было подумал, что ты и организовал все это жульничество.

— С ума сошел! — Кирилл, похоже, обиделся. — Я не сводник!

— Тогда почему же?

— Откуда я знаю? Может, догадалась, что сердце у него доброе и любвеобильное.

— Глупости! — оборвал его Несси. — Сердце! У этого старого, скрюченного эгоиста! Догадалась, что бумажник у него полный, вот о чем она догадалась... А он, как и положено старому дураку, тут же клюнул на удочку.

Кирилл помолчал немного, потом неохотно проговорил:

— Ты, похоже, слегка возненавидел его сегодня.

— Я? — удивленно взглянул на него Несси. — Это чувство мне вообще незнакомо.

— Нет, ты его возненавидел! — повторил Кирилл. — Хотя и сам этого не сознаешь. В конце концов, ничего плохого тут нет.

— За что же я могу его ненавидеть, по-твоему?

Кирилл усмехнулся — правда, довольно криво.

— Сейчас я тебя ошарашу! Ты ему завидуешь.

Действительно ошарашил. Несси был поражен, что эти слова подействовали на него так болезненно. Ненависть, от которой он еще минуту назад столь решительно отрекся, пронзила его, словно внезапное головокружение. Но что это именно ненависть, он не понял и никогда потом не мог вспомнить этого ощущения.

— Завидую? Ему? — нервно переспросил он. — Чему же это? Его красоте? Инфантильному его разуму? Или, может, его маниакальным теориям?

— Я могу сказать, чему ты завидуешь, — спокойно ответил Кирилл. — Тому, что он моложе!.. Что он намного нормальней и естественней нас с тобой. И к тому же умеет вселиться.

— Да, ты, видимо, здорово выпил сегодня! Неужели не понимаешь, что все над ним просто смеялись?

— Они просто радовались вместе с ним.

— Ты и вправду пьян, — убежденно заявил Несси. — Я уж было думал, что с тех пор ты протрезвился, но нет!

— Пусть так. Что из того?

— Как что? Значит, ты невменяемый. Со мной так было однажды. Я даже не знал, что делаю.

Кирилл засмеялся.

— Ты и сейчас этого не знаешь. Сам себя не можешь понять.

— Не так уж трудно... Я, конечно, не светило мировой науки, как Кавендиш. Но и не такой дурак, как он. Все, что я делаю, по меньшей мере необходимо и полезно.

Кирилл долго молчал, потом, собравшись с духом, ответил:

— Нет. Все, что ты делаешь, абсолютно бесполезно. И для людей, и для тебя самого!

Сначала Несси просто его не понял.

— Как это? А моя работа?

— Какая там работа? — с досадой сказал Кирилл. — Разве ты способен понять разницу между работой и творчеством?

Действительно, разницы для Несси не было. И, не зная, что ответить, он просто замолчал, смутно догадываясь, что Кирилл на этом не остановится. Так оно и оказалось.

— Думаешь, решить какую-нибудь задачу — и в самом деле работа, достойная человека, — заговорил он. — Компьютеры делают это гораздо лучше. Человек должен уметь поставить задачу. Или создать теорию. Или открыть истину, все равно какую, лишь бы другим она ранее была неведома. Ты этого не делаешь, Несси. И даже не сознаешь, что с бешеной скоростью крутишься вхолостую, как колесо без трансмиссии.

Он замолк. Темное веко облака приподнялось, показался красноватый глаз луны. Несси выпрямился у балюстрады, белый и безжизненный, как статуя.

— Тогда почему меня держат на работе? — спросил он. — Да еще в академии?

— Ты для них всего лишь эксперимент, — холодно ответил Кирилл. — Морская свинка, обезьяна, подопытная собачка. Опыт начался и должен быть доведен до конца. Хотя всем уже давно ясно, что толку от него никакого.

Несси глубоко перевел дух.

— Так. Теперь и мне ясно, что ты меня ненавидишь, — сказал он совершенно спокойно. — Из-за этого болвана? Из-за Кавендиша? Я и раньше подозревал, что

ты разделяешь его полоумную теорию об энтропии человеческих обществ.

— Конечно, разделяю! — внезапно взорвался Кирилл.— Верно, не совсем. Но рядом с тобой мне хочется поверить в нее до конца. И знаешь, из-за чего? Из-за твоей бесчувственности, самоуверенности. Из-за пустой самонадеянности твоего еще более пустого ума. Поэтому ты и Кавендиша ненавидишь.

— Кавендиш — старая тряпка! — сказал Несси.— Лучше умереть, чем быть на него похожим.

— Нет, Несси. Ты не можешь ни на кого быть похожим... Ужасно, если другие станут походить на тебя. А так ты безвреден. И даже чем-то порой мне симпатичен. Жалко мне тебя. Несси, я, верно, единственный человек в мире, который тебя жалеет. И все же, если бы я мог, я бы тебя уничтожил...

— Почему же ты этого не сделаешь?

— Потому что я человек! — яростно заорал Кирилл.— Потому что у меня есть совесть!

— А у меня нет! — сказал Несси.

В какую-то долю секунды он вскинул Кирилла над головой с такой легкостью, словно тот был не человек, а полый внутри портновский манекен. И с силой швырнул его в темную бездну. Юноша не издал ни звука, будто испустил дух еще в руках Несси. Нет, нет, он был жив! Тело его жалко и беспомощно дернулось, словно хотело уцепиться за что-то невидимое. Потом он исчез.

Несси так и остался стоять у балюстрады, выпрямившись, вскинув вверх руки. Прошла целая вечность, пока не послышался глухой мертвый удар о скалы. Мертвая, белая, безжизненная молния пронзила его душу, рассекла ее словно ударом сабли. И в этом ослепительном свете он на мгновение увидел себя. Голого, израненного, с отчаянно вскинутыми к небу руками. Берег был крутой, каменистый, мимо него стремительно неслась страшная черная вода — не просто вода, а стихия,— волоча громадные, вырванные с корнем деревья. Корни их торчали и извивались среди волн, словно руки утопленников. Потом небо снова ослепительно вспыхнуло, и все исчезло.

Наконец Несси пришел в себя. Облака рассеялись, над горизонтом светила луна, по-прежнему далекая и безучастная. Несси не торопясь вернулся к себе в комнату, лег и тут же заснул.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Ранним утром следующего дня тело Кирилла нашли среди белых ноздреватых скал берега. Впрочем, телом его назвать было довольно трудно, настолько оно было разбито и изуродовано. Черная кровь засохла на камнях, над нею уже кружили осы. Те, кто первым увидел его, в ужасе разбежались. Потом явилась милиция, портье опознал тело. После краткого осмотра разбудили Несси. Было около шести — время, когда тот обычно совершал свой кросс. Но сейчас он спал. Дверь его комнаты была не заперта, следователь вошел свободно. Дежурный лейтенант, порядком бледный и расстроенный, первым подошел к постели. Несси открыл глаза и поднял на него ясный взгляд, в котором тлело еле заметное удивление.

— Где ваш друг? — спросил лейтенант.

Несси бросил взгляд на соседнюю кровать. Она была аккуратно застелена — со вчерашнего вечера до нее явно никто не дотрагивался.

— Вчера я вернулся один, — ответил Несси.

— Когда вы его видели в последний раз?

Несси неохотно рассказал. Были вместе с Кавендишем в „Цыганском таборе", там они, Кирилл и философ, изрядно выпили. Нет, нет — сам он не пьет, просто сидел, смотрел на них и порядком скучал. Вернулись часам к трем, кое-как устроили Кавендиша у него в номере. Затем вместе поехали на лифте на седьмой этаж, к себе. Кирилл пожаловался, что у него кружится голова и что вряд ли ему удастся заснуть. Тогда Несси предложил ему подняться на террасу, на крышу, и посидеть там немного на свежем воздухе, пока не протрезвится. Сам он вышел у себя на этаже, а Кирилл поехал дальше.

Наступило краткое молчание. Лейтенант ожидал, что Несси спросит: „Где же Кирилл? Не случилось ли с ним чего?" Но тот молчал и смотрел на него все тем же холодным, непроницаемым взглядом.

— Ваш друг бросился ночью с террасы, — внезапно сказал лейтенант, — и разбился на скалах.

— Бросился? — переспросил Несси спокойно. — Это исключено.

— Почему?

— Потому что он был в великолепном настроении.

— Тогда, может быть, его сбросили.

— Это уж совершенно нелепо! — возразил Несси.— Кто его сбросит? Кирилл был такой деликатный и воспитанный. Разве он мог кого-нибудь спровоцировать? Это исключено.

— Может быть, ревность?

— Нет, нет... Мы же все время были вместе.

— Ограбление?

— Нашли при нем деньги?

— Сто пятьдесят левов.

— Да, это его деньги. Мы здесь за счет Академии наук.

Лейтенант помолчал.

— У вас есть какие-нибудь предположения?

— Только одно. И самое простое,— сказал Несси.— Он просто склонился над парапетом. Может, затошнило. И полетел вниз.

Лейтенант не ответил. Хотя и мог бы, конечно. Осмотр не очень-то подтверждал это самое простое предположение. Тело было найдено не у самой стены, как следовало бы, если б Кирилл упал сам, нечаянно, а в двух шагах от стены. Но и предположить, что кто-то его сбросил, было трудно — такое мог сделать лишь великан или сумасшедший.

— Да, благодарю вас,— довольно сухо сказал наконец лейтенант.— У меня все.

— Можно его увидеть?

— Труп?

— Пока я его не увидел, Кирилл для меня не труп! — довольно странно ответил Несси.

Его отвели на место происшествия. Приподняли брезент, ужасная картина вновь открылась глазам людей. Все, даже врач, невольно содрогнулись,— все, кроме Несси. Он смотрел ясным, ничего не выражающим взглядом, ни один мускул не дрогнул на его лице. Только выглядел он таким отрешенным, так глубоко погруженным в себя, что, казалось, не видел ничего вокруг. Вся его внутренняя сила, все напряжение, на какие он был способен, были направлены сейчас на то, чтобы вспомнить. Вспомнить, что он пережил вчера на террасе, когда это жалкое, разбитое тело летело в бездну. Потому он и пришел сюда, на это страшное место. Да, он помнил все до последнего мгновения. Черная вода, плескавшаяся у скал. Он сам с поднятыми к небу руками. Единственное, чего он никак

не мог восстановить в памяти,— это потрясшее его тогда чувство. Сейчас внутри него было пусто-пусто, безжизненно, мертво.

Несси еле заметно вздохнул, повернулся и пошел к гостинице, не сказав ни слова, не бросив никому даже взгляда.

Следователи направились к англичанину, разбудить которого оказалось гораздо труднее. Наконец философ открыл мутные глаза, недоуменно оглядел всех. Поняв, что случилось, Кавендиш так разволновался, что врачу пришлось успокоить его инъекцией. Но сказать он ничего не мог. Воспоминания его кончались где-то на танцплощадке, все остальное было покрыто мраком. Следственные органы больше не обращались ни к Несси, ни к Кавендишу. Только сообщили, что те могут уехать, когда пожелают.

В этот день Кавендиш не спускался в ресторан и не заказывал еду в номер. Но Несси как ни в чем не бывало поел за столиком с английским флажком. Лицо его не выражало никаких чувств, ничего, кроме самоуглубленности и раздумья. На следующее утро они с Кавендишем улетели в Софию. Места их в самолете были рядом, но философ ни разу не взглянул на Несси. Он сидел мрачный, всю дорогу не отрывал глаз от иллюминатора, хотя глядеть там было абсолютно не на что — голубая пустыня и кое-где белые пушистые клубы облаков. До самой посадки никто не проронил ни слова. В аэропорту их встретил только шофер с машиной президента Академии наук. Наверное, уже знал обо всем, потому что уложил их багаж молча и так осторожно, словно это был сам покойник. Роскошная машина бесшумно тронулась с места, быстро набирая скорость. Лишь тут Кавендиш тихо, словно бы говоря сам с собой, уронил:

— Я знаю, это вы убили Кирилла!..

— Зачем? — спокойно и холодно спросил Несси.

— Потому что вы ему завидовали. Потому что знали, насколько он вас превосходит.

— Завидовал? — сказал Несси.— Какой абсурд! Вы ведь прекрасно знаете, что я не умею ни любить, ни ненавидеть. Тем более завидовать. У меня нет чувств, сударь!

— Да, чувств у вас нет! — мрачно кивнул философ.— Но и совести тоже.

— Может, вы и правы! — ответил Несси, и впервые в голосе его прозвучало что-то вроде оживления.— Сове-

сти у меня действительно нет — разумеется, в том нелепом смысле, в каком обычно употребляют это слово. Как суеверие, как страх перед неведомыми силами или мстительными божествами. Но у меня есть своя мера, по которой я сужу о людях, и она прежде всего разумна. Подумайте сами — он был моим единственным другом. Он один относился ко мне с каким-то вниманием. И потом, каждый из нас занимался своим делом, наши пути нигде не пересекались...

— Тогда почему вы его убили?

Несси помолчал.

— С логической точки зрения возможна лишь одна причина, господин Кавендиш. Если во мне пробудилось что-то человеческое. Какое-нибудь чувство, страсть, болезненная амбиция.

Кавендиш молчал. Он знал, что молодой человек прав. Как всегда, логика его была безупречна. И так как философ молчал, Несси заговорил снова:

— Вас ввела в заблуждение ваша наивная буржуазная теория, господин Кавендиш. Я не допускаю, что разум может мешать большим человеческим чувствам. По крайней мере тем, какие утверждают ваши крупнейшие писатели. Абсурдно думать, что внутри самого сознания его положительные категории вступают в противоречие и взаимно отрицают друг друга. Это алогично. Человечество действительно может погибнуть, но не от разума, а от собственной глупости.

— К сожалению, история не подтверждает вашей элементарной логики! — сказал философ, но голос его прозвучал уже не так уверенно.

— Не люблю я этой отвратительной науки, господин Кавендиш, которую вы называете историей. Я просто ее не понимаю. История чего? История насилия, жестокостей, садизма. Особенно в эту последнюю войну. Чем они вызваны? Конечно же, грубыми, примитивными чувствами и страстями человека.

Кавендиш энергично помотал головой.

— В этом ваша главная ошибка,— сказал он.— Жестокость и насилие никогда не базируются на чувствах. Наоборот, они означают полную бесчувственность.

— Послушайте, что я вам скажу! — уже с некоторым нетерпением возразил Несси.— Вы напрасно приписываете человечеству то, что присуще лишь вашему отвратительному общественному строю.

Тут произошло неожиданное. Кавендиш побагровел, словно перед припадком, и, не сдерживаясь, закричал:

— Я вовсе не буржуазный ученый, запомните это!.. Я глубоко ненавижу любой строй, основанный на насилии и несправедливости. И это тоже запомните. Лучше объясните, зачем вы убили Кирилла? А тогда я вам скажу, кто вы и какому строю принадлежите!

Несси окинул его презрительным взглядом.

— Возможно лишь одно разумное объяснение — для того, чтобы разбудить в себе человека! — ответил он. — Какого ни есть. И как бы он ни назывался!

Кавендиш вдруг скорчился, словно его ударили в живот. И больше за всю дорогу не проронил ни слова. Лишь когда машина остановилась у гостиницы, он неохотно проговорил:

— Я улечу завтра с первым же самолетом, господин Алексиев. Мы больше не увидимся. И вот что мне хотелось бы сказать вам напоследок... — Он замялся. — В этой жизни вас может спасти лишь одно — любовь. Постарайтесь влюбиться.

В первый момент Несси просто не поверил своим ушам. Рехнулся он, что ли, этот человек? Но Кавендиш выглядел таким грустным и подавленным, что Несси только пробормотал:

— К сожалению, господин Кавендиш, это последнее, что я могу сделать. Чтобы не сказать, невозможное.

— Нет, возможное! — горячо воскликнул Кавендиш. — Вы ошибаетесь. Я вам сейчас объясню. — Он беспомощно огляделся, потом сказал: — Зайдемте на минутку!.. Я вам объясню, да, объясню!..

Пока шофер занимался вещами, они прошли в дневной бар и сели за столик в сторонке. Было пусто и прохладно, обе барменши, занятые каким-то своим, явно увлекательным разговором, даже не взглянули в сторону посетителей. Впрочем, те и не собирались ничего заказывать. Лицо Кавендиша, и бледное и багровое сразу, напоминало ломоть пражской ветчины.

— Я хочу объяснить вам ваш сон, — заговорил он возбужденно. — Помните — киты и белый айсберг? Поймите меня правильно, я не фрейдист. Даже наоборот. И все же в некотором отношении Фрейд был прав — сновидения выражают какую-то часть скрытой сущности человека. Его подавленного духовного мира. Вы знаете, что означает ваш сон?

— По-моему, ничего! — неохотно ответил Несси.— Просто картина.

— Но что́ вызвало эту картину из вашего подсознания? Из вашей генетической памяти? Вероятно, какое-то внутреннее напряжение. Какая-то потребность. Эта потребность, по-моему, называется жаждой красоты.

Несси неуверенно взглянул на него. Жажда красоты? Это, похоже, не лишено смысла. Кавендиш, словно почувствовав его колебания, оживленно продолжал:

— Подумайте, подумайте!.. Разве ваше сновидение не поражает именно красотой? Вспомните! Белое и голубое в их безмерной чистоте! И плывущие киты! Что может быть мощней, царственней, прекраснее их движений? Величественная, вечная картина! С тех пор как вы это рассказали, она не выходит у меня из головы.

— Допустим. Я только не понимаю, что общего у этой картины с любовью?

— Как — что общего? — чуть не закричал Кавендиш.— Любовь и красота — два почти равноценных понятия.

— Не верю,— ответил Несси.— Любовь — одна из самых примитивных уловок природы. Правда, для этой цели она иногда и в самом деле использует красоту. Но не всегда. А сейчас все чаще предпочитает безобразие, деформацию, извращение.

— Да, это верно. Но это относится к уже испорченным людям. Внутренне опустошенным. Лишь вы имеете удивительную возможность начать все сначала. Или вернее — впервые. И вы начнете именно с красоты — как львы, павлины, жеребцы, горлицы. Поймите, это заложено в вас. И ищет своего выражения. Найдите его! — Кавендиш говорил уже вдохновенно.— Это ваш единственный шанс!

Об этом разговоре Несси вспомнит в час своей трагической смерти. Зачем Кавендиш повел его по этому пути? Ангел он или сатана? Хотел он спасти или погубить?

2

Внешне жизнь Несси никак не изменилась. Он вставал рано, пробегал свой утренний кросс, с педантичной точностью появлялся на пороге залитого солнцем кабинета. И словно бы не замечал ни пустоты,

ни глухой тишины, окружавшей его. Никто не спросил у него, что же все-таки случилось, как погиб его друг,— ни шефы, ни коллеги. Может быть, инстинктивно страшились узнать правду. А может быть, просто не желали вмешиваться в чужие дела, тем более столь трагические.

И все же в его жизни кое-что изменилось. Он больше не работал. Нет, не совсем — кое-что он все-таки делал, но неохотно, с ощущением внутренней пустоты. Иногда он часами сидел перед закрытой зеленой папкой, думал. Вид у него становился все более отрешенным, глаза — все более безжалостными. Впервые он думал о себе. Кто он такой, в сущности? Почему не похож на других людей? До сих пор на эти вопросы у него был готовый, неизменный ответ — отличие лишь в том, что он намного обогнал, перерос остальных. Может быть, пройдут века, и все станут похожи на него — и по разуму и по внутренней силе. Так он думал раньше. Но сейчас это его убеждение, похоже, поколебалось. В сущности, у Несси не было многого из того, чем обладали другие. Так, например, у Несси не было детства. Может быть, и вправду в этом нежном возрасте образуется именно то, чего ему так не хватает? Чувства? Воображение? Или совесть, которой, как все единодушно утверждают, у него нет и в помине?

Он все чаще сидел в маленьком квартальном скверике, внимательно наблюдая за бегавшими по аллеям детьми,— за детьми, которые кричали, толкались, вырывали друг у друга игрушки, дрались, а затем дружно ревели — и побитые, и драчуны. Несси просто не мог понять, почему все это вызывает у взрослых такое умиление. В сущности, думал он, дети ничем не отличаются от взрослых, только ведут они себя гораздо откровеннее. Что стоящее может сложиться в этой стихии озорства и пакостей?

И Несси потерял к детям всякий интерес. Не стоило на них тратить время, ничего для себя полезного он тут найти не мог. В задумчивости стоял он по утрам у окна, глубоко и сильно дышал. Скорее по привычке — до чего же глупо заботиться об этом жалком и тленном теле, которое время рано или поздно все равно упрячет в могилу. Все можно обмануть в этом мире, думал он, нет лишь способов исправить рецепт, в котором расписано и предопределено все — до последнего камешка в почках. Ночи стали длиннее, заря уже не освещала улицу, в пустых

глазницах окон таился мрак. Ее окна Несси, с тех пор как вернулся, ни разу не видел открытым — завешенное изнутри пожелтевшими газетами, оно напоминало глаз, затянутый катарактой и способный разглядеть лишь мутный отблеск рассвета. Потом Несси завязывал шнурки на безупречно белых кедах и отдавался своему ежедневному убогому развлечению. Ничего не случалось в эти ранние часы. Лишь однажды, слегка ошарашенный, он остановился посреди аллеи. Из кустов выскочила тощая, ободранная кошка и, прошмыгнув у самых его ног, мельком бросила на него ничего не выражающий взгляд круглых желтых глаз. Но внимание Несси привлекла не кошка — в зубах у нее безжизненно болтался маленький окровавленный бельчонок, наверное мертвый. Волнение охватило Несси, слабое, еле заметное волнение, которое ему суждено было — он этого не знал — запомнить надолго. Потом кошка со своей добычей исчезла в кустах.

Так прошло дней десять — все, как один, пустые, бессмысленные, словно он вдруг оказался на дне давно высохшего колодца, откуда не видно ничего, кроме маленького кружка неба над головой, неизменно синего, но безнадежного. Однажды он заметил, что ее окно открыто — видимо, девушка вернулась. Ничего нельзя было разглядеть в комнате — ни человеческого присутствия, ни хоть какого-то движения. Да и что он мог там увидеть? Свое спасение, как слащаво выразился Кавендиш? И все же он вновь почувствовал легкое волнение, точно такое же, как при виде мертвого бельчонка. А может, и правда, что смерть и любовь идут рядом, как иногда пишут в своих книгах глупцы писатели?

В тот день случилось первое чудо — Несси отменил утреннюю прогулку. Просто взял и остался дома. Мрак в ее комнате медленно редел, из небытия выплывали мебель и другие предметы. Он ждал. Ждал спокойно, без напряжения, но все же с какой-то внутренней затаенностью, которой раньше никогда не испытывал. Наверное, жук-муравьед вот так же ждет муравьев на дне своей песчаной норки. Так ящерицы, леопарды, удавы ждут добычу — свою насущную пищу. Лишь к шести часам он заметил в комнате какое-то движение, словно тени и свет поменялись местами. Вдруг в полумраке мелькнули вскинутые вверх красивые белые руки — наверное, девушка одевалась. Лишь после этого появилась в окне и она сама, в желтом платьице, непричесанная, может быть, невы-

спавшаяся. Откровенно, без стеснения, не пряча под ладонью рот, зевнула. Блеснули белые чистые зубы.

Несси наблюдал за ней затаив дыхание. Она и в самом деле была красива, сейчас он это видел как нельзя лучше. Волосы у нее были цвета темной меди, кожа очень белая, глаза голубые или, может, зеленоватые с очень ясным блеском, впрочем, вероятно, это был отсвет утреннего неба. Ничего особенного, девушка стояла бесцельно и равнодушно, лицо ее светилось. Видимо, она просто радовалась ясному утру, инстинктивно глотая свежий, прохладный воздух, еще не испорченный тяжелыми дневными испарениями. Ему она казалась непостижимой. Он еще не знал самой простой истины, что по-настоящему красивы лишь далекие и непостижимые вещи — звезды, снега Килиманджаро, озера Тянь-Шаня. И женщины — пока они далеки и недоступны. Это, правда, была не так уж далеко, но между ними зияла улица, в этот час еще холодная и темная, как пропасть. Потом девушка исчезла.

Еще два раза Несси пропустил свою утреннюю прогулку. И оба раза девушка появлялась у окна только на минутку — взглянуть на утреннее небо, потом исчезала. На второй раз ему показалось, что она поглядела на него — не мельком, нет, это длилось гораздо дольше — сильлся потом он вспомнить. Он ни разу не видел, чтобы она вышла на улицу. Вероятно, студентка и сейчас усиленно готовится к осенней сессии — что другое мог он предположить?

Затем Несси шел на работу — неудовлетворенный, опустошенный. Раскрывая папку, равнодушно глядел на страницы. Может, это и есть начало любви? И тут же с отвращением отбрасывал эту мысль. Даже если и так, он должен сопротивляться. Любовь казалась ему чем-то неестественным и примитивным, каким-то обманом, заблуждением, грубой деформацией сознания. И наверное, чем-то похожей на опьянение, на мертвого бельчонка в зубах у кошки. Хорошо бы заставить себя забыть ее окно и спокойно заниматься своим делом. Но можно ли спокойно заниматься делом, к которому не лежит душа? Формулы и цифры казались ему теперь просто безвкусной соломой, изрыгаемой металлической пастью соломорезки.

К тому же он давно знал — если хочешь от чего-то избавиться, лучше всего это пережить. Тогда что ему мешает познакомиться с девушкой? Приняв такое решение, он

вдруг почувствовал облегчение, словно полдела было уже сделано. Собственно говоря, раньше он так не поступал. Несси никогда не бросался на свою добычу, словно ягуар, и не преследовал ее до полного изнеможения, как шакалы. Ему достаточно было, словно муравьеду, высунуть свой влажный язык, и к нему тут же приклеивались десятки муравьев. Оставалось только проглотить. Почему бы ему не пойти прямым путем? Настоящие полководцы не ищут обходных маневров.

Итак, однажды утром Несси позвонил у дверей квартиры, где, по его расчетам, должна была жить девушка. Вскоре послышались легкие шаги, на пороге появилась она. Лицо ее озаряла широкая радостная улыбка, мгновенно угасшая при виде Несси. Очевидно, она ждала кого-то другого, и внезапное появление незнакомца ее удивило. На ней было все то же желтое платьице, в котором, вероятно, она ходила только дома. Босая, непричесанная, может быть, даже неумытая, девушка, казалось, только что проснулась. Как можно было не смутиться? Она невольно, словно что-то ее потянуло, подалась назад, возможно собираясь захлопнуть дверь перед самым носом неожиданного посетителя. Но Несси ее опередил.

— Меня зовут Анастас Алексиев...— начал он.

— Да, я вас знаю,— перебила девушка.

— Знаете?

— Но вы ведь живете напротив.— Она улыбнулась.— Я тоже математик, пока еще, конечно, студентка.

Непонятно почему, Несси это не понравилось. Возможно, он не любил женщин, занимающихся чисто мужскими науками.

— Чудесно,— ответил он.— Знаете ли, в сущности я... хотел...— Он на секунду растерялся. Такого с ним еще никогда не было.

— Вы ко мне?— удивленно спросила девушка.

— Конечно, к вам... Я как раз хотел объяснить...

— Что ж, входите!— слегка смутившись, пригласила она.— Входите, раз пришли.

Последние ее слова были не бог весть как радушны. И все же он пошел за ней. Сейчас девушка показалась ему гораздо ниже, чем он ожидал, может быть потому, что она была босиком. Они миновали темную прихожую, холл, заставленный ветхой, потрескавшейся мебелью. Чучело филина, висевшее у двери в ее комнату, встретило его пристальным взглядом желтых стеклянных глаз. Он

огляделся. Большая, довольно пустая комната. Диван, покрытый сшитыми овечьими шкурами, несколько провинциальных вышитых подушечек, большой гардероб, вздувшийся с той стороны, где когда-то стояла печка. Два стула, стол. На столе, как он тут же заметил, лежал учебник топологии с аккуратно заложенными карандашом страницами. Девушка стояла перед ним все еще в некотором смущении.

— Извините, но мне надо одеться.

— Пожалуйста!

Она что-то взяла из гардероба и вышла. Сейчас уже было неясно, кто больше поражен — она или он. Несси с трудом верил своим глазам. Девушка оказалась не такой уж красивой. Нет, конечно, красивой, но ни в коем случае не прекрасной. И главное — слишком уж обычной. Только кожа у нее была по-настоящему хороша — белая, нежная. Но он не увидел в ней того внутреннего света, которым она светилась издали. Может, это и вправду был только отблеск рассвета. Глаза тоже обычные — голубые, не поражающие, как глаза Фанни, лихорадочным блеском. И вообще, ничего общего с Фанни — гибкой, сильной неожиданной. Просто обычная девушка с руками, покрытыми довольно обильным золотистым пушком.

Через некоторое время девушка вернулась — в черной юбке и сиреневой блузке с открытым воротом. На этот раз она показалась ему немного красивее, тем более что каблучки делали ее чуть выше. Она села против него на диван со шкурой и провинциальными подушечками, стиснув колени, словно гимназистка. Все это время в ее ясном взгляде чувствовался затаенный вопрос — что ему здесь надо, зачем он явился? Придется, разумеется, найти какое-нибудь приличное объяснение.

— Вы знаете, что я живу напротив?

— Да, конечно. Окно в окно.

— Именно.

— Я вас тоже видела. А хозяйка сказала мне, кто вы такой.

Это она здорово сделала, хозяйка. Можно опустить самую трудную часть объяснений. Но остальное?

— Знаете, как и всякий математик, я человек позитивного склада. Я вас тоже видел в окно — мелькнете, исчезнете. Кто вы? Мой разум плохо мирится с неизвестным. Я привык всегда искать ответ и решение. Скажите мне, только искренне, вас не тяготит мое присутствие?

— Нет, конечно! — решительно ответила она.

Несси чуть было не вздохнул от облегчения. Ему удалось победить в себе ее красоту. Теперь оставалось победить сопротивление, и все будет в порядке.

— Как видите, оказалось, что у нас есть общие интересы,— продолжал он.— Может быть, мы сумеем стать друзьями?

Он почувствовал, как девушка внутренне насторожилась. Лицо ее вдруг стало серьезным, даже слегка озабоченным.

— Друзьями! — ответила она.— Не слишком ли сильное слово?

— По-моему, самое обычное в наше время.

Она ответила не сразу. Потом, собравшись с силами — Несси это явственно почувствовал,— спокойно и внятно сказала:

— Дело в том, что у меня уже есть друг.

Такой ответ он меньше всего ожидал услышать. Хотя что могло быть естественнее? Одиночество не для девушек, это же ясно, тем более для красивых. Но лишь много, много позже он понял, каким непомерным и, по существу, нелепым было его самомнение. А тогда ему и в голову не приходило, что кто-то другой может уже владеть тем, что ему потребовалось.

— Неважно! — ответил он.— У каждого современного человека есть друзья. Или подруги. И разве можно иметь только одного друга? Мне кажется, это противоестественно.

Девушка явно смутилась. Во взгляде ее мелькнула беспомощность.

— Все зависит от того, что мы в это слово вкладываем.

— По-моему, оно безгранично. Может содержать все. И ничего. То есть не совсем ничего, но достаточно, чтобы оправдать отношения в компании.

Несси по-прежнему говорил уверенно и спокойно, но чувствовал в себе какую-то пустоту, темную и страшноватую, напоминавшую ту бездну у моря.

— Да, естественно,— сказала девушка.— Но мой друг... как бы это сказать, он человек особенный. Во-первых, он не болгарин.

— Тем лучше! — Несси даже улыбнулся.

— Он тоже студент, учится вместе со мной. Но он родился в Африке.

— Негр? — удивился Несси.

— Почему негр? Но даже если и так, то что? — Нежный голосок зазвенел почти враждебно.

— Разумеется, ничего.

— Видите ли, они немного более ревнивы, чем мы. Вот и все! — добавила она с облегчением.

Несси внезапно поднялся.

— Тогда нам больше не о чем говорить! — сказал он. — Но, по-моему, если человек живет в чужой стране, то должен по крайней мере считаться с ее нравами.

— Но он очень хорошо воспитан! — порывисто воскликнула девушка.

— Слава богу! И все же подумайте. Мне кажется, я тоже хорошо воспитан. Я, например, никогда в жизни никого и ни в чем не ограничивал!.. Всего хорошего!..

И, не протянув ей руки, Несси направился к двери. Но в прихожей все-таки оба одновременно остановились.

— Я даже не узнал, как вас зовут! — сказал он.

— Рени.

— Что ж, Рени, желаю приятно провести время в Африке. Раз дело настолько серьезно.

— Не будьте злым! — сказала она.

Потом, поколебавшись, добавила:

— Почему бы вам не зайти ко мне в среду?.. У меня день рождения.

— В котором часу?

— В семь, восемь, когда захотите.

— Спасибо, подумаю.

И, кивнув ей на прощание, Несси вышел на пыльную давно не подметавшуюся лестницу.

3

В среду. Четыре дня оставалось до этой среды. Впервые с тех пор, как он себя помнил, его разум отказывался принять решение. Это было настолько невероятно, что просто повергало его в какое-то внутреннее оцепенение. Сейчас Несси напоминал сам себе странную и беспомощную счетную машину. Все клавиши нажаты, слышно приглушенное жужжание механизмов, нет только того завершающего щелчка, за которым следует результат. Он так и не решил, пойдет в среду на день рождения или останется дома. Разум подсказывал, что, если

приложить известные усилия, можно добиться любой, самой недоступной женщины. С какой стати Рени считать исключением? В конце концов, он просто обязан приложить эти усилия, хотя бы во имя того неписаного ритуала, который определяет границы приличий. Но впервые что-то в нем противилось трезвой оценке разума — может быть, чувство собственного достоинства, о существовании которого он не имел никакого понятия. И что это за африканский парень, ставший ему поперек дороги? Неужели он может равняться с ним, с Несси! А если любовь и вправду так слепа, как утверждают глупцы, то, уж во всяком случае, не он будет блуждать в ее лабиринтах. Однако ощущение пустоты, возникшее в нем, когда он впервые увидел Рени, разрасталось. Несси казалось, что он ощущает ее почти физически — может быть, в груди, где-то рядом с сердцем. Он еще не знал, что это — область человеческих страданий, темное и ужасное царство, населенное мрачными тенями и образами.

Первую ночь Несси спал всего два часа. Проснулся, как всегда, легко и чувствовал себя вполне выспавшимся, только на грудь, словно громадная, невидимая кошка, давила пустота. Он даже попытался прогнать ее бессознательным жестом, но пустота осталась. Тогда он встал и, чуть испуганный, подошел к окну. Окно напротив было открыто, на мгновение Несси поразила мысль, что она живет так близко. Затем он снова лег, но заснуть больше не удалось.

Вторую ночь он не спал вообще. И все-таки чувствовал себя бодро, голова была ясной, как всегда. Нет, не как всегда. Но понять, в чем тут разница, он был не в силах. Казалось, где-то глубоко в нем таилось нечто натянутое, как тетива, и, как тетива, готовое каждое мгновение спустить стрелу. Может быть, именно это ощущение напряженности мешало ему заснуть. Но расслабиться он не мог, как ни хотелось.

И снова Несси пропустил свою утреннюю прогулку, казавшуюся ему теперь совершенно бессмысленной. И, естественно, столкнулся в холле с отцом, который, увидев сына, порядком удивился. Несси показалось даже, что отец бессознательно отшатнулся от него, но потом остановился.

— Почему ты ничего не рассказал мне о Кирилле? — мрачно спросил Алекси.

— Да ты ж его вообще ни разу не видел!

— Ну и что? Люди же мы все-таки? Неужели нас должно интересовать лишь то, что мы видим?

Несси только пожал плечами и хотел было обойти отца. Но Алекси вдруг загородил ему дорогу, как дуб, внезапно выросший посреди комнаты.

— Я хочу знать, что случилось! — гневно потребовал он.

— А я откуда знаю! — Несси в свою очередь повысил голос.— Тебе ведь известно, в людях я не разбираюсь... Или, по-твоему, я тоже человек? — добавил он неожиданно для себя самого.

— Не в чем тут разбираться... Я просто хочу знать, как он упал...

— Как упал?.. Да просто наклонился над парапетом... И вероятно, поскользнулся... Он был здорово пьян.

— Пьян?.. Говорят, он вообще не пил.

— Что ты этим хочешь сказать? — взорвался Несси.— Что это я его столкнул?.. Это ты хочешь сказать?

Алекси опомнился. И только тут понял, что в нем уже таилось нечто похожее на эту мысль. Но услышав слова сына, он пришел в ужас.

— Нет, нет! — воскликнул он.— Просто меня потряс этот случай. Такой спокойный, уравновешенный парень... И вообще,— такой нормальный...

— Нормальный! — презрительно буркнул Несси.— Что значит „нормальный"? Я не знаю, где она у людей, эта граница. И есть ли она вообще!

На третью ночь Несси тоже никак не мог заснуть. Лежал на узкой кровати и думал. Вспомнились слова, сказанные им отцу. Интересно, что такое безумие? Наверное, это когда разум не может выдержать напряжения. Все равно какого — напряжения ужаса или безнадежного ожидания, монотонности или пустоты. Напряжения бесконечной прямой. Или круга. Но все же какого именно? Он встал, подошел к окну. Внутренние часы подсказали время — без четверти два. Минутой больше или меньше — значения не имело.

Ее окно светилось. Стена комнаты отражала слабое зеленоватое округлое сияние. Возможно — от ночника. Свет струился слева — там, в углу, стоял диван. Наверное, читает лежа. Роман или учебник. Хотя вряд ли, до экзаменов еще далеко. Девушки вроде Рени в такое время могут читать только романы. Несси по-прежнему не представлял

себе, как это люди читают книги, заранее зная, что в них все выдумано.

Вдруг в комнате словно бы возникло какое-то движение. Яснее всего оно чувствовалось на экране невидимой стены. Сияние трепетало, мерцало, потом на нем возникла огромная — словно бок мамонта — тень. А может, это были две тени, которые, не в силах разлучиться, сливались друг с другом? У Несси перехватило дыхание. Вдруг на стене ясно обрисовалась фигура, может быть, женщины с очень пышными волосами. Но у Рени волосы были гладкими. Потом тень исчезла в невидимой части стены. Несси ждал, все так же не в силах вздохнуть. Но больше ничего не случилось, только погас свет. Окно внезапно ослепло, как и все остальные на темном фасаде здания.

На следующий день Несси появился на работе, такой же, как всегда,— непроницаемый, безупречный. Может, чуть бледнее обычного, что было, правда, почти незаметно. Сел на свое место, аккуратно вытащил папку в блестящей обложке. Но папка оказалась пустой. Накануне он закончил все, что ему надо было сделать. Почему ему не принесли новых заданий? Забыли? Позвонить кому-нибудь из шефов? Но Несси тут же отказался от этой мысли. А вдруг он для них и в самом деле не человек, а машина? Никто не думает о машине, если в ней нет необходимости. Машина не может сама искать себе дело. А работать вхолостую может? Нет, ни одна.

Рабочий день кончился, и с ним как будто кончилось все. Несси больше ничего не ждал, ни к чему не стремился. Телефон молчал, но Несси не притрагивался к нему, даже если тихий стон его звонка и раздавался случайно в безлюдной квартире. Теперь и отец возвращался поздно. Несси иногда слышал среди ночи его тяжелые неуверенные шаги. Дом был пуст.

В этот вечер Несси поставил стул не у самого окна, а чуть подальше, в глубине комнаты. Погода стояла жаркая. В комнату лился уличный запах, тяжелый, как стоялая вода в канале. Но Несси не замечал ничего, он смотрел. Ее окно было темным, пустота за стеклами — недосягаема для взгляда. Так он просидел почти до рассвета, не сомкнув век, ни на миг не переставая думать. Но в ту ночь она вообще не вернулась домой.

4

Уже второй день он шел по грязному дну ущелья. Снова яркое солнце слепило его своим блеском. Все в теснине еще напоминало о стихии, так внезапно обрушившейся на их маленький, скрытый в пещерах мирок. Давно засохла простиравшаяся от берега к берегу и выше тина, засохла и потрескалась, как его пятки, как кожа на его иссушенном, израненном лице. Он шагал босой по этой густой и липкой тине, усеянной острыми кремнями и костями погибших животных, спотыкался и падал, но не останавливался ни на мгновение. Большая вода схлынула так же внезапно, как и пришла, уничтожив на своем пути все живое и неживое. Сорвала с корней деревья, с тяжелым грохотом выворотила гладкие валуны и острые камни. Он знал, что найдет ее, хотя бы пришлось идти вот так до конца дней. Может быть, потому и не спускал глаз с орлов и вороньих стай, сидящих на скалах. Как и он, они искали, как и он, находили. Много людей его племени унесла Большая вода. Завидев рывшихся в тине орлов или грязных воронов с кривыми блестящими клювами, он как безумный бросался к ним, швырял камни, хрипел. Птицы равнодушно взлетали, опускались где-нибудь поблизости, не мигая, смотрели на него круглыми, безучастными глазами. Они знали, что человек никогда не нападает, как гиены или волки. И не боялись за добычу — сколько может съесть один человек? А человек то и дело останавливался, лихорадочно осматривал раздувшиеся от жары трупы. Иногда вытирал лицо тому или другому. Потом шел дальше, все так же глухо и отчаянно хрипя.

Единственный из всего племени, остался он в живых и теперь шел по дну ущелья — искал свою жену. Единственный из всего племени — грязный, весь в трещинах, как тина, полный отчаяния.

Вначале как будто не было ничего страшного. Снаружи бушевал ливень, молнии вспарывали темноту. Но люди не боялись, они были надежно укрыты в глубине своей пещеры, где жили все, кто был ему близок, кого он знал. Только жена то и дело поглядывала на узкое отверстие, вспыхивавшее и угасавшее, вспыхивавшее и угасавшее. Страшный гул несся оттуда. Это река волочила камни и обломки скал. Он поднимал свою тяжелую растрескавшуюся ладонь и гладил ее по голове. Ни у одной

женщины в племени не было таких блестящих, таких мягких волос. Дождь лил два дня, на третий вода поднялась необычно высоко, ее гул не давал им покоя ни днем ни ночью. Однако он был совершенно спокоен. Из поколения в поколение передавались в его племени сказания о грозах и наводнениях. И ни в одном ни слова о том, что вода достигла пещер, залила их, даже самые нижние. Жена пусть себе боится, ей можно. Но он знал, что не имеет права бояться — даже медведей, которые иногда с глухим ревом пробирались в пещеры. Он только поднимал руку и гладил ее по волосам, да и то если рядом никого не было.

Вода хлынула в их маленькую пещеру на рассвете четвертого дня. Люди заметили это, лишь когда на них внезапно обрушились холодные, режущие, словно сотни кремневых осколков, струи. Они бросились к выходу, но было уже поздно. До полного изнеможения боролись люди с водой, пытаясь выбраться на берег. Он крепко держал жену, но бушующий поток вырвал ее у него из рук, отбросил далеко в сторону. Лицо ее на мгновение светлым пятном мелькнуло среди волн и исчезло. Это был конец. Как он добрался до берега, он не помнил.

Сначала он увидел воронов, что-то терзавших своими громадными клювами. Потом — двух одиноких орлов, безуспешно пытавшихся их разогнать. Это была она. Он наклонился, корявыми ладонями вытер облепленное грязью лицо. Он узнал ее сразу, хотя глаза были выклеваны, а грудь растерзана. Узнал по волосам, потому что ни у одной женщины в племени не было таких мягких, блестящих волос. Страшный вопль вырвался из пересохшего горла, тяжелый кулак изо всех сил ударил в могучую грудь. Птицы испуганно взлетели. Он видел, как они, словно черные тени, качались в прозрачном воздухе. Но больше не решался взглянуть на лицо, которое столько ночей покоилось на его плече...

...и проснулся, все еще раздираемый острой, невыносимой болью. Он сидел на стуле в своей комнате, а древняя боль была так жива и пронзительна, словно только что возникла. Он напряг все силы, чтобы удержать это нечеловечески человеческое мгновение, прежде чем оно исчезнет, может быть, навсегда. И оно исчезло — просто не верилось, что такое сильное ощущение может исчезнуть так молниеносно и так бесследно. Он все еще сидел на стуле, переполненный настоящим человеческим изу-



млением. Выходило, что все написанное в книгах — правда, гораздо более истинная, чем вся его жизнь. Чем любая жизнь. Несси взглянул на часы, он спал ровно семь минут. Семь ужасных минут, в течение которых он столько пережил. И столько вместил в себя — как разум его вмещал галактику, все галактики, вселенную, больше чем вселенную.

В это утро он никуда не пошел. Лег одетый в нерастеленную кровать и лежал так, пока в доме не послышалось слабое движение. Отец проснулся и, вероятно, собирался на работу. Тогда Несси встал, умылся и, ничего не помня, ни о чем не думая, вышел в холл. Отец был там, просматривал утреннюю газету. Несси остановился перед ним, лицо его было абсолютно неподвижно.

— Папа, где твой финский нож?

Алекси вздрогнул. Он уже и не помнил, когда Несси называл его „папа".

— Какой нож? — растерянно спросил он.

— Тот, которым ты перерезал шнур,— строго ответил Несси.

Алекси застыл. Действительно, шнур, на котором повесилась жена, он перерезал своим старым туристским ножом.

— Не знаю, сунул куда-то,— ответил он.— Наверное, в кладовке. А тебе он зачем? — вдруг спросил он.

— Ни за чем. Просто так.

Сегодня была среда. Всю ночь он думал об этом дне. И сейчас, после сновидения, тоже. Сон заставил его на многое взглянуть по-иному — может быть, более по-человечески, но и более жестоко. К тому же человеческое улетучилось слишком быстро. Надо было как-то его вернуть. Снова завоевать его для себя. Ровно в восемь он позвонил в дверь Рени. Нарочно задержался на целый час, чтобы все собрались. Девушка, в новом платье, открыла ему, сияя улыбкой, и, ласково взяв за локоть, провела в комнату. Он жадно всматривался в ее лицо, стараясь найти в нем что-то от того — с выклеванными глазами. Но не находил. Это лицо было веселым, довольным, будничным. Чужим. И все же, непонятно почему, внутренне ему близким. Комната была полна молодежи. Все расселись где придется, большинство — прямо на полу, на желтых и голубых провинциальных подушечках, самые удачливые — на диване. Только один стул был свободен — вероятно, для самой Рени.

— Ты будешь сидеть здесь! — сказала она. — Ты — гость особенный. Сейчас принесу стакан.

И выпорхнула из комнаты. Несси осторожно осмотрелся. Не следит ли кто за ним? Похоже, нет. Вокруг, можно сказать, одни дети. Впрочем, кто знает, есть же агенты-женщины, почему бы не быть и агентам-детям? Он в этом не слишком разбирался. Девушки и парни продолжали беззаботно веселиться, никто не обращал на Несси никакого внимания. Нет, один из них, похоже, на него посматривает. Он? Или другой? В голове у него все спуталось. Кто он? О ком идет речь? Среди гостей были иностранцы — две маленькие вьетнамки, нежные, как самые первые весенние крокусы. Кто мог знать, что одной из них суждено погибнуть? Был пылкий перуанец, в бурном потоке своих речей путавший испанские и болгарские слова. Его круглые птичьи глаза сияли. И ему была уготована та же участь. Остальным тоже, но пока все они еще веселились. Наконец вернулась Рени, принесла белый бумажный стаканчик из тех, в которых продают мороженое, налитый до половины какой-то жидкостью.

— Это ром! — сказала Рени. — Я еще никогда не пила рома. Ты вообще-то пьешь?

— Пью, — ответил Несси. — Немного...

— Говорят, он вкусный.

— Кто из них твой друг?

— Узнаешь, — сказала она. — Скоро узнаешь...

Он подозревал каждого, но доподлинно узнал это, лишь когда начались танцы. Они танцевали вдвоем под аккомпанемент гитары, остальные только хлопали в такт. Несси не верил своим глазам. Парень был невысок, возможно даже ниже Рени, с мелкокудрявыми и пышными, как у женщины, волосами. Да, именно женскую прическу напоминали его пышные африканские волосы. Очень смуглое, почти без румянца лицо казалось чувствительным и интеллигентным. Танцевал он замечательно, невозможно было оторвать глаз от его легкого гибкого тела. Все и глядели — гораздо больше на него, чем на Рени, хотя она тоже танцевала прекрасно. Так же, как сам Несси еще недавно превосходил других, этот юноша явно превосходил здесь всех, вообще всех... может быть...

Несси вдруг понял, что эти двое любят друг друга. Глаза их сияли счастьем, почти жадным — настоящим, идущим изнутри наслаждением. Звенела гитара, все громче хлопали ладони, перуанец что-то неистово кричал

по-испански. Он еще не знал, что живет последние минуты. Но и Несси не знал этого. Собственно говоря, сейчас он не знал ничего. Он просто сунул руку в карман, вытащил нож и встал. Это было последнее, что он запомнил. Все остальное утонуло в крови, стонах, небытии.

5

Ужасная новость потрясла город. Казалось бы, древняя страна, пережившая за свою долгую и страшную историю немало войн, разрушений и убийств, должна была привыкнуть к крови. Но то, что случилось в этот спокойный, мирный день, в обычной молодежной компании, было не просто ужасно — это не поддавалось никаким объяснениям. И потому казалось особенно зловещим. Ведь и причин вроде бы не было никаких. Ни с того ни с сего Анастас выхватил свою ржавую финку и набросился на незнакомых людей. Убил троих и тяжело ранил еще нескольких. После невероятной борьбы парням удалось наконец повалить его и крепко связать ремнями. Когда прибыла машина „скорой помощи", врачи, потрясенные, остановились на пороге. За долгие годы практики они привыкли и к крови, и к страданиям, но такое увидели впервые. Хоть бы один непредвиденный. Правда, некоторые молодые люди даже не сразу заметили, что ранены,— настолько все были потрясены неожиданным нападением — в самый разгар веселья.

Пресса откликнулась на это событие лишь кратким сообщением, но город захлестнула волна слухов, предположений и страха. Никто не мог поверить, что такое случилось в нашей стране. Но волнения эти продолжались сравнительно недолго. Странная биография Анастаса Алексиева как будто бы объясняла многое. От человека, который родился не как все, можно было ожидать и не такого. Лишь ученые мужи, продолжавшие наблюдать за Несси, никак не могли оправиться от потрясения. Они-то знали, что по всем законам разума и практики их питомец абсолютно нормален, может быть, даже слишком. В конце концов, еще неизвестно, что считать ненормальным. Можно ли, скажем, акселерацию считать ненормальным явлением? Очевидно, нельзя, раз она вызывается объективными и постоянно действующими причинами.

И вообще, а вдруг эта самая акселерация возвещает появление нового вида человека?

Как и каждое преступление, дело Несси тоже породило кучу бумаг. Но нам нет никакого смысла в них копаться. Ни один из этих документов не скажет нам ничего нового, за исключением, пожалуй, медицинский экспертизы, которая все-таки проливает какой-то свет на эту историю. Упомянем только, что после ареста Анастас Алексиев был помещен в одиночную камеру. Допросить его не удалось — он просто не мог дать никакого вразумительного ответа. Как было сказано в экспертизе, он „в течение нескольких часов находился в состоянии ступора с поднятыми вверх руками, в позе человека, собирающегося что-то бросить. Неподвижен, в словесный контакт не вступает (мутичен). Все данные свидетельствуют о том, что ступор носит кататонический характер". Таковы были первые констатации психиатров.

В последующие два дня состояние Несси оставалось почти неизменным, хотя он начал двигаться и понемногу принимать пищу. Но время от времени, как отмечали врачи, „застывает в своеобразных позах, стоя или сидя. Наблюдаются выделения из полости носа, которые высыхают на коже. На обращенные к нему вопросы по-прежнему не реагирует". На третий день он вцепился в рукав милиционера, принесшего ему еду, словно утопающий, который пытается за что-то ухватиться. „Сила у него нечеловеческая!" — впоследствии рассказывал милиционер.

Окончательное мнение медиков было единодушным: „Все данные свидетельствуют о том, что состояние больного представляет собой эндогенный психоз шизофренического цикла". Диагноз вызвал у юристов сомнение. Смущало их прежде всего то, что до совершения преступного деяния Анастас Алексиев был вполне нормален — „чрезвычайно уравновешенный, корректный, крайне стабильный человек, неспособный к вспышкам возбуждения и каким бы то ни было непредсказуемым и противозаконным действиям". Верно, соглашались психиатры. Психоз обрушился на него, как летняя гроза обрушивается на беззаботного путника в открытом поле. И ссылались на самоубийство его матери как на фактор наследственной отягощенности. А особенно — на невероятно ускоренные в данном случае темпы акселерации, „которые и могли явиться причиной серьезных нарушений в психике еще не сложившегося организма, равно как и возникновения в нем

опасных патогенных изменений". Так или иначе мнение медиков оказалось решающим, Анастаса Алексиева признали невменяемым и, следовательно, не подлежащим суду, после чего его немедленно препроводили из тюрьмы в специальное лечебное заведение, в обиходе более известное под названием сумасшедшего дома.

Но еще до отправки в больницу Несси постепенно пришел в состояние, которое и самый придирчивый психиатр счел бы абсолютно нормальным. Два раза его вызывали на длительный допрос к следователю, известному специалисту по деяниям, совершенным в невменяемом состоянии. Анастас отвечал разумно и логично, не делая никаких попыток увернуться или оправдаться. Но ни на один вопрос, который помог бы выяснить причины его бесчеловечного нападения, ответить не смог. Ревность, подстрекательство, оскорбление? Нет, нет!.. Ни в коем случае!.. То есть он не помнит, не уверен. Девушку он видел второй раз в жизни, ее убитого друга — в первый. Если и было что-нибудь подобное, то возникло оно неожиданно и в резко гипертрофированном виде. Но он и в самом деле этого не помнит. Почему он напал на Рени и ее друга, как раз когда они танцевали? Не раньше и не позже? Может, он заметил в их поведении что-то особенное?

— Да, я понял, что они любят друг друга,— вспомнил Анастас.

— И это возбудило в вас ревность?

Но этого уже Несси не помнил, хотя, объективно говоря, подобное признание было бы ему только на пользу. Именно тут следователь задал свой самый важный вопрос, который должен был объяснить все:

— Вы утверждаете, что перед тем, как пойти на этот день рождения, были или по крайней мере чувствовали себя вполне нормальным.

— Да,— решительно согласился Несси.— Может, только чуть больше обычного напряженным и беспокойным.

— То есть вы помните и осознаете все, что делали?

— Да. Во всяком случае, пока не попал в квартиру. Или чуть раньше.

— Вы помните, когда взяли финский нож?

— Конечно.

— Тогда объясните, зачем вам понадобился нож? Зачем вы вооружились, идя на день рождения?

Несси молчал.

— На день рождения ходят с цветами, а не с ржавыми финками.

— На этот вопрос мне трудно ответить,— сказал Несси.— Но каким-то необъяснимым образом мной овладела мысль, что Рени что-то угрожает... Что в случае необходимости я должен броситься ей на помощь...

Потом на эту часть протокола особенно нажимали психиатры, утверждая, что психоз, в сущности, начался гораздо раньше. Каждому известно, что эндогенные психозы начинаются с подозрительности и мании преследования. Знал об этом и следователь, но он был обязан продолжать допрос.

— Согласитесь, что это не объяснение,— сказал он.

— Она была в опасности! — уже с некоторым раздражением ответил Несси.

— Что же ей угрожало?

— Не знаю... Вероятно, я боялся, что ее унесет река.

— Какая река?

Но Несси не сказал больше ни слова. В сущности, это был единственный вопрос, на который он не ответил.

Такова самая важная часть объемистого следственного дела. Кроме того, имелось множество фотографий, планов, свидетельских показаний. Уцелевшие молодые люди без всякого злого умысла утверждали, что Несси „показался им немного странным", что он „подозрительно оглядывался", словно выискивая среди собравшихся какого-то одного, враждебного ему человека. Ничего более существенного из материалов следствия извлечь нельзя. Так что мы с чистой совестью можем и дальше излагать эту историю в соответствии с известными нам фактами и собственными наблюдениями, помогающими нам проникнуть в суть проблемы. Потому что невменяемость, то есть сумасшествие Несси в момент преступления, еще ни о чем не говорит. Почему психоз не заставил его, например, рвать розы? Или взобраться на памятник Царю-освободителю и кричать оттуда, что он — гений? Или плевать на прохожих? Почему он убил?! Вот на какой вопрос мы должны ответить.

В больнице Несси окончательно пришел в норму. Но в данном случае наблюдения врачей нам ничем не помогут. Упомянем только, что вначале Несси категорически отказывался от всяких свиданий. Он не пожелал увидеться даже с отцом. И с Фанни тоже. Но когда на шестнадца-

тый день после поступления Несси в больницу она пришла снова, он неожиданно согласился с ней встретиться.

Встреча состоялась в кабинете главного врача, по правде говоря, довольно убогом. Впрочем, таковы, наверное, все подобные кабинеты. Первой вошла Фанни, не садясь, с отвращением осмотрелась, чувствуя, что не в силах заставить себя к чему-нибудь прикоснуться, несмотря на царящую здесь почти стерильную чистоту. Похожее чувство испытывает, пожалуй, каждый, впервые посетивший психиатрическую больницу. Кажется, что здесь даже вещи таят в себе заразу. Настолько велик и необъясним наш страх перед такого рода болезнями. Разумеется, совершенно напрасный. Душевнобольные — такие же люди, как мы с вами, только восприятие мира и логика у них совсем другие. Фанни бил озноб. Чтобы успокоиться, она выглянула в окно, но открывшийся перед ней вид не прибавил ей храбрости. Осенний пасмурный день, хмурое небо и вдали несколько согнувшихся под ветром пожелтевших деревьев.

Привели Несси, похудевшего, бледного, грустного. Только взгляд у него был по-прежнему спокойным и ясным, словно это не на его голову обрушились такие ужасные беды. Даже одежда на нем выглядела вполне прилично, чтобы не сказать элегантно — разумеется, если не считать отсутствия ремня и галстука.

Они долго, не шевелясь, смотрели друг на друга, потом Фанни спросила:

— Скажи, Несси, тебе приятно меня видеть?

— Да, Фанни,— ответил он.

Фанни уловила в его словах искренность, и что-то вроде слез блеснуло в ее глазах.

— Спасибо,— тихо проговорила она.— Давай сядем, Несси.

Они уселись на жесткие больничные стулья довольно близко друг к другу.

— Зачем ты это сделал, Несси?

Он еле заметно вздрогнул.

— Об этом ты знаешь лучше всех.

— Верно,— подавленно согласилась Фанни.— Это я тебя надоумила?

— Нет, успокойся. Ты и пришла, чтобы это услышать?

— Повтори, повтори еще раз! — с жаром воскликнула она.— Очень тебя прошу!

— Ты хотела разбудить во мне человека, Фанни, но не очень по-человечески... Вот и я попытался сделать то же.

— Несси, Несси! — горько сказала Фанни.— Мой способ был по крайней мере абсолютно безвредным.

— Нет, не безвредным,— сухо возразил Несси.

— Может быть. Но не таким же ужасным. А ты разбудил в себе зверя. Страшного зверя! — добавила она с отчаянием.

Несси словно бы ее не слышал. Некоторое время он сидел неподвижно, без всякого выражения на лице, потом сказал:

— Ну вот, и ты меня не понимаешь!.. Я просто хотел быть как все — счастливым и несчастным, нежным и грубым, добрым и злым. Неужели я не имею на это права?

— Да, миленький, да...

— И откуда мне было знать об этом звере? Я даже и не подозревал о его существовании. Мне человека хотелось в себе разбудить, понимаешь?

— Разбудил?

— Нет, Фанни,— ответил Несси.— И все-таки я уже не тот, что прежде... Теперь я по крайней мере знаю, чего мне не хватало.

— Но еще ничего не потеряно!

— Нет! Не надо! — воскликнул Несси.— Сейчас мне этого не вынести.

Некоторое время они молчали. Фанни остановившимся, немигающим, ничего не видящим взглядом смотрела в окно. Да и что там можно было увидеть? Только по-прежнему склоненные от ветра верхушки дальних деревьев.

— Позволь мне что-нибудь для тебя сделать, Несси. Хоть немного. Я так хочу тебе помочь!

В ясных глазах юноши мелькнуло что-то странное. Невероятно, но это напоминало доброту.

— Понимаю,— сказал он.— Тебе хочется помочь себе самой.

Но Фанни словно бы его не слышала.

— Хоть пустяк какой-нибудь, а, Несси? Ты меня просто осчастливишь!

— Боюсь, что мне уж ничего не нужно,— ответил он.

— Подумай, Несси. Здешний главврач — мой двоюродный брат. Он позаботится, чтобы ты жил в нормальных условиях.

— Спасибо. Можешь считать себя счастливой.

Но Фанни не стала счастливой. Наоборот, из больницы она ушла глубоко несчастной. Бедняжка так и не поняла, что Несси никогда не вел себя более по-человечески.

После этого посещения состояние Несси значительно ухудшилось. Он все время лежал, молчал, не прикасался к еде, еще больше похудел. Ясный его взгляд стал нестерпимо острым. Неожиданный кризис продолжался несколько дней, потом Несси вдруг оживился, впервые за долгое время охотно, с аппетитом поел. И попросил вызвать отца. Главврач заколебался. Эти визиты, сделанные из лучших побуждений, явно не шли на пользу его пациенту. Потом, пожав плечами, согласился. Все-таки он обещал Фанни относиться к Несси с особым вниманием. Но разве можно угадать, к чему приведут те или иные человеческие поступки?

Встреча состоялась на следующий день. Завидев отца, Несси замер на пороге и с трудом удержался от желания уйти, но, пересилив себя, храбро вошел в комнату и молча остановился перед ним. Губы его слегка дрожали. Алекси сидел с убитым видом, совершенно седой, его еще недавно острые глаза, казалось, померкли навсегда. Как приговоренные, застыли они друг перед другом на жестких больничных стульях. Приговоренные к тому, чтобы никогда не услышать приговора.

— Как ты, папа?

— Ничего, мой мальчик.

Взгляд его немного оживился.

— Как дела на работе?

Алекси судорожно глотнул воздух.

— Я больше не работаю... Ушел на пенсию.

— Да, да, я понимаю,— кивнул Несси.— Тебе стыдно смотреть людям в глаза.

— Откуда такая мысль? У тебя?— Алекси пристально взглянул на сына.

— Вопрос законный,— с горечью отозвался Несси.— Конечно, мысль слишком человеческая, где уж ей вместиться в череп какого-то биоробота.

Тут произошло неожиданное. Алекси преобразился.

— Выбрось это из головы!— резко сказал он.— У меня нет оснований за тебя стыдиться... Тем более что во всем виноват я сам.

— Ты?!

— Да, один я. Вернее, моя глупость. Или больное честолюбие.

И он глухим, срывающимся, похожим на лай голосом рассказал сыну о проделанном им на себе эксперименте с целью определить влияние радиоактивных изотопов на семенные клетки. Эксперимент проводился по изобретенной им самим простой, но очень, как он выразился, эффективной методике и должен был вызвать мутацию, в которой осуществились бы факторы, накопленные человеческим организмом за последние тысячелетия. Не имея права экспериментировать на ком-нибудь другом, он...

Несси почти его не слушал. Как в лучшие, блистательные времена, ум его работал с невероятной быстротой. Потом послышалось неумолимое — щелк! — и результат был готов. Когда отец умолк, Несси сказал:

— Послушай, папа, зря ты берешь на себя такое бремя. То, что случилось со мной, может случиться с каждым. Все зависит от пути, которым пойдет человек.

Отец пораженно взглянул на него. Потом лицо его словно бы залило какой-то густой и липкой горечью.

— И ты тоже считаешь меня бездарностью! — сказал он. — Тупицей, не сумевшим даже толком продумать свою идиотскую идею!

— Неверно!

— И все же пойми, я сказал тебе правду!.. Как она для меня ни ужасна...

— Эта правда, папа, не может ничего изменить.

— Может! — воскликнул Алекси. — И я уже знаю, как!.. Я не оставлю тебя в этой отвратительной больнице!

— Мне любой сумасшедший дом будет тесен, — загадочно ответил Несси.

Нет, не мог он найти с отцом общего языка, никак. Старик замкнулся в себе, в своих полубезумных идеях, в своих терзаниях, из которых не было выхода. Наконец Алекси ушел, по-прежнему подавленный, но охваченный какой-то скрытой яростью, родившейся тут, в мрачных коридорах этого дома. Он знал, что никогда не смирится с участью сына. Что бы ни случилось, какие бы препятствия ни встали перед ним, он преодолеет все. От одной лишь мысли о предстоящей борьбе шаг его сделался тверже и решительней.

На следующий день Несси выразил желание встретиться со следователем и сделать ему заявление. Через

час его вызвали к главному врачу. Огромный мужчина, у которого, по-видимому, начиналась слоновья болезнь, любезно предложил ему сесть, затем и сам осторожно опустился на стул, не сводя с Несси холодного, неподвижного взгляда. Такой взгляд Несси не раз замечал у многих обитателей этого дома. Но голос у врача оказался — неожиданно для такой громадины — мягким, тихим и мелодичным.

— Я знаю, сейчас вы вполне здоровы! — начал он.— И все же хочу спросить: хорошо ли вы обдумали ваше заявление?

Врачу показалось, что Несси бросил на него насмешливый взгляд.

— Конечно! Может, в этом и кроется причина всех моих бед.

— Предполагаю, что вы собираетесь сделать признание, которое резко ухудшит ваше теперешнее положение.

— Именно так,— кивнул Несси.

Главный врач с шумом втянул ноздрями воздух.

— Зачем? Чтобы вырваться отсюда?

— Позвольте не сообщать вам моих мотивов. Но в принципе каждый человек должен занимать то место, которое он заслуживает.

— Боюсь, как бы вы не ошиблись. Этот ненормальный дом — единственное место, где вы можете жить нормально. Я постараюсь создать вам все условия, даже для научной работы, если хотите.

— Спасибо. Все это уже не нужно.

— Но, боже мой, почему? — чуть не застонал огромный мужчина.— Голос совести?.. И это при вашем уме, который так трезво может все взвесить?

— Человек и совесть — понятия равнозначные. Как любовь и красота. Есть ли они у меня, разумеется, вопрос особый. Но пусть даже это и так, неужели я не имею права к ним стремиться?

— Нет, вы все-таки сумасшедший! — горестно сказал врач.— Имейте в виду, я вправе оспорить любое ваше заявление.

— Это не только ваше право, но и обязанность,— ответил Несси.

Следователь прибыл с невероятной быстротой. У него был вид молодой глупой гончей, неожиданно для самой себя напавшей на след. Он так торопился, что явился к Несси, даже не сняв своего темного поношенного плаща. Несси хмуро взглянул на него и сказал:

— Боюсь, что именно я должен нести ответственность за смерть Кирилла Захариева.

Следователь даже не дрогнул. Он давно уже обдумывал эту версию и в душе был глубоко убежден в виновности Несси.

— Что значит „боюсь"? — спросил он сдержанно. — Нельзя ли поточней?

— К сожалению, нельзя, — сухо ответил Несси. — Я и в этом случае не помню всех подробностей. Но с уверенностью могу сказать, что на крыше мы были вдвоем. И в памяти моей все настойчивей всплывают отдельные сцены...

Несси замолчал. Следователь наблюдал за ним с затаенным напряжением.

— Это все, что вы хотели мне сказать?

— Нет, конечно. Я все же в себе не очень уверен. И в том, что я сказал сейчас, и во всем остальном... Я бы хотел попросить вас еще раз побывать на той террасе вместе со мной. В тот же час, в такой же обстановке. Может быть, это мне что-то подскажет.

— Хорошо. Я возражать не буду, — ответил следователь.

На следующее же утро за Несси прислали мощную машину с задернутыми синими занавесками. Провожал его сам главный врач, неодетый, с непокрытой головой. День был холодный, хмурое небо грозило разразиться то ли дождем, то ли снегом. Они остановились у лимузина. Врача знобило. Несси еле заметно улыбнулся, возможно, чтоб его подбодрить.

— Прощайте, доктор! — отчетливо проговорил он.

— Прощайте, несчастный вы человек.

...И вот Несси снова вышел на черную крышу. Ночь была холодной, небо, тяжелое, изодранное, с трудом волочило свои лохмотья, словно только что вырвалось из когтей огромного зверя. Где-то за тучами, вероятно, светила луна, потому что на горизонте море казалось белым, твердым и острым, как лезвие сабли. Дул ветер, огром-

ный, могучий и настолько плотный, что, казалось, он вырывался из какой-то гигантской трубы, неся в своих морозных струях искорки льда. Охваченный смутным страхом, Несси остановился. За ним — безмолвная охрана и следователь. Прошло несколько минут. Несси стоял выпрямившись, смотрел на небо. Ни о чем не думал, ничего не вспоминал, не искал никаких оправданий. Хорошо хоть, что ночь в этот раз настоящая — могучая, трагическая, в такую ночь не страшно погибнуть. Вдруг Несси стремительно шагнул вперед, вскочил на балюстраду, вскинул руки и с душераздирающим криком полетел в бездну. Он летел, беспамятный, искрящийся, как падающий, охваченный белым пламенем метеор, готовый в любое мгновение рассеяться и исчезнуть. Но был еще жив, человеческое сознание еще не покинуло его. И знал, что где-то там, на самом дне бездны, его ждет жена, ее белое лицо с выклеванными вороньем глазами.

Озерный мальчик



1

До туристской базы «Гончар» мы добирались на газике по такой немыслимой дороге, что казалось, будто ее неумело вырубили в скалах гигантским топором. Мы поднимались все выше по почти отвесному горному склону. Воздух стал прозрачно синим, плоские облака нависали, как плиты, над широкой долиной, словно бы готовые в любое мгновение рухнуть и придавить ее. Дорога становилась все уже, и там, где она была разрушена оползнями, широкие шины газика скользили над пропастью. Мне сделалось не по себе, я уже не решался глянуть вниз, в бездну, где узкая белая лента реки вырисовывалась все отчетливее. Газик трясся на своих жестких рессорах, мотор хрипел и задыхался. На скалах начала проступать вода, которая брызгала из расщелин, поползли лишаи, дорога превратилась в сплошной камень. На ней в крайнем случае могли разойтись два всадника, но не две машины. Я не смел даже подумать о том, что случилось бы, если бы из-за поворота выскочила машина. Но мои спутники, похоже, об этом не задумывались: терпеть не могу людей без воображения и нервов. Полковник сидел, небрежно развалясь, рядом с шофером, его крупное лицо, цветом напоминающее инжир, было совершенно безмятежным.

Лейтенант давил орехи сильными пальцами и любезно угощал меня. А мне невыносимо хотелось выругаться, соскочить на землю и спуститься обратно вниз. Но я знал, что не позволю себе этого. Ведь они взбирались к облакам исключительно ради моего удовольствия.

Когда мы подъехали к турбазе, у меня уже пропало всякое желание ловить рыбу. Озеро лежало подо мной, неподвижное и мертвое, похожее на огромный агат, хорошо отшлифованный, с твердыми концентрическими кругами, которые к берегам становились бледнее. В центре, под тенью облаков, оно было почти черным, точно мрачный вход в ад. Мои спутники зашагали по тропинке, ведущей к зданию туристской базы. Мое присутствие уже не стесняло их, и они заговорили оживленно, словно друзья, не видевшиеся много лет.

Я присел на влажную траву и чуть не перекрестился от радости, что мои мучения позади. Все еще дрожащими руками собрал легкий английский «телескоп» — лучшую из своих удочек. Закрепил катушку, вытянул леску. Долго выбирал блесну — я впервые ловил рыбу в высокогорном озере. Наконец, прикрепил самую, по-моему, соблазнительную из них и не торопясь стал спускаться вниз. И еще раз убедился, как обманчивы расстояния в горах, где в прозрачном воздухе предметы кажутся необыкновенно четкими и близкими. Я спускался минут десять, озеро постепенно увеличивалось у меня на глазах. Но только подойдя к нему, я уловил свежий запах воды, чистый, как аромат цветка, но более резкий. Впечатление безжизненности, однако, не исчезло — какая рыба может водиться в этой холодной неподвижной воде? На всем берегу не было ни одного рыбака, ни одной живой души, ничего, кроме пустоши, голых скал да зябкого холодка, которым тянуло с вершины.

Забросив блесну как можно дальше, я подождал, пока она опустится на дно, и начал медленно накручивать леску. Уже со второго раза я почувствовал, что подцепил большую рыбину. Потихоньку довел ее почти до самого берега, но, несмотря на всю мою осторожность, рыба сорвалась. Я успел разглядеть, что это форель, так называемая «американка», весом, наверно, около килограмма; первый раз в жизни мне попадалась такая большая рыба. По опыту я знал, что надо брать леску потоньше, не рассчитывая на что-то необыкновенное. По моим представлениям, огромные рыбы существуют только в воображе-

нии рыболовов. Потом я еще битый час забрасывал удочку с каким-то остервенением и надеждой, что чудо повторится. Блесна оторвалась, зацепившись за подводные камни, я заменил ее другой. В итоге я подсек небольшую форель, граммов, пожалуй, на сто. Я видел ее белое брюшко, сверкнувшее в глубине, когда она схватила блесну. Маленькая, она упорно вырывалась, отчаянно борясь за свою жизнь. И не только за свою, как я понял потом. Никогда не знаешь, что готовит тебе судьба: шаг вперед или назад, минута, секунда — и на тебя сваливается счастье или несчастье, беда или горькое разочарование, рушатся надежды всей жизни. Великая или жалкая, бессмысленная или высокая, счастливая или страшная, судьба не предупреждает о своем приходе. Не сознавая значения того, что делаю, я вытягивал рыбу, крутил катушку, немного обрадованный и больше, конечно, разочарованный. Но вот удочка взвилась над водой, рыба блеснула в воздухе, точно острие топора, направленное мне в сердце. Привычным жестом я поймал ее холодное гладкое тело. В отличие от первой это была обычная для наших горных рек и озер европейская форель, с нежными тонкими разводьями на темной спинке. Необыкновенно чистая и гладкая, необыкновенно красивая. Будь у меня хоть капля совести, я тут же отпустил бы ее обратно в озеро. Ясно было, что сегодня мне больше ничего не удастся поймать. Зачем мне тогда одна рыбешка? Чтобы потом выбросить ее, ссохшуюся и обезобразившуюся? Но я положил ее в корзинку и тотчас же забыл о ней, несмотря на то что она яростно билась о прутья.

И тут я увидел мальчика. Он появился неожиданно и бесшумно, словно некий озерный дух. В первое мгновение я даже испугался, хотя что могло быть невиннее и милее — обыкновенный мальчик, тоненький, в длинных синих штанишках и сером свитерке. Но все же в нем чувствовалось что-то особенное. Худенькое его лицо было одухотворенным, хотя и казалось каким-то расплывчатым, точно я видел его сквозь воду. До сих пор помню это странное впечатление — оно, вероятно, объяснялось тем, что от озера на лицо мальчика падал какой-то отсвет. Больше всего мне понравились глаза — круглые, черные, напоминающие спелые вишни... Он поднял корзинку и осторожно открыл ее. Лицо его словно озарилось, и только теперь я заметил, сколько сдержанной прелести таится в нем.

— Какая красивая! — произнес он. — Даже красивей озера.

Никогда прежде мне не доводилось видеть, чтобы с таким восторгом смотрели на рыбу, да еще полудохлую.

— Но она жива! — воскликнул мальчик, словно отгадав мои мысли.

— Сомневаюсь, — сказал я.

Форель — рыба очень нежная и чувствительная и умирает быстро.

— Я могу ее оживить! — сказал вдруг мальчик.

— Вряд ли, — не удержался я от улыбки. — Вряд ли.

— Нет, правда, могу! — серьезно сказал он.

— Хорошо, возьми ее и делай с ней, что хочешь.

Чувство беспричинной мальчишеской веселости вдруг охватило меня. И я постарался обратить все в шутку.

— Если ты ее оживишь, — сказал я, — она исполнит три твоих желания.

— Три — это ужасно много! — возразил мальчик. — Одного хватит. — И он улыбнулся, чтобы показать, что понял шутку. — А если она спросит вас, какое ваше самое большое желание?

— Не знаю, — ответил я. — Может, чтобы волосы выросли.

Он с любопытством взглянул на меня, но моя лысина была прикрыта шапочкой, которую обычно носят рыболовы.

— Вы потом, наверно, пожалеете, — сказал мальчик. — На свете есть столько более важных вещей.

Для мальчика своего возраста, а на вид ему было лет десять, он выражался слишком глубокомысленно.

— С меня и этого пока достаточно, — сказал я.

Мальчик улыбнулся, с величайшей осторожностью взял в руки рыбу и шагнул к воде. А мне пора было уходить. Я снял блесну, сложил удочку и без особой охоты отправился на турбазу. Как всякий рыболов, я принимал близко к сердцу свои удачи и неудачи. Я представлял себе, как сочувственно будут переглядываться мои спутники. Ко всему прочему, из-за меня у них будет перерасход бензина. Когда я поднялся на гору к турбазе, мне бросилась в глаза новенькая «Лада», ярко поблескивавшая на солнце своими металлическими пластинами. Никаких других признаков присутствия людей. В ресторане тоже было тихо и к тому же сумрачно — жалюзи почти не пропускали света.

В уютной полутьме я разглядел моих друзей, которые неторопливо распивали домашнюю ракию, налитую в бутылку из-под подсолнечного масла.

— Ну как улов? — шутливо спросил полковник.

— Никак, — натянуто улыбнулся я.

— И все-таки мы будем есть рыбу! — торжественно заявил полковник. — Да еще какую!

Они предложили мне хлебнуть прямо из бутылки. Жаль, что они не догадались этого сделать в машине, когда я умирал от страха. Но лучше поздно, чем никогда, и я отпил порядочный глоток — во взгляде лейтенанта появилось уважение. Я сел на массивный деревянный стул и приложился еще раз, уже по собственной инициативе. Плохое настроение, последние остатки подавленности, которой я был охвачен в дороге, мгновенно испарились. На душе у меня полегчало, гнетущее чувство вины исчезло. Вины? Что плохого я сделал? Только много позже я понял, откуда взялось это чувство облегчения: просто я избавился от рыбы. Конечно, мальчик ее не оживит, но так или иначе я от нее освободился. И я с жаром, отчасти объяснявшимся выпитой ракией, начал рассказывать своим спутникам о том, какую рыбину я чуть было не поймал. Они снисходительно улыбались. Им, наверно, не впервой было слушать подобные басни. Но о мальчике, сам не знаю почему, я им ничего не сказал. Только обернулся посмотреть, с кем он приехал. Кроме нашего, в ресторане был занят только один столик, довольно далеко от нас. Но все же я сумел разглядеть сидящих за ним прежде, чем они обратили внимание на меня.

Их было двое — мужчина и женщина, не очень молодые, но и не старые, лет сорока. По-видимому, родители мальчика. Она — худая и тонкая, с таким же бледным, размытым, как у него, лицом, совершенно ненакрашенная. От этого она выглядела слегка увядшей и невзрачной рядом со своим солидным мужем. А у него вид был весьма внушительный: тяжелое, массивное лицо, странно остекленелый взгляд, будто вместо глаз у него шарики из льда. Одет он был в вязаный жакет, отделанный кожей, и хорошие спортивные брюки. Тем неприметней казалась его жена в своем немодном и неновом костюмчике. Невольно думалось, что она постепенно увяла в тени, отбрасываемой властным мужем, безропотно подчиняясь ему. Позднее, когда волей судьбы мне пришлось узнать лучше жизнь этих людей, я понял, что мои первые впечатления

были не совсем верными. Но, в общем, ничем не примечательная пара, трудно было представить, что мальчик их сын. Он, несомненно, превосходил их интеллигентностью и душевной тонкостью.

Мы действительно ели рыбу, нежную, розоватую. Директор ресторана сам подал нам ее на простых алюминиевых тарелках, зажаренную большими кусками. Я спросил его, как ему удалось поймать это маленькое озерное чудовище.

— Поймал вчера вечером прямо голыми руками,— скороговоркой ответил он.— Ее громом оглушило.

Мои друзья недоверчиво улыбнулись. Я тоже не припоминал, чтобы вчера вечером была гроза. Но какое это имело значение? Мы отлично поели, а от ракии порядком развеселились, хотя она была не из лучших — в этом краю алычи, ежевики и диких груш хорошей ракии не бывает. Когда мы уже собирались уходить, в ресторан вбежал мальчик. Он был очень возбужден, лицо его пылало.

— Дядя, рыба ожила! — закричал он громко.— Правда, правда, ожила.

— Почему ты так думаешь? — спросил я с сомнением.

— Она уже плавает... Пока на спине.

— Ты выпустил ее в озеро?

— Нет, я ей сделал маленький бассейн... Камнями отгородил.

Тут отец мальчика сердито крикнул со своего места:

— Валентин, не надоедай незнакомым людям!

— Они не незнакомые! — смущенно сказал мальчик.

— Все равно. Иди сюда! — Голос его звучал еще более сурово.

— Папа, можно я пойду к рыбе? — сказал мальчик умоляюще.

— К какой такой рыбе?

— Этот дядя подарил мне рыбу. Она ожила.

Мужчина посмотрел на меня своими пустыми глазами холодно, даже недружелюбно.

— Ты уже два часа торчишь там. Простынешь.

— Папа, ну пожалуйста! — В голосе мальчика звучало почти отчаяние.

«Пусти мальчика, дурак! — подумал я про себя, немного разгоряченный алкоголем.— Нечего на нем зло срывать!»

Я знаю этот тип людей, которые за неимением другой возможности удовлетворить свою жажду власти изводят

своих детей. Жена его, до того безучастно слушавшая разговор, словно бы нехотя произнесла:

— Пускай идет! Мы же ради него сюда приехали. Пусть идет, пусть наглядится на свое озеро.

Мужчина поколебался, снова взглянул на меня — на этот раз с явной неприязнью, как на человека, без разрешения вошедшего к нему в дом.

— Ладно, иди... Но чтобы через пятнадцать минут ты был здесь!..

Глаза мальчика радостно заблестели, и он выпорхнул за дверь. Немного погодя поднялись и мы. Когда мы вышли на террасу, я увидел, что он сидит на корточках у озера спиной к нам. Наверно, все еще играл рыбой, которая вряд ли по-настоящему оживет. Впрочем, может быть, мальчик своим воодушевлением и впрямь вдохнул в нее жизнь. Мне очень хотелось крикнуть ему «до свиданья», сказать что-то ласковое, но я сдержался. К чему такие нежности с мальчишкой? Тогда я не понимал, до чего глупо так думать.

Мы вернулись в Самоков по туристской тропе, вполне пригодной и для машин. В Самокове мы ненадолго зашли в городское управление. Было бы невежливо с моей стороны проститься с моими друзьями прямо на улице. Когда мы вошли, в кабинете полковника громко и настойчиво звонил телефон. Смутное предчувствие беды охватило меня — мне почудилось, что это звонят мне. Полковник подошел к телефону, небрежно взял трубку. До нас доносился неясный звук человеческого голоса, как мне показалось, очень взволнованного. Полковник слушал все внимательнее, вдруг лицо его помрачнело и словно бы окаменело.

— Да, да,— проговорил он.— Я сейчас пошлю людей.

Он положил трубку и повернулся к нам.

— Мальчик утонул,— сказал он коротко.

— Какой мальчик?— испуганно спросил я.

— Тот, которого мы видели на туристской базе. Упал в воду и утонул.

У меня перехватило дыхание, как если бы меня ударили ребром ладони по горлу. Я стоял, точно оглушенный, силясь вздохнуть. Не решаясь поверить своим ушам.

2

Мне скоро исполнится сорок пять, по профессии я литератор, занимаюсь проблемами эстетики. Смею утверждать, что знаю Гегеля лучше самого себя и даже своей жены. Трудно познать самого себя, это удается лишь гениям. И, может быть, ничтожествам. Но если гении смиряются с нечеловеческим в себе, то ничтожества превращают его в свое оружие. Что же касается моей жены, то я просто избегаю думать о ней. Почему? Она такая хорошая, почти идеальная, что не хочется подвергать ее ненужной эрозии размышлений. Она врач, и отсюда все мои маленькие несчастья. Она умудрилась найти у меня первые признаки тахикардии. И для нее этого оказалось достаточно, чтобы вытащить сигарету у меня изо рта и начать ревниво считать каждую выпитую мною рюмку. Из всех моих увлечений и простительных слабостей, осталась, пожалуй, одна рыбная ловля. Есть такие властные женщины, которые целиком подчиняют себе мужчину вопреки представлениям о его независимости и самостоятельности. Скорее всего это проявление искренней любви и заботы о нем, но порой и откровенного эгоизма, чувства собственности и высшей формы владолюбия. Вот почему не надо чересчур хорошо знать ближнего, гораздо благоразумнее воспринимать только положительные его стороны.

Едва я переступил порог, жена сразу же догадалась, что что-то случилось. Она молчала, но я ловил на себе ее изучающий взгляд. Как все знакомые мне женщины-врачи, она терпелива, тактична и сдержанна. Она часами может молчать, укоризненно поглядывая на меня, пока я сам не выдержу и не выболтаю даже того, о чем она и не собиралась меня выспрашивать. Но на сей раз ее тактика была обречена на неудачу. Я готов был скорее броситься с балкона, чем сказать ей страшную новость. Когда мы сели ужинать, она не выдержала и сказала:

— Ты что-то от меня скрываешь!

— Ничего подобного,— ответил я сухо.

После ужина я включил телевизор, но, поглощенный своими мыслями, почти не следил за происходившим на экране. Часов в восемь раздались частые нервные звонки — так звонят по междугородному телефону. Встревоженный, я снял трубку и услышал низкий голос полковника.

— Ничего нового не могу вам сообщить, товарищ Найденов... Мальчик нечаянно упал с берега и утонул.

В его расстроенном голосе я уловил и некоторое раздражение. Вероятно, ему был неприятен мой интерес к этому происшествию. На моем месте любой другой постарался бы о нем забыть.

— Вы сказали, что он упал с берега,— сказал я с недоверием.— Как вы это установили, товарищ полковник?

— Может, я не совсем точно выразился. А что еще можно предположить?

— Не знаю, но берег там низкий и мелко. Он не мог упасть и тем более утонуть.

— Есть и обрывы,— неуверенно возразил полковник.— В таких местах глубина пять-шесть метров. Неужели мальчик все время стоял на одном месте?

— А там, где его нашли, берег высокий или низкий?

— Низкий...

— Ну вот, видите!

— Что я должен видеть?— сердито спросил полковник.

Этот человек, похоже, решительно не понимал, какие у меня возникли подозрения.

— Выходит, это не несчастный случай.

— А что ж, по-вашему? Преступление? Кому и зачем убивать невинного ребенка? Разве вы не понимаете, что просто глупо предполагать убийство.

— Но все же такую возможность нельзя исключать заранее.

— Нет, это абсолютно исключено. Кроме персонала турбазы и родителей, никого на озере не было. И никто из них никуда не отлучался.

Проглотив застрявший в горле ком, я сказал:

— А если, представьте себе, он покончил самоубийством...

Я услышал, как на другом конце провода полковник засопел — вероятно, от возмущения.

— Самоубийством? Десятилетний мальчик? Не знаю ни одного такого случая.

— А я знаю.

Только теперь я сообразил, что жена внимательно слушает наш разговор. Ну и черт с ней! Секунду помолчав, полковник заговорил каким-то, я бы сказал, умоляющим тоном:

— Но, товарищ Найденов, ведь мы же все трое видели его незадолго до того, как он утонул. Разве похоже было, что он думает о самоубийстве?

Действительно, не было похоже. И когда я разговаривал с ним, он показался мне жизнерадостным. Но можно ли точно знать, что делается в душе ребенка? Пожалуй, легче угадать, о чем думает сфинкс.

— Ничуть, товарищ полковник,— сказал я примирительно.— Но этот случай меня и вправду расстроил... Как и вас, я полагаю...

— Да, конечно. Но должен вам сказать, товарищ Найденов, у нас в год тонут сотни детей... И при самых невероятных обстоятельствах. Иногда просто диву даешься, что́ они могут выдумать.

Тем и закончился наш разговор. Подняв голову, я увидел жену, прислонившуюся к дверному косяку. Конечно, она слышала весь наш разговор — от первого до последнего слова. И по тому, что говорил я, догадалась об ответах полковника. Лицо у нее было озабоченное. Но голос ее прозвучал, как всегда, спокойно и уверенно.

— Выбрось эту дурацкую мысль из головы, Геннадий! — сказала она.

— Какую мысль?

— Будто ты виноват в смерти мальчика.

Я был поражен. Именно эта мысль мучила меня,— что мальчик утонул, пытаясь оживить рыбу. Если бы я не подарил ему эту проклятую рыбу, он был бы сейчас жив! Недаром его отец так враждебно смотрел на меня.

— Это же чистая случайность! Неужели ты не понимаешь? — продолжала жена все так же уверенно.— Мало ли что взбредет в голову ребенку! В поведении детей часто нет никакой логики.

Чистая случайность!.. Как ни хорошо она изучила меня, в данном случае она выбрала неудачное слово. Для человека, окончившего два факультета, один из которых философский, это слово имеет более глубокое значение, чем для остальных людей. Жизнь человека состоит в основном из случайностей. Но они так же крепко связаны одна с другой, как железные кольца в кольчуге древних воинов. И то, что их связывает, зовется необходимостью.

— Это не случайность! — возразил я.— Он был на редкость умный мальчик. Скорее ты могла бы по-глупому утонуть, чем он...

— Спасибо! — сказала она и вышла.

Как все кабинетные ученые, я человек трудолюбивый. Но мое трудолюбие исчерпывается работой над книгами и рукописями. В обычной будничной жизни я совершенно беспомощен. Возможно, жена приучила меня к такому образу жизни за долгие годы нашего тесного общения, столь тесного, что я порой не отделяю себя от нее. Она охотно заменяет меня везде, где требуется проявить какое-либо неприятное усилие. Она и впрямь очень добра, хотя основательно подчинила меня себе. Оставшись один, я тяжело вздохнул и машинально сел за письменный стол. Это моя крепость, здесь я чувствую себя свободным и всемогущим. А сейчас мне были нужны силы, бесконечное терпение и упорство, чтобы пройти весь путь от начала и до конца. Я знал, что не успокоюсь, пока не узнаю правду, пока кольцо за кольцом не разберу железную кольчугу. Сознание вины, даже самой малой, невыносимо для меня. Я должен или снять с себя вину, или искупить ее.

В тот вечер я поздно лег спать. Чувствовал, что и жена не спит, но она была слишком горда, чтобы заговорить первой. Ждала, вероятно, когда заговорю я. Но я молчал, погруженный в раздумье. Теперь я знаю, что опоздал к этой странной сцене жизни. Занавес уже опустился, но его тяжелые складки еще колыхались. Публика сидела притихшая и недоумевающая. Я хочу только восстановить факты. Насколько возможно, не буду давать воли переполнявшим меня тогда чувствам. А как вы сами сможете судить, в этой истории нет ничего необыкновенного, кроме самого мальчика. Но если бы не он, истина никогда не открылась бы нам.

3

Главное, чем гордился Радослав Радев,— это своим замечательным домом. Теперь люди все реже употребляют это слово. Обычно говорят «квартира». Но это не одно и то же. В действительности они жили в квартире одного из лучших домов столицы. А Радослав считал, что у него есть свой дом, поскольку именно он построил его, пусть и не своими руками. В нем, как говорил сам Радев, жили только начальники, один другого выше. Но каким же образом он очутился среди них? По очень

простой причине. Начальники не для того начальники, чтобы заниматься пустяками. Черную работу за них кто-то должен делать. И потому им, естественно, понадобился Радослав Радев — на их взгляд, необыкновенно практичный человек и юрист, превосходно знающий законы, особенно те, которые требовалось обойти. У него были широкие связи с разного рода учреждениями и ведомствами, от которых зависело строительство подобающих им апартаментов. Кое-кто из них, однако, считал, что, выполняя ответственные поручения, он проявляет излишнее нахальство. Мнение не совсем справедливое, поскольку он был человек, в общем, приличный и знал меру, хотя и умел добиваться своего, а для этого необходима исключительная настойчивость.

Дело заключалось в том, что для постройки красивого, облицованного белым камнем здания нужно было снести один невзрачный домишко. К несчастью, домишко когда-то принадлежал довольно крупному прогрессивному общественному деятелю прошлого века. Правда, потомки этого достойного человека оказались людьми не столь почтенными и состоятельными. Сыновья и внуки его превратились в обыкновенных покорных слуг старого строя. Только в последнем и единственном оставшемся в живых представителе славного рода словно бы загорелось что-то от священного огня, который всю жизнь сжигал его деда. Он мог просто попросить, чтобы ему дали хорошую квартиру, но он пожелал, о чем и заявил в подобающей форме, передать дом в дар государству, если его превратят в музей.

А дом был завален до потолка старыми книгами, рукописями, собранными за десятки лет архивными материалами, которых никто до сих пор серьезно не изучал. Вообще он представлял собой некий странный, чудом уцелевший осколок старого времени, которого не коснулось ни одно из бурных событий века. Две влиятельные культурные организации высказались в поддержку идеи о создании в нем музея. Известный архитектор выступил в печати, подчеркнув, что нельзя безответственно сносить старые дома, даже если они не являются памятниками архитектуры. История, такая, как она есть,— это не только учебник и исторические труды, иначе она перестает быть живой историей. История — это и вещи, на которых лежит ее печать, и дома, и даже целые улицы. Народ, лег-

комысленно уничтожающий ее следы, лишается своей истории.

Практичных людей подобные проблемы мало волновали, но архитектор был, безусловно, прав, и опровергнуть его было не легко. Вот каких сильных противников предстояло победить Радославу Радеву. Некоторые более осмотрительные сочли, что битву не выиграть, а потому не стоит портить себе репутацию участием в этом деле. Но от такого чертовски заманчивого местечка трудно было отказаться. И после долгих размышлений решили, что глупо не рискнуть. Впрочем, какой тут риск, если всю ответственность несет Радослав Радев.

И Радослав Радев с неслыханной яростью и ожесточением бросился в бой за свой столь современный идеал — величественное каменное здание на месте старой хибары, полной плесени и замшелых воспоминаний. И где-то за белым фасадом его собственный дом — такой, каким он был по проекту,— с двумя уборными и узорчатым кафелем. С встроенными шкафами из полученного на складе дуба. Стоило приложить усилия. Любой другой сдался бы, оступил перед лицом бесчисленных и, казалось, непреодолимых препятствий. Но Радослав не пал духом. Ведь он боролся за себя, за священное право на свой дом. Другие же отстаивали принципы, защищали законы. А он был абсолютно уверен, что никто не может долго бороться за принципы. И скромный юрисконсульт не только не отступил, а с каждым днем приобретал все большую силу и власть, становился все значительнее, величественнее и могущественнее. Беготня от одного начальника к другому, долгие часы, проведенные в их кабинетах, представлялись ему достаточным основанием, чтобы причислить себя к ним. С начальственным видом он ходил по организациям и ведомствам, не нуждаясь в помощи настоящих начальников. Ему вполне хватало их отраженного света.

И в конце концов Радослав Радев одержал победу. Он сумел доказать во всех инстанциях, что старинный дом не представляет никакой ценности как памятник архитектуры, что он, как бородавка, уродует лицо нового, социалистического города. Что сам общественный деятель — честь и слава ему за его патриотические дела — после освобождения Болгарии от османского ига стал одним из руководителей консервативной партии, а следует ли нам открывать дома-музеи всяких буржуазных деятелей и консерва-

торов? Когда разрешение на постройку дома было подписано, Радослав Радев объявил жене:

— Это величайшая победа в моей жизни!

— Молчи уж лучше! — тихо сказала жена.

Выясняя правду, нельзя не сказать несколько слов и о ней. Ее звали Лора, считалось, что в молодости она походила на жившую в начале нашего века знаменитую красавицу. Лора родилась в семье высокопоставленных столичных чиновников, обедневших после революции. У нее была одна-единственная страсть — театр. Ее попытки стать актрисой, увы, не увенчались успехом. Конечно, ей давали маленькие роли, большей частью без слов, но постепенно фамильная черта — гордость — взяла верх, и Лора ушла со сцены, навсегда оставшись за безобразной преградой кулис. Из плохой актрисы она превратилась в прекрасного помощника режиссера одного из столичных театров. И отдалась этому новому делу с истинным рвением. За многие годы она не пропустила ни одного спектакля. Однажды она серьезно заболела гриппом, но и тогда продолжала ходить в театр. Она сидела в директорской ложе, сотрясаясь от озноба и непреодолимой страсти к театру. Она не сводила глаз со сцены, точно каждый спектакль был для нее новым, точно она видела его впервые. Она знала наизусть все пьесы, шедшие в театре, даже самые слабые. Но она дорисовывала их в своем воображении, наполняя подлинными человеческими переживаниями и поступками.

Только один спектакль она не могла смотреть — «Нору» Ибсена. Забившись в темный угол за кулисами, она слушала текст и плакала почти навзрыд. Никакими силами нельзя было ее успокоить. Домой она возвращалась совершенно расстроенная, на такси. Обычно его вызывал и платил шоферу старый суфлер, который так же, как и она, пережил в своей тесной суфлерской будке все человеческие радости и страдания.

— Почему же я должен молчать? — удивленно взглянул на нее Радослав. — Я что, неправду сказал?

— Ты одержал победу над стариком, — сказала она. — И это тебе не простится, вот увидишь.

— Дура! — крикнул сердито Радослав. — Вместо того чтобы поцеловать мне руку за то, что благодаря мне у тебя будет прекрасный дом... У тебя и у твоего сына.

Ничего не ответив, Лора вышла из комнаты. Напрасно некоторые считали ее его рабой. Она была независимой и

более сильной, чем он, сломить ее было нелегко. Самолюбие не позволяло ей признаваться в своих ошибках даже самой себе. И она никогда бы не созналась, что обманулась в муже, что не разглядела за импозантной внешностью пустого человека. Она искренне верила, будто сразу угадала, что́ он из себя представляет. Но нет, она обманулась в нем.

4

В то время Валентину шел пятый год. Они жили еще в старой квартире на улице Шейново. Ее узкие высокие окна выходили на север. В вечном полумраке мальчик рос худеньким и бледным. Он походил на тень рядом со своим занятым по горло делами отцом и погруженной в себя матерью. Было бы несправедливо сказать, что они не любили сына. Любили, естественно, каждый по-своему, но, занятые своими земными и неземными помыслами, часто совершенно забывали о нем. Лора работала только вечерами. По утрам она долго спала, почти до самого обеда, вставала мрачная и неразговорчивая, кое-как готовила обед, к которому едва притрагивалась. Она не любила выходить из дома. Людей она избегала, они ее раздражали. Она не выносила разных типов — небритых, нечесаных, волосатых, бородатых, без галстуков. А женщин тем более. Она ненавидела толчею, очереди, портфели, авоськи, газеты, телевизоры, праздники. Настоящая жизнь была для нее только там, на сцене, в лучах прожекторов. Ей и в голову не приходило, что сыну нужно общение с людьми. Она считала, что любой ребенок в компании других детей превращается из маленького человека в звереныша. Великие люди, гении человечества, полагала она, жили в тишине и уединении.

Лора уходила в пять. К шести неизменно возвращался домой муж. У Радослава словно бы не было никаких пороков. Он не пил, не курил, не играл в карты. Единственной его слабостью были газеты и телевизор. Он смотрел подряд все телевизионные передачи и часто засыпал, сидя перед телевизором в старом, доставшемся ему по наследству кресле. Тут и заставала его жена, возвращавшаяся из своего театра все еще под впечатлением увиденного. Они наспех ужинали и отправлялись в спальню. Спали они на разных кроватях. Тот, кто увидел бы их в этот

поздний час, вряд ли бы смог объяснить, каким образом Валентин появился на свет.

Валентин был очень тихим ребенком. И чем старше становился, тем более замкнутым и мечтательным он делался. Он не любил ни гулять, ни играть с детьми. Изредка мать водила его в ближайший скверик. Они садились на скамейку под огромным раскидистым деревом, таким же старым, как город. Она тотчас же погружалась в свой воображаемый мир, где томились и страдали герои и героини.

Валентин топтался возле скамейки, словно на берегу широкой и быстрой реки, и долго не отваживался пуститься в опасное путешествие. Потом все-таки не выдерживал... А мать сидела на скамейке и лишь иногда, спохватившись, искала его глазами. Обычно он стоял где-то неподалеку, наблюдая, как дети играют в свои шумные игры, стреляют из деревянных автоматов, бегают наперегонки с вытаращенными глазами, изображая автомобильные гонки. Он смотрел на них, словно бы не видя, так, как если бы они были существами из другого мира. Издали, со скамейки, Лора не могла видеть выражения его глаз, иначе она бы забеспокоилась. Это был взгляд не ребенка, а взрослого человека, взирающего на бессмысленную суету людской жизни. Но Лора сидела далеко и была довольна сыном. Она не выносила крикливых озорных детей, детей болтливых и любопытных. У ее сына не было ни одного из этих недостатков. Правда, и никаких особых талантов. Но это ее нисколько не огорчало — ведь вундеркинды плохо кончают.

Валентин не был особенно любознателен. Не надоедал никому обычными для детей бесчисленными вопросами. Слово «почему» отсутствовало в его словаре. Он не употреблял его, даже задавая свои странные вопросы:

— Мама, а что красивее, цветы или люди?

Мать пожала плечами. Они сидели в сквере, вокруг них пламенели поздние осенние цветы. Мельком взглянув на них, Лора сказала:

— Это разные вещи.

— Нет, не разные! — убежденно сказал сын. — Они же все живые.

— Не знаю, но цветы — это растения, — ответила мать. — А люди — животные.

Мальчик, ничего не сказав, повернулся и побрел по аллее. Только что деревья, пестрые и желтоватые, напоми-

нали ему кошачью спину. Но вот в одно мгновенье мир изменился, стал иным. Теперь он представлялся ему не желтым, а свинцово-серым. Серые стволы высоких деревьев, аллеи, даже клумбы. На скамейках сидели жирные женщины с поросячьими ножками, которые кончались острыми копытцами. Они не хрюкали, но к чему-то принюхивались и сопели. Малыши из детского сада в зеленых фартучках подпрыгивали, как лягушата, тараща круглые глазенки. Шедшие навстречу ему девочки вытягивали длинные белые шеи и шипели, как гусыни. Мальчик в отчаянии шел среди них, пока совсем не обессилел. Ему хотелось броситься назад, в теплые объятия матери, но он не мог пошевелиться.

И тут он увидел принцессу. Она шла к нему и улыбалась. Глаза ее сверкали, как звезды. В одной руке она держала эскимо, в другой — прыгалки. На фартуке у нее была вышита большая, как голубь, синяя бабочка. Вдруг она вспорхнула и полетела. Но раздался выстрел, бабочка распалась на тысячи мелких кусочков, и они синим снегом посыпались на землю.

Мальчик засмеялся и подошел к матери.

— Мама, люди — не животные.

— А кто же они, по-твоему? — спросила мать, продолжая читать.

— Не знаю. Волшебники.

— Этого им только не хватало, — пробормотала мать с досадой.

— Знаешь что? Я буду волшебником, — решил мальчик. — Настоящим, а не как в цирке.

Мать так никогда и не догадалась, что он и вправду стал волшебником. И никто на свете не знал, что Валентин стал волшебником. И творил всякие чудеса. Наверно, нет ничего увлекательней, чем творить чудеса. Вот, например, сегодня, стоя на балконе и глядя на двор, он совершил маленькое смешное чудо. Их сосед, низенький толстый человечек, собирался включить мотор своей машины. И в этот самый момент Валентин превратил его в поросенка. Не понимая, что с ним происходит, человечек завизжал, словно его резали, и принялся толкать дверцу машины — видно, хотел открыть ее. Но что он мог сделать своими жалкими копытцами? Он пытался повернуть руль, нажать на педаль, но не мог дотянуться до них короткими ножками и ручками. Наконец дверца открылась, и он с диким визгом выскочил из машины. В ужасе

он бросился бежать через двор и сбил мусорные баки — все до одного.

— Над чем это ты смеешься? — удивленно спросила Валентина мать.

— Ни над чем! — виновато ответил мальчик.

И превратил поросенка обратно в человека. Тот поспешно сел в машину и умчался как сумасшедший из опасного двора.

Месяца через три Валентин уже научился совершать любые чудеса, все, что пожелает. Он превратил город в громадный красивый парк, в котором цвели и благоухали невиданные цветы. Но, поскольку люди рвали и топтали их, он превратил цветы в бабочек. Только он один остался человеком, мальчиком, правда, старше, чем на самом деле. Теперь на нем был черный бархатный костюм, длинные серебряные чулки и золотые башмаки. После недолгих колебаний он решил, что ему пойдут кудрявые русые волосы. Красивому и нарядному, ему не хватало только принцессы. Много раз он старался вообразить себе принцессу, но она представлялась ему совсем не такой, какой хотелось бы.

Однажды к нему прилетела печальная бабочка с большими красивыми глазами. Она явилась из страны людей, где ее ловили шляпами, сачками и просто руками. Поймать не поймали, но пыльца с крылышек осыпалась. Они стали прозрачными, как ножки пчел, и она была глубоко несчастна.

— Не плачь, милая бабочка! — сказал мальчик. — Я верну тебе твою красоту. Ты станешь даже красивей, чем прежде.

— Это невозможно! — сказала бабочка. — Раз пыльца осыпалась, значит, все кончено.

— Нет, нет! — воскликнул мальчик. — Подожди, я скоро вернусь.

Печальная бабочка и не собиралась никуда улетать. Она стыдилась показаться другим бабочкам такой жалкой и голой, как червяк. Мальчик взял у цветов лучшие краски, изготовил из их стеблей изящные кисточки. Целый день думал, какие краски выбрать. И выбрал наконец голубую и золотую. Тысячи бабочек собрались поглядеть на его работу. Когда он закончил, они ахнули от восторга. Бабочка была голубая, а усики и тонкие ободки крыльев — золотые. Бабочки не знали, как выразить свое восхищение. Мальчик и сам подивился своему искусству.

— Нравится вам? — гордо спросил он.

— Прекрасно! — ответили они хором. — Не было на земле бабочки прекрасней.

Он был так счастлив, что решил жениться на ней. Бабочки принялись готовиться к невиданной свадьбе. Одни собирали нектар с цветов, другие месили из их пыльцы золотые лепешки. Многотысячный хор должен был исполнить для них свадебный гимн.

Пока Валентин грезил, Радослав Радев занимался сложнейшим делом — строительством дома. Знай он, какие у его сына способности, он бы не преминул их использовать, но ему было не до сына. Он разъезжал по разным городам, бегал вверх и вниз по бесчисленным лестницам, стучался в бесчисленные двери. От волнения он не спал ночами. Но труды его не пропали даром. Он выбил превосходного качества цемент, производимый заводом на экспорт. Кирпичи, завезенные им на стройку — целый караван грузовиков, — звенели, как хрустальные бокалы. Он собственноручно выбрал паркет, дубовые панели, кафель для ванн, унитазы и биде загадочного розового цвета. Он добился от строительных организаций, чтобы им выделили бригаду высококвалифицированных плиточников. Теперь на стройке стали появляться и другие члены жилищного кооператива, они лазили по этажам, измеряли сантиметром свои просторные комнаты, предлагали внести различные усовершенствования, начиная с ванн и прихожих и кончая гостиными. Радослав перенял лучшее у каждого, и, поскольку он распоряжался материалами, усовершенствования не потребовали от него никаких лишних расходов. Он перестал ходить на работу и целыми днями торчал на стройке, в основном в своей квартире: лично наблюдал за ее отделкой, чтобы все до последней мелочи приобретало в ней должный вид. А Лора не удосужилась приехать поглядеть на нее. В театре репетировали «Дон Карлоса», и ей было не до житейской прозы.

— На что там смотреть! — сказала она раздраженно. — На голые стены? Будет готово, увижу.

Она не поняла, что смертельно обидела мужа, который вложил в постройку дома столько сил, труда, столько любви. Часами он любовался биде. Никогда до тех пор не было у него биде — ни у него, ни у его отца, ни у деда. Никогда у них не было ванной. Когда рабочие втащили ванну в квартиру, он обрадовался, как ребенок, не удержался, лег в нее и полежал некоторое время, зажмурив-

шись от удовольствия. Представил себе, что у его подбородка плещется, щекоча, зеленоватая вода, приятно пахнущая шампунем. От блаженства он чуть не задремал. Вылезая из ванны, Радослав окончательно понял, ощутил всем своим существом, что в жизни Радевых началась новая полоса.

Но он был один со своим счастьем. А что это за счастье, если его не с кем разделить? Кто дал Лоре право лишать его законной, заслуженной радости? Впервые он испытал к жене не смутную антипатию, но почти ненависть. Только женщины, думал он, могут быть так эгоистичны, могут заниматься исключительно собой и не обращать внимания на других. Он был до глубины души обижен и разочарован.

В это же время и Валентин испытал большое разочарование. Конечно, в мечтах, но для него они значили больше, чем настоящая жизнь. Однажды он подошел к матери и, почти плача, спросил:

— Мама, а правда, что от бабочек рождаются гусеницы?

— Ну, это не совсем точно,— ответила она.— Бабочки откладывают яички, а из них появляются гусеницы.

— Все равно! — сказал мальчик, которого это нисколько не утешило.— А я думал, что дети всегда похожи на родителей.

— Слава богу, не всегда,— сказала мать.

Прекрасная мечта рушилась, и сердце его разрывалось от горя. Ему и без того казалось странным жениться на бабочке, даже самой красивой. Он не представлял себе, как поцелует ее за свадебным столом, хотя для большой любви поцелуи не самое главное. Но, узнав, что дети у него будут гусеницы, он пришел в отчаяние. Приходилось расставаться с этой мечтой, искать новую. Он не мог жить без мечты, как бабочка не могла жить без пыльцы.

Уж не спуститься ли в подземное царство? Почти целую неделю он думал о нем. Любопытно, конечно, но страшновато. В подземном царстве нет ни неба, ни солнца, ни облаков. Нет, без облаков нельзя. Да и вода в подземных реках, наверно, черная, как смола, и в ней плавают блестящие серые рыбы. Нет, уж лучше туда не спускаться.

Полететь на Марс? Очень заманчиво! На Марсе живет грустная принцесса, красная, словно вареный рак, и все же необыкновенно красивая. Но как завоевать ее любовь?

А если там в разреженной атмосфере не водятся даже чудовища, от которых он мог бы ее спасти? Но может, там есть злые волшебники? Может, там живет Старуха Паучиха? Она алмазная, ее ни мечом не рассечь, ни пулей не пронзить. Но ведь ему ничего не стоит застрелить ее из лазерного пистолета. На Марсе, наверно, еще не изобрели лазерных пистолетов.

Прекрасно, но до Марса еще надо добраться. Он размышлял около месяца и придумал. Он построит себе воздушный корабль, похожий на серебристую ласточку. Он долго решал, улетит ли он тайно или его будет провожать все человечество, ликующее, с восторгом и удивлением смотрящее на него. При всей своей скромности он выбрал второй вариант. Ведь человек впервые ступит на красную планету. Медленным, торжественным шагом поднялся он на борт космического корабля. Небо было ясное, серебряный скафандр переливался на солнце, легкий ветерок шевелил его кудрявые волосы. «Великий человек! — шептала притихшая толпа.— Ему нет равного в мире!» Проводить его прилетели и бабочки, целые тучи бабочек, то голубые, то золотистые, то фиолетовые. Не прилетела только его бывшая невеста. С горя она вышла замуж за царя жуков — блестящего и черного, как вакса, жука-рогача.

Три, два, один! Старт! Космический корабль взмыл в небо.

Лишь через два месяца Валентин долетел до таинственной планеты марсианцев. Атмосфера там была до того разреженная, что они жили глубоко под землей, дыша искусственным воздухом. Страшная Старуха Паучиха стерегла подступы к хрустальным чертогам принцессы. Он быстренько прикончил ее своим лазерным пистолетом. Но его подстерегали другие опасности. Надо было преодолеть реку раскаленной лавы, по берегам которой стояли два гигантских чудовища. Головы их напоминали... что же они напоминали? Пожалуй, головы крокодилов, но с огромными бычьими рогами. Их толстые шкуры нельзя было пробить даже лазерным лучом. И он взорвал их двумя маленькими атомными бомбами, перелетел на своем вертолете через реку и вошел во дворец. Увидев его, красная как рак принцесса с длинной до земли золотой косой радостно бросилась в его объятия. Он спас ее от вечного заточения, на которое обрекли ее капиталисты.

5

Когда отец Валентина достроил свой дом, мальчику было уже шесть лет. О чем только не перемечтал Валентин за эти два года. Он уже начал уставать и возвращаться к старым мечтам, хотя и украшенным новыми подробностями. Мечты его становились более реальными и земными, а значит, более обыкновенными. Он уже стал стыдиться своих прежних фантазий, например мечты о принцессе. Пора перестать большому мальчику интересоваться всякими принцессами и Старухами Паучихами, шептал ему внутренний голос. Лучше совершать подвиги.

А в это время отец его совершил свой великий подвиг. Даже лицо Лоры просияло, когда она вошла в квартиру — так она ей понравилась. Просторная, солнечная, с блестящим паркетом, с встроенной мебелью, от которой исходил еле уловимый запах нового дерева. В первый раз она взглянула на мужа с признательностью, но, увидев его не только не радостное, а прямо-таки страдальческое лицо, даже слегка испугалась.

— Что с тобой? — спросила она.

— Построить квартиру — полдела! — сказал он хмуро.— Вот обставить ее!

— Обставим,— сказала Лора уверенно.

— Чем? — спросил Радослав иронически.

— Как чем? У нас же есть мебель...

— Эта рухлядь? Да ее противно перетаскивать в новую чистую квартиру.

— Никакая не рухлядь! — сердито сказала Лора.— А старая мебель. Сейчас это в моде.

Лора в какой-то мере была права, мебель у них была неплохая, во всяком случае лучше той, которая продается в магазинах. И все же она была старая, потертая, кое-где сломанная. У Радослава сжималось сердце, когда рабочие втаскивали по широкой лестнице обитые бархатом и плюшем кресла, стулья с плетеными сиденьями, буфет с большими стеклами. Нужно было хотя бы заново обить старое кресло и диван, на котором он отдыхал после обеда. Не говоря уж о том, что надо было купить новый ковер вместо старого и новую вешалку вместо сломанной. Денег у них, однако, почти не осталось. Даже если бы они влезли в долги, им не хватило бы на все, что задумал купить Радослав.

В день переезда на новую квартиру они оставили Валентина у родителей Лоры: деда — приветливого старика с розовым лицом, зимой и летом ходившего в твердой соломенной шляпе и галстуке бабочкой, и бабушки — суровой мрачной старухи, вечно жаловавшейся то на боли в желудке, то на запор, то на артрит, то на шипы, то на аллергию. На самом деле она была еще крепкая женщина, отличавшаяся невероятной скупостью и, как все скупые, железным здоровьем. Ничего у нее не болело, но ее раздражало веселое легкомыслие мужа, который отравил ей всю жизнь своим неумением беречь деньги. Ее и сейчас бесило, когда он изредка покупал внуку вафли или шоколадные конфеты.

— Дедушка, а что ты будешь делать, если станешь невидимым? — спросил его однажды Валентин.

— Невидимым? Да меня и сейчас никто не замечает.

— Совсем невидимым! — настаивал мальчик. — Прямо как воздух.

— Пускай лучше бабушка станет невидимой! — уклончиво ответил дед.

На другой день Валентина привезли в новую квартиру. Он не выказал особой радости. В гостиной было слишком много пространства и света, что делало ее пустой и неуютной. Особенно не нравился ему голый паркет, блестящий, скользкий и скучный, как лысая голова деда. При таком ярком беспощадном свете невозможно мечтать, теперь мечтать можно было, пожалуй, только в ванной. Мальчик не подозревал, что отец еще больше, чем он, страдает от пустоты в квартире. Он видел иногда, как тот мрачно расхаживает из угла в угол, вздыхая с недовольным видом, или без всякого интереса смотрит телевизор. Его явно одолевали какие-то мысли, он явно обдумывал какие-то планы, но пока не решался ими ни с кем поделиться.

Наконец он осмелился. Было уже поздно, они с женой перешли в спальню, такую же голую и неуютную, как и остальные комнаты.

— Слушай, Лора, — начал Радослав. — Я хочу тебе кое-что сказать, но обещай не сердиться.

— Обещаю, — пробормотала она.

— У твоего отца есть деньги. Может, попросить нам у него взаймы тысячи две-три?

— Две-три тысячи? — удивленно посмотрела она на него. — Зачем это?

— Купим персидский ковер в гостиную.

— Но ведь у нас есть ковер! На днях я возьму его из химчистки.

— Это не ковер! — сказал сердито Радослав. — Это тряпка. Вчера я был у Становых, какая у них в комнате красота. Без хорошего ковра дом не дом.

— Глупости, сейчас это не модно, — сказала Лора. — Сейчас у всех паласы.

— Ты меня не учи! — повысил голос Радослав. — А отвечай на вопрос. Попросишь деньги у отца или нет?

Жена нахмурилась.

— Деньги лежат на книжке не у отца, а у матери.

— Ну и что?

— Прекрасно знаешь что́ — она скорее умрет, чем даст деньги.

— А зачем ей жизнь? — спросил презрительно Радослав. — Кому она нужна, дармоедка!

Что-то странное произошло с Лорой — она побледнела так, что казалось, сейчас упадет в обморок. Но ответила мужу спокойным, ледяным тоном:

— Если уж говорить о дармоедах, то большего дармоеда, чем ты, я в жизни не видала. Ничтожество!

— Это я-то ничтожество? — Радослав не верил своим ушам. — Ты совсем рехнулась. Да в министерстве нет человека более уважаемого и ценимого, чем я.

— А почему им тебя не ценить? — крикнула, выходя из себя, Лора. — Кто же не ценит своего лакея. Лишь бы служил исправно!

— Да ты что, рехнулась? — взорвался Радослав, ощущая, как что-то обрывается, вернее, ломается, лопается у него внутри.

Он стоял все с тем же важным и грозным видом, но чувствовал, что если б его проткнули сейчас чем-то острым, раздался бы резкий и неприятный звук, и он, лопнув, шмякнулся бы на пол, как выпотрошенный свиной пузырь.

— Стыдись! — все с той же яростью продолжала Лора. — Ты уже не человек, ты — пресмыкающееся! Неужто у тебя не осталось ни капли человеческого достоинства?

И в тот самый момент, когда Радослав собирался ей ответить, произнести какие-то бессмысленные, но смертельно обидные слова, случилось нечто необыкновенное. Он увидел перед собой сына.

Лицо у мальчика было удивленное — он, несомненно, слышал последние слова матери.

— Что тебе здесь нужно? — зло спросил Радослав.— Как ты сюда попал?

— Как попал? — переспросил мальчик.— Я могу становиться невидимым и входить, куда захочу...

— Марш отсюда! Хулиган этакий!

И, замахнувшись, Радослав сделал шаг к сыну, но Лора решительно встала между ними.

— Тронешь ребенка — пеняй на себя! Ты меня больше здесь не увидишь!

Радослав почувствовал, что она может выполнить свою угрозу, и злость его сменилась страхом. Он осознал, что бесконечно слаб и беспомощен, что он, пожалуй, и вправду ничтожен. Но как бы ни был он слаб, он мог обойтись без жены, особенно без такой. Однако что скажут ОНИ? Что ОНИ подумают? Кто будет уважать человека, которого бросила собственная жена? А если она и впрямь испортит ему репутацию, что от него останется?

— Какой кошмар! — сказал Радослав глухо.— Для кого я строил этот дом? Неужели для себя? Да для тебя же, для вас!

Он понимал, что лжет. Всего несколько минут назад он и сам верил в это, но теперь понял, что это ложь. Лора взяла мальчика за руку, вывела из комнаты. В ту ночь она спала на диване в большой комнате, на следующую — перешла в так называемую «детскую». А кровать Валентина перетащила к мужу. Радослав угрюмо молчал, наблюдая за перестановками. Он был готов пасть на колени, просить прощения, обещать все, что угодно. Но сознавал, что это абсолютно бессмысленно. Не было на свете силы, которая заставила бы ее относиться к нему по-прежнему. Она даже не пожалела бы его, она уже переступила эту горькую черту. Могло случиться и худшее — она действительно могла уйти. А именно ее ухода он смертельно боялся. Он разговаривал с ней только по необходимости, и в доме воцарился зыбкий и тягостный мир. Только мальчик, занятый своими мечтами, казалось, ничего не замечал.

Нет, неправда, он все понимал. Более того, он сердцем угадал, чего испугался отец. Что может быть ужаснее, когда мать уходит из дома? Естественно, она возьмет его с собой, но разве хорошо бросать отца одного? Какое испуганное было у него лицо, когда он прокричал ему эти обидные слова.

Ничего, он будет спать в одной комнате с ним, ничего страшного. Но вскоре мальчик убедился, что это очень неприятно. Первое время отец подолгу не засыпал. Но потом он вроде бы успокоился, и, стоило ему положить голову на подушку, он начинал храпеть.

Конечно, мальчику никто не мешал мечтать днем. Он часто оставался один и мог заниматься чем угодно. К тому же его фантазия стала уже не такой буйной. Выдумывать труднее, чем играть на улице в обыкновенные детские игры. Теперь новые мечты возникали у него реже. Он возвращался к старым, чем-то дополняя их. Интереснее добавлять к старому, чем изобретать новое.

Но все-таки лучше мечталось ночью, когда утихал шум и гасли огни. Он с нетерпением ждал той минуты, когда сможет скользнуть в прохладную постель, точно в праздничный зрительный зал. Занавес раздвигался, на экране возникали пока еще смутные образы, очертания. И тут отец начинал храпеть. Как ни старался мальчик не слышать храпа, эти звуки отгоняли мечты. Разрушали замки, убивали принцесс, превращали все в безобразную груду холодных углей. Прошло несколько дней, потом неделя, другая, мальчик надеялся привыкнуть. Наконец даже невнимательная Лора заметила, что с сыном происходит что-то неладное.

— Что с тобой, мой мальчик? — спросила она.— Отчего у тебя такой грустный вид? Может, ты скучаешь по старой квартире?

— Нет, мамочка!

— Тогда в чем же дело?

Валентин тяжело вздохнул и тихо ответил:

— Мамочка, я хочу опять спать в своей комнате.

— Почему, мой мальчик?

— Папа ночью храпит. И мешает мне думать...

Мать поняла его. Она помнила, как в детские годы, лежа по ночам с открытыми глазами, видела свои самые прекрасные сны.

— Не волнуйся, мой мальчик,— сказала она.— Перенесем твою кроватку в мою комнату. Хорошо?

— Хорошо! — воскликнул мальчик.

Впрочем, он знал, что это не так уж хорошо. Все-таки в мечты вторгался новый человек, а каждый новый посторонний человек портил зрелище. Но другого выхода не было, надо было примириться, привыкнуть.

Узнав новость, Радослав нахмурился. Он не очень нуждался в сыне. Но его беспокоило поведение Лоры. Уж не хочет ли она перетянуть сына на свою сторону и уйти вместе с ним?

— Зачем тебе Валентин? — спросил он недовольно.— Что ему, плохо со мной?

— Ты храпишь! — ответила Лора резко.— Он не может спать!

— Я храплю? — спросил возмущенно Радослав.— В жизни не храпел.

— Всегда храпел! — ответила она.— Не успеешь лечь, как начинаешь храпеть. И храпишь до самого утра.

— Неправда! — сказал сердито Радослав.— Ты это сейчас нарочно придумала.

— Зачем, по-твоему?

— Откуда мне знать? Может, чтобы испортить мои отношения с сыном.

— Валентин сам меня попросил... Может, скажешь, что мы сговорились?

Радослав удивленно смотрел на нее, но Лора заметила, что он засомневался. Когда он заговорил, голос его звучал не так решительно.

— Если я вправду храпел, почему ты мне до сих пор об этом никогда не говорила?

— А зачем мне было говорить? Ты что, перестал бы храпеть? Одной неприятностью было бы больше.

Радослав испытующе взглянул на жену. Хитрит она или не хитрит? Пожалуй, не хитрит. В старой квартире ей ничего не оставалось, как терпеть. Или уйти, о чем она, наверно, не раз подумывала. Он и не подозревал, насколько был близок к истине.

— Ладно! — сказал он.— Пусть спит с тобой.

И Валентин вернулся в свою комнату, точнее, вернулся к себе. Мать и мешала и не мешала ему. Он быстро привык к ее присутствию, хотя не мог с ним примириться окончательно. Получалось так, что она каким-то непонят-

ным образом тайно присутствовала в его видениях. Он уже не смел мечтать о том, чего мог бы устыдиться.

И другое, новое и сказочное, появилось в его жизни.

Валентину не было и шести лет, когда он научился читать. Научился сам, без всякой посторонней помощи. Только спрашивал иногда мать про какую-нибудь букву. Например, про безобразную, словно стоящую раскорякой, букву «ж». Про безликий безгласный «ъ». Выучив азбуку, он стал читать почти как взрослый — с легкостью, которая казалась ему совершенно естественной. Более естественной, чем, скажем, бегать, потому что он никогда в жизни не бегал по-настоящему, не носился до изнеможения, как другие дети.

Он не читал книги для детей, поскольку их никто ему не покупал.

Зачем было их покупать, кто знал о том, что он читает книги?

Но однажды мать заметила, что он сидит, склонившись над толстым томом. Судя по обложке, над одним из романов, хранящихся с детства у нее в шкафу.

— Что ты делаешь, мой мальчик? — спросила она удивленно.

— Читаю! — спокойно ответил он.

— И что же ты читаешь? — улыбнулась она.

— «Братья Карамазовы»!

Лора посмотрела — он прочел почти половину. Она погладила его по мягким, как у нее, волосам, не очень густым на темени.

— Ты хочешь сказать, что уже столько прочел?

— Да... Да! Она очень интересная! — ответил радостно мальчик.

Но мать все еще не верила. Детская фантазия беспредельна, может быть, он только вообразил, что читает. Когда-то в детстве она тоже не столько читала книги бабушке, сколько выдумывала на ходу — о петушке, лисице, глупых утятах. И так искусно, что бабушка ни о чем даже не догадывалась.

— Ладно, почитай мне, — сказала она.

— С начала?

— Нет, с того места, где ты остановился.

Валентин принялся читать. Читать вслух оказалось значительно труднее, чем читать про себя, хотя непонятно почему — ведь буквы-то одни и те же. Сначала он читал

по слогам, немного заикаясь, но постепенно его чтение становилось все более гладким.

— Хватит, хватит! — сказала мать.

Она была до того удивлена, поражена, что произнесла эти слова каким-то чужим голосом. Не в силах выразить свои чувства, она только прижала его головку к своей груди и взволнованно проговорила:

— Мальчик мой! Милый мой мальчик!

Потом так же неожиданно отпустила его и подошла к окну. Ей не хотелось, чтобы Валентин видел в этот момент ее глаза. «Что мы знаем о своих детях?» — думала она, потрясенная. Она постояла немного, повернулась и тихо сказала:

— Читай, читай, мой мальчик! На свете нет ничего лучше этого.

7

Я сознавал, что расспрашивать людей будет невероятно трудно, тем более что надо было установить вину, а не заслуги. Я кабинетный ученый, человек довольно замкнутый и необщительный. Нелегко схожусь с людьми, друзей у меня почти нет. Я не мог себе представить, как я буду беспокоить незнакомых людей, расспрашивать их. Но меня побудила заняться этим прежде всего моя совесть, чуткая и даже обостренная совесть одиноко живущего человека. Она мучила, терзала, грызла меня порой без всяких причин, часто делала меня пассивным, даже беспомощным. И все-таки единственное, что я с гордостью могу сказать о себе, это то, что у меня есть совесть.

Итак, побуждаемый ею, подгоняемый ею каждый день и час, я проявил необычную для себя энергию. А может, мне просто повезло. Рана была еще свежа, и спавшая долгим сном совесть пробудилась и у других. А может, к откровенности их располагала моя безобидная внешность. Человек с такой внешностью вряд ли мог причинить кому-нибудь зло, использовать в своих целях их признания. Они могли спокойно высказаться и облегчить свою душу или свалить свою вину на другого. Сначала мне было довольно трудно находить крупицы истины. Я был готов сочувствовать каждому, потому что все ну-

ждались в сочувствии. Но потом привык и стал не так жалостлив.

Больше всего мучили меня угрызения совести из-за этой рукописи. Разумеется, по меньшей мере неделикатно рассказывать во всеуслышание о том, что люди доверили одному тебе. Но с другой стороны, имею ли я право молчать? Даже те, кого я мог бы задеть, согласились бы, что не имею. Каждый сознавал, что должен чем-то искупить вину. Впрочем, не каждый. Например, учительница. Честно говоря, именно она заставит меня когда-нибудь напечатать эти записки. Может быть, не сейчас, может быть, через какое-то долгое или недолгое время. Может быть, когда эту особу уволят или когда она уйдет на пенсию. Под конец я стал понимать, что с ней все не так просто, как мне казалось на первых порах. Сначала я, несмотря ни на что, больше жалел, чем презирал ее за все, что она сделала. И до сих пор не знаю, чем это объяснить.

Помню, как я познакомился с учительницей Валентина. Звонок уже прозвенел, а Цицелкова не появлялась. Я ждал, стоя в углу длинного коридора, и от скуки глядел в окно. Голый, залитый цементом двор, несколько рахитичных городских деревьев с ободранной корой, высокий мрачный забор. На сером бетонном пустыре играли, точнее сказать, бесились дети. Затаив дыхание, я следил за тем, как они пинали и толкали друг друга, с остервенением тузили друг друга кулаками. Я наблюдал за ними, мучительно стараясь припомнить, вели ли мы себя так же в мои детские годы. Удивительно, ничего подобного я не припоминал. Почему? Или мы действительно были другими? Или тогда подобное поведение казалось мне естественным? Или же мы недоедали и потому были более смирными? Или родители не позволяли нам так распускаться? В глубине души я жалел ту, которую ждал. Любой учительнице, наверно, нелегко справляться с этим маленьким зверинцем, держать его в подчинении, вбивая ему в голову неинтересные ему и нередко бесполезные знания. В мое время указка учителя служила не только для того, чтобы показывать, что написано на черной доске. При воспоминании о ней у меня до сих пор начинают гореть уши. И многое еще мне тягостно вспоминать. Первые школьные годы мне всегда хотелось забыть.

И другая мысль мучила меня, когда я смотрел на голый безрадостный двор. Я не представлял себе Валентина на этом дворе, среди других детей, не видел укромного

уголка, где бы он мог приютиться — грустный, одинокий, один, совсем один. Но вот в другом конце пустого коридора показалась Цицелкова. Я сразу же узнал ее, хотя никто мне ее не описывал. Она была удивительно похожа на переспелую грушу, готовую вот-вот сорваться с ветки. Она была желтая, толстая, вся ее масса сползла к бедрам, заду и даже к крутым скобам ног. И лицо у нее было желтое, толстое, никакой строгости или порядка не было в его чертах. И одета она была, на мой взгляд, плохо для софийской учительницы. Мне снова стало ее жалко. Она производила впечатление человека, у которого то ли мало денег, то ли какие-то семейные неприятности. Это впечатление нарушалось только воинственным стуком ее толстых каблуков.

Как я себе и представлял, равнодушное и усталое лицо Цицелковой оживилось и стало довольно любезным, едва она услышала, что я писатель. В наши дни это слово открывает двери лучше любых рекомендаций. Но когда она узнала, что именно меня интересует, лицо ее вновь сделалось холодным и неприступным. С великим трудом мне удалось вытянуть из нее несколько слов.

— Да, конечно, знаю... Месяца два назад он утонул.

Она немного помолчала, потом все с тем же ничего не выражающим лицом процедила:

— Неудивительно, что он утонул. В жизни не видела более рассеянного ребенка.

Ее тон меня ужаснул и отбил всякую охоту продолжать разговор. Я сделал над собой усилие и спросил:

— Простите, но я хотел бы узнать, как он учился?

— Никак! — сердито ответила она.— Он словно бы не присутствовал в классе! Абсолютно невнимательный! Вечно витал где-то в облаках. А может ли быть хорошим учеником тот, кто не слушает на уроках учителя?

Боже мой, так говорить о мертвом ребенке! Неужели она такая бессердечная? Или дети для нее не дети, а просто материал для работы?..

— У него были неплохие отметки! — попытался я возразить.

— А чего мне это стоило, вас не интересует?

Вот и все, что мне удалось выжать из нее. Она вдруг превратилась в толстую непробиваемую стену, от которой мои вопросы отскакивали, как мяч. Вероятно, ей чудилось в них что-то опасное. А может, они были просто недоступны ее пониманию. Во всяком случае, я ушел ни с чем.

Да разве бывают внимательные мальчишки? Даже среди моих студентов есть такие, что я удивляюсь, зачем они приходят на лекции.

В результате мне пришлось искать обходные пути. Я потратил целый месяц на перелистывание тетрадей, где красными чернилами были написаны ее краткие категорические замечания, на беседы с ребятами, учившимися в одном классе с Валентином, на расспросы родителей. Мнения об учительнице были противоречивые. Большинство считало Цицелкову почти образцовым педагогом: строгая, взыскательная, но справедливая. Ее класс служит примером дисциплинированности. Она не мирится с ошибками и недостатками учеников, обращается за помощью к родителям.

— Вы хотите сказать, что она жаловалась на них? — прервал я довольно нетактично одну из матерей.

— А вы хотите, чтобы мы избаловали своих детей? Лично я ей очень благодарна.

Но было два-три человека среди родителей, которые терпеть ее не могли. Признаюсь, я счел их пристрастными. Они находили, что она ограниченна, даже малокультурна, что у нее недостаточно правильная речь, что позволяет себе грубо разговаривать, поскольку муж у нее, видите ли, военный в больших чинах.

Меня удивила одна молодая женщина, как и я, филолог по профессии. Она была из тех смуглых, горячих, вспыльчивых натур, совладать с которыми не всегда удается даже их мужьям. Она без всякого стеснения назвала учительницу стервой. Но почему? Мне пришлось проявить немало такта и терпения, прежде чем я добился более или менее вразумительного объяснения.

— Стерва и все тут! — сказала она грубо. — Она же не любит детей. По-моему, она их просто ненавидит.

Женщина слишком горячилась, чтобы я мог поверить в ее объективность.

— А почему она, по-вашему, их ненавидит?

— Потому что они ей мешают! — ответила она. — Потому что они ей не подчиняются.

— А вы считаете, что она должна им подчиняться? А если они действительно мешают ей выполнять свои обязанности?

Она насмешливо посмотрела на меня.

— Мой ребенок мне тоже мешает. Неужели я должна воевать с ним? Если любишь, найдешь путь...

— К чему — к добру или злу? — спросил я, тоже начиная сердиться.

— К его сердцу! — ответила она резко.— А в детском сердце нет злобы...

Нет, я не поверил этой сердитой молодой женщине. И вернулся домой несколько расстроенный. У меня самого нет детей, а не имея личного опыта, трудно о чем-то судить, все-таки, на мой взгляд, в детях сознательно или бессознательно проявляется что-то злое. В детстве я видел много злых детей. Помню, как меня безжалостно били маленькие хулиганы с нашей улицы. Помню, как моя родная сестра, которой тогда было всего три года, изувечила котенка, зажав его приоткрытой дверью. Когда я прибежал, услышав его душераздирающее мяуканье, она уже переломила ему позвоночник. Я дал ей такую затрещину, что она упала на пол и заревела во весь голос. До сих пор считаю, что поступил правильно.

На следующий день я с еще большим упорством принялся за свои изыскания. Но только примерно через месяц густой туман, в котором я блуждал, начал постепенно редеть, и истина стала вырисовываться передо мной.

8

Так уж случилось, что Валентин не смог пойти в школу вместе со всеми детьми. В первых числах сентября он заболел воспалением легких. Почти месяц он температурил и провел в своей комнате в приятном забытьи. Еще полмесяца понадобилось, чтобы он окончательно поправился. Наконец настало утро, когда мать одела его в лучшее, что у него было,— в синий вязаный костюмчик, который дядя привез ему из самого Лондона. Одела, аккуратно причесала, смочив его легкие волосы, и повела в школу. Сердце у нее сжималось — ручка, которую она держала в своей, была такой тоненькой и холодной. Она считала, что ведет сына на бой. Ведь это своего рода война, на которой тебе могут поставить двойку, избить на обратном пути из школы, даже проломить голову, как недавно сыну соседки. К счастью, школа была близко, и по дороге не надо было переходить широкие улицы с шумным автомобильным движением. А к несчастью, погода была плохая, и день, холодный и хмурый, не предвещал

ничего хорошего. Лора пересиливала огромное желание вернуться домой. Но в наше время нельзя не учиться.

Когда они вошли в здание школы, настроение у нее окончательно испортилось. Еще вчера она сама училась здесь, и вот уже ведет сюда сына. Неужели так быстро течет жестокое, беспощадное время? Они шли по коридору, который показался ей еще более узким и неприветливым, чем много лет назад, навстречу ей, вытаращив глаза, неслись дети — здоровенные, с длинными толстыми ногами — таких толстых ног в ее школьные годы не было даже у Темелакиева, самого толстого из учителей. Неужели ее молчаливый и худенький сын будет учиться вместе с этими великанами? Взволнованная, она вошла в кабинет директора, которому, как ей объяснили, следовало представиться. Директором оказалась небольшого роста, грубоватая на вид женщина с неестественно короткими ручками, которыми она, по всей видимости, не могла дотянуться и до своих ушей — что уж говорить об ушах верзил учеников. Валентин ей явно понравился — милый, изящный мальчик с умным личиком. Несомненно, он будет хорошим учеником. Она даже погладила его по щеке своей коротенькой полной ручкой, а Валентин, к стыду матери, отпрянул, как ужаленный. Только теперь Лора заметила, насколько он подавлен.

— Посадим его в класс к Цицелковой! — сказала директор. — Она у нас лучший педагог — строгий, но справедливый.

И попросила позвать Цицелкову... Почему справедливый? — мелькнуло в голове у Лоры. Что это, школа или суд? Когда наконец появилась Цицелкова, впереди которой плыл ее короткий обиженный нос, Лора едва сдержалась, чтобы не отвернуться — так ей не понравилась ее физиономия. Директор коротко объяснила, в чем дело. Только тогда Цицелкова обратила внимание сначала на мать, потом на сына. Как и следовало ожидать, она почувствовала к этой худой нервной женщине необъяснимую неприязнь.

— Мне кажется, мой класс и без того переполнен! — сказала она холодно.

Директор удивленно посмотрела на нее — она не ожидала от своей любимицы подобного возражения.

— У всех классы переполнены! — согласилась директор. — Но этот мальчик тебе не помешает, он скорее будет тебе помогать...

— Помогать? — воскликнула та почти обиженно.— Каким это образом он будет мне помогать? Он и так отстал...

— Почему отстал? — спросила в свою очередь холодно Лора.— Валентин очень хорошо читает.

Учительница посмотрела на него внимательнее. Взгляд ее был недружелюбен. Мальчик сразу же это ощутил и замкнулся в себе, как улитка в своей раковине.

— Неужели? — недоверчиво спросила Цицелкова.

Директор взяла со стола валявшуюся там книгу для детей, выцветшую от долгого лежания.

— На, читай! — сказала она, протягивая ее мальчику.

Валентин взял книгу, открыл ее на первой странице, где крупными буквами было напечатано стихотворение. Но буквы то сливались в одну, то расплывались у него перед глазами. Он беспомощно взглянул на мать.

— Читай, читай,— мягко сказала она.— Ты же хорошо читаешь!

Валентин молчал, уставившись в книгу. В голове его было пусто, он не мог произнести ни слова.

— Понятно! — сказала Цицелкова.— Только ради вас, товарищ Божкова! Вы же знаете, я не могу вам отказать.

— Знаю, знаю! — облегченно вздохнула директор.— Ладно, ступайте в класс.

И они быстро вышли — учительница и ученик. Валентин был так растерян, что уходя даже не обернулся, чтобы поглядеть на мать. Лора поспешно попрощалась с директором и выбежала вслед за ними. Они уже дошли до конца пустынного коридора, такого серого в утреннем сумраке. Она было собралась их окликнуть, но они скрылись за дверью. Она прошла вперед и остановилась перед ней. Дверь как дверь, коричневая, изъеденная временем, варварски исцарапанная и испачканная детьми. Возможно, эта дверь выглядела так же и тогда, когда она сама училась здесь. Что с ней происходит, почему она так разнервничалась? Она постояла еще немного, потом повернулась и пошла домой, стараясь не думать о сыне.

А в это время ее сын и учительница стояли посреди класса. Ребята разглядывали маленького, худенького, нарядно одетого мальчика. Нет, он им не нравился. Подумаешь, маменькин сыночек. Для начала неплохо было бы подставить ему ножку на первой же перемене. Такие мысли возникали у некоторых мальчишек, но две-три девочки прониклись к нему симпатией.

— Дети, я привела к вам нового товарища! — сказала учительница.— Он немного отстал от вас... Но я верю, что вы ему поможете...

Класс ответил гробовым молчанием. Очень нужно помогать этому нюне, пусть ему мамочка помогает.

Миловидная девочка стояла у стены, держа в руках большую линейку. Как и все остальные, она в упор рассматривала его, но вполне дружелюбно. Этот взгляд навсегда запомнился Валентину.

— Славка, продолжайте вместе с Валентином,— сказала учительница.— Ты будешь мерить, а он считать. Понятно?

— Да,— ответил точно во сне Валентин.

Надо было промерить длину и ширину класса. Они наклонились к полу. Славка точными, аккуратными движениями прикладывала линейку, а Валентин смотрел, но ничего не видел — до такой степени он был смущен. Волнение, охватившее его, когда он вошел в класс, еще больше усилилось от того, что перед самыми его глазами мелькали черные блестящие кудряшки. Он никогда до сих пор не дружил с девочками, и близость Славки почему-то смущала его. Так они дошли почти до самого конца стены. Остался небольшой кусок — меньше метра. Промерив его, девочка быстро выпрямилась. Мало приятного ползать, как гусеница, по грязному полу. Смотревшая в окно Цицелкова повернула к ним свое равнодушное лицо.

— Кончили?

— Кончили,— с готовностью ответила девочка.

— А теперь, Валентин, скажи, какова длина нашего класса.

Валентин не знал. От волнения он вообще забыл, что им надо было измерить длину класса. Он прекрасно помнил смуглую руку девочки, но сколько раз она прикладывала линейку к полу, на это он не обратил никакого внимания.

— Отвечай, когда тебя спрашивают! — строго сказала учительница.— Вы же вместе мерили. Или ты не умеешь считать до десяти?

— Умею! — обиженно сказал мальчик.

— А до ста?

— До сколько хотите.

— Прекрасно, какой же длины наш класс? В метрах и сантиметрах... Или ты не видел, как его мерили?

Валентин молчал. Что он мог сказать?

— Значит, ты был невнимателен! — сурово заключила учительница. — А в школе главное — быть внимательным... Понял? Главное — внимание! Кто невнимателен или не хочет быть внимательным, из того ученика не выйдет.

Валентин по-прежнему молчал.

— А теперь сам измерь длину класса... Три раза подряд! И запомни раз и навсегда.

И пока учительница смотрела в окно, поглощенная своими ленивыми, далекими от них мыслями, Валентин промерил длину класса. И действительно запомнил ее навсегда — ровно восемь метров и тридцать шесть сантиметров.

9

После того как Валентин выучился читать, его собственная фантазия словно бы немного оскудела. Теперь его воображение получало обильную пищу из книг. Мальчик пока не понимал, что многие из прочитанных им книг были написаны людьми с гораздо более бедной фантазией, чем у него. Но он наполнял сухие страницы всем богатством своего душевного мира. Книги, в сущности, были для него лишь стартом к мечте.

К обеду он возвращался из школы усталый и хмурый. Мать старалась не глядеть на его потускневшее лицо. Она догадывалась, что сыну тяжело. Но что она могла сделать? Чем она могла его ободрить? Она только сознавала, что ему, как всем детям, надо пройти через это испытание. Мальчик обедал без всякого аппетита; к еде он был совершенно безразличен. Лора, вообще неважно готовившая, в последнее время окончательно разучилась. Да и для кого было стараться, если придирчивый Радослав питался в столовой на работе, а сын ел без всякой охоты и лакомства, и самые невкусные из приготовленных ею блюд. Обычно они питались всухомятку, иногда плохо разогретыми мясными консервами...

Наскоро поев, Валентин уходил к себе и с какой-то неестественной страстью хватался за книгу. Он уже не читал так быстро и жадно, как раньше. И сюжет уже меньше интересовал его. В сущности, он не читал, а кормил свое ненасытное воображение. Время от времени он от-

рывался от чтения, но действие не прекращалось — оно продолжало развиваться, по-детски наивное, но более красочное и богатое деталями, чем в книге.

Мечтал он в основном ночью. Днем перед ним словно маячил лежащий на странице длинный кривоватый палец учительницы. Он знал: надо отложить книгу и немедленно открыть учебник — надоевший, не имеющий ничего общего с мечтами учебник. Что может быть противнее, чем дрожать от страха, если ты не знаешь урока. Ему чудилось, что страх охватывает его с головы до ног, будто холодные щупальца спрута. Сидя за партой, он не смел ни пошевельнуться, ни оглянуться. Ему казалось, если он будет сидеть неподвижно, она не заметит его. Но лучше, гораздо лучше знать урок. Тогда можно себе позволить думать в классе о чем-то своем, разрешить себе быть невнимательным. Если она вызовет, он ответит, как положено. А не вызовет, тем лучше.

И хотя он понимал, что нельзя, но все-таки не мог оторваться от книги. Словно кто-то нашептывал ему: «Еще немножко, еще немножко!» И этому «немножко» не было конца. Книги и мечты были сильнее его, против них он не мог устоять.

Но ночью все было иначе. Ночью человек свободен — с этой мыслью он просто сросся. Ночи принадлежат ему, он может располагать ими, как захочет. Сладостное ощущение полнейшей свободы, свободы без всяких запретов и границ, делало его совершенно другим ребенком, другим человеком, свободным и сильным. Быть сильным, всемогущим — вот о чем он прежде всего мечтал.

— Папа, я хочу спать! — сказал мальчик.

Он сидел спиной к телевизору, наблюдал за тенями, скользившими по гладкой поверхности застекленной двери комнаты. Не оборачиваясь, он мог следить за происходящим на экране. Но к чему? Он не понимал, как отец может часами сидеть, уставившись в этот огромный и такой скучный стеклянный глаз.

— А не рано? — рассеянно спросил отец.

Действительно, было еще рано — передавали последние известия.

— Спать хочу! — жалобно повторил мальчик.

Отец, слава богу, не смотрел на него — Валентин совершенно не умел лгать.

— Подожди немного, сейчас кончатся последние известия, и я приготовлю тебе поесть.

— Я и сам могу, папочка!

— Хорошо,— сказал отец.— Ешь постные голубцы, их не обязательно разогревать.

Но мальчик быстро съел кусок хлеба с брынзой, запил молоком и побежал к себе в комнату. Мать редко убирала постель, и он сразу мог шмыгнуть под одеяло. Слегка дрожа, он накрылся с головой. Для начала ему необходима была полная темнота.

И вот словно бы погасли лампы и медленно раздвинулся занавес. На белом экране появилось изображение. Сначала неясное, постепенно оно делалось все более четким. Мальчик затаил дыхание. Еще немного, и он увидит фигуры вблизи. Еще немного, и все станет реальностью.

...Вот он на вершине холма, гладкого, песчаного. Он восседает на могучем коне с длинной рыжеватой гривой. Конь нетерпеливо роет копытом рыхлую землю и то и дело пытается встать на дыбы. Но он крепко держит поводья железной рукой. На левом боку у него висит меч. Ни у кого нет такого меча, не всякий воин мог бы поднять этот меч обеими руками.

Конь не успокаивается, его злые глаза яростно сверкают. Вслед за ним и другие кони зафыркали, заржали, забили копытами.

Воины стоят шлем к шлему, меч к мечу, стремя к стремени. Лица бойцов сосредоточенны и напряженны, они едва сдерживают коней, готовых в любую минуту сорваться с места. Не в одной битве летели они в атаку под его началом — когда он с ними, им неведом страх. Но он не торопится, все так же внимательно глядя на долину. У подножия холма, где вьется еле видная дорога, медленно продвигается караван с пленными. Их сопровождают воины в меховых одеждах и островерхих шлемах. Он знает: кони у них более легкие и быстроногие, чем у его воинов. Если бы они не тащили за собой пленных, его воины не смогли бы их догнать. Теперь надо было выждать, пока они подойдут как можно ближе, и только тогда напасть на них. Пологий спуск увеличит скорость его отяжеленных доспехами коней. Он молча выжидал, желанный миг был уже близок.

Он не видел, но всем существом ощущал, что она там, за спиной одного из кривоногих, одетых в шкуры всадников. Враги не спешили, видимо, полагая, что им ничто не

угрожает, не смотрели по сторонам, иначе наверняка заметили бы его, словно железный орел, сидевшего на холме. Они приблизились, он поднял меч. Конница ринулась вниз с громким топотом. Никогда еще ни в одной битве не мчался так стремительно его сильный, тяжелый конь — грива развевалась, пена падала с губ. Но странно — он не слышал ни стука копыт, ни резкого звона мечей, будто и впрямь несся на крыльях ветра. Они настигали врагов, он уже ясно видел потные зады, влажные хвосты их коней. И вдруг все звуки опять стали ему слышны — теперь он отчетливо слышал дружный топот копыт, испуганные крики, отрывистые приказания. И вот он разглядел ее.

Она прильнула к спине могучего всадника, руки ее крепко охватывали его стан. Еще мгновенье — и он настиг их, взмахнул мечом, и шлем всадника покатился с гулким звоном. Он успел подхватить ее, закутанную в черное шелковое покрывало, и как перышко перенес на круп своего коня. И содрогнулся. Лицо, которое он мечтал увидеть счастливым, улыбающимся, застыло в гримасе гнева и презрения.

«Господи, пусть она полюбит меня! — думал он с тоской.— Пусть она полюбит меня, господи!» Откуда взялось у него это чудное слово «господи»? Никто в их семье не употреблял его. Наверно, слышал от бабки — она часто, крестясь, бормотала себе под нос — под свой крючковатый нос — то молитвы, то проклятия. Но сейчас, казалось, никакие силы — ни земные, ни небесные — не помогут ему: чужим и враждебным было лицо его пленницы. «Сделай так, господи, чтобы она полюбила меня!»

10

Она его, конечно, любила, он это чувствовал. Она одна в классе относилась к нему по-человечески, смотрела на него с добротой и сочувствием, улыбалась, когда он нечаянно совершал какой-нибудь промах. Только она его и любила: мальчишки подсознательно ненавидели его, точно он был другой породы, а девочки редко обращали на него внимание, считая слишком маленьким и невзрачным. Они льнули к верзилам, их приводили в восторг подвиги — мальчишеские подвиги: выпрыгнуть из окна или подстрелить из рогатки бедного

воробья... Она любила его, но он знал, что это не то. Настоящая любовь должна быть иной — всепоглощающей, страстной, жестокой, неизбежной и жгучей, как боль. Господи, пусть она меня полюбит, думал он. Но тут же устыдился себя. Этот далекий равнодушный бог вряд ли поможет. Кому-кому, а богу, если он существует, наверняка не до детей. Кто в этом мире серьезно занимается детьми? Но зачем ему бог, зачем вообще чья-то помощь? Он сам завоюет ее сердце, чего бы это ни стоило.

Огорченный, он пытался продолжить то, что закончилось столь неожиданно. Он отвез ее в крепость, но она молчала, враждебно глядя на него. Что делалось в ее душе? Неужели она любила их князя? Их князь был кривоног и уродлив, с острым злым лицом, с головой, похожей на очищенную от кожицы редиску, над которой торчала жесткая, черная как смоль прядь. Но он был жесток и силен, он покорял народы, он совершал подвиги. Днем и ночью Валентин мучительно думал, какой бы ему еще совершить подвиг. Он побеждал великанов, он разрушал крепости, однажды вытащил со дна моря гигантского спрута величиной со старинный фрегат.

«Нет!» — говорили ее мрачные глаза...

— Скажи мне, чего ты хочешь? Я все исполню.

— Принеси мне сердце своей матери! — сказала она вдруг.

— Матери? — переспросил он еле слышно.

— Да, матери! — жестко повторила она.

— А отца нельзя? — нерешительно спросил он.

— Нет, я же тебе сказала!

— Никогда! — крикнул он. — Я понял, ты никакая не принцесса. Ты злая колдунья, которая обернулась принцессой.

После этого ужасного разговора он охладел к ней. Не только к той, из мечты, но и к этой, настоящей. Как-то они дежурили вместе у входа. Она глянула на него смеющимися глазами, легонько погладила по щеке. Но вместо радости он испытал неприязненное чувство. Это привело его в ужас. Ведь настоящая любовь должна быть вечной. А потерять вечную любовь — значит все потерять. «Господи, сделай так, чтобы я любил ее! — думал он. — Я хочу любить ее до самой смерти!»

— Валентин, встань! — строго сказала учительница.

Валентин испуганно вскочил.

— О чем я сейчас говорила?

Он молчал. Откуда ему знать, о чем она говорила, если такие страшные и важные события происходили в его жизни? Впервые с того дня, как он пришел в школу, в нем шевельнулась ненависть к ней. Удивленный этим открытием, он стоял, не смея поднять на нее глаза.

— Ты слышишь, что я тебя спрашиваю?

— Слышу...

Она тотчас же догадалась, что́ он чувствует в этот момент. И давняя ярость, черная, неудержимая, годами копившаяся в ней, внезапно сдавила ей горло. Ей хотелось размахнуться и ударить по бледному враждебному лицу, но она, конечно, сдержалась. Ей всегда удавалось сдерживаться — или почти всегда. Кроме одного раза, когда она вышвырнула в коридор, как котенка, такого же вот маленького паршивца, а потом у нее была куча неприятностей...

— Иди приведи мать! Сейчас же! — крикнула она.— И не возвращайся без нее!

Ни слова не говоря, Валентин вышел из класса. На улице моросил мелкий осенний дождик, еле видный, словно водяная пыль, сеявшаяся из низких облаков. Он шел как во сне. В какой-то витрине увидел часы — было около девяти. В это время мать еще спит, усталая после вечернего спектакля. Разбудить ее? Рассказать ей? Он чувствовал, что не посмеет. Не сейчас, а вообще никогда. Он не был ни силен, ни храбр, хотя этой ночью яростно преследовал кривоногих варваров. Он настиг, он победил их — в мечтах все можно совершить. Но разбудить мать? Нет, на это он не решится.

Так он брел под моросящим дождем. Ему казалось, что бродил он долго, несколько часов. Он устал, у него подкашивались ноги. В саду перед церковью, неподалеку от их дома, он присел на скамейку. Старая мрачная церковь, вся мокрая от дождя, сиротливо стояла между деревьями. И здесь живет бог?.. А не холодно ему в этих сырых стенах? И вдруг Валентин с необыкновенной силой ощутил, что еще мгновенье — и случится чудо. Не может не случиться! Распахнется серое хмурое небо, и, вся в сиянии, явится его мать, словно царица небесная: «Вернись в школу, мой мальчик! Твоей учительницы больше нет! Ее не было и не будет!» И она поведет его, а день будет ясный, солнечный, и вокруг будут порхать бабочки...

Он ждал с таким напряжением, с такой надеждой, что едва не потерял сознание. Но чуда, конечно, не произо-

шло, в жизни чудес не бывает. Он был обижен и зол, и это придало ему сил. Внутри словно распрямилась какая-то пружина и заставила его вскочить на ноги. Теперь все казалось ему не страшным, а скорее нелепым, как оно в сущности и было. Он взял портфель и решительно зашагал домой. В конце концов, она ему мать, не повесит же она его...

Но когда он переступил порог, вся его смелость мгновенно испарилась. Мать уже встала и расхаживала по комнате, подбирая разбросанные мужем газеты. Когда сын вошел, она подняла голову, как всегда, рассеянно глянув на него.

— Что так рано? — спросила она.

— Нас отпустили,— ответил мальчик.

Что-то в его тоне заставило ее насторожиться.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего,— ответил он.

— Да скажи же!

Валентин вдруг разрыдался. Он не помнил, когда он так плакал в последний раз, слезы ручьем лились по его лицу. И, всхлипывая, он рассказал матери о случившемся. Она слушала нахмурившись, но мальчик чувствовал, что она на его стороне. Когда он кончил, она погладила его по голове, но голос ее прозвучал суховато.

— Ничего, мой мальчик, это все пустяки. В жизни случаются вещи пострашнее.

Валентин вздрогнул. Неужели бывает что-нибудь страшнее только что пережитого им? И впервые его охватил панический страх перед тем, что ждет его во мраке будущего.

На другой день Лора отправилась в школу. Она оделась тщательней, чем обычно, даже немного подкрасилась. Все внутри у нее кипело, острое желание сопротивляться обуревало ее. К ее удивлению, Цицелкова встретила ее весьма любезно: может, ей стало стыдно за себя, может, суровый вид Лоры вынуждал ее держаться осторожней. Она прекрасно знала приходивших к ней матерей, таких робких, смиренных, готовых на любые унижения. Но эта была непохожа на них.

— Да, Валентин симпатичный мальчик,— начала учительница.— Очень тихий, даже робкий. Плохо только, что он ужасно невнимательный.

— Все дети невнимательные,— возразила Лора.

— Да, да, конечно! — закивала Цицелкова.— Но он уж чересчур рассеянный. Он вообще не слушает меня. Его как будто и нет в классе: он витает в облаках. Вы мать, вы должны помочь.

— Как? — сухо спросила Лора.

Учительница удивленно посмотрела на нее. В самом деле, как? Над этим вопросом она до сих пор не задумывалась.

— Объясните ему,— ответила она нехотя.— В конце концов, вам как матери лучше знать...

— А я вот не знаю! — все так же сухо ответила Лора.— Ребенок есть ребенок. Он живет в своем мире. Имеем ли мы право насильно вырывать его из этого мира? Да и к чему? А если его мир лучше нашего?.. Безусловно, лучше.

Впервые во взгляде учительницы появилось что-то недоброе.

— Он обязан учиться! — сказала она не допускающим возражения тоном.— Обязан слушать, что говорят в классе.

— Прекрасно, вот и внушите ему это! Вы ведь учительница, а не я. Добейтесь, чтобы он вас слушал. Это зависит от вас, а не от меня.

— Что вы хотите этим сказать? — На этот раз Цицелкова посмотрела на Лору с вызовом.— Я учительница, а не нянька вашим детям. По-вашему, я должна фокусы им показывать, кукарекать? Сомневаюсь, что и это поможет.

— А вы попробуйте! — уже раздраженно ответила Лора.

Учительница уставилась на нее пустыми глазами.

— Мне не до шуток! Я вас предупреждаю, с вашим ребенком дело серьезное. Его надо показать врачу.

Лора бросила на нее встревоженный взгляд. Впервые ей пришло в голову, что, может быть, дело действительно серьезное, но она тут же отмахнулась от этой мысли. Нет, во всем виновата эта зануда. И взгляд-то у нее точно у гадюки.

— Вы просто не понимаете детей! — сказала она зло.— Дома сын ведет себя нормально. Это вы, вероятно, в том возрасте, когда нужно показываться врачу.

Отомстив таким образом за все обиды, Лора, сердитая, но довольная, вышла из класса. В последующие дни она незаметно наблюдала за сыном. Нет, мальчик абсолютно

нормальный, у него подвижное лицо, живой взгляд, быстрый, ясный ум. Правда, время от времени он впадает в задумчивость, но, очевидно, он просто о чем-то мечтает... И нет никаких причин к тому, чтобы он плохо учился. Наверняка в школе ему не нравится из-за придирок учительницы, потому он и замыкается в себе. Да разве этого не бывает и со взрослыми в этом шумном утомительном городе? Правда и то, что он без конца читает книги, которые берет в ее шкафу. И у него, пожалуй, остается мало времени учить уроки. Но неужели у нее хватит духу вырвать у него из рук «Пармскую обитель», которую он сейчас читает, и засадить за скучную математику. Нет, пусть этим занимается Цицелкова, за что-то же ей платят зарплату?

11

Валентин перешел во второй класс с посредственными отметками, но это не встревожило Лору: до получения аттестата было еще далеко. Но будь она наблюдательней, она заметила бы, что сын становится все более молчаливым и замкнутым. Ел он мало, да и то приходилось его заставлять, почти никуда не выходил. Читал. Она так привыкла видеть его склоненным над книгой, что уже не обращала на это внимания.

Иногда у нее появлялась неясная надежда. Вдруг он будет великим человеком? Она знала из биографий великих людей, что все они отличались исключительной любовью к книгам. А в школе никто, даже Эйнштейн, не были отличниками.

Зимой Валентин довольно тяжело заболел гриппом. Войдя как-то утром в его комнату, мать заметила, что худенькое его лицо раскраснелось, щеки прямо-таки пылают. Она приложила руку к его лбу — он горел.

— Да ты болен! — сказала она.

— Болен? — Мальчик с надеждой взглянул на нее.— Не знаю, может, и болен.

Он действительно был болен и пролежал в постели около двух недель. Больной он был тихий, не капризничал, мать даже не заметила, как пролетели эти дни. Он лежал неподвижно в узкой своей кровати, лицо его словно светилось в полумраке комнаты. Мать мерила ему температуру, давала сироп. Порой сердце ее сжималось от

любви и жалости. Кожа его стала такой прозрачной, что сквозь нее, казалось, проступала розоватость плоти. Она жалела его — такого маленького, тихого и беспомощного. Ей и в голову не приходило, что он счастлив.

А он был счастлив, как никогда в жизни. Он был свободен. Никто его не мучил, не заставлял что-то делать, не навязывал своей воли. Не надо было ходить в школу с ее противными переменами. Не было ребят, которые орали над самым его ухом, били тяжелыми портфелями по голове, подставляли подножку и смеялись, когда он падал, совали мусор ему в карманы и опять гоготали, гоготали. Не было зловещей тишины класса и жесткого голоса учительницы, словно бурав сверлившего ему уши.

Не было самой учительницы. Просто невероятно. Он не видел ее расплывшейся фигуры. Не слышал ее шагов, ее голоса. Никаких ее надоедливых вопросов: «Валентин, где твоя домашняя тетрадь? Валентин, почему ты не слушаешь? Ты что, нарочно? Отвечай! Это ты нарочно, чтобы поиграть у меня на нервах? Валентин, почему ты не слушаешь?» В голосе ее звучали злые, обиженные и вместе с тем беспомощные, плаксивые ноты. Иногда она с отчаянием смотрела на него, ей хотелось убежать из этой проклятой школы куда-нибудь далеко-далеко. Опротивел ей этот бледный хилый мальчишка, который, уходя в себя, ускользал из-под ее власти.

Ото всего он освободился, даже от мелких забот и неприятностей. От молока, от жирной пищи, от умывания по утрам холодной водой, от необходимости чистить ботинки, от хождения в булочную за хлебом — и еще от многого. Даже от книг он избавился — от хороших, от самых прекрасных, от самых чудесных книг. Как бы ни были они хороши, они сковывали его. Самыми хорошими, самыми раскованными были те книги, которые сочинял он сам — в любое время дня и ночи, когда ему вздумается. А лучшими, самыми необыкновенными были те из них, которые он сочинял, когда поднималась температура. Самыми взволнованными и радостными.

Из всех людей на свете он радовался только матери, когда она входила в его комнату, как всегда, куда-то спешащая, занятая своими мыслями. Она клала прохладную руку ему на лоб, переодевала его, вспотевшего, давала лекарства. Даже ночью заставляла пить лекарства, вырывая его на мгновенье из теплых мягких объятий постели и снов, совала ему в рот большую розовую таблетку, кото-

рую он с трудом проглатывал, запивая тепловатой водой, а потом снова опускался на дно счастливого забытья. Просыпался он рано, с тихим приятным предчувствием, что его ждет долгий день свободы, когда он будет наедине со своими мечтами, с новыми своими, не думанными еще мыслями, которые сами собой рождаются в нем, как время рождает жизнь. Погода стояла облачная — он любил облачную погоду, ненавидел солнце, которое резало ему глаза и мешало думать. Часто падал мягкий пушистый снежок, ветер дул редко, наверно, уже пахло весной и влагой. Иногда в щелку двери просовывалось румяное от холода лицо отца, он ласково смотрел на него: «Ну как ты там, мой мальчик?» Но не заходил, и хорошо, что не заходил...

Наконец Валентин выздоровел, и теперь снова надо было ходить в школу. После отдыха он все же немного приободрился. Да и в последние дни у него словно бы появилось слабое желание увидеть свой класс. Человек быстро привыкает к счастью и свободе и готов при первом же испытании пожертвовать ими. Не из любви к испытаниям, а чтобы иметь фон, на котором счастье и свобода выглядели бы еще заманчивее. Нельзя класть счастье на счастье, как слой теста на слой теста в слоеном пироге.

Не успел он прийти в класс, как случилась беда — он получил первую в своей жизни двойку. По математике, конечно, ведь он пропустил много уроков. От неожиданности он не заметил, как слезы сами собой полились у него из глаз. Но мать не восприняла новость так трагически — этого следовало ожидать.

— Подумаешь! — сказала она. — Первая и, наверно, не последняя...

Ничего не оставалось, как сесть с сыном за стол и помогать. Она была удивлена тем, как изменилось преподавание простых арифметических действий. Немало усилий, вероятно, было приложено к тому, чтобы сделать его столь затруднительным. Против ожидания сын оказался весьма понятливым и быстро наверстывал упущенное. И все же она чувствовала, что Валентин учится без интереса, механически, через силу. Он так часто отвлекался, временами словно исчезая куда-то, что Лора наконец рассердилась.

— Неужели ты и вправду не можешь сосредоточиться? Ни на минуту?

Валентин виновато молчал.

— Несчастный ребенок! — сказала мать.— Твоя тупая учительница, похоже, права.

Мучимая сомнениями, она в конце учебного года пошла к брату, известному ученому, который был у них за главу семейства. Великий человек ничем не походил на свою сестру. Он был высокий, толстый, в жилах его текло столько жаркой крови, что на лысине даже зимой проступали капельки пота. Он походил скорее на мясника, чем на известного физика-атомщика. Пока Лора рассказывала о своих страхах и сомнениях, он так тяжело и так презрительно вздыхал, что она едва не прервала свой рассказ. Что мог ей сказать этот убежденный старый холостяк, который презирал женщин и обходил скверы, чтобы не слышать ребячьего визга? Когда она кончила, он вытащил из кармана большой носовой платок и, старательно вытерев лысину, сказал:

— Ну что ж! Дай его мне недельки на две — на три. Я съезжу с ним к морю.

Лора несказанно удивилась.

— Что с того, что вы поедете вместе к морю?

— Я присмотрюсь к нему... То, что ты мне рассказала, говорит плохо скорее о тебе, чем о нем, что ты хочешь от мальчишки? Разве лучше было бы, если бы он хулиганил, не слушался?

Лора немного успокоилась. Ей по крайней мере удалось переложить груз со своей души на другого человека. Да и Валентин кончил второй класс с лучшими отметками, чем первый. Лора решила, что дела у сына идут на лад.

12

И они поехали вместе в Ахтопол. Лора провожала их на аэродроме с некоторой тревогой. Не слишком ли доверилась она брату, этому забывчивому толстяку, известному среди ученых своей рассеянностью? Да он не довезет Валентина до Ахтопола, забудет, чего доброго, на аэродроме в Бургасе! Ведь они оба не от мира сего. Ко всему прочему, собиралась гроза, где-то грохотал гром, тяжелые тучи ползли к западу, временами их пронзали яркие беззвучные молнии. Вылет самолета дважды откладывался. Наконец он побежал по взлетной полосе, набирая скорость и смелость. Лора вернулась домой рас-

строенная, но в тот же вечер получила обещанную телеграмму с сообщением, что они долетели благополучно.

Лора так и не поняла, что Валентин провел на море свое самое хорошее, счастливое лето. И самое беспечное. Сначала дядя действительно водил его несколько раз на пляж. Он лежал на песке, подставив солнцу свой округлый и гладкий, как у женщины, живот, глядел на море и недовольно хмыкал. Поодаль разные мальчики и девочки уже приобщали Валентина к тайнам моря. Но так продолжалось только до тех пор, пока не собралась вся компания, с которой дядя договорился отдыхать. После чего он перестал жариться на этой придуманной для людей сковородке. Предоставил заботиться о Валентине женам своих друзей, а сам, наплевав на море, занялся вместе с ними более увлекательным занятием. С раннего утра они сходились на тенистой, увитой диким виноградом террасе, расстилали одеяло, на которое бросались две колоды карт. Они с таким азартом играли в бридж, словно весь год только и мечтали об этих летних днях, когда наконец возьмут в руки карты. Перед обедом хозяин дома — старый грек Костаки, жилистый и темный, как высушенный осьминог,— приносил им мастику, редиску, иногда холодное пиво. Но и тут они не бросали игру, наоборот, она становилась более шумной. Потом они наспех обедали в паршивом ресторанчике и снова хватались за карты. За племянника дядя был спокоен — за ним присматривала Нушка.

Нушка была всего на год старше Валентина, но на голову выше его. Она была русая, полненькая, хорошенькая. Синие глаза ее сияли, как море ранним утром, когда оно еще сверкает на солнце. Купалась она, как мальчики, в одних трусиках. Валентин смотрел, недоумевая, на ее пухлую, но еще плоскую грудку — что такого таинственного в женщинах? Нушка относилась к нему как к маленькому несмышленому брату — не отпускала от себя ни на шаг, учила плавать. Он уже мог несколько минут держаться на воде.

— Хорошо? — беспрерывно спрашивала его Нушка.— Правда же хорошо?

— Очень! — искренне отвечал Валентин.

— Особенно дно. Каждую песчинку видно.

— Ты видишь дно? — спросил озадаченно Валентин.— Неужели в воде можно смотреть?

— А ты думал нет?.. Это же самое интересное.

Валентину представлялось невероятным, что можно смотреть в соленой горькой воде. Он едва решился открыть глаза — боялся, что тут же ослепнет. Но перед ним открылся новый неведомый мир, озаренный чудесным зеленоватым светом, более поразительный, чем самый поразительный из пейзажей на выжженной солнцем сухой и голой земле. Вокруг плавали рыбки, качались голубоватые и розоватые колокольчики медуз, по перламутровому дну ползли крошечные полупрозрачные рачки. И еще много-много странного и невиданного было в зеленоватых безднах моря. Он так увлекся этим новым, незнакомым раньше миром, что отрывался от него, только когда у него начинали болеть глаза или Нушка силой вытаскивала его из воды. А когда он впервые надел маску для подводного плавания, этот сказочный мир показался ему еще более прекрасным.

О своих мечтах Валентин не вспоминал, у него не оставалось для них времени. Да и не появлялось желания мечтать. Счастье теплого лучистого мира, окружавшего его сейчас, было таким близким и доступным, что не к чему было напрягать свой ум и воображение.

Золотистое раскаленное пламя диска, трепетавшее с утра до вечера, словно озаряло и само небо — такое же белое и блестящее, как освещенная солнцем внутренность морской раковины. Да и само море блестело и кипело на горизонте, как молоко. Они проводили возле него целые дни. Валентин как-то незаметно вырос, вытянулся, движения его стали увереннее и энергичнее.

Вечерами они вдвоем с Нушкой долго сидели на гладких вымытых волнами прибрежных скалах. Было очень хорошо, особенно когда всходила огромная луна, окровавленная, как только что вырезанная гланда. Ему становилось даже страшно, когда он смотрел на нее. Она быстро поднималась по небу, окровавленное лицо ее прояснялось, становилось прозрачным, она серебрила все — и далекий горизонт, и колени сидевшей совсем близко Нушки.

— Что-то ты все молчишь! — сказала она. — Тебе скучно со мной?

— Нисколько! — ответил он искренне. — Даже наоборот.

— Наоборот? — засмеялась она. — Тогда поцелуй меня в щеку.

Она сказала это так спокойно и естественно, что Валентин вздрогнул. Неужели можно так просто говорить о таком необыкновенном?

— Ты меня слышишь вообще? — спросила Нушка уже недовольно.

— Слышу, конечно! — ответил он слабеющим голосом.

И поцеловал ее в щеку. Кожа у нее была холодная, будто она только что вышла из воды. Тем горячей была волна, залившая его лицо. А Нушка казалась такой же спокойной, даже какой-то сытой, поцелуй не произвел на нее особого впечатления. И мальчик в очередной раз почувствовал, что он не такой, как все, что он совсем, совсем другой, что он видит то, чего не видят другие, ощущает все вокруг с какой-то неестественной обостренностью.

— Опять ты молчишь! — сказала она. — Тебе не понравилось?

— Понравилось! — ответил он с горячностью.

— Это я ради тебя, — сказала вдруг Нушка. — Я знаю, вы, мальчишки, только об этом и думаете.

— Я не такой! — вспыхнул от обиды Валентин.

— Тем лучше! — ответила Нушка и снова засмеялась. — Незачем мне особенно стараться.

Так и остался этот поцелуй, холодный, волнующий, единственным в его жизни. Нушка больше не просила целовать ее, даже словно бы немножко охладела к нему, хотя все так же добродушно и усердно наставляла его, когда они купались в море. Она знала, что «отвечает за него головой», как сказал ей этот толстяк, его дядя. Не рассердился бы за то, что они целовались.

Так прошли две счастливые недели. Только тогда дядя вдруг вспомнил, что он приехал сюда с определенной миссией. Теперь в шесть часов игра в карты прекращалась, и он шел с мальчиком гулять. Надо было куда-нибудь повести его, посидеть с ним, поболтать. Как известно, нет в мире более приятного места для тихих задушевных бесед, чем летние ресторанчики на берегу моря. Там всегда бывало чешское пиво для дяди и холодный лимонад — для мальчика. Дядя умел расспрашивать тактично, без излишних понуканий и настойчивости. Он незаметно располагал его к себе воспоминаниями о своем детстве, о своих проделках, детских мечтах и выдумках.

Мальчик слушал его с жадным интересом, с затаенной надеждой: может, не он один на свете такой чудак?

Прошло несколько дней, и мальчик сам разговорился. Сначала он стеснялся, но дядя слушал его с таким вниманием, что он забывал о своей сдержанности и становился откровеннее. В конце концов он рассказал дяде о некоторых своих приключениях, когда он был невидимкой... Даже о том, как однажды явился в виде господа бога к учительнице. Погасив свет, она уже ложилась спать, когда он проговорил замогильным голосом: «Слушай, женщина, оставь в покое мальчика по имени Валентин. Предоставь его мне, я о нем позабочусь».

— И она ничего не ответила? — спросил с любопытством дядя.

— Нет, почему же, ответила. «Господи, вы же знаете: мне запрещено с вами разговаривать».

Дядя так захохотал, что опрокинул столик, на котором стояли прекрасное чешское пиво и тарелка с жареной скумбрией. Но тут в ресторанчик вошли его друзья с женами и Нушка. Разговор прервался на самом интересном месте.

Дня через три они с дядей вернулись в Софию. Родители Валентина были на курорте, и он еще целую неделю жил у дяди. Было жаркое нудное городское лето. Валентину ужасно не хватало моря. А здесь даже гулять было негде. Оставалось только вернуться к книгам и мечтам, тем более что никто ему не мешал. Днем в квартире было тихо, только утром по ней сновала, наводя порядок, домработница, женщина тихая и неразговорчивая. Покончив с уборкой, она готовила обед, потом они обедали вдвоем, и она уходила так же бесшумно, как и приходила. Валентин оставался один. Его ждали несколько приятных спокойных часов, полных солнца и тишины.

Дядя обычно возвращался часам к пяти, такой оживленный и веселый, словно посмотрел смешной фильм. Валентин всегда был рад его приходу. Вечерами они долго разговаривали, смеялись, ходили в летний кинотеатр, садились в первые ряды среди мальчишек. Иногда дяде хотелось поиграть в карты, и Валентин шел в кино один. Но больше, чем ходить в кино, ему нравилось наблюдать, как дядя играет в карты, как он громко вздыхает и пыхтит, точно пробивает нескончаемый тоннель. Один раз после неудачного хода он с такой силой хватил кулаком по столу, что несколько карт вылетели в окно.

В подобный момент и застала его Лора, когда пришла забрать Валентина домой. Открывая дверь, брат окинул ее недовольным взглядом.

— Посиди немного в кабинете! — сказал он.— У меня идет козырная карта!

Лора прошла в кабинет. Немного погодя его голос гневно зарокотал в комнате — очевидно, козыри уплыли от него, но в кабинет он вошел уже немного успокоившись.

— Слушай, сестра, в другой раз поговорим поподробней, а сейчас хочу тебе сказать только одно: у тебя славный сын!

— Ты так думаешь? — спросила польщенная Лора.

— Не думаю, а уверен! — закричал брат, снова начиная горячиться.— Он не просто умный и тонко чувствующий мальчик. Таких много. Он одарен необыкновенным, я бы сказал, колоссальным воображением.

Но сестра была не слишком растрогана этим открытием.

— Неужели ты не понимаешь? — спросил физик.— Такие рождаются один на сто тысяч. Да что там — на миллион, на сто миллионов!

Лора сдержанно улыбнулась.

— Каждый ребенок...— начала она.

— Не каждый! — сердито прервал он ее.— Не каждый! Хотя я физик, а не психолог, но должен сказать тебе, что память — основа сознания. А воображение — его вершина! Монблан, Эверест!

— От кого это у него? — шутливо спросила она.— От меня? Или от тебя?

— А почему бы и не от меня? Честно признаюсь, это мне льстит. Если хочешь знать, Эйнштейн отличался от своих современников-физиков не столько своим умом... И вряд ли своими знаниями... А своим воображением. Мы же считаем воображение почти ненужным. Как, вероятно, думает и его учительница.

— Да, она считает, что оно приносит ему вред.

— Что значит — вред? — нахмурился он.

— Так, вред! Поэтому он не очень хорошо учится.

— Ну и что с того? — опять закричал брат.— Да он стоит всей школы...

— Брось свои шутки! — сказала недовольно сестра.

— А я не шучу! У меня нет времени долго с тобой разговаривать, но советую тебе — забери его из этой шко-

лы, от этой учительницы. Она его погубит. Переведи его в другую школу.

— Это не так просто.

— Но все-таки можно! Я его переведу, если тебе неудобно это сделать. Талант надо беречь. Дурак и тот поймет...

— Не поймет! — сказала Лора печально.

— Ладно, что-нибудь придумаем, нужно позаботиться о ребенке...

Лора взглянула на него с любопытством.

— Ну хорошо, а кем он, по-твоему, может стать? Писателем? Физиком?

— Какая разница... Кем бы он ни стал, он будет вершиной!

Брат направился к двери.

— Подожди, а где же Валентин?

— В кино пошел. — Он глянул на часы. — Скоро вернется.

— Один пошел в кино? — Лора с возмущением посмотрела на него. — В это время? Да ты в своем уме? Он же еще маленький! — заключила она испуганно, в свою очередь глянув на часы.

— Уже не маленький! — ответил брат с досадой. — Что ты понимаешь! Посиди тут, подожди. Говорят тебе, он сейчас придет.

И выбежал из кабинета. Партнеры ждали его, нервничая и сгорая от нетерпения. Увидев, какой он побагровевший, взвинченный, они только что-то неразборчиво пробормотали.

— Мы втроем пас! — сказал один из них. — Ходи ты!

— И пойду! — сказал физик угрожающе. — Пойду, можете не сомневаться!

13

К профессору Мирчо Евгениеву, дяде Валентина, я попал сравнительно легко и быстро.

Позвонил по телефону, объяснил ему в двух словах, кто я и о чем хочу с ним говорить. Он молчал, я слышал его тяжелое дыхание на другом конце провода. Я уже многое знал о нем и старался вообразить его в этот момент — как он, хмурый, стоит в нерешительности.

— Откуда вы знаете Валентина? — спросил он мрачным тоном.

— Я последний, кто видел его живым, — произнес я хорошо обдуманные слова. — Там, на озере... Может быть, за несколько минут до смерти.

— Ладно, приходите, — ответил он дрогнувшим голосом. — Если хотите, можете прямо сейчас. Откуда вы звоните?

— Из дома. Я живу неподалеку.

— Тем лучше. Жду вас! — сказал он.

Я отчетливо уловил волнение в его голосе. Понимая, о чем он думает в эту минуту, и не желая мучить его ожиданием, я как можно скорее направился к знакомой улице. Позвонил, прислушался, шагов за дверью не было слышно, вместо этого до меня донесся мерный, громкий, точно удары колокола, бой стенных часов. Едва эти звуки растворились в тишине квартиры, дверь распахнулась, и профессор сказал не слишком приветливо:

— Проходите, пожалуйста!

Мы вошли в его кабинет, он молча указал мне на кресло. Я медленно опустился в него. Внимательней взглянул на профессора. На лице его нетрудно было прочесть следы испытываемого им смятения.

— Слушаю вас!

Я подробно рассказал ему о нашей последней встрече с мальчиком до того самого мгновенья, когда я отвернулся и ушел. Он напряженно слушал меня, но постепенно лицо его оживилось, взгляд смягчился.

— Значит, он показался вам жизнерадостным, не так ли?

— Да! — ответил я. — Я уверен, что в эти минуты он не думал о смерти. У него, очевидно, не было никакого предчувствия...

Профессор откинулся на спинку стула, заскрипевшего под его тяжестью.

— Значит, случайность?.. — Теперь в его голосе звучало явное облегчение — то внутреннее облегчение, испытать которое я напрасно мечтал уже несколько месяцев.

— Нет, не случайность! — ответил я.

Он снова впился в меня своими светлыми глазами.

— Что вы хотите этим сказать?

— Только то, что это произошло не случайно. На всех нас лежит вина за его смерть... В том числе и на мне...

Прежде всего потому, что мы были невнимательны к нему.

Профессор вдруг сник, лицо его посерело.

— Да, вы правы,— с усилием проговорил он.— Мы действительно его убили. Все, включая его мать и отца, дружными усилиями. А больше всех, наверно, виноват я... потому что я один понимал, что он собой представляет.

И хотя ему явно было тяжело говорить об этом, он обстоятельно рассказал мне об их последнем лете.

— Конечно, вы меня спросите, почему мы не перевели Валентина в другую школу. Почему мы этого не сделали, хотя я был глубоко убежден, что это надо было сделать. Безусловно, тут неблаговидную роль сыграл его отец. Но не это главное, не это! В конце концов он не понимал, что делает. А я понимал. Тогда почему же я этого не сделал? Не знаю, не могу ответить. Нет, могу. Все это происходит от того, что мы живем лениво, вяло. Живем, не пытаясь хоть сколько-нибудь поглубже себя понять. И других тоже. Ну хотя бы себя, ведь должны же мы отвечать за свои поступки...

— Да, мы не отдаем себе отчета в своих поступках! — согласился я с горечью.

— Вот именно! — живо откликнулся он.— В лучшем случае мы понимаем их практическое значение, но не глубинный смысл. Позволяем повседневности увлечь себя, плывем по течению, не поднимаясь над поверхностью, перестаем отличать главное от неглавного, забываем о критериях, теряем чувство ответственности. И думаем, что все как-то устроится, исправится без нашего участия...

Он замолчал. У меня тоже не было никакого желания говорить. Он был прав, я давно это понял. И когда понял, вся эстетика Гегеля стала казаться мне стогом сгнившего сена.

— Значит, вы считаете...— начал я нерешительно.

— Да, считаю! — резко прервал он меня.— Теперь, конечно... Мы виделись с Валентином еще несколько раз, и я бы мог о чем-то догадаться. Он очень переменился. В положительную сторону... Но видимо, я не учитывал чего-то. Каких-то мелочей, как мне представлялось... А они, по всей вероятности, были, не знаю уж какое слово подобрать, самыми решающими, что ли.



14

Со стороны действительно казалось, что ничего особенного не происходит. Просто Валентину случайно попался в руки фантастический роман Беляева «Человек-амфибия». Я прочитал книгу, сыгравшую такую исключительную роль в его жизни. Довольно, по-моему, слабую и примитивную. Так это или не так, не знаю, но, в сущности, сам по себе роман не имеет никакого значения. Книги, как я уже говорил, были только толчком для фантазии мальчика.

Вот в нескольких словах содержание романа. Аргентинскому ученому удалось оперативным путем пересадить ребенку жабры. Ихтиандр вырос и превратился в человека-рыбу, живущего в основном в океане. Он не мог долго дышать легкими, на суше у него начинали болеть жабры, и все его попытки жить среди людей заканчивались почти трагически. В страшном мире грохота и зловония, человеческой алчности и каннибальских нравов ему не было места. И он снова вернулся в океан к добрым, кротким рыбам и безобидным, веселым дельфинам.

Я старался разобраться, что нашел Валентин в этой книге, что он почерпнул из нее и что придумал сам.

Описанный в ней странный мир тишины и призрачного света был ему близок и понятен после лета, проведенного на море. Раздумывая над книгой, я сам погружался в этот чудный мир, начинал смотреть на окружающее его глазами. И представлял себе уже не Ихтиандра, а Валентина то в полупрозрачной водной толще, то на отмели. Я видел, как он сидит среди коралловых рифов, окруженный, словно в сказке, желтыми и голубыми рыбами. Рядом с ним его лучший, самый верный друг дельфин Лидинг. Они до изнеможения резвятся в воде среди подслеповатых доверчивых рыб, не боящихся своего подводного брата. Он подолгу плавает по спокойному океану на спине Лидинга, они вместе с ним погружаются в темные морские глубины, чтобы выскочить затем на яркий свет. Наконец Лидинг, усталый, отвозит его в подводную пещеру, где он всегда прячется от людей, когда ему грозит опасность с их стороны.

Да, от людей происходят все его беды — от людей, которых он не понимает и боится. И они тоже не понимают его и считают уродом и чудовищем. И Гуттиэре его не понимает. Я представлял себе, как он подносит ей гро-

мадную жемчужину, самую красивую их тех, что он нашел на дне. Гуттиэре не в силах оторваться от нее и взглянуть на него — не на Ихтиандра, а на Валентина. Огорченный, он возвращается в свою подводную пещеру, осторожно отодвигает большого сонного краба, устроившегося на его жестком ложе. Из мрака медленно подплывают большие серебристые рыбы, сочувственно касаясь его носами.

Этой мечтой мальчик жил долго — почти год. Он погрузился в нее глубоко, как в глубины океана. И вместе с тем эта новая мечта сделала его в жизни более спокойным и уверенным. А может быть, эту уверенность и спокойствие придавали ему встречи с дядей. Он стал сосредоточенней и внимательней на уроках. Отметки у него стали лучше. Он не читал уже так много и без разбора, как раньше. Его фантазия была сыта.

Успокоенная переменой в нем, мать перестала думать о его переводе в другую школу. Да и Радослав энергично воспротивился этому.

— Я в принципе не согласен. Положим, мы персведем его к другой, хорошей учительнице. Что он от этого выиграет? Ничего! Станет еще невнимательней, будет хуже учиться... Характер воспитывается с детства. Если мы сегодня будем ему потакать, завтра с ним нельзя будет справиться.

Лора молчала, нахмурившись. В доводах мужа была своя логика. Но в душе она чувствовала, что он не прав, что ее сыну грозит какая-то опасность.

— Не знаю! — ответила она уныло. — По-моему, эта женщина лишает его всякой уверенности в себе. Она ничего в нем не создает, а только разрушает. И делает это почти с удовольствием.

— Почему? — спросил Радослав.

— Просто потому, что ненавидит его.

— Ты соображаешь, что говоришь? — вспылил Радослав. — Ненавидит нашего сына! Да за что его можно ненавидеть? Что он, мешает ей делать карьеру?

— Мешает, разумеется, — холодно ответила Лора.

Этот разговор сильно поколебал Лору в ее благих намерениях. Да и дядя Валентина, поглощенный своими повседневными заботами и холостяцкими увлечениями, позабыл о своем требовании. Не следует, вероятно, судить его чересчур строго. Он сказал то, что обязан был сказать, об остальном должны были позаботиться родители.

Прошла зима, как всегда, долгая и тягостная, серая, хмурая, мрачная, почти без снега, но с туманами и сухими холодами. Зато весна была очень хороша, с таким бездонным синим небом, которого я давно не видел. Я, как пьяный, бродил по болотам и берегам водохранилищ, поскольку ловить рыбу в реках давно запрещено. Валентин тоже словно проснулся от оцепенения, стал, хотя и редко, выходить на улицу, смотреть на небо. Наверно, у него ожила надежда, что он скоро снова поедет на море, увидит свое сказочное царство. И все-таки этого скоро надо было еще так долго ждать. Но разве нельзя взглянуть хоть одним глазком на море, пока дожидаешься каникул? В начале мая он сказал отцу:

— Папа, свези меня на море, очень тебя прошу!

Отцу даже понравилось, что сын о чем-то просит его. Обычно мальчик не обращался к нему ни с какими просьбами.

— На море сейчас холодно, сынок! И оно слишком бурное, на него можно только издали смотреть!

Бурное море Валентин не любил, оно было чуждо ему, пугало его слабую душу. И все-таки желание увидеть какую-то водную поверхность, сильную, спокойную, вечную, было у него, вероятно, непреодолимым.

— Тогда покажи мне озеро! Я никогда в жизни не видел озера.

— Не видел озера? — удивился отец. — Хорошо, поедем на озеро.

Он недавно купил машину вместо персидского ковра, который он когда-то собирался купить. Часть денег скопил, часть взял в кассе взаимопомощи или занял. Машину он, конечно, сумел приобрести без очереди. В первое же воскресенье после их разговора Радослав посадил свою маленькую семью в синюю «Ладу» и покатил по шоссе на Самоков. Они быстро добрались до «Аистова гнезда» на Искырском водохранилище. Конечно, озеро и водохранилище — не одно и то же, но отец рассчитывал, что мальчик не поймет разницы.

— Вот тебе озеро! — сказал он, довольный. — Смотри сколько хочешь!

Той весной водохранилище было очень полноводным, вода доходила до каменной балюстрады ресторана. Валентин как очарованный направился к низким перилам. Перед ним синела бескрайняя водная ширь, зеркально-спокойная, чистая, пожалуй, даже более красивая, чем море.

В ней с неестественной четкостью отражались большие белые облака. Когда через час Радослав вышел, чтобы посмотреть, что делает сын, он застал его в том же положении, в каком оставил. Лицо у него было сосредоточенное, необычайно взволнованное. Услышав голос отца, он вздрогнул и неохотно подошел к нему.

— Он и правда чересчур чувствительный! — озабоченно сказал жене Радослав.

Лора нахмурилась, но ничего не ответила.

15

Не уделяю ли я чрезмерное внимание Цицелковой? Сыграла ли она действительно такую решающую роль в жизни мальчика, как мне представляется? Я не занимался бы столько ею, если бы не убедился в этом. Но чтобы не оставалось никаких сомнений, я обязан рассказать и о последнем столкновении между ними. Оно произошло, как говорится, под занавес, перед самыми летними каникулами. Начиная свое повествование, я поклялся быть объективным, не поддаваться своим чувствам. Это не значит, однако, что я буду снисходительным — правда всегда бывает горькой и даже беспощадной.

Итак, в тот день Цицелкова должна была раздать тетради с сочинениями, написанными на тему рисунка. Кстати, я видел этот бездарный рисунок. Возможно, вам тоже доводилось его видеть, возможно, вы даже писали по нему сочинение. На нем изображено кудрявое дерево с гнездом, напоминающим шапку, на одной из веток. Из гнезда высовываются черепашьи головки птенцов. Один птенец, видимо, выпал из гнезда. Его держит в руках мальчик, одетый в смешные штаны. Птенец несоразмерно большой, похожий скорее на петуха, чем на птенца.

В подобных случаях учительница вызывала нескольких учеников, написавших лучшие, по ее мнению, сочинения. Валентин, вероятно, был спокоен: учительница никогда не вызывала его читать сочинение, он не пользовался ее благосклонностью. Отметки у него по болгарскому языку были не блестящие. Правда, на сей раз он старался больше обычного, вернее, не столько старался, сколько увлекся. Как знать, не теплилась ли у него робкая надежда заслужить похвалу Цицелковой. В тот день у нее, похоже,

было хорошее настроение. Она взяла лежавшую сверху тетрадку, прочла имя на обложке:

— Василка Андреева!

К доске вышла высокая худая девочка с тощими ногами. Все знали, что она любимица Цицелковой. Она прочитала свое сочинение громко, чуть визгливо и, как всегда, самоуверенно. Потом к доске вышла еще одна девочка, за ней — мальчик по прозвищу Маленькая Кобра, как его называли в отличие от Большой Кобры, другого мальчика из их класса, носившего очки. Сочинения были коротенькие, из пяти-шести предложений. Иванчо пошел гулять. Увидел под деревом выпавшего из гнезда птенца. Иванчо очень обрадовался. Перевязал птенцу сломанную лапку, потом...

Тут мнения разделились. У Василки он унес птенца домой, чтобы вылечить. У Маленькой Кобры он, конечно же, залез на дерево, чтобы положить птенца обратно в гнездо. А у...

— Валентин Радев! — произнесла учительница.

Валентин покорно поднялся и подошел к столу.

Учительница сунула ему в руки тетрадку.

— Читай!

Он раскрыл тетрадку и, смущенный, начал читать, заикаясь и спотыкаясь на каждом слове.

— «Была весна, ярко светило солнце. Кукушонок подполз к краю своего гнезда. И в первый раз увидел поляну, усеянную красивыми цветами. Высоко над ним синело небо. Ему вдруг захотелось взлететь ввысь, окунуться в синеву и вернуться оттуда красивым и синим, не похожим ни на какую другую птицу в мире».

Голос Валентина окреп, и он продолжал уже спокойно и уверенно:

— «Ему так захотелось полететь, что он и не заметил, как очутился в воздухе. Но его слабые крылышки не выдержали, и он упал на землю в цветущую траву. Разве найдет его в густой траве кукушка, когда вернется?»

— Ошибка! — радостно воскликнула учительница.— Две ошибки! — В голосе ее слышалось просто ликование.— Во-первых, кукушка кладет яйца в чужие гнезда! Во-вторых, трава не цветет, где ты видел, чтобы трава цвела?

Торжествующе оглядев притихший класс, она сказала:

— Вот что получается, когда не слушают то, о чем говорится в классе! Читай дальше!

Валентин продолжал, но настроение у него уже испортилось.

— «В это мгновенье на тропинке появился хороший мальчик. Он нашел кукушонка в траве. «Что с тобой, птичка?» — «У меня сломано крыло!» — ответила птичка».

Учительница так и покатилась со смеху. Она хохотала во все горло. Сначала ребята молчали, удивленно и непонимающе глядя на нее. Но она так заливалась, что скоро на задних партах захихикали верзилы.

Постепенно один за другим засмеялись и все остальные, пока не принялся хохотать весь класс. Одна Славка сидела молча и изумленно смотрела на них. Валентин побледнел, но продолжал стоять у доски. Наконец учительница успокоилась и крикнула:

— Ти-ихо! Читай, Валентин!

Валентин, даже не взглянув на нее, наклонился к тетрадке. Теперь голос его звучал холодно, почти с ненавистью.

— «Я тебя вылечу!» — сказал мальчик. И прижал птенчика к груди. Он так любил его в этот миг, так хотел ему помочь, что тот выздоровел».

Учительница снова захохотала. Но на этот раз ее не поддержали даже верзилы с задних парт.

— Какая чушь! — выговорила она наконец. — Абсолютная чушь! Птицы не могут говорить, Валентин! Ты слышал когда-нибудь, чтобы птицы говорили?

— Это сказка! — ответил угрюмо Валентин.

— Какая еще сказка? Вам было задано написать рассказ. Понимаешь, рассказ по картинке. При чем здесь эти выдумки? Вот что получается, если не слушать то, о чем говорят на уроке.

Валентин упрямо молчал. Класс тоже. Учительница, видимо, почувствовала, что переборщила.

— Ладно, садись! И в следующий раз будь внимательней!

Когда он вернулся домой, мать не могла не заметить, что он чем-то сильно расстроен.

— Что с тобой? — спросила она, продолжая накрывать на стол.

— У меня болят жабры! — тихо ответил мальчик.

Она решила, что ослышалась.

— Какие жабры?

— Обыкновенные! — ответил он с досадой. — Не знаешь, что такое жабры?

Мать подняла голову, пристально посмотрела на него. Валентин опомнился.

— Не обращай внимания, мама, это я просто так,— сказал он равнодушно.

Я отыскал эти школьные тетрадки, которые Цицелкова изукрасила своими пометками и премудрыми замечаниями. Сочинение Валентина произвело на меня большое впечатление. Правда, почерк у него был некрасивый и неразборчивый. Буквы были разные, словно написанные не одной и той же рукой. К концу Валентин явно устал — слова были неимоверно растянуты, строчки сползли вниз. Но вы сами понимаете, что его сочинение было несравненно лучше сочинений остальных ребят, в сущности это был чудесный рассказ. Только Цицелкову это нисколько не тронуло.

Я тщательно изучил ее пометки. Красными чернилами были испещрены в основном поля тетради: несколько восклицательных знаков выстроились, точно телеграфные столбы. Что ей еще оставалось делать, если в тексте не было ни одной грамматической ошибки? Все же слова «хороший мальчик» были размашисто зачеркнуты, и наверху было написано: «Иванчо», а на полях: «Будь внимательней на уроках!» Остальные назвали героя Иванчо — очевидно, она объяснила им, что следует писать. В самом низу, так, что даже я еле смог разобрать, она написала: «Нет заключения» — как-то злорадно подписалась, поставив, конечно, двойку.

«Ему вдруг захотелось взлететь ввысь, окунуться в синеву, вернуться оттуда красивым и синим, не похожим ни на какую другую птицу в мире».

Эти простые слова запомнились мне навсегда. Почему же они не поразили Цицелкову? Впрочем, смешно требовать от нее душевной тонкости и деликатности. И где уж ей понимать, цветет трава или не цветет.

Вскоре после этого случая Валентин сказал отцу:

— Папа, то, что ты мне показывал, было не настоящее озеро!

— А что же это было?

— Простое водохранилище.

— Какая разница? — пожал плечами Радослав.

— Как какая? Там, под водой, нет настоящего дна. А всякие заборы и разрушенные села.

— Какое это имеет значение? — спросил Радослав.— Вода она и есть вода. Ты глазел на нее целый час.

— Да, но я думал, что это настоящее озеро.

Отец развел руками.

— Что я могу поделать? У нас нет настоящих озер.

— Нет, есть! — упрямо сказал мальчик. — Папа, очень тебя прошу, свези меня на настоящее озеро.

— Ну хорошо, хорошо, свезу! — сказал недовольно отец. — Найду тебе настоящее озеро.

И мы его нашли. Чтобы мальчик навсегда остался жить в моей памяти.

Мальчик стоял в полумраке ресторана, лицо его светилось, как маленькая луна.

— Папа, можно я пойду к рыбе? — сказал он умоляюще.

Отец сидел за столом и хмуро молчал. Он не привык уступать, ребенку тем более. Не хватало еще, чтобы чужие люди вмешивались в его семейную жизнь.

— Пусти его! — не глядя на мужа, сухо сказала жена. — Ведь мы ради этого приехали сюда, ради его озера!

Худой лысоватый человек, с которым мальчик только что разговаривал, тоже чуть заметно нахмурился.

— Папа, я тебя очень прошу! — повторил мальчик.

— Хорошо, иди! Но чтобы через пятнадцать минут ты был здесь... Не заставляй меня тебя звать!

Лицо мальчика просияло, и он выпорхнул из ресторана. Было еще светло, хотя котловина уже утонула в тени окрестных холмов. Зато небо стало синее и строже — низкие, почти прозрачные облака давно разошлись. Мальчик со всех ног кинулся к озеру. Склон был крутой, и он почувствовал, что ноги у него буквально подкашиваются, что он вот-вот со всего разбега упадет. Он резко остановился и даже присел. Посидев немного, стал спускаться к озеру медленнее.

Его рыбка была жива, она плавала по маленькому, огороженному камнями бассейну уже не брюшком кверху, а на боку. Как знать, может, он и впрямь влил в ее холодное тельце часть своих сил? Мальчик наклонился и с надеждой посмотрел на нее. Ихтиандр помогал рыбам. После отлива он собирал оставшихся на берегу и бросал обратно в воду. Разрезал острым ножом сети рыбаков. А чем он поможет своей оживающей рыбе? Он напряженно следил за ней, ему казалось, что ей лучше. Она плавала, слегка пошевеливая хвостом, жабры ее раздува-

лись. Она, кажется, держалась немного бодрее. Пока мальчик нетерпеливо переступал с ноги на ногу, где-то выше, у него над головой, загудел мотор. Валентин испуганно оглянулся. Нет, их «Лада» стояла на месте. Наверно, уезжали на газике те трое незнакомых мужчин. И в том числе рыболов в смешной шапочке. Конечно, он был очень добр и мил, но все-таки хорошо, что он уезжает. Рыбка, живая или мертвая, должна принадлежать ему одному. Но как это мертвая, она не может умереть, пока он заботится о ней. Хоть бы отец ненадолго задержался, чтобы у него еще было время. Мальчик опять с надеждой взглянул на рыбу.

О чудо! Она уже не клонилась набок. Теперь сквозь воду на этом мелком месте была видна только ее тонкая спинка, так красиво разукрашенная розовыми пятнами. Рыба медленно плавала, толкаясь носом о камни ограды.

— Тебя выпустить, рыбка?

Ему почудилось, что рыбка шевельнула бледно-розовыми плавниками.

— Давай плыви!

Он вытащил несколько камней, которыми отгородил бассейн, и легонько подтолкнул ее к выходу. Она нерешительно стояла перед отверстием, словно боялась расстаться со своим спасителем.

— Плыви, рыбка, плыви! Плыви на свободу!

Рыба хоть и медленно, но плыла в озеро.

— До свиданья! — сказал мальчик.

Рыба повернула к нему свою гладкую голову.

И вдруг в воздухе прозвенел серебристый голосок.

— Ты спас меня, мальчик, за это можешь загадать три желания!

— Мне достаточно одного,— тихо ответил мальчик.— Я хочу увидеть Гуттиэре.

— Гуттиэре? — испуганно переспросила рыба.— Загадай что-нибудь другое...

— У человека бывает только одно настоящее желание!

— Хорошо, пойдем со мной! — сказала рыбка.

Мальчик как очарованный пошел вперед. Холодная вода обожгла его ноги.

— Ты испугался? — спросила рыбка.

— Нет, мне чуть-чуть холодно!

— Иди, иди, холодно, только пока ты не вошел в воду!

Мальчик сделал еще несколько шагов. Он уже не боялся холода и темной глубины. И не видел рыбы, только слышал ее становившийся все тише голос.

— Подумай еще раз, мальчик! Не пожалеешь ли ты о матери?

Мальчик заплакал.

— Я хочу увидеть Гуттиэре! — сказал он. — Я хочу быть с вами... С ними у меня ужасно болят жабры.

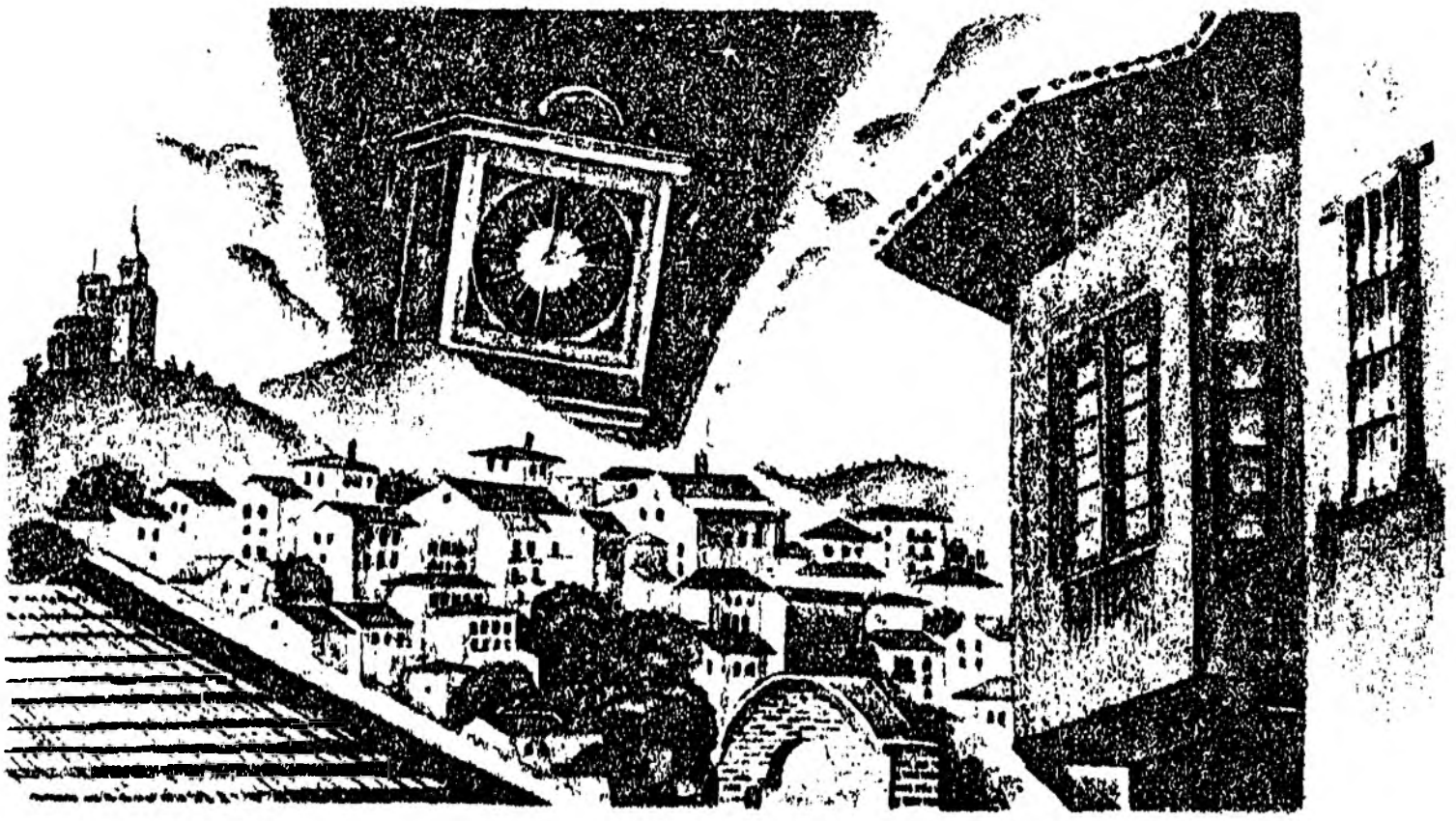
— Тогда иди! Иди за мной!

Мальчик шел на ее голос. И вдруг сквозь прозрачную голубую воду он увидел чей-то смутный образ. Это была Гуттиэре. Она показалась ему несказанно прекрасной, хотя лицо у нее было мертвенно-бледное. Пушистые волосы плавали вокруг ее головы золотистым облаком. Гуттиэре не сводила с него синих глаз и молчала.

— Прости меня, Гуттиэре! — тихо сказал мальчик. — Я не Ихтиандр! И никогда им не был!

Гуттиэре ничего не сказала, только взмахнула своей легкой прозрачной рукой. И, словно околдованный, мальчик пошел на ее зов.

Измерения



До чего же трудно вглядываться в сумрак прошлого! Не раз задумывался я над тем, что оно такое — наш мир, действительно ли он существует. И понял, что сказать: «Конечно же существует хотя бы в памяти людей» — отнюдь не ответ. А память — что это такое? Неужто лишь тени, нетленные призраки, обитающие в наших усталых душах? Вряд ли. Как говорят ученые, все в этом мире состоит из частиц или волн, что почти одно и то же. Даже сны, даже мечты. А память просто механизм, не более того, который запечатлевает бытие и сохраняет его в себе, вещественное и реальное. И, конечно, не только человеческая память. Все живое в этом мире знает и помнит свое прошлое, то есть, следовательно, содержит его в себе.

Но к чему вдаваться в ненужные рассуждения? Важно, что в это прошлое можно войти, словно в кинотеатр, по своему выбору и желанию. И выйти из него. Последние несколько месяцев я именно этим и занимаюсь; я входил в него, выходил, возвращался снова и снова. Меня хлестали дожди, пули свистели в ушах, я чувствовал во рту сырой вкус крови, такой свежий и отчетливый, будто она лилась на самом деле. Вначале меня это потрясало. Откуда я мог знать о том, чего никогда не было в моих ощущениях? Потом я понял, привык. Спокойно садился на

придорожные камни, отмерявшие неизмеримое. Я не знаю, что такое время, и никто не знает. Но теперь я думаю, что именно оно делает вещи реальными, вводя их в фокус наших ощущений. Или связывая их в единый процесс, у которого доказана лишь одна из его сущностей — изменение. Вот в чем узел всех проблем. О прошлом можно сказать, что оно, по крайней мере, содержится в нас самих. А будущее? Что оно такое? Существует ли оно реально? В нас или вне нас? А может, оно всего лишь возможная и вероятная проекция нашего настоящего?

В сущности, это рассказ об одной старой женщине, объединившей в себе все три лика времени. Во всяком случае, мне так кажется. Женщину эту я знал очень хорошо, потому что она — моя собственная бабушка. И я очень похож на нее, даже внешне. Если она — мое прошлое, то я — ее будущее, по крайней мере по сей день. Хотя ее давно уже нет в живых.

Но начнем с начала. Когда после разгрома Апрельского восстания орды Хафиз-паши ворвались в Панагюрище, бабушке моей было около восемнадцати, а деду Манолу — тридцать два. В те времена такая разница в возрасте мужа и жены была редкостью. К тому же дед женился на бабушке уже вдовцом. Он и сейчас как живой стоит у меня перед глазами, хотя погиб за полгода до рождения моего отца. Это был громадный человечище, пожалуй, самый высокий из «гугов», как тогда называли всех мужчин в нашем роду. Обращаясь к прошлому, люди обычно плохо помнят цвета. Но я вижу деда словно на красочной картинке. Особенно поражала меня его алая феска с длинной кистью. И не только поражала, но даже слегка возмущала. Чтобы член революционной организации, личный друг Бенковского[1] разгуливал в турецкой феске в самый канун восстания — этого я просто не мог понять. Но бабушка говорила, что носил он ее нарочно — позлить турок. Такой красивой, дорогой фески, купленной, наверное, в самом Стамбуле, не было даже у пловдивского вали[2]. Темно-вишневый сюртук, застегнутый сверху донизу, узкие брюки, венгерские сапожки. Так он выглядел на

---

[1] Бенковский Георгий (род. между 1841 — 1844 гг., ум. в 1876 г.) — видный деятель болгарского национально-освободительного движения, один из вождей Апрельского восстания 1876 г. *(Здесь и далее — примеч. переводчика.)*

[2] Губернатор провинции — вилайета.

снимке, сделанном в Нюргеве, в Румынии. Цвета запомнила бабушка и не забывала до самой своей смерти.

Волосы у деда были русые, лицо приятное, с тонкими чертами, которые редко встречаются у людей такого роста. Однажды я спросил у него, почему нас прозвали «гугами». Дед задумчиво поглядел на меня с портрета, пожал плечами.

— Прозвище у нас такое... С незапамятных времен. Еще с тех пор, когда мы не были православными...

Кем мы были до того, как стали православными, осталось для меня тайной. Портрет все-таки не живой человек, чтобы спрашивать его обо всем, что придет в голову. Слова доходили до меня будто обломки, которые море выбрасывает на берег. По куску обгоревшей мачты нужно было судить обо всем корабле. Могу только предположить, что дед был родом из чипровских католиков, которые после разгрома Чипровского восстания[1] расселились по всей стране. Но бабушка Петра объясняла прозвище гораздо проще. Оно, по ее словам, пошло от детской игры в орехи. Самый большой орех полагалось выбить из кучки первым. В него все и целились. Этот орех и доныне в наших краях называют «гуга». Правда, кто знает, наши ли мужчины получили прозвище от орехов или наоборот.

Дед был человек зажиточный, торговал скотом, даже поставлял овец турецкой армии, то есть, как тогда говорили, был «джамбазин». Он сам закупал их в панагюрских селах, а больше всего — в Петриче, откуда, в сущности, и пошел наш род. Потом через горы, реки и броды гнал их с несколькими помощниками до самого Стамбула. Тяжкое и трудное это было занятие, опасней его, пожалуй, не было во всей Османской империи. Бабушка до конца жизни хранила его «китап», своего рода разрешение ездить верхом и носить оружие. Без этого ни одна овца не попала бы в турецкую армию.

Несмотря на свое суровое ремесло, дедушка Манол, как видно по всему, был человеком добродушным. А за столом с родичами и приятелями — даже веселым. Стоило ему выпить несколько стаканов, и белые его щеки начинали алеть, словно маки. «Отчего это у тебя такие щеки, Манол?» — посмеивались приятели. «От турецкой кро-

---

[1] Имеется в виду восстание болгар против османского владычества в 1688 г. с центром в г. Чипровец (северо-западная Болгария).

ви! — беззлобно отвечал дед. — Если ее вдруг из меня да выпустить в Тополницу — в речке кровавая вода потечет».

Впрочем, я, кажется, слишком увлекся дедом, хотя он вполне заслуживает доброго слова. Но ведь, как я уже упоминал, эта небольшая хроника посвящена бабушке, бабушке Петре, самой удивительной, самой невероятной из женщин, которых я встречал в жизни. А она была простой крестьянкой из села Мечка[1], которое до сих пор зовется этим чудесным именем. Съездить в это село я так и не собрался. Впрочем, не очень-то мне верилось, что бабушка именно оттуда. Все связанное с ней странно и, пожалуй, даже необъяснимо. Взять хотя бы ее появление в Панагюрище. До самой смерти она ни разу не упомянула ни об отце, ни о матери. Не было у нее ни метрического, ни брачного свидетельства, так что я даже не знаю, как ее по-настоящему звали. Да и не очень-то стремился узнать, мне почему-то казалось, что излишнее любопытство оскорбит ее память.

Впрочем, кое-кто из родичей постарше поговаривал, что бабушка вовсе не из Мечки. Места там глухие, в селах все друг друга знают. Отец шутил, что дед Манол похитил себе жену у каракачан[2]. Мне эти шутки не нравились, хотя, пожалуй, они были не лишены оснований. Когда бабушка появилась в Панагюрище, в ее длинные, до пояса, косы были вплетены бусы и множество медных и серебряных монет, каких мечкарские девушки в то время не носили. Сукман у нее был узкий, прямой, без складок. Не то чтобы я стыдился быть каракачанским потомком, просто это неверно. Бабушка Петра говорила на чистейшем и благозвучнейшем болгарском языке, на каком и поныне говорят в пустеющих панагюрских селах. Дед привез ее на своем гнедом коне, лоснящемся и злом, как осенний стручок перца. Она сидела за его спиной, выпрямившись, по-мужски обхватив ногами могучий круп лошади, так что ее тоненькие, почти детские ноги в лиловых вязаных чулках видны были почти до самых колен. Она была такой маленькой и худенькой, что люди поначалу просто не поняли, кого это привез Манол — то ли девушку, то ли мальчика. Показалась она им слишком смуглой, почти

---

[1] Мечка — в переводе с болгарского: медведь.

[2] Представители грекоязычной этнической группы Балканского полуострова. Занимаются преимущественно овцеводством и ведут полукочевой образ жизни.

желтой, одним словом, дурнушкой, годной разве что в служанки, а уж никак не в жены. Сокрушались люди: Манол — человек богатый, ученый, полсвета объездил, каких только людей, каких женщин не видывал — от черкешенок до белолицых полнощеких банатчанок, а на что польстился. В те времена, если девушка была не в теле, не кровь с молоком, как говорится, ее и за девушку-то не считали.

Никто из родичей невесты на свадьбу не явился, хотя Мечка не бог знает как далеко от Панагюриште. Несмотря на это, свадьба прошла очень весело — пошумели изрядно, как говорил другой мой дед, Лулчо. Одни кричали, что молодая «краденая», другие — что «найденная», третьи — что упала с орехового дерева, видимо, намекая на ее малый рост. Но бабушка держалась с большим достоинством, без капли смущения или детской стеснительности, будто и впрямь была невестой из знатного рода. Сидела на своем месте молча, еле касаясь гостей взглядом, еле наклоняясь, когда нужно было поцеловать руку у кого-нибудь из стариков. Все это в целом произвело благоприятное впечатление на гордых и самоуверенных панагюрцев.

Сейчас я думаю, что бабушка была очень хорошенькой, даже красивой, но в современном смысле слова. Это видно хотя бы по фотографии. Чудесный овал лица, чуть скуластого, но с очень нежным подбородком. Тонкие черты, живой сверкающий взгляд женщины, осознавшей себя. На фотографиях тех лет обычно жена сидит, а муж стоит рядом, положив руку на спинку стула. Тут было наоборот — дед сидит, а она стоит слева от него и улыбается своей еле заметной лукавой улыбкой. При жизни бабушка очень часто показывала мне этот снимок и объясняла все, особенно что какого цвета. Желтая блуза — такие и сейчас носят,— лиловый суконный контошик[1] и вместо сукмана — длинная, до пят, черная юбка. Волна умиления и сострадания захлестывала меня, когда я видел, как она постарела по сравнению с портретом. Бабушка прекрасно понимала мое состояние, хотя лицо ее давно уже разучилось выражать и скорби и радости. Они с мужем очень любили друг друга. Об этом мне никто не говорил, это я понял сам, словно бы тоже жил в то время. Думаю, сейчас уже не встретишь такую горячую, такую преданную

[1] Верхняя одежда с откидными рукавами.

любовь, которая связала бы двух одиноких людей такими неразрывными узами. А больше они ни в чем не нуждались — ни у себя дома, ни в городе, на пороге стольких ужасных событий. В наше время все по-другому. Слишком много лиц, событий, зрелищ тянут в разные стороны душу человека, ставшую разреженной, как атмосфера на Марсе, которая не может удержать в себе ничего живого. И чем дальше, тем становится все более разреженной. Не знаю, что должно случиться, чтобы люди вновь обратились к себе, осознали себя, поняли свои настоящие чувства. А то они окончательно превратятся в муравьев, которые при встрече узнают друг друга не иначе как на ощупь.

После свадьбы дед не поехал, как обычно, перегонять скот. Просто не захотел в первый же год оставлять в одиночестве молодую жену. А может, его удержали дела революционной организации. Восстание назревало, все лихорадочно к нему готовились. Все, кроме, может быть, влюбленных, хотя дед исправно выполнял свои обязанности. Вероятно, без особого воодушевления, но и не отлынивая. Бенковский очень любил деда и доверял ему хотя бы потому, что тот не был сторонником Бобекова, его противника. Бабушка, правда, Бенковского недолюбливала, во всяком случае, говорила она о нем всегда довольно холодно и отчужденно. Однажды, незадолго до восстания, Бенковский явился к ним в дом около полуночи, как всегда с целой свитой. Спутники его остались во дворе выгуливать разгоряченных лошадей, а Бенковский прошел в комнату, где дед обычно принимал гостей. Хмуро взглянул на бабушку и распорядился:

— Ступай, молодка, свари нам по чашке кофе.

Наверное, хотел остаться наедине с дедом. Бабушка сварила кофе и, подавая его, сдержанно проговорила:

— Ничего у вас не выйдет, Георгий... Только головы свои сложите.

— Можешь не бояться, уж твоя-то голова останется в целости,— мрачно ответил Бенковский.— На тебя турки и не глянут — больно худа.

Понятно, почему она его не любила. Рассказ этот бабушка словно клещами из себя тащила. Закончила она его следующими словами:

— Сразу видно, не из очень-то хорошей семьи был человек... Выпил кофе и чашку вылизал, будто деревенский портняжка...

Моя дорогая бабулечка, и когда она только успела усвоить светские манеры? Давно ли, кажется, явилась она в этот дом с бусами в длинной косе. У нас бусы вплетали только в лошадиные гривы.

Остановлюсь на последнем эпизоде их краткой совместной жизни. Последнем и самом трагическом — смерти деда. Не могу отделаться от мысли, что именно тут начало всего того, что потом многим покажется таким странным. Но до этого, видимо, придется хотя бы в нескольких словах описать дом деда Манола, потому что именно здесь разыгрались самые драматические события. Дом этот стоит и сейчас, правда совсем заброшенный и полуразвалившийся. В свое время бабушка его продала, а лет десять назад я купил его за бесценок, заплатив, по существу, только стоимость участка. К сожалению, у меня нет ни времени, ни средств привести его в порядок... А когда-то дом был очень хорош, один из самых заметных в городе. Можно было бы, конечно, реставрировать его, как архитектурный памятник, но, по правде говоря, что-то мешает мне это сделать. Давно уж я сказал себе: «Мир их праху» — и не хочу больше ничем тревожить покой почивших. Тем более что нынешняя публика не очень-то этого заслуживает. И вряд ли я вообще рассказал бы эту историю, если б не некоторые особо важные обстоятельства.

Итак, дом двухэтажный. На второй этаж ведет узкая деревянная лестница, потемневшая, позеленевшая, изгрызенная гнилыми зубами времени. Наверху две спальни и комната для гостей — сейчас абсолютно пустые, холодные зимой и летом. Я бывал там несколько раз, и всегда со стесненным сердцем, словно посещал старую, заброшенную могилу. В гостевой комнате — тучи пауков, сороконожек, каких-то вонючих букашек и других невероятных насекомых, которых я больше нигде не видел. Стоишь посередине, растерянный, испуганный, будто попал в какой-то совершенно неведомый мир. Кажется, само время здесь иное, другие у него измерения, другая осязаемость, даже другой запах. И давящее неотступное чувство, как будто только мое сознание живо, а все остальное, включая мое тело, мертво. На мгновения время словно бы исчезает, именно на мгновения. Невыносимое чув-

ство, гораздо более неприятное, чем ощущение мертвеющей оцепенелости собственного тела.

Торопливо выйдешь на веранду. Глубокая провинциальная тишина. Сквозь ветки умирающего вяза видна облысевшая горная гряда. Тишина, тишина, лишь где-то еле слышно трепещут крыльями птицы. Медленно спускаешься по деревянной лестнице, под ногами мягко пружинят гнилые ступеньки. Внизу, под лестницей, сбитый из досок закут, в котором когда-то складывали наколотые на зиму дрова. От него начинался туннель — подземный ход, выходивший в соседнее ущелье. Дед Лулчо рассказывал, что пробили его по совету самого Левского на случай, если турки вдруг выследят какое-либо собрание революционного комитета. Тот же дед Лулчо его и выкопал, можно сказать, голыми руками, за одно лето. И знали об этом только они двое с дедом Манолом, бабушка даже не подозревала о его существовании.

Сейчас двор утопает в буйном, словно кустарник, бурьяне. Дорожка еле заметна. Очень высокая каменная ограда придает всему дому вид крепости. Ни в одном селе не видел я больше таких высоких оград. Целый век прошел, а она крепка по-прежнему. Только связывающий камни известковый раствор кое-где выкрошился, тронутый временем. В тот страшный день, когда за городом гремели выстрелы, бабушка, бледная, безмолвная, стояла у дверей и ждала. От них к тяжелым, обитым железом воротам вела дорожка, вымощенная мелкой речной галькой. Все было пусто, нигде ни души.

В это время дед Манол сражался на Бырдото. Из истории известно, чем закончился этот бой. Погода стояла холодная, хмурая, в горах Эледжика даже шел снег, хотя по-теперешнему была середина мая. Потом полил дождь, вымочил порох в жалких самодельных патронах повстанцев. Ружья смолкли. Хафиз-паша дорого заплатил за победу, но так или иначе его регулярные части, возглавляемые ордой башибузуков, ворвались в опустевший городок.

Бабушка по-прежнему ждала. Она сразу поняла, что мертвая тишина вещает не победу, а гибель. Разгромленные повстанцы рассыпались по горам, каждый искал спасения в одиночку. Но многие все-таки пробрались в обреченный город. Это горстка храбрецов, о которых рассказывает в своих «Записках» Захарий Стоянов. Известны имена Рада Клисаря, Стояна Пыкова, Тодора Гайдука из

Радилова, которые своими допотопными ружьями остановили целую армию. Но имена моего деда и его маленькой храброй жены остались неизвестными, как и многие-многие другие. Все они предпочли погибнуть в последнем бою, но не жить в отчаянье и позоре поражения. Хотя это уже принадлежит истории и не имеет отношения к моему рассказу.

Когда дед, задыхаясь, ворвался во двор, бабушка все так же стояла в дверях. Он был в повстанческой форме, в тяжелой суконной накидке на плечах, но без шапки, которую потерял в бою. В руках у него был винчестер и к нему два патронташа. Как известно, винчестер — одно из лучших ружей того времени, вооружены им были лишь немногие. Говорят, дед за немалые деньги купил его у Нури-бея, одного из самых богатых пирдопских черкесов, с которым его связывало какое-то старое приятельство. Дед был чрезвычайно возбужден, даже губы у него побелели, может быть от усталости. Но, заговорив, он сразу пришел в себя, лицо его смягчилось. Во дворе было тихо, спокойно — укромное зеленое гнездо за крепкими стенами. Стрельбы в городе пока не было слышно. Только что расцветшие гиацинты улыбались, орошенные дождем. Даже тучи поредели, в просветах засияло чистое небо. Казалось, что все вокруг рождено для вечного мира. Дед взглянул на жену своими ясными голубыми глазами и еле слышно вздохнул.

— Ну, Петра, пришел наш последний час! — сказал он спокойно.— По крайней мере умрем по-человечески!

— А я? — тихо спросила она.

— Что ты?

— Нету ведь у меня оружия.

— Об этом я позаботился! — ответил дед.

Сунул руку под накидку и вытащил двуствольный пистолет.

— Здесь две пули,— сказал он.— Если поганцы убьют меня, хорошо. А если ранят, ты убьешь и меня и себя.

И протянул ей пистолет так, как протягивают дорогой подарок. Она поцеловала ему руку и опустила глаза. Бабушка никогда не описывала мне своих тогдашних переживаний, ни в одном из ее многочисленных рассказов не было ни слова о чувствах. Когда-то люди стыдились своих чувств, вернее, стеснялись их не меньше, чем наготы. Это благодаря ей я понял — не может быть глубоким и сильным то, что показывается без всякого смущения.

А тогда она сказала только:

— Хорошо, Манол.

Вскоре в городе загремели первые выстрелы. И началось то, что потом навсегда врежется в память людей. Не все из тех, кто остался в Панагюриште, сражались до конца. Но все прощались — с близкими, с горькими своими надеждами. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, в ушах у меня звучат тихие, умоляющие голоса, предсмертные стоны. Последние прощальные слова, может быть, последние проклятия. Женщины падали на колени перед пропахшими воском иконами, и тут настигал их роковой удар ятагана, слышался хруст костей. Может быть, кто-то из стариков молитвенно простирал руки, надеясь на пощаду. Кто-то плакал. Но настоящие мужчины бились до последнего патрона. Некоторым даже удалось спастись, но ни один из них потом не был счастлив. Горечь поражения оказалась сильней подаренной жизни.

Дед Манол сбросил накидку и направился к воротам, стройный, с легким ружьем в руках. Бабушка слышала, как глухо и грозно загремели засовы. Затем дед прикладом выбил камни, прикрывавшие заранее проделанные в ограде бойницы. Их было три: две выходили на площадь, одна — на боковую улочку. Потом он тщательно зарядил винчестер.

Стрельба в городе усиливалась. Дед стоял у бойницы и ждал. Наконец и на нашей улице появились турки. Вернее, это были не турки, а черкесы, о чем легко можно было догадаться издалека по прямым блестящим шашкам, не похожим на кривые турецкие ятаганы. Было их довольно много, человек двадцать. Впереди шагал крупный мужчина в распахнутой черкеске и с громадным животом, который он время от времени приподнимал руками, словно боялся уронить. Это и был знаменитый Нури-бей, продавший деду винчестер. Верно, спешил заполучить его обратно, пока до Хафиз-паши не дошло, что он продал оружие неверному.

Вдруг черкесы остановились. Нури-бей вытер рукавом взмокший лоб.

— Сдавайся, Манол-эфенди! — крикнул он не слишком громко.— Ничего плохого мы тебе не сделаем.

Видно, заметил торчащее из бойницы ружье. За это время дед успел прицелиться — в самое брюхо. Прогремел выстрел. Нури-бей покачнулся и упал лицом в грязь. Остальные, не залегая, открыли беспорядочную стрельбу.

Похоже, случайно пуля сразу же попала в деда. Хлынула из шеи алая мужская кровь. Сейчас я думаю, что вряд ли он умер сразу, слишком уж громко хрипела его пробитая гортань. Но бабушка так и не узнала, когда именно это случилось. Почти не сознавая, что делает, она схватила ружье и встала к бойнице. Прицелилась еще более твердой и жесткой рукой, чем дед, и выстрелила. Один из головорезов повалился ничком и замер. Только тут черкесы залегли, кто где сумел. Они все еще не знали, что сражаются с женщиной. Мне тоже так и не довелось узнать, когда моя бабушка научилась владеть оружием. Об этом она хранила упорное молчание.

Если судить по некоторым рассказам, бабушка защищалась чуть не два часа. Израсходовала почти все патроны, убила четверых. Наконец это дурачье догадалось, что нужно сделать. Один из них обошел двор и уж не знаю как, но сумел перебраться через высокую ограду. Бабушка все еще продолжала стрелять. Ружье ни разу не дрогнуло в ее слабых женских руках — так велика была ее ненависть и таким яростным желание отомстить. Черкес тихонько подкрался сзади и изо всех сил обрушил приклад ей на голову. У нас, потомков бабушки Петры, пока, правда, только у мужчин, невероятно крепкие черепа. Ее наследство. Иначе вся история так бы и закончилась этим ударом. Но бабушка только повалилась на мягкую траву между белыми, ясными, словно капельки солнца, ландышами.

Можно представить себе, как был поражен черкес, когда понял, кто с ними сражался. Но времени терять было нельзя. Он бросился к тяжелым, запертым на три крепких железных засова воротам. Свирепая орда ворвалась во двор. Все кинулись в дом, рассчитывая найти там богатую добычу. Лишь три человека молча остановились у распростертой среди цветов женщины. Один из них, совсем еще молодой, с тонкими усиками, походил скорее на писаря, чем на разбойника.

— Герой-баба! — уважительно пробормотал он. — Если тут все такие, падишаху не поздоровится.

— Может, оттащить ее к колоде да прикончить? — спросил второй.

— Ты только и знаешь головы рубить, дурень! — рассердился молодой. — Лучше принеси воды, вдруг удастся ее в чувство привести. Кому как не ей знать, где Манол прячет золото.



Третий, до сих пор молчавший, склонился над бабушкой, потрогал ее лоб. Невысокий, плотный человек в чалме, может быть, турок.

— Да она мертва, эфенди! — сказал он.

Странное дело жизнь, каких только неожиданностей она не преподносит. Почему он так сказал? Конечно, бабушка была жива, горячая кровь пульсировала в ее жилах. Тогда почему он солгал? Может, просто лень было тащить воду? А может, он пожалел эту маленькую храбрую женщину и не хотел, чтобы черкесы измывались над ней и в конце концов погубили?

Вот как неожиданно сплетаются невидимые нити судьбы. В сущности, именно этому неведомому, смешному, коренастому турку я обязан жизнью. Потому что как раз тогда бабушка была беременна моим отцом. И связь поколений, которая, может быть, продолжится на века, совершенно случайно не оказалась прерванной.

Но неужели правда, что все в этом мире лишь цепь случайностей? Не так это, не может быть так. Чем старше я становлюсь, тем более противоестественной и отвратительной мне кажется эта вероятность. Мы не знаем, откуда берутся миры, этого нам не понять никогда. Но они непременно должны куда-то уходить, осуществив себя и все свои возможности.

Внимательный читатель наверняка заметил, что по крайней мере два эпизода этого рассказа кажутся неправдоподобными. Или, скажем, необъяснимыми. Сам я не могу в этом разобраться. Не могу понять, где кончается реальность, а где начинается воображение. Но в одном я убежден — все здесь или чистая правда, или одно лишь воображение. Во всяком случае, добросовестность требует, чтобы я вас предупредил: ни одна из многочисленных летописей той поры не упоминает бабушкиного имени. Все пятеро убитых черкесов были отнесены на счет деда Манола. Это в какой-то степени понятно. Бабушка уверяла, что впервые рассказала эту историю моему отцу перед тем, как его взяли в армию. Отец промолчал, но явно не поверил ни одному ее слову. Но я поверил ей всей силой души. И до сих пор словно бы собственными глазами вижу эту картину, до того вся бабушкина история кажется мне реальной и правдоподобной. И до того она соответствует бабушкиному облику, по крайней мере тому, который сохранился в моей памяти.

И все же противоречия есть противоречия. Во-первых, подземный ход. Дед Лулчо утверждал, что бабушка вообще не знала о его существовании. Дед Лулчо был не братом, а дядей Манола, хотя разница между ними составляла каких-нибудь пять-шесть лет. Как станет ясно из дальнейшего, дел Лулчо — очень важный свидетель. Ему, по-моему, следует верить без всяких оговорок. Я никогда не говорил бабушке о том, что знаю про подземный ход. И вы меня, верно, поймете. Этим я, может быть, разрушил бы нечто, составляющее основу ее существования.

А вопрос на первый взгляд очень простой — почему дедушка Манол не воспользовался подземным ходом, чтобы спастись от осады? И от гибели, разумеется.

Верно, что весь город был заполнен войсками и башибузуками, ускользнуть от них было бы нелегко. И все же надежда есть надежда, а деду случалось выпутываться и из более тяжелых положений. Во всяком случае, они могли хотя бы укрыться в тайнике, пока не минует опасность. Ведь так в конце концов и получилось. Подпалив город со всех сторон, турки ушли из него и расположились в окрестностях на холме у церквушки святой Петки. Но наш дом уцелел. Оба могли остаться в живых.

По всему видно, что дед сознательно пожертвовал жизнью. И не только своей, но и жизнью молодой жены. Да, вполне сознательно! Он держал в своих руках жизнь и смерть. Любовь и достоинство. Как ни сильна была любовь, он предпочел достоинство. Когда-то это слово объясняло все, даже безумные поступки. Зато теперь оно все больше теряет цену. Многие считают его признаком наивности, незрелости, рабской зависимости от химер прошлого. А в сущности оно, быть может, костяк человеческой нравственности.

Но продолжим. Пока бабушка Петра рассказывала о том, что произошло, когда она без чувств лежала в траве, мой мозг, словно песчинка, царапала одна неотвязная мысль. А откуда ты все это знаешь, бабуля? Ведь ты же была без сознания. Наконец я не выдержал и спросил ее об этом. Она взглянула на меня строго, даже чуть удивленно.

— Так было! — ответила она сердито. — Я все помню!

Хоть бы сказала: я все слышала. Она же упала лицом вниз. Уже потом нашли ее в двух-трех шагах от трупа деда. С фратурой черепа, как сказали бы сейчас. И в полном беспамятстве. Допустим, что-то из слышанного еще мог-

ло запечатлеться в подсознании, но видеть-то она ничего не могла. Тем более чалму турка.

Откуда я знаю эти подробности? От деда Лулчо, я уже о нем упоминал. На рассвете следующего дня он нашел бабушку все еще в полном беспамятстве. Дед только дивился, как ей удалось выжить без всякой врачебной помощи. Придя в сознание, она целых десять дней молчала. Ничего не сказала, ни о чем не спросила, словно ей и так все было ясно. Такой она осталась на всю жизнь — молчаливой, замкнутой. Словно жила в каком-то другом мире, непохожем на наш и совершенно, совершенно недоступном.

И все же ее рассказ остался во мне и в моей памяти как истина, а не как горячечное видение воспаленного мозга. Я знаю, она не обманывала меня, она пережила все это на самом деле, пусть в воображении. Так было! — сказала она мне. Кто знает, может, и вправду было. Дело в том, что все детали ее рассказа были удивительно правдоподобны и полностью соответствовали тому, что могло быть в действительности. А не болезненному, лихорадочному состоянию.

Впервые я увидел бабушку, когда мне было восемь лет.

В то время мы жили в Пловдиве. После службы в армии отец не захотел вернуться в Панагюрище, городок был слишком тесен для его амбиций. Его гораздо больше привлекали торговые улицы Пловдива, где он с таким шиком мог размахивать лакированной тросточкой, пить пиво за столиком, застланным белой скатертью, или, надвинув на лоб соломенное канотье, кататься в черной пролетке. Так что он не задумываясь покинул мать, у которой был единственным сыном.

Бабушка даже не попыталась его удержать. Дала ему денег — причитавшуюся ему долю отцовского наследства. Этот факт уже сам по себе говорит, что разбойникам Нурибея не удалось найти то, что они искали. Сама она почти за бесценок купила в Панагюрище постоялый двор, разумеется, даже не заглянув в него,— всеми делами занимался дед Лулчо. Доходов постоялый двор приносил не бог весть сколько — в то время заведения такого рода повсюду стали приходить в упадок, но двум неприхотливым людям и этого было более чем достаточно.

Отец открыл торговлю табаком. Не знаю уж, как он вел свои дела, но через три года прогорел. Судьба его ме-

ня не удивляет — отец словно рожден был неудачником. Щеголь, бонвиван, хвастун, он вообще мало походил на болгарина, такое отвращение вызывала у него любая работа, все равно — умственная или физическая. Даже совершенно обеднев, он одевался будто какой-нибудь городской туз — всегда элегантный, отутюженный, с внушительным золотым пенсне на ленточке, которое тогда еще только входило в моду. Но вообще-то человек он был хороший, незлобивый, щедрый, безумно доверчивый, что, вероятно, и привело его к разорению. Одна лишь моя мать обожала его и превратила себя в его личную служанку. Ничем не блистала эта бедная женщина — ни умом, ни красотою. Люди с большими претензиями обычно очень мало получают от жизни. Отец женился на ней в надежде на какое-то богатое приданое, которого, конечно же, так никогда и не получил. Сложная штука человеческая наследственность — это вам не гороховая шелуха Менделя.

Когда бабушка переехала жить к нам, отец был всего-навсего владельцем самой обычной кофейни. Да и кофейня-то едва заслуживала этого названия — просто узенький коридорчик, где с трудом умещались три столика и очажок для варки кофе. Но место было хорошее — в самом центре торгового квартала. Кроме того, можно было не признавать за отцом никаких достоинств, но кофе он варил мастерски. Так что трех жалких столиков было явно недостаточно для его клиентуры. Отец рассчитывал главным образом на торговлю вразнос. Кофе разносил в основном я и очень редко — мой брат, который был на шесть лет старше меня и для такой работы считал себя слишком взрослым. К тому же брат был гордец и воображала, подавая кофе, он краснел, будто вареный рак. Впрочем, может, я и несправедлив к нему. Возможно, он просто был так же застенчив, как и я. А мне казалось, что все люди, видя, как я таскаю по лавкам круглый жестяной поднос с этими проклятыми чашками, смотрят на меня насмешливо и презрительно. Я ужасно страдал, не то что мальчишки из других кофеен, которые, распевая во все горло, разносили свои чашки, хотя получали за это гроши — только чтобы не умереть с голоду.

До конца жизни не забуду я день, когда впервые увидел бабушку. О том, что она переедет к нам, я знал давно. Дед Лулчо внезапно скончался от инсульта, как это часто бывает с хозяевами постоялых дворов, которые не прочь

выпить с посетителями. Бабушка не могла жить одна. И все-таки ей нелегко было решиться переехать в Пловдив. Наверное, там, в Панагюриште, ее с огромной силой удерживала могила мужа. Но она согласилась — чтобы люди не оговаривали отца, по ее собственному выражению. Так или иначе, отец закрыл кофейню и почти на неделю уехал в Панагюриште. Славное это было времечко. Мы целыми днями бултыхались в мелких заводях Марицы. Однажды, вернувшись домой, я сразу понял, что бабушка здесь. Мать возбужденно сновала по двору и, завидев меня, сказала:

— Иди, иди!.. И не забудь поцеловать ей руку.

Но я забыл, настолько меня поразил бабушкин вид. Я представлял себе традиционную бабушку — сгорбленную, подслеповатую, с глуповатой беззубой улыбкой. Когда я вошел, она сидела на высокой кровати, едва доставая ногами до пола, и была больше похожа на немолодую девушку, чем на старушку. Даже платочка на ней не было. Черные как смоль волосы спускались на грудь двумя толстыми косами. А в них — ни одной седой волосинки. Хотя тогда ей было уже около шестидесяти. Бабушка смотрела на меня пристальным немигающим взглядом, в котором не было ни удивления, ни любопытства. Ну и бабушка, да с ней можно в жмурки играть! Наверное, у меня был очень глупый вид, потому что она улыбнулась, блеснув прекрасными белыми зубами.

— Ты и есть Манол?

— Да...

Но не добавил «бабушка», как полагалось.

— Подойди ко мне!

Я подошел довольно робко — таким пронзительным был ее взгляд. Бабушка протянула красивую руку, положила ее на мою стриженую голову. Казалось, она внимательно ощупывает ее, время от времени надавливая пальцем,— так на базаре проверяют, созрела ли дыня. Осмотр, видимо, ее вполне удовлетворил, в глазах мелькнула доброта и нежность — в первый и в последний раз за всю нашу жизнь в Пловдиве.

— Ты в меня! — сказала она довольно.— Только в тебе и чувствуется моя косточка!

Я смущенно молчал.

— А почему ты босой?

— Да ведь лето! — удивленно ответил я.

— Ну и что ж, что лето? Ты — внук дедушки Манола, носишь его имя. Негоже тебе босиком бегать.

Так обул я эти проклятые ботинки, чтобы уже больше никогда с ними не расставаться. Но тогда я не думал об этом, я по-прежнему во все глаза рассматривал бабушку. Почему никто не сказал мне, что я назван в честь деда? За человека не считают!

— Почему ты такая молодая? — внезапно вырвалось у меня.

— Я не молодая,— серьезно ответила бабушка.— Помню все, что было давным-давно, еще с Христовых времен.

Я так никогда и не понял, что она хотела этим сказать. Может, просто пошутила.

— А ты не ведьма? — как последний дурак спросил я.— Говорят, только ведьмы не старятся.

Что-то вроде улыбки появилось на ее тонких, но свежих губах. Похоже, она ничуть не обиделась.

— Может, и ведьма. Не думала я об этом покуда... Но, похоже, и вправду ведьма! — Она легонько потянула меня за ухо, маленькое и круглое, как у нее.

Как ни сильно я любил свою странную бабушку, я всегда ее немного побаивался. Даже когда подрос. Мне все казалось, что она, если захочет, может превратиться в кого угодно — в филина, черного козла, даже в прекрасную принцессу. Бабушка приподняла полу черного шелкового платья, под ним показалась жесткая нижняя юбка. Сунула руку в карман, достала монетку.

— Вот, купи себе конфет,— сказала она.— Ну, беги!

Уходя, я заметил в комнате нечто новое. Это был сундук, громадный, гораздо больше самой бабушки. Никогда раньше я не видел такого красивого сундука. Весь окованный разноцветными жестяными полосками, он, казалось, был перенесен сюда прямо из сказок Шехерезады. Мальчиком я страшно хотел заглянуть в него, узнать, какие тайные сокровища хранит в нем бабушка. И когда подрос, тоже. Бабушка прожила с нами еще пятнадцать лет, но мечте моей так и не суждено было осуществиться. Сундук был разбит, вернее, просто исчез в Софии во время большой ночной бомбежки. Тогда же в развалинах погибла и сама бабушка.

Бабушка жила у себя в комнате тихо и бесшумно, как мышка. Никуда не ходила, почти ничего не ела. За все это время она ни разу не заглянула в церковь, словно все

еще сердилась на бога за жестокую смерть деда. Наверное, так оно и было. А может быть, там, где она родилась, вообще не было церкви.

Только раз в неделю, по пятницам, она ходила в старую турецкую баню. Долго готовилась к этому, чем-то шуршала у себя в комнате, отпирала и запирала сундук. Я ничуть не удивился бы, если б она вдруг вынула из сундука ковер-самолет и полетела бы на нем к свинцовым куполам бани. Никогда не забуду, какой легкой прямой походкой выходила она в этот путь. Даже соседи высовывались в окна, чтобы на нее посмотреть. Но сама она ни на кого не глядела, словно жила одна на этом свете. А может, так оно и было. Воспоминания — еще с Христовых времен — были для нее единственной реальностью. Да и кто может сказать, какая жизнь более настоящая — реальная или та, что внутри нас. Одним лишь безумцам все ясно в этом вопросе, мы же, остальные, только обманываем сами себя.

Из бани бабушка возвращалась ровно через три часа, хотя никогда не глядела на часы, будто и не ведала об их существовании. Она и в самом деле была единственным известным мне человеком, который словно бы носил время в себе самом. Домой она возвращалась свежая, розовая, с двумя еще теплыми сдобными булочками за пазухой. Не знаю, как их пекли в те времена в Пловдиве — сейчас таких нет,— но мне казалось, что вкус у них, как у просвирок, небесный. Даже брат, строивший из себя невесть кого, поедал их с удовольствием.

И как раз во время одного из таких банных походов с бабушкой случилась беда — она сломала ногу. Поскользнулась на мокром каменном полу — и готово. Прямо из бани отец отвез ее в городскую больницу. Домой он вернулся озабоченный — бабушке предстояло лежать самое малое два месяца. На ногу пришлось наложить гипс.

Она и вправду надолго застряла в этой проклятой больнице. Дважды в неделю мы ходили ее навещать — то с отцом, то с мамой. Но у меня было чувство, что рада она только мне, на других бабушка почти не глядела. Опускала, как обычно, руку на мою твердую голову, черные, как вишни, глаза ее заметно улыбались. Потом расспрашивала меня о моих школьных делах. Дела эти шли неплохо, я очень легко научился читать, только с арифметикой не все ладилось. Я и до сих пор не очень твердо знаю, сколько будет семью восемь.

— Учись, учись,— назидательно говорила мне бабушка.— Из тебя большой человек получится.

Отец скептически усмехался, но не спорил. В те времена было не принято спорить с родителями. Тем более им противоречить. Сам он в меня ни капельки не верил. И с полным правом. Первый класс начальной школы я закончил на четверки, и это привело отца в отчаянье. Мой брат Йордан никогда не получал меньше шести. При этом он вовсе не был зубрилой, чаще вертелся перед зеркалом, чем сидел над учебниками, тут он был весь в отца. Разве я мог сравниться с ним — белолицым, красивым, как отец и, конечно же, как дедушка Манол. Что я такое рядом с ним, ничто — самый обыкновенный растяпа, черноклювый, словно только что вылупившийся галчонок. По-настоящему именно его должны были назвать Маноломм, но отец в сладостном ожидании наследства предпочел назвать первенца в честь тестя. Мог ли он знать, что тот всю свою мельницу обратит в жетоны, которые за одну неделю растают в игорном доме Висбадена.

Вот тогда-то, в конце апреля, и произошло событие, о котором я никогда не забуду. Мы с отцом, как всегда, пришли в больницу и застали бабушку как-то по-особому возбужденной и беспокойной. Не дав нам переступить порог и поздороваться, она заявила:

— Делчо, немедленно забери меня отсюда... К ужину я должна быть дома.

— Почему? — удивился отец.

— Так нужно! — строго ответила она.

— Но это же не от меня зависит,— забеспокоился отец.— Придется спросить главного врача.

И тут же вышел. На этот раз бабушка на меня почти не глядела, чувствовалось, что она сильно встревожена. До этого я думал, что сам сатана не смог бы вывести ее из равновесия. Через полчаса отец вернулся, крайне озабоченный.

— Не разрешают, мама. Врач категорически запретил. Говорит, можешь остаться хромой на всю жизнь.

Теперь я знаю — он лгал. Просто не нашел врача, который мог бы дать разрешение на выписку. А сам он был не из тех, которые делают что-либо на свой страх и риск, не было в нем нужной силы. Бабушка словно почувствовала это.

— Как был ты всю жизнь недотепой, так и помрешь,— презрительно бросила она.

Отец побагровел, казалось, он вот-вот лопнет.

— Но почему? — почти закричал он, срываясь на визг.— Почему тебе именно сегодня понадобилось выписываться? Что за детские причуды?

Бабушка секунду поколебалась, потом тихонько сказала:

— Наклонись!.. Не заставляй меня кричать...— и торопливо оглянулась. В палате лежали еще две женщины, правда, достаточно далеко.— Завтра будет землетрясение! — прошептала бабушка.— И как раз над нами обрушится потолок.

Каким послушным сыном ни был мой отец, но тут он пришел чуть ли не в ярость.

— Да ты думаешь, что говоришь? — рявкнул он.— Кто может предсказать землетрясение? Никто, понимаешь, никто!.. Даже сам господь бог, спустись он с неба!

Я не мог не видеть, что бабушкин взгляд исполнился бесконечного презрения.

— Уходи! — сухо проговорила она.— Не дождешься, видно, от тебя толку.

Отец подпрыгнул как ужаленный и бросился вон из палаты, но тут я неожиданно для самого себя неудержимо разрыдался.

— Бабуля! Милая бабуля! Я хочу остаться с тобой!

Бабушкино лицо словно осветилось. Обеими руками она взяла мою голову и нежно поцеловала в худую щеку. В первый и последний раз. Впрочем, нет. Второй раз она поцеловала меня, когда я уходил в армию. Но это был совсем другой поцелуй, совсем, совсем другой.

— Ты мое дитятко! Один ты, ты! — почти всхлипнула она.— Бабушка никогда тебя не забудет.

Но это продолжалось одно мгновенье. Лицо ее опять стало замкнутым, строгим, как всегда.

— Слушай, Манол, слушай, мой мальчик. У вас ведь каникулы? Завтра не сиди дома. Собери ребятишек и уходите подальше в луга — щеглов половите, синиц.

— Хорошо, бабушка.

— Обещаешь?

— Обещаю,— ответил я.

Она смотрела на меня, черты ее строгого лица постепенно смягчались. Во взгляде появилась тень сдержанной нежности.

— Ну, а теперь ступай! — сказала она.— Ты не в отца. Если пообещал, сделаешь.

На следующее утро мы отправились ловить птиц. Ушли рано, еще по росе. Я совсем забыл об этом дурацком землетрясении, помнил только о данном бабушке слове. С тех пор как она у нас поселилась, я перестал разносить кофе — отец нанял мальчика. Теперь я был свободен, как большинство детей, мог ходить куда вздумается. Охота на птиц — занятие невероятно увлекательное, за ним я забывал о времени. Вот и на этот раз взяли мы свои сети и силки и, возбужденные, отправились «в экспедицию», как говорил Крумчо, наш предводитель. То чудное, ясное, свежее утро останется в моей памяти на всю жизнь. Нет ничего прекраснее дней, прожитых нами в детстве. Нет прекраснее облаков, зеленее верб, спокойнее задумчиво застывших в дремоте заводей. И не может быть ничего красивее птиц под жарким летним небом, с голосами чище этого самого неба — маленьких, как орешки, тепленьких, трепещущих в наших жестоких ладонях.

Мы укрылись за небольшим пригорком, парила нагретая земля, тихонько кололи нас сухие летние травы. Крумчо держал конец веревки, мы ему только ассистировали. Щеглы беззаботно щебетали рядом с силками, распушив перья, купались в пыли, весело поклевывали что-то, но к сети не подходили. Мы знали, что они не выдержат и в конце концов попадут в ловушку. Только нужно набраться терпенья и ждать. И все вокруг ждало вместе с нами — небо, кусты терновника и боярышника, все затаилось и, может быть, веселилось вместе с нами.

Внезапно птицы на секунду затихли и вдруг с громким криком сорвались с места.

И случилось то, что должно было случиться. Земля под нами вдруг прогнулась, как живая, потом качнулась так сильно и резко, словно мы сидели на спине гигантского буйвола, стряхивающего с себя грязь и надоедливых насекомых. Воздух сгустился и, будто прозрачное желе, задрожал перед нашими глазами. Какой-то непонятный, доселе не испытанный ужас оледенил мою душу. Я даже не решился вскочить, как другие, просто лежал и ждал, что земля меня поглотит. Помню только, как с поля, хрипло каркая, взлетела стая ворон и небо совсем почернело от них. Трудно было поверить, что столько птиц обитает в этих пустынных лугах.

Затем все стихло, воздух снова приобрел хрустальную прозрачность. Только небо было по-прежнему черно от

птиц. Да еще какой-то охваченный паникой уж, как слепой, стремительно проскользнул рядом с нами. Оцепенение исчезло так же внезапно, как и налетело, я закричал:

— Бабушка!

И, не дожидаясь остальных, со всех ног бросился домой. Я бежал, пока город не появился у меня перед глазами — целый и невредимый, словно ничего не случилось. Невредимый, но мертвый, как будто в нем не осталось живой души. Готовый ко всему, я бессознательно умерил шаг.

А за это время случилось вот что.

Толчок застал отца в кофейне. Повалились полки, задребезжали чашки и блюдца. Банка постного сахара, словно бомба, грохнулась об пол. Но отец даже не успел испугаться. Да и в городе, наверное, было не так страшно, как в поле. Там под ногами колебалась сама основа нашего существования — вечно неподвижная твердь. Отец бросил все и помчался в больницу, не столько пораженный, сколько испуганный — боялся за бабушку. Добежал до больницы, и тут у него подкосились ноги. Стены здания были все в трещинах, крыша кое-где провалилась, действительно провалилась. Во дворе царила паника. На брошенных прямо на землю матрацах лежали больные, между ними сновали перепуганные врачи и сестры. Все ходили растерянные, никто не знал, что еще можно сделать. Разве что приготовиться к новому толчку. Отец бросился к полуразрушенной лестнице.

Возможно, это самый доблестный поступок в его жизни. Не знаю, что он делал на фронте — на эту тему отец не любил распространяться. Я слышал только, что он был унтер-офицером пулеметной роты, и знал, что орденов у него нет. Но в тот раз он и в самом деле вел себя достойно. С трудом пробрался на второй этаж, там все было усыпано битым стеклом, штукатуркой, обломками кирпичей. Кое-где валялись рухнувшие стропила. Отец был словно в лихорадке — он уже почти не верил, что бабушка уцелела. С замирающим сердцем добрался он наконец до ее палаты. Дверь не поддавалась — настолько все кругом было завалено обломками. Тогда он просто опрокинул ее, выворотив петли.

Он вошел. И сразу же встретился с круглыми, мрачно-пронзительными глазами матери. Как она и предска-

зывала, потолок действительно рухнул. Две другие кровати были засыпаны битым кирпичом и штукатуркой. К счастью, обе женщины успели убежать.

— Мама! — радостно крикнул отец.— Ты жива?

— Жива, сынок,— кротко ответила бабушка.

Разминувшись со смертью, люди всегда становятся добрее и мягче.

— Не бойся, сейчас я тебя вынесу.

— Я не боюсь,— ответила она.— Что было, то прошло.

Но отец взял ее на руки и вынес. Человек он был крепкий, ухоженный, хорошо питался. Так что вынести бабушку ему было нетрудно. Как раз в это время я вернулся домой. Дом уцелел, только в стенах появилось несколько трещин. Мать обалделой курицей металась по двору, но в общем была не слишком напугана. В нашем квартале обошлось без серьезных разрушений — одна-две рухнувшие стены, несколько упавших труб. Пришел из кофейни брат, там ему сказали, куда побежал отец. Я хотел было броситься за ним, но тут на улице показалась пролетка. А в ней, конечно же, отец и бабушка. Завидев меня, она как-то по-особому блеснула глазами.

— Я ж тебе говорила, дитятко! — сказала она.— На воле-то оно лучше всего...

— Там тоже было очень страшно, бабушка! — ответил я.

Вы, конечно, догадываетесь, что странное предсказание бабушки меня не удивило. Я готов был ожидать от нее и не такого. Дети живут в мире чудес, и порой их воображаемый мир гораздо сильней реального. В этом мире то и дело происходят чудеса, ребенок придумывает их каждую минуту и часто глубоко в них верит. Родители тревожатся, подозревают, что у ребенка не все в порядке с психикой, даже показывают его врачам. А эта жажда чудес так же стара, как, наверное, сама человеческая душа. У нее, одинокой, беспомощной среди могучих стихий природы, словно бы и не было другого выхода.

Бабушка жила в своей комнатке очень уединенно, так что видеть ее мне доводилось довольно редко — главным образом во время обеда. Позвать ее обычно посылали меня. Робко постучавшись, я входил в комнату и всегда заставал бабушку в той самой позе, в какой увидел впервые,— сидит на кровати, ноги еле достают до пола. Ее неподвижный и чуть отрешенный взгляд был обычно устре-

млен на голую стену. Окликнув ее, я всегда чувствовал, что она возвращается откуда-то издалека, очень издалека, где до нее, быть может, никогда не ступала нога человека. И должно было пройти немало лет, прежде чем я понял, что бабушка возвращается из своего прошлого. Мгновение за мгновением, день за днем она снова и снова переживала все, что случилось с ней в те давние годы. Это было ее единственной утехой и упованием. Ведь у нее и вправду не было никакой жизни, кроме той, что она провела рядом с дедом. То было время, когда люди не имели ничего, кроме самих себя. Сейчас в бессонные свои ночи я часто думаю, что, пожалуй, так оно и естественней. Кто выиграл от перемен, кто потерял?

И все же настал день, когда я нашел в себе силы спросить:

— Скажи, бабушка, как ты догадалась о землетрясении?

Она окинула меня долгим беспокойным взглядом.

— Словами этого не скажешь, дитятко... Будто вдруг вспоминаешь что-то... Чего еще не было.

Нет, такой ответ меня явно не устраивал. Ведь я рассчитывал, что она вот-вот откроет мне важную тайну. И эта тайна сделает меня умнее и сильнее всех.

— Это в первый раз с тобой такое случилось?

— Нет, нет, бывало и раньше... Будто во сне... После того, как убили твоего дедушку.

Увидев мое огорченное лицо, она добавила:

— Ни к чему тебе знать, дитятко, что может случиться. Только страху наберешься.

Да, наверное, бабушка была права. Для себя. Не для меня. Все-таки человеку невредно знать, когда случится землетрясение или какой-нибудь кирпич задумает свалиться тебе на голову. Ведь так и смерть можно обойти сторонкой. Поколебавшись, я высказал ей все это.

— Как раз это-то и невозможно, сынок. Не может человек свою смерть увидеть! — ответила она.

Умолкла и больше не сказала ни слова.

По-прежнему тихо и безмятежно жила она в своей комнатке, словно бы ее и не было. В мою жизнь она вмешалась всего два раза. Но зато весьма активно. Когда я кончил прогимназию, отец вдруг решил, что дальше учиться мне ни к чему. Или что я этого не заслуживаю. В какой-то степени он, может, и был прав — учился я не блестяще. «Он способный,— говорили учителя ма-

ме.— Способный, а учиться не желает. Все время витает где-то».— «Где витает?— хлопала глазами мама.— Да его на улицу не выгонишь, целыми днями читает».— «Да, мальчик читает много, но что?» Этого не знал никто, ведь любовные романы я, разумеется, читал украдкой. Как бабушка погружалась в прошлое в своей комнатке, так и я погружался в книги в нашей пропахшей луком кухне. В любовные романы — ничто другое меня не интересовало. Романы эти месяцами изо дня в день публиковались в газетах, и многие старательно вырезали их и сшивали сапожной дратвой. Я глотал их с таким наслаждением, какого потом не доставляло мне ни одно другое занятие.

Выхода не было, пришлось пожаловаться бабушке.

— Не бойся, сынок, мы это дело устроим,— коротко ответила она.

Много позже я узнал от мамы, каким тяжелым был этот разговор. Отец ни за что не хотел соглашаться, хотя бабушка обещала взять на себя все расходы. Уж не знаю, что было у него на уме, может, считал, что незачем бабушке тратить деньги на меня, когда он сам мог бы употребить их на что-нибудь более стоящее. Наконец, исчерпав все аргументы, бабушка рассердилась:

— Я только одно скажу! Помни мое слово — состаришься, Манол тебя кормить будет. Из Йордана ничего толкового не получится. Так и знай!

Тут отец испугался всерьез. Один урок он уже получил — землетрясение. Вопрос был решен в мою пользу. И все же, неужели бабушка и на этот раз угадала? Трудно сказать. Правда, последние годы жизни родители действительно находились на моем иждивении. Я был рад, что могу для них что-то сделать, хотя для меня отец сделал так мало. Но судьба моего брата не вполне соответствовала бабушкиному предсказанию. Йордан блестяще закончил юридический факультет, еще студентом опубликовал ряд статей по международным проблемам, в двадцать шесть лет он занял довольно ответственный пост в министерстве иностранных дел, а в тридцать — возглавил протокольный отдел. Очень красивый внешне, брат обладал врожденным вкусом, прекрасно одевался, в совершенстве владел тремя языками. Все прочили ему блестящую карьеру. Все, кроме бабушки. Впрочем, может быть, она имела в виду нечто совсем иное.

А Йордан действительно плохо кончил. Правда, не по политическим причинам. Сама судьба уберегла его от су-

да или преследований, которым он мог подвергнуться как ответственный чиновник тогдашнего прогитлеровского правительства. Брат погиб на операционном столе в тот самый день, когда американские бомбы убили бабушку. Я и до сих пор не знаю всех подробностей. Йордан лег в одну из лучших частных клиник по поводу какой-то сравнительно легкой полостной операции. Вот только неудачно, чтобы не сказать фатально, выбрал дату 10 января 1944 года. Какая уж там операция под бомбами. Резанули человеку поджелудочную железу, и через несколько дней брат скончался в страшных мучениях. Но так или иначе уже после смерти бабушки. Возможно, этот факт тоже имеет какое-то значение.

Я постарался рассказать обо всем этом как можно объективнее, чтобы вы сами могли составить себе представление о бабушкиных способностях. Конечно, в том, что касается Йордана, предсказание ее, может быть, сбылось совсем случайно. Или она просто хотела как-то повлиять на отца. А может, и не так уж все было случайно. Несмотря на свою суровость и отстраненность от нашего грешного мира, бабушка все же была очень доброй и все понимавшей старушкой. И не стала бы зря говорить отцу чего не следует.

Я был так признателен бабушке, что в гимназии учился на круглые шестерки. За все время обучения у меня было только три пятерки — по физкультуре. Я был крепким и выносливым парнем, но, в отличие от брата, которого в гимназии всегда назначали знаменосцем, терпеть не мог строевых упражнений и всегда норовил идти не в ногу с другими. Преподаватель гимнастики, горластый краснорожий тупица, с удовольствием влепил бы мне даже двойку, но, похоже, директор ему не позволил. В мое время, не то что теперь, круглые отличники не росли как грибы, чтобы ими бросаться.

Может, вам покажется странным, но в гимназии у меня не было любимого предмета, не выявилось каких-либо более или менее определенных наклонностей. Только математика казалась мне довольно скучной, впрочем, и она меня не затрудняла. В классической гимназии математику изучали не слишком углубленно. Лучше всего мне давались языки, хотя и к ним я не чувствовал особой склонности. Вообще, к чему знать несколько иностранных языков,

если в жизни и одного, скажем, английского, хватает за глаза. Таким образом, по окончании гимназии я вдруг столкнулся с дурацкой, но неразрешимой проблемой — а что дальше? Мой аттестат открывал передо мной все двери, но я не мог выбрать ни одной. У меня просто не было честолюбия.

Приличия ради нужно было посоветоваться с бабушкой, хотя она и ничего не понимала в науках. Но деньги-то были ее, а в те годы учеба в Софийском университете обходилась недешево. Бабушка выслушала меня молча, видно было, в каком она затруднении.

— А что говорит отец? — неуверенно спросила она.

Отец! Что он мог сказать, если все его знания ограничивались умением варить чудесный кофе.

— Он говорит, лучше всего право. Учиться на адвоката.

— Нет! — решительно заявила бабушка. — Только не это!

— Может, медицина? — спросил я с замиранием сердца.

Меньше всего я хотел стать врачом. Слишком чувствительный, я не выносил вида чужой боли и страданий, а крови и ран — тем более. Конечно, я знал, что рано или поздно сумею привыкнуть ко всему, но, может быть, именно этого мне и не хотелось.

— Неплохо... А какие у вас есть еще науки?

— Ну... философия... Математика, физика, химия, биология.

— А это последнее, что оно такое?

— Биология? Если перевести точно, наука о жизни.

Бабушка просияла.

— Вот что тебе нужно! — воскликнула она. — Я и не знала, что есть такая наука!

Такой науки, разумеется, нет, и вряд ли она когда-нибудь возникнет. Есть наука о живых организмах — и все. Какими бы сложными, даже загадочными ни были происходящие в них процессы, это все-таки не жизнь, а лишь ее проявления. Но тогда я еще не имел представления о таких сложных проблемах.

— В этой науке ты далеко, очень далеко пойдешь! — возбужденно прибавила бабушка. — Люди из дальних земель придут тебе поклониться... Только бы нам выбрать нужную дорогу.

Сейчас мне пятьдесят семь лет, я профессор, член-корреспондент Академии наук. Более узкая моя спе-

циальность — биохимия. Все считают меня светлой головой, блестящим ученым. И только я один знаю, насколько это неверно. Истина в другом. Просто у меня редкая эрудиция, и в своей области я всегда на вершине современных знаний. Без ложной скромности могу сказать, что я внес некоторый вклад в развитие науки. Но настоящих собственных открытий у меня нет. Я развивал и усовершенствовал то, что открыли другие. Мне хорошо известно, что ученые всего мира считаются с моим мнением. Но ни один из них не пришел из чужих земель, чтобы мне поклониться. Ни один. Так что в этом отношении бабушка полностью обманулась.

Но у нас ничего не получится, если я не буду с вами до конца откровенным. А это не так-то легко, потому что касается не только меня. Все дело в том, что когда бабушка изрекла свои крылатые слова — о людях, которые придут мне поклониться,— я ей безусловно поверил. Теперь мне это кажется смешным, ведь я тогда уже не был мальчиком, зачитывающимся любовными романами. Это давно заброшенное чтиво не оставило в моей душе никаких следов. По природе я картезианец, рационалист, логик, то, что работает в моей черепной коробке, слишком активно, чтобы я мог верить в какие-то иллюзии и химеры. Я стараюсь поменьше рассчитывать на воображение, предпочитая ему здравый рассудок. И все же кроется во мне нечто, противоречащее именно здравому рассудку. Это прежде всего моя пристрастность. Ни к людям, ни к фактам я не могу относиться объективно. Есть вещи, которые мне нравятся или не нравятся, которые люблю или не люблю, в которые я верю или не верю. Я способен возненавидеть человека с первого взгляда, и обычно не ошибаюсь. Могу категорически отвергнуть какую-нибудь гипотезу — просто так, из внутренней антипатии, только потому, что она показалась мне неупорядоченной, не укладывающейся в логическую систему. Так в свое время невзлюбил я квантовую механику — и не без основания.

Все дело в том, что я любил бабушку и верил ей. Независимо от ее предсказания. Казалось, это у меня врожденное, как бывают врожденными вкусы, предпочтения, даже любовь. Поэтому я ринулся в биологию с необычайным воодушевлением. В те годы это была весьма скромная наука, ее уровень отнюдь не обещал возможностей, открывшихся перед ней в наше время. К тому же мой профессор, прости меня господи, был человек довольно ограниченный. И все-таки студентом я был отлич-

ным. Как и брат, я с легкостью выучил несколько иностранных языков, много и с растущим из года в год увлечением читал. Так что в конечном счете оказалось, что я знаю все новое в биологии гораздо лучше своего профессора, который еле разбирался в одном немецком. Я таскал ему научные журналы, ежегодники, доклады и охотно, без какой-либо задней мысли переводил ему все это. Бывало, мы часами с ним спорили, вернее, не спорили — он отрицал все, что не укладывалось в его ограниченные представления. Сам я не любил спорить. Для меня научной истиной являлось только то, что доказано. Несмотря на молодость, я прекрасно понимал профессора, который зубами и когтями защищал свой крохотный научный капиталец, свою тощую сберегательную книжку. А унылое профессорское чванство не позволяло ему взять то, что я предлагал ему абсолютно даром.

Второй своей специальностью я выбрал зоологию. Я всегда любил животных, а изучая их, полюбил еще больше. Меня все больше поражало их физическое, по сравнению с человеком, совершенство и законченность. Полнота, справданность и осмысленность их существования. И особенно их тождественность с природой, хотя она гораздо чаще несет им не жизнь, а смерть. Но это уже другой вопрос. Говоря о животных, я только хотел коснуться наших дел. В течение нескольких лет я внимательно изучал поведение животных во время землетрясения. И саму сейсмологию, разумеется. Меня поразило, как много животных угадывает начало землетрясения. Вернее, предчувствует его. Проблема показалась мне не такой уж сложной. Землетрясения — не внезапный инцидент, а продолжительный процесс, когда накопление определенных факторов в критический момент приводит к катаклизму. У этого процесса есть свои скрытые приметы, которые, к сожалению, придуманные человеком приборы пока не научились распознавать. Но у животных есть органы, которые у человека или вообще отсутствуют, или переродились и отмерли за ненадобностью. Взять, например, удивительную способность животных к ориентированию. Почему бы им не иметь еще какого-нибудь органа, предчувствующего землетрясение, особенно тем, кому оно больше всего угрожает, например, пресмыкающимся или крысам?

И разве не могло быть, что у моей бабули тоже сохранился какой-либо подобный атавистический орган? Я был

склонен поверить в это. К тому же мне не хотелось отказываться от ее предсказания.

Должен заметить, что я человек вовсе не тщеславный и отнюдь не жажду поклонов. Скорее, я сам поклонюсь первым, чтобы избежать этой малоприятной церемонии. И все же можно ли назвать настоящим ученым человека, который не мечтает открыть что-либо новое и неповторимое? Пусть даже на первый взгляд скромное и незаметное, вроде открытия Менделя с его маленькими смешными горошинами.

Пока я учился, вторая мировая война как-то незаметно закончилась. Многим и в голову не приходило, что отныне нам предстоит жить совсем в ином мире, коренным образом отличающемся от прежнего. На первый взгляд на моей судьбе врйна тоже не отразилась. Как студент, я был освобожден от военной службы. Солдатскую форму мне пришлось надеть только в самом ее конце, когда меня мобилизовали на какие-то краткосрочные курсы. Наша семья тогда жила уже в Софии. Как обычно, и на сей раз колесо судьбы повернула бабушка. Ее беспокойный дух, а может, и ее одиночество решили вопрос. К тому времени отец просто изнемогал в Пловдиве. Конечно, он умел варить чудесный кофе, но что можно сварить из цикория? Война совершенно лишила нас настоящего кофе.

— Послушай меня хоть раз, сынок! — говорила отцу бабушка.— Почему бы нам не переехать в Софию к детям?

— А что я там буду делать? — мрачно спросил отец.

— А тут что ты делаешь? Что-нибудь да найдется.

Но отец долго не мог решиться. Решительностью он никогда не отличался, а с возрастом вообще стал боязлив, как ребенок. Как это обычно бывает, помог им случай. В Софии скончался двоюродный брат отца, сын деда Лулчо. Вдова не могла справиться с таким чисто мужским предприятием, как парикмахерская — бабушка упорно называла ее цирюльней,— и предложила отцу войти в дело на весьма выгодных условиях: половина доходов ей, половина ему. Отец наконец согласился, хотя и не очень охотно. Это занятие казалось ему унизительным, холопским. Но бабушка была непреклонна.

Так отец стал брадобреем. В сущности, это была вершина его карьеры. К моему удивлению, он очень скоро научился стрижке и бритью. Быстро приобрел неплохую клиентуру, впервые в карманах у него завелись деньги.

Все были довольны этой метаморфозой, кроме брата. Согласитесь, быть сыном мелкого цирюльника не слишком блестящая рекомендация для преуспевающего дипломата. К тому времени брат получал уже большое жалованье и сам вызвался содержать отца, если тот бросит свое убогое ремесло. Но отец категорически отказался. У него тоже была своя гордость, в подаяниях он не нуждался.

Но эта хорошая жизнь продолжалась меньше двух лет. Американские «летающие крепости» все чаще стали кружить над Софией, пока наконец не обрушили на город свой смертоносный груз. Это произошло 10 января 1944 года, во время так называемой «большой» бомбежки, хотя остальные тоже трудно назвать малыми. Особенно велик был страх — не страх, ужас,— вызванный этим апокалипсическим бедствием. Дневная бомбежка, как я уже говорил, застала брата на операционном столе и кончилась для него трагически. А наши даже не дали себе труда укрыться в убежище, находившемся в ста шагах от дома. Подумали, что самолеты, как всегда, направятся в Плоешти бомбить нефтеперегонные заводы. И началось то, что потом все называли адом. Впрочем, какой ад? Те, что в аду, по крайней мере не дрожат за свою жизнь. А к страданиям люди привыкают быстрее, чем к радостям.

В то время мы жили в низеньком одноэтажном домике без подвала. Даже спрятаться было некуда. Город сотрясался от разрывов бомб. Мама стояла на коленях перед иконами, бессвязно бормотала молитвы, отец мрачно молчал. Только бабушка была как-то по-особому оживлена и с любопытством озиралась вокруг, словно человек, увидевший наяву один из самых своих нелепых снов. Во время ночной бомбежки родители заторопились в убежище. Но бабушка не пожелала сдвинуться с места. С тех пор как она сломала ногу, ей было трудно ходить, так что она нигде не бывала, кроме городской бани. Однажды она даже заблудилась, перепутав трамваи, и нашим пришлось вызволять ее из полицейского участка.

Все же отец попытался ее уговорить. Бабушка посмотрела на него «проясненным взглядом», по странному для отца выражению, который в жизни не прочел ни одной книги, если не считать той страницы «Записок» Захария Стоянова, где упоминается и о нашем деде. «Пловдивцы — парижане по сравнению с софийскими шопами»[1] —

---

[1] Шопы — жители северо-западных районов Болгарии, отличающиеся своеобразием быта и языка.

это выражение накрепко засело у него в голове, так что на столичных жителей он глядел с некоторым пренебрежением, хоть и весьма старательно скоблил их могучие подбородки. Сейчас, уговаривая бабушку, он чуть не заплакал. Все было напрасно.

— Ступайте, дети, оставьте меня,— недрогнувшим голосом заявила бабушка.— И без того Манол, верно, дивится, чего это я так долго мыкаюсь на этом свете.

Итак, отец с матерью укрылись в убежище, а бабушка осталась совсем одна. Это был ее последний разговор с живыми. Обо мне она даже не упомянула — ни слова, ни завета, ни последнего напутствия. Возможно, в те минуты она уже принадлежала только себе и своим воспоминаниям. В самом деле, к чему ей было бежать? И как она могла объяснить это сыну? С другой стороны, можно ли объяснить, почему человек всегда так бессмысленно цепляется за жизнь? Инстинкт самосохранения? Во всяком случае, у бабушки его можно назвать скорее каким-то врожденным чувством пути, который должно пройти. Иначе все и до и после него полностью обессмысливается, то есть не является и не может быть жизнью.

Я в то время служил в Горна-Бане унтер-офицером санитарного взвода. Дневная бомбежка не произвела на меня особого впечатления, я просто ее не заметил, потому что у нас было много раненых, о которых приходилось заботиться. Но когда сирена завыла среди ночи, все в панике бросились к дверям. Один я не торопился. Зачем? Когда играешь в кости с судьбой, нечего высчитывать очки. Все равно, хочешь ты или нет, она бросит кубик по-своему. Как и положено судьбе, она интересуется только собой. И все же не может ничего изменить. В этом смысле — и это правда — она беспомощнее нас самих. Такова истина.

Я спустился в опустевший окоп, вооруженный одним лишь биноклем. Внизу подо мной лежал невидимый город, я чувствовал его могучее присутствие, его оцепенение. Но ни капельки не боялся, особенно за свою жизнь. Не могу объяснить это ощущение ничем, кроме полной бесчувственности. Прошло минут десять. Или, может быть, полчаса — в таком состоянии человек теряет всякое представление о времени. Привыкнув к темноте, я понемногу начал различать контуры города. Отчетливо вырисовывались глубокие морщины улиц, купол церкви Александра Невского, похожий на вытаращенный в небо глаз, даже ощетинившиеся трубы. И лишь тут я услышал низ-

кий, тяжелый гул моторов, накатывавшийся равномерными спокойными волнами. Пока ничего такого, что заставило бы меня задрожать от страха или ужаса. Затем самолеты-разведчики сбросили осветительные ракеты. Вероятно, они были на парашютах, потому что их мертвенно-белый свет долго и неподвижно висел в воздухе. Абсолютная неподвижность, недосягаемая и стеклянная сквозь линзы бинокля. Рев моторов стал громче, отчетливей. И тогда упали первые бомбы.

Мне всегда казалось, что ад невозможно и не нужно описывать. Это, наверное, понимал даже Данте. В его великой поэме описан не ад, а судьба, которую он всей душой желал врагам своей человеческой веры. Смутно припоминаю, что я больше сочувствовал его грешникам, чем жестокой морали поэта. Но сам дантовский ад не произвел на меня никакого впечатления. Бомбежка, какой она ни была страшной, тоже осталась для меня мертвым, бесчувственным воспоминанием.

Прошло целых три бесконечных дня, пока я смог выбраться в город. Просто не у кого было получить увольнение — такой хаос воцарился в нашем маленьком гарнизоне. В город я спустился пешком. По Княжевскому шоссе все еще ползла поредевшая вереница беженцев. Все они показались мне какими-то безликими, настолько глубоко каждый был погружен в себя. И каждый тянул свое добро — на санках, на кроватных сетках — так же бездушно, как обреченный на смерть тянет свои последние дни. Да и я почти не глядел на беженцев, своих забот у меня было более чем достаточно.

От нашего жалкого домика ничего не осталось. Вернее, осталось — какие-то ощерившиеся куски стен. По двору были разбросаны обломки крыши и развороченной мебели. Вокруг — ни души. Но и никаких признаков смерти. Не знаю почему, но в моем оцепеневшем сознании внезапно возникла нелепая мысль: а где бабушкин сундук? Я не нашел ни кусочка от его разноцветной жестяной оковки. О самой бабушке я не решался даже подумать. Как и о матери. В те минуты единственным, кого я мог представить себе мертвым, был мой отец. Никогда не верьте себе, особенно своим чувствам. Откуда я мог знать, что глубже всего я был связан именно с отцом. Три года спустя он скончался от рака желудка. Я рыдал над ним так, как не рыдал больше никогда. Хотя раньше вообще не допускал отца в свою жизнь. Отец раздражал меня, и я делал все, чтобы не быть на него похожим. Време-

нами я просто с трудом его выносил. И только когда его зарыли в грязную глину, понял, что я всего-навсего его сын — не более того. Законы генетики, которые я, не особенно в них веря, так старательно внушал студентам, не могли дать мне на этот вопрос никакого ответа. Ведь я же всегда больше всех любил бабушку!

Тут во дворе показался один из наших соседей. Их дом уцелел, лишь фасад его стал щербатым, как лицо после оспы. Среди окружающего запустения седой хромающий сосед выглядел довольно бодро. Что-то живое мелькнуло в его глазах, когда он меня увидел.

— Не бойся, доктор,— заговорил он.— Ваши живы.

— Все?

— Э, не все, бабушки не стало. Стара была, бедняжка, отмучилась.

До сих пор не знаю, как она погибла и что от нее осталось. Может быть, ничего. Спросить я не посмел, не хватило духу. Так бабушка навсегда ушла из моей жизни. Эта пустота мучает меня до сих пор. И все же наступил наконец день, который заставил меня вспомнить о ней с необычайной силой.

Никогда не думал, что человеческая жизнь так коротка. Не успеешь открыть глаза, как приходится закрывать их навсегда. Несколько воспоминаний, похожих на сон, порой боль, порой счастливый трепет, последний вздох — и конец. Действительно конец? Во всяком случае, конец реального для нас времени, которое мы называем жизнью. И это все. Некогда даже осознать самого себя, а уж тем более подвести итог своим человеческим свершениям.

Иногда меня охватывает легкое, но все более неотвязное уныние, возможно, первый признак надвигающейся старости. Оглядываясь назад, я не вижу ничего, что стоило бы запомнить,— ни подвигов, ни падений. Ничего, кроме однообразного вращения будней, которые, как мельничные жернова, с каждым днем крутятся все быстрей и быстрей. И может быть, все чаще впустую. Занят, тороплюсь, никак не могу — так я обычно отвечаю на телефонные звонки. Чем ты занят, куда спешишь, человек? Как куда, на собрание, разумеется, на симпозиум, на какое-нибудь пустопорожнее заседание ученого совета, чтобы автоматически поднимать руку. Научные журналы, которые я когда-то ожидал с нетерпением хищника, сейчас



неделями валяются нетронутые на моем столе. И даже то, что уважение ко мне растет, что день ото дня люди здороваются со мной все почтительнее, начинает казаться мне издевательством.

И все же, что самое важное из того, что случилось со мной за последние тридцать лет? Тут сомнений быть не может — конечно, моя женитьба. Нет, не смейтесь, так оно и есть. Знаю — нельзя считать событием неизбежность. Но для человека, прочитавшего более трехсот любовных романов, это все-таки событие. Вследствие его я породил толстоватую и глуповатую дочку, удивительно непохожую на свою мать. Почему непохожую? Бог весть. Известно, что природа любит порой пошутить. Плохие шутки, даже у нее самой они не вызывают улыбку. Но злее всего природа подшутила как раз надо мной. Дело в том, что я женился на первой женщине, соблаговолившей обратить на меня внимание. Я был о себе гораздо лучшего мнения, но это так. Она и сама, наверное, не ожидала, что я сдамся так легко.

Чем я ей понравился, я тоже не понимаю. Ничего привлекательного во мне не было — худой, изжелта-смуглый, одно плечо выше другого. Как это ни странно, внешне я сейчас гораздо интересней. Некоторые студентки понахальней даже позволяют себе заглядываться на меня, конечно, не совсем бескорыстно. В свое время она тоже была студенткой, а я — ассистентом у моего профессора. Мне кажется, она решила наш случай как математическое уравнение. После чего могла спокойно заявить: «Ну вот что, глупыш, пошли ко мне! Вчера я до часу ночи искала решение этой простой задачки. Ответ у нее только один».

Да, пожалуй, она действовала слишком уж напористо. Сейчас, спустя столько лет, я думаю, что она немножко схитрила. В ее части уравнения было по крайней мере одним иксом больше или одним игреком меньше — где-то в знаменателе. Нельзя сказать, что она была красавицей. Высокая, худощавая, тонкие ноги, невысокая грудь. Но зато пламенные очи, каких не было, вероятно, даже у герцогини Сансеверины. Когда мы познакомились, на ней было легкое платье цвета ноготков — огненно-оранжевое. Оно удивительно шло к ее смуглой коже и черным как смоль волосам. И очень не соответствовало ее позитивному математическому уму. И тем более ее железному характеру, с которым я потом хорошо познакомился. Сейчас — в пятьдесят три года — это стройная женщина с упругой походкой и весом, ни на грамм не от-

клоняющимся от соответствующего ее возрасту идеала. На вид она кажется лет на двадцать моложе меня и на десять — себя самой. Чтобы не изображать ее совсем уж лишенной недостатков, скажу только, что в последние годы она стала выщипывать пинцетом усики. Но вряд ли это может бросить серьезную тень на ее облик. Многие женщины делают то же самое, только в косметических кабинетах.

Я упоминаю обо всех этих мелочах, потому что они все же имеют отношение к нашему рассказу.

Все началось в самый обычный будничный день. Весна запаздывала, деревья еще стояли голые. Только напротив, в квартальном скверике, на ветках декоративного кустарника появилась еле заметная зеленая дымка. Я стоял у окна и рассеянно смотрел на улицу. Две горлицы разгуливали по железной ограде балкона, унылая кошка пересекла мостовую. И вдруг во мне возникло нечто не поддающееся описанию. Я вернулся в кабинет, обессиленно упал в кресло. Кружилась голова. Через полчаса, когда вернулась жена, я сказал:

— Завтра будет землетрясение.

Она еле заметно вздрогнула. Разумеется, она была в курсе всех бабушкиных историй. Ничего не ответив, она вышла из кабинета. Но быстро вернулась — через две-три минуты.

— И когда точно?

— Что? — спросил я.

— Землетрясение,— ответила она раздраженно.— Не притворяйся, что ты уже ничего не помнишь. Я, как вошла, сразу заметила — что-то случилось.

— Вечером,— ответил я.— Или ночью, точно не знаю.

— И сильное? — неумолимо продолжала жена.

— Довольно сильное!.. Да, наверное, сильное. Я видел, как какое-то здание рухнуло у меня на глазах, словно его ударили по крыше огромным молотом. А потом над ним поднялась туча пыли.

— Что значит — видел? Глазами? Вот так, как видишь меня?

— Нет, нет,— ответил я энергично.— Я, конечно, ничего не видел. Но знаю, что это так. Уверен.

Она глядела на меня настойчиво и проницательно, просто некуда было скрыться от этого взгляда.

— Ну и что ты думаешь теперь делать?

Помню, этот вопрос меня страшно удивил. До этого я думал только о том, что произошло со мной. Что это? Неужели такое может быть на самом деле?

— Что тут поделаешь? Землетрясение не остановишь.

— Твоя бабушка все-таки кое-что сделала, хотя бы ради собственного спасения.

— И что же мне, по-твоему, делать?

— Как что? — воскликнула она. — Все!.. Все, что в твоих силах. Поднять тревогу, предупредить людей. Эвакуировать город, если нужно.

Все, что она сказала, было правильным и логичным. Но осознал я это гораздо позже. А тогда я только растерянно глядел на нее, словно не верил своим ушам.

— Ты с ума сошла! Кто мне поверит? Да меня в лучшем случае просто высмеют, а то и прямо отправят в психиатричку.

— Ну и что?

Голос ее звучал вполне спокойно, но я внутренне содрогнулся.

— Как что? Зачем делать то, в чем явно нет никакого смысла?

— Есть смысл! — сказала она. — Конечно же, есть! Тут важнее всего убедить людей. Но даже если это тебе не удастся, ты по крайней мере выполнишь свой долг.

Меня охватила полная беспомощность. И отчаянье. Я ясно сознавал, что никогда не сделаю этого, что бы ни случилось. Почему, до сих пор не знаю. Жена как будто поняла это, взгляд ее смягчился.

— В чем-то ты по-своему прав. Но давай рассуждать логично. То, что ты мне сказал, действительно выглядит невероятным. Чтобы не сказать глупым. Я вообще не поверила бы тебе, если б не знала историю твоей бабушки. Ведь ее-то предчувствие сбылось. Почему? Не знаю. Но если мы чего-нибудь не знаем, то вовсе не значит, что этого вообще не существует. Сейчас меня беспокоит одна-единственная мысль — не только сейчас, всегда! Ответь в последний раз, только откровенно! Про бабушку ты правду рассказывал? Или все это — твое воображение?

— Как так воображение?

— Так! Воображение, вымысел. Люди любят верить в чудеса, но, поскольку чудес на свете не бывает, они их попросту выдумывают.

Ум ее, как всегда, работал безупречно, словно электронная машина. Но вместо того, чтобы образумиться, я только еще больше разъярился.

— Конечно, правда! — не в силах сдержаться, закричал я. — Как я мог такое придумать? Что угодно, только не это. В конце концов, есть же у меня совесть ученого.

— Нет у тебя никакой совести! И ты просто-напросто врешь. Или сейчас, или тогда. Иначе чем объяснить твое идиотское поведение?

— Но что ж тут удивительного! — В жизни я еще так не кричал. — И что ты скачешь на одном месте, как лягушка в банке. Говорят тебе — бессмысленно! Совершенно бессмысленно!

— Как это бессмысленно? — Она тоже повысила голос. — Но представь себе, что землетрясение и в самом деле случится. Как в Мексике или Лиссабоне. Неужели у тебя хватит духу взять все это на свою совесть?

— Ничего я не возьму на свою совесть! — Я был в полном отчаянье. — Ничего! Потому что я знаю, я уверен — как бы я сейчас ни поступил, никто меня не поймет и не послушает. Вообще все это выше моих сил и моей власти.

Наконец-то она меня поняла. Наконец. Лицо ее окончательно погасло. Сникнув, она просидела неподвижно минут пять, а может, и полчаса. Я уже говорил, что для измерения времени нет никаких объективных критериев. Потом лицо ее понемногу прояснилось.

— И все же какой-то смысл в этом есть! Ладно, можно пожертвовать людьми. Может, для их же пользы. Но сходи хотя бы в сейсмический центр. Или, скажем, в Академию. У тебя там столько друзей... Расскажи им откровенно обо всем, что мы с тобой знаем. Просто чтобы остался документ. Каждую гипотезу нужно доказать или опровергнуть. Неужели ты не понимаешь, что у тебя в любом случае должны быть свидетели?

Я горько вздохнул. Свидетели, какие свидетели? А если действительно погибнут тысячи, десятки тысяч людей? Тогда я сразу же из безвинного превращусь в обвиняемого. Вместе с еще несколькими людьми, у которых силы и власти ровно столько же, сколько у меня. Как и у большинства мыслящих горемык в этом мире.

— Ладно, — ответил я. — Это уже кое-что... Я подумаю.

Я провел кошмарную ночь. По законам логики жена была, конечно же, права. Она всегда была права. Ее беспощадный ум не признавал ни лжи, ни компромиссов. Ее

истины были суровы, прямы и жестоки. Не истины, а волчьи капканы. Железные зубья впивались в живую плоть, не оставляя надежды на избавление.

Конечно, каждый может подумать: но если жена права, почему бы ее не послушаться? Человек, претендующий на звание ученого и умеющий логически мыслить, должен был бы без возражений принимать любую истину. И все же на этот раз я не мог с ней согласиться, все во мне сопротивлялось. Чувства, убеждения? Нет, все!

Дело в том, что она не была права. То есть для себя, может, и права, но не для меня. Я говорю это не из любви к каламбурам, а потому, что так оно и есть. Бессмысленно и глупо требовать от человека то, чего он не может сделать. Словно в нем таится какая-то чуждая сила, которая тащит его назад, делает беспомощнее безруких и безногих.

Понимаю, что выражаюсь не слишком ясно. Особенно для неискушенного ума. Вы не замечали, как часто люди бывают непоследовательны? И очень редко говорят то, что думают. А порой совершают неожиданные, я бы сказал, безумные поступки. Нет ничего труднее, чем быть последовательным. Но что значит — быть последовательным? Следовать за чем, за кем? За самим собой? В лучшем случае — за той частью себя, которая зовется разумом или сознанием. Не может человек до конца познать самого себя. Это означало бы постичь все истины мира. А за нашу короткую жизнь это невозможно. Гораздо более невозможно, чем взлететь птицей в небеса. Что, наверное, когда-нибудь и случится, потому что такое в границах человеческих возможностей. Но каким образом познать самого себя?

Несомненно, человек — самое сложное творение природы. У него может быть хоть сотня лиц, но два из них всегда будут доминировать над остальными. Человек — это то, что он есть, и то, чем он был на протяжении миллионов лет. Но разве каждый может еще раз пройти этот бесконечный путь, чтобы полностью осознать себя?

Много лет назад жил у меня маленький общипанный попугайчик. И кошка по кличке Мери, невероятно милое и воспитанное существо. Она умела пользоваться уборной, как человек, и не прикасалась ни к какой еде, если та не лежала у нее в мисочке. Я кормил ее только хорошо проваренным мясом и рыбой, так что Мери даже не ведала вкуса крови.

У нее было любимое местечко — в одном из кресел. Оттуда ей лучше всего был виден попугай. Иногда она часами смотрела на него, не мигая, с каким-то совсем не кошачьим умилением, даже с нежностью. Жену эта дружба чрезвычайно радовала.

— Видишь, как они любят друг друга,— говорила она.— Свыклись, словно братик с сестричкой.

Я не отвечал. Я знал животных гораздо лучше, чем людей, и знал, что рано или поздно кошка съест попугая. Так оно и случилось. Представляю себе, как наша Мери была поражена тем, что натворила. Поражена и потрясена. Я ничего не сказал кошке, даже не побил. Какой прок? Никакого, разумеется. Можно ли идти против природы? Природа сильнее и разумнее человека. То есть идти против нее можно, но из этого ничего не выйдет. Иногда ее можно перехитрить. Или, придя к разумному с ней соглашению, совершить нечто полезное. Но победить ее нельзя.

Конечно, это весьма грубый пример. Обычно дело обстоит гораздо сложнее. Так, например, я считаю, что люблю свою жену. Думать так у меня есть все основания. Это доказано всей моей жизнью. И все же я не вполне уверен в том, что где-то в самой глубине души не испытываю к ней ненависти. Почему бы и нет? Ведь она имеет надо мной власть, какой нет ни у одного другого человека на свете. Она насилует мои взгляды, мои чувства. Определяет мое поведение, как, например, в этом последнем случае. Определяет, правда, очень осторожно, но постоянно. А человек может снести все, кроме насилия.

Нет, не хочу думать так о жене! И нельзя. Пусть ее образ останется незамутненным в моей душе. И все-таки я знаю, что как человек я гораздо лучше, гораздо тоньше жены. Я стараюсь не критиковать ее даже мысленно, не насилую ее взглядов, не думаю о ее слабостях, не пытаюсь их анализировать. Я хочу, чтобы она для меня всегда оставалась такой же, какой была в первые дни. Только вряд ли это возможно... Вряд ли...

В ту ночь я больше всего думал о ней. О ней и моем проклятом землетрясении. Мог ли я скрыть от нее такое? Нет, конечно. Подобная мысль мне и в голову не могла прийти. А она скрывает от меня многое. Не хочу сказать, обманывает — просто молчит обо всем, что может меня встревожить, вызвать неприятные мысли и чувства. Она щадит меня, старается помочь, избавить от всего, что могло бы помешать моей научной работе. Возможно, я сам

виноват в этом, вернее, моя мягкотелость. Так я иногда пытаюсь ее оправдать. Но не слишком удачно — все внутри меня сопротивляется этому.

Что же касается землетрясения, то я ни на минуту не сомневался, что оно произойдет. Странная внутренняя убежденность, которую я ничем не мог себе объяснить. И еще — глубокая уверенность в том, что я лично от него не пострадаю. Так же как бабушка в свое время знала, что она может пострадать. Теперь я уже не сомневался, что унаследовал от нее эту невероятную способность. Но в ту ночь меня интересовало иное. Мне важно было разрешить другую проблему. Не ради жены и не ради самой проблемы. Просто мне хотелось найти объяснение своему поведению.

Бабушка знала о землетрясении. Ощутила его, предчувствовала, видела — словно древняя пророчица. Но почему она не предупредила остальных? Отцу, правда, сказала, но я был убежден, только ради себя, чтобы он помог ей, спас. Почему она ни слова не сказала тем несчастным женщинам, пораженным неизлечимыми болезнями? Не знаю. Честное слово, не знаю. Впрочем, может, она и предупредила их в последний момент, и те сбежали, даже не оглянувшись на спасительницу.

Одного меня она предупредила прямо и откровенно. Одного меня выделила из общей безликой массы. Наверное, потому, что привыкла воспринимать меня как часть себя самой, своей сущности, своего бытия. Или как свое будущее.

Уснул я лишь на рассвете, но, похоже, мне удалось кое до чего докопаться. По крайней мере я, как мне кажется, уловил частицу бабушкиной истины.

Это довольно трудно объяснить, но мне кажется, она верила в непреложный порядок бытия. На первый взгляд это звучит весьма претенциозно, хотя, в сущности, все очень просто. Каждый носит в себе нечто, напоминающее инстинкт у животных, и не сознает его сути. Бабушка была молодой, полной жизни, счастливой женщиной. Потом у нее убили мужа. Она осталась одна. Ничто не может нарушить естественного хода жизни.

Есть что-то очень мудрое в этой бессознательной философии простых людей. Они не различают судьбу общую и судьбу личную. И никогда не ждут милостей от жизни. Все, что ожидаешь извне, нужно заслужить. И создать самому. Никакой бог не вспашет тебе поля, не вытащит из могилы. А это значит, что люди по-настоящему не

верят в этого бога, хотя время от времени и обращают к нему свои беспомощные молитвы. Книга жизни написана раз и навсегда, и ничто не может изменить того, что в ней начертано.

Там, в этой книге, было записано и бабушкино землетрясение. Легкая конвульсия, последнее содрогание — и бабушка смирилась. Хотя и была такой непримиримой, такой сильной во всех жизненных испытаниях.

Перед тем как уснуть, я наконец принял решение. Не дожидаясь вопросов, я сам скажу жене:

— Оставь меня, пожалуйста, в покое. Ничего из того, что ты от меня требуешь, я делать не буду. Не могу, и все. Неужели ты не понимаешь, как это для меня унизительно?

Наутро я проснулся лишь в девять часов. Жена ушла на работу, не разбудив меня — в первый раз за всю нашу совместную жизнь. Но завтрак, как всегда, ждал меня в кухне на столике — чашка холодного молока и немного колбасы. Я ни к чему не притронулся — единственный способ хоть как-то отомстить жене. Я больше не ждал от нее ни советов, ни доброты, ни тем более сочувствия, которое всегда меня обижало. Я только хотел, чтобы она меня поняла,— ничего больше.

Чтобы отвлечься, я просмотрел журналы, дожидавшиеся меня на письменном столе. Мои журналы по химии жизни, к которым я вот уже две недели не притрагивался. Как всегда — последние новости со всего мира. Факты, несколько десятилетий назад казавшиеся невероятными и непостижимыми. Я работал до самого обеда, но все это время разум сопротивлялся, душа была пуста. Вновь и вновь мной овладевала тревожная, невыносимая мысль — то ли это, что я ищу? И не ошибся ли я все-таки дорогой, чего в свое время так опасалась бабушка? Сейчас мне кажется, что я по крайней мере понял главное — никогда, пока существует мир, не будет получена искусственная жизнь в колбах и пробирках. Жизнь создается и исчезает лишь внутри вечного бытия. И не может иметь другого возраста, кроме бесконечности. Ее рождение и смерть — то же, что рождение и смерть любой вселенной. Но в то утро в голове у меня все смешалось, ум кипел, не в силах прийти хоть к какому-нибудь выводу. Я понимал, конечно, что жизнь — это до какой-то степени и химия тоже. Но до какой? До той, где кончается так-

же и физика? Это уже представлялось мне совершенно абсурдным.

Как всегда, жена вернулась домой около пяти. Лицо ее казалось восковым, до того оно было холодно и бесчувственно. Не сказав ни слова, она ушла на кухню и провозилась там до вечера. По отдельным доносившимся до меня звукам я понял, что она что-то готовит. Делала она это по рецептам поваренных книг, довольно посредственно, без капли вкуса и воображения. Обедал я обычно один, но ужинали мы всегда вместе.

Около восьми она показалась на пороге моего кабинета. Лицо ее, хотя и разрумянилось у плиты, оставалось все таким же бесчувственным.

— Ужинать хочешь? — спросила она.

— Нет! — ответил я.

— Почему?

— Почему! Не вижу смысла.

Она прекрасно меня поняла. В ее холодных глазах что-то дрогнуло.

— Думаешь, мы погибнем?

— Не думаю,— ответил я.— Но война есть война. Никто не ходит в атаку с набитым брюхом.

Секунду поколебавшись, она вышла. Походка ее была довольно унылой, я бы даже сказал, беспомощной. Это меня в какой-то степени удовлетворило — значит, не такая уж она каменная.

— Я отвезла Донку на дачу,— проговорила она.— Конечно, вместе с Владко. Лишь ради него я пошла на этот компромисс. Больше ничего я сделать не вправе.

У нас была крохотная дачка — финский домик — где-то возле Лакатника. В этом году мы еще там не были. По правде говоря, я не очень любил туда ездить — не хотелось оставаться наедине с моими путаными мыслями. Одиночество не приводит их в порядок, а только путает еще больше. И все же надо признать, жена нашла неплохое место, чтобы укрыть внука. Нашего внука, к которому я, надо признаться, не испытываю слишком сильных дедовских чувств. Дачка была словно специально создана для землетрясений, могла покривиться, растрескаться, но рухнуть — ни в коем случае.

— А ты почему не осталась с ними?

— Ни за что! — ответила она раздраженно.— Исключение я могу сделать только для Владко, больше ни для кого.

«Для Владко», «больше ни для кого» — все это мне было понятно. Жена не слишком любила нашу ленивую дочку. В прошлом году Донка развелась с мужем, но вернуться к нам не захотела, хотя у нас и была свободная комната. Сильно подозреваю, что тут не обошлось без жены. Пока они разводились, жена упорно молчала — явно сочувствовала зятю.

— Ты выходил сегодня? — вдруг спросила она.

— Нет, — ответил я, с трудом скрывая враждебность.

— Почему?

— Сколько раз можно повторять? Не вижу смысла!

— Но ведь мы договорились. Я всегда выполняю свои обещания. Да и ты до сих пор тоже.

Это было верно. И все же в наших временных соглашениях на компромисс шел я, а не она.

— Неужели ты не понимаешь, в каком я окажусь глупом положении? — сказал я. — Сейчас и без того развелось слишком много дурацких суеверий. Духи, спиритические сеансы, знаки зодиака, гороскопы. Те, на кого ты рассчитываешь, в ответ на мои слова только скептически усмехнутся, будто россказням о пресловутой петричской знахарке. Хотя сами в глубине души, скорее всего, мне поверят.

— И постараются укрыться от землетрясения? — В глазах ее что-то блеснуло.

— Нет, вряд ли. Люди ужасно непоследовательны. Уверен, что многие убежденные безбожники тайком возносят молитвы. Так же как многие верующие в глубине души ненавидят своего бога.

Нет, ее ум не мог переварить этих простых истин. Ведь они грозили разрушить упорядоченность ее внутреннего мира. Но в тот вечер она только взглянула на меня и, словно переутомившийся генерал, опустилась в кресло.

— Не могу понять! — пробормотала она уныло. — Решительно не могу! Иметь в руках такое доказательство, такой невероятный козырь — и не воспользоваться.

Я начал терять терпение. Ну как вбить в эту гранитную башку такую простую мысль?

— Какое к черту доказательство! — почти крикнул я. — Пусть даже сам Келдыш подпишет мои предварительные показания, все скажут, что один случай еще ни о чем не говорит. И что это никакое не доказательство, тем более что оно противоречит основным законам.

— Каким основным законам? — спросила жена враждебно.

— Ну, скажем, физическим. Все тут же в один голос закаркают, что я занимаюсь метафизикой.

В глазах ее опять блеснуло что-то живое.

— А тебе не приходила в голову простая мысль, что метафизика — это, в сущности, неизученная часть физики. Вроде обратной стороны Луны, о которой мы совсем недавно ничего не знали.

Тем наш разговор и окончился. Словно бы чего-то испугавшись, никто из нас не решился добавить ни слова. Ужинать мы не стали. Молча уселись у телевизора в тайной надежде отвлечься от неприятных предчувствий. Или хотя бы притупить невыносимое чувство ожидания. Но передача оказалась слишком скучной. Именно ее будничность, ее полная отчужденность от подлинных человеческих волнений навели меня на неожиданную мысль: какое там, к черту, землетрясение? Конечно же, ничего не случится. Чудес на свете не бывает и никогда не будет! И тут же я почувствовал какую-то сильную боль внутри, какой-то мучительный спазм. Нет, нет, оно должно произойти! Даже если похоронит нас под развалинами. Во имя истины. И во имя надежды. Человек не может вечно оставаться слепым к огромному окружающему нас миру.

Первое, что я услышал, был нежный звон. На стене висело несколько старинных овечьих колокольцев, которые я как-то купил у цыгана. Два десятка лет провисели они у нас в доме, лишь изредка позванивая, когда со стен смахивали пыль. И вот сейчас они первые почуяли землетрясение и откликнулись на него тихим звоном.

— Ну вот! — воскликнул я.— Начинается!

Я был страшно поражен — казалось, словно это и не я так долго и с таким нетерпением дожидался этого момента. Быстро обернулся, взглянул на люстру. Она тоже тихонько покачивалась. И вдруг огромное окно, занимавшее чуть ли не всю южную стену, вспыхнуло, словно от взрыва, ослепительным голубым светом. Меня охватил панический ужас, сильнее которого я, наверное, никогда не испытывал. Я встал и будто лунатик направился к двери, не думая ни о чем и ни о ком, кроме себя. Не успел я сделать двух шагов, как жена изо всех сил схватила меня за руку.

— Стой здесь! — крикнула она.— Не двигайся.

Я остановился как вкопанный. А дом все содрогался и содрогался, и мне казалось, что он вот-вот обрушится на мою несчастную голову. Пока наконец все не утихло.

Вот так же внезапно, с такими же сотрясениями порой приходит к нам великий день подведения итогов, как сказал бы иной писатель. Красивые слова, хоть и не очень точные. На самом деле речь тут идет не о дне, даже не о днях, а о неделях и месяцах — горьких, тягостных, но и мудрых, если только это слово можно отнести к жизни простых смертных.

Как ни странно, землетрясение напугало меня, но не потрясло так, как я этого ожидал. Правда, я убедился, что обладаю неким даром или способностью, какой не имеют остальные. И понял, что для меня пробил час окончательного подведения итогов. Но не спешил. Спешить было нельзя. Не говоря уж о том, что первые дни меня угнетали совсем другие мысли — о жене.

Дело в том, что, вместо того чтобы разрешить все наши недоразумения, землетрясение разъединило нас еще больше. Никогда не забыть мне тех страшных мгновений. Я не только чувствовал себя угнетенным, но и весь кипел подавленной яростью. Ведь, схватив меня за руку, она же хотела меня убить! Именно убить, пусть даже причиной тому были ее высокие моральные принципы, ее чрезвычайная честность, чувство долга. Правда, не только меня — себя тоже. Но это второе обстоятельство непонятно почему я как-то не принимал в расчет. Как она могла хотеть моей смерти? — возмущенно думал я. По какому праву, на каком основании? Человек может располагать только своей жизнью, и больше ничьей, несмотря ни на какие цели и поводы. Я злился и в то же время не решался взглянуть ей в глаза. Между нами словно бы возникла та отвратительная пустота, которую ученые, да и политики тоже, называют довольно неточным словечком «вакуум».

Но, может, я судил ее слишком строго? Или слишком пристрастно? Нет, нет — тут я вряд ли когда-нибудь откажусь от своего мнения. Все мы в той или иной степени пристрастны, но в главном я прав. В конце концов, какое мне дело до ее принципов, какими бы честными и справедливыми они ни казались. Их тоже нельзя никому навязывать силой, да и бесполезно. К любым принципам каждый должен прийти сам, своими путями и тропами.

Так я думал в первые дни.

Пока наконец не понял, что она тоже страдает. Понял каким-то своим, внутренним, недоказуемым способом, так же, как почувствовал землетрясение. Понял, но не было у меня сил ей простить. В конечном счете человек может простить все, кроме насилия и посягательства на

его жизнь... Потому что только люди понимают, насколько она неповторима. По-настоящему неповторима, даже если согласиться с безумной мыслью, что она вечна. Все может вернуться «на круги своя», но время никогда не возвращается туда, где оно уже побывало.

Я видел, как она мучилась, но мое сердце оставалось холодным. Жестокая холодность, преодолеть которую я был просто не в силах. Напрасно я пытался вспомнить все, чем был ей обязан. Все ее жертвы, ее доброту, ее заботы. Самоотверженность, которую она проявляла в самые трудные периоды моей жизни, скажем, когда я потерял родителей. Иногда мое сердце смягчалось, готовое смириться, но всего на несколько минут или часов. А затем его вновь сжимали холод и отчуждение.

Я сознавал, насколько это опасно,— такой опасностью не грозила мне ни одна другая проблема. Нужно было предпринять что-то, пока еще не все рухнуло. Нужно — но где взять силы? В конце концов она первая начала войну, она и должна ее прекратить.

Но жена молчала. В довершение всех добродетелей в ней заговорила гордость. Так что мне волей-неволей снова пришлось заняться подведением итогов.

Вернуться назад, заново осмыслить всю свою жизнь! Трудная задача, намного более трудная, чем я мог себе это представить. Дни шли за днями, я становился все более мрачным и кислым, как перестоявшее, липнущее к рукам тесто. Для ученого вроде меня, привыкшего к точности логического мышления, к предельно ясным категориям и понятиям, такая работа часто оказывается невыносимой.

Что такое воспоминание? Летнее облачко, каждую минуту меняющее свои очертания — одно другого причудливей и фантастичней. Можно ли из воспоминаний выстроить логическую систему, способную выдержать любую научную проверку?

Конечно же, нельзя!

И тогда мне пришла в голову эта счастливая (или несчастная) мысль — написать воспоминания. Связать их единым изложением и в живых образах попробовать найти ответ на все мои вопросы. В первую минуту я, естественно, испугался. По силам ли мне эта задача? Наверное, нет. Правда, в гимназии я был любимцем учительницы по литературе, но и она вряд ли видела во мне будущего писателя. Сейчас мне, конечно, ясно, что при всей своей любви к литературе разбиралась она в ней еще хуже ме-

ня. Так почему бы мне не попробовать? Может, хотя бы удастся избавиться от мрачных дум. Пережитое гораздо легче собрать на бумаге, чем в редком неводе памяти. Наконец я решился взяться за перо. И за три дня, наполнив корзину скомканной бумагой, написал наконец первую страницу.

Не знаю, согласятся ли со мной настоящие писатели, но первая страница — самая трудная. А затем дело пошло так быстро, что я сам поразился. И в то же время огорчился. Эта профессия или призвание, которое я так уважал, показалось мне слишком уж легким. Но на десятой странице я внезапно остановился. Легко? Нет, тут я жестоко обманывался. Может, действительно не так уж трудно нанизывать красивые слова или даже яркие образы. Но в том, что я написал, отсутствовало нечто очень важное, без чего моя работа теряла всякий смысл.

Здесь мне хочется приоткрыть скобки. Как ни выставлял я себя логиком и рационалистом, вы, наверное, заметили, что я не лишен известного художественного вкуса. Хотя кто его знает. Некоторые факты доказывают противное. Так, например, я очень люблю Сомерсета Моэма, автора, который ныне считается порядком устаревшим. Вместе с тем я с удовольствием читаю Чивера и Гора Видала, которые, наоборот, сейчас в моде. Иногда я и сам не могу понять, кто я, где я. Сам ученый, я в принципе терпеть не могу технократов за их близорукость и самонадеянность. И всегда был убежден, что искусство гораздо совершенней науки. Перед Эйнштейном я преклоняюсь не столько за его физику, сколько за его философию. Так вот, сам Эйнштейн часто отождествлял истину искусства с научной истиной. Сейчас я понимаю этого великана намного лучше, чем раньше, когда мне казалось, что при всей его правоте в нем есть некоторая предвзятость. В сущности, наука ищет истину, а искусство ее создает. Искусство живо, как природа, наука же — скальпель, который часто ее убивает.

Странные мысли, правда? Особенно для ученого. Должен признаться, что, когда я взялся за перо, они были мне далеко не так ясны. Точнее — они созревали вместе с моим произведением. Теперь вам, наверное, понятно, почему я остановился на десятой странице. Очень просто. Любое художественное произведение содержит какую-то истину. Или идею. А я не знал, какая у меня истина. И вряд ли скоро узнаю. Тогда какого черта я пишу?

А вот какого!

Думаю, что мало кто из писателей, берясь за перо, знает свою истину до конца. Как и у прочих смертных, в их сознании немало глупостей и предубеждений. И все они приходят к истине за работой, воссоздавая действительность по законам гармонии и красоты. Правда, если эти законы уже заложены в них — в даровании, в душевном складе.

Почему бы и мне не испробовать этот метод? Если я сумею осмыслить свой рассказ, это будет равнозначно постижению истины. Той истины о себе, которую я искал всю жизнь.

Сознаю, что становлюсь скучным. В том-то все и дело. Когда искусство соединяется с наукой, наука от этого лишь выигрывает, но когда наука забирается на территорию искусства, Пегас превращается в рабочего мула. Поэтому вы свободно можете пропустить эту страничку так же, как сам я пропустил почти два месяца, прежде чем снова взялся за перо. Правда, не по своей вине — сама судьба вмешалась в эту историю. Однако не будем торопиться, вернемся к нашему рассказу. И оставим на время в покое жену, хотя она тоже часть моей истины. Но нельзя забывать и о землетрясении — в нем узел проблемы.

Все его прекрасно помнят. Хоть мы и живем в сейсмически опасной зоне, такого сильного землетрясения в Болгарии не было уже полвека. О первом я говорил. Теперешнее скорей напугало нас, чем причинило серьезный ущерб. Первые сообщения были даже чересчур спокойными — наверное, чтобы не создавать паники среди населения. А я прозрел землетрясение именно как разрушительное. Я видел здание, рухнувшее в облаке пыли. Существует ли такое здание в действительности? И где? Может быть, нигде? Как проверить правильность моего прозрения?

Лишь через два дня я увидел это здание на снимке в газете. Обычный жилой дом в Свиштове, разрушенный до самого основания. Снимок поразил меня больше, чем само землетрясение. Когда оно действительно случилось, я только испугался, как и те, для кого оно было неожиданностью. Но снимок взволновал меня чрезвычайно. Ошеломленный, я заперся в кабинете и около получаса лежал на кушетке, стараясь прийти в себя.

Теперь уже не оставалось никаких сомнений. Я действительно увидел реальное событие до того, как оно произошло. Именно увидел, а не воспринял каким-либо дру-

гим органом чувств, как это бывает со змеями, сусликами и крысами.

Поверьте, я вовсе не стремлюсь кого-нибудь поразить. То, что со мной случилось, в самом деле неестественно. Но не противоестественно. В сущности, с чисто научной точки зрения современная физика не считает абсурдной возможность проникновения в будущее. Правда, для этого нужна колоссальная сверхэнергия, которую человечество пока не обнаружило. Но теоретически такая возможность существует, и с этим приходится считаться.

Практически же вопрос стоит совсем иначе. Как во мне, в моем слабом, неустойчивом теле, состоящем из каких-то жалких аминокислот, могла возникнуть подобная сверхэнергия? Абсурд, неразрешимое противоречие. Но разве в этой внутренней противоречивости явления не кроется его сила? Тут допустимо, как говорит Бор, следующее безумное предположение. Может, энергия должна быть не сверхмощной, а просто чрезвычайно специфической. Присущей, скажем, лишь живым тканям или человеческому сознанию.

Никогда в жизни я не был слишком уверен в своих силах и возможностях. Самонадеянность — верный признак глупости и слепоты. Я не стану ничего утверждать, прежде чем не узнаю. Но и отрицать ничего не буду, пока не проверю.

Ну вот, опять я становлюсь скучным. Короче, я забросил биохимию и занялся другой важной отраслью биологии, которая теперь называется биофизикой. Читал по восемь-девять часов в день до полного изнеможения. Вначале — спокойно, уверенно, вел подробные конспекты. Потом стал горячиться, даже нервничать. Электрон, электричество! Смутные понятия, и не только для меня — для всех! Что такое, черт побери, поле? Даже Эйнштейну не удалось ответить на этот вопрос. А мое поле, обладающее способностью проникать в будущее, еще более странно и загадочно.

Иногда я ходил по улицам в полном смятении, смутно чувствуя, что вокруг меня сгущаются события, что вот-вот произойдет какое-то чудо, может быть, даже совсем простое и человечески объяснимое. И я вдруг прозрею.

Прекрасно помню этот день. Я вышел из дома часов около десяти, направляясь в университетскую библиотеку. Погода стояла отличная — один из тех осенних дней, которые можно было бы принять за весенние, если бы не блестящие каштаны на тротуарах. Я медленно шел по

правой аллее Русского бульвара, как всегда в последние дни погруженный в мысли. На этот раз о жене, ее странном поведении. Может, все-таки разумней самому проявить инициативу? Я никогда не страдал чрезмерным самолюбием, шаг назад или в сторону вряд ли заденет мое достоинство.

Над перекрестком горел желтый свет — это я помню твердо. Когда вспыхнул зеленый, я сошел на мостовую. И это было последнее, что я запомнил.

Очнувшись, я почувствовал, что словно бы купаюсь в море света. Наверное, солнечного, хотя вокруг и разливалось какое-то молочно-матовое сияние. Настолько сильное, что я невольно зажмурил глаза. Но сейчас мрак показался мне невыносимым, как будто я пробыл в нем миллионы лет. Я опять открыл глаза. Мучительно медленно всплыло передо мной лицо. Женское лицо. Очень тонкие чистые черты, белая косынка. И хорошо всем знакомый маленький красный крестик. Медсестра. Взглянув на меня, она вздрогнула, словно увидела просыпающегося мертвеца. Потом коснулась моего лица кончиками тонких пальцев, встала и, не сказав ни слова, вышла.

Что все это значит? И что это так стягивает лицо? Непроизвольно пощупал — бинт. Голова моя оказалась настолько туго забинтованной, что трудно было открывать рот. Я медленно повернулся туда, откуда шел свет. И перед глазами колыхнулся трепещущий в его отблесках зеленый занавес. Ветви деревьев почти касались чисто промытых окон. Какая-то птица, может, дрозд, уцепившись желтыми лапками за веточку, смотрела мне прямо в глаза. Что могло быть прекраснее? Я жив, солнце светит, вечная зелень планеты готова волной хлынуть на мою кровать. Между листьями сияло великолепное земное солнце. Я и не знал, что его свет так прекрасен — такой живой, такой вечный. Вот что! Это и есть жизнь, бытие, которое мы изо всех сил стремимся постичь. Свет. Дрозд, соглашаясь, кивнул мне головкой. Я улыбнулся. Большая белая комната, громадное белое окно, высокий белый штатив с капельницей, на секунду напомнивший мне наказанного гимназиста, понурившего унылую стеклянную голову. Здорово, школяр! Что стряслось?

В комнату вошел невысокий густобровый человек в халате. Похоже, врач. Присел на стоявший у кровати белый табурет и широко, как мне показалось, неуместно широко улыбнулся. Явно хотел меня подбодрить — причем самым банальным образом.

— Что это я тут делаю? — спросил я.

— Небольшая авария, профессор. На вас налетел троллейбус. Тройка. Ну и крепкая ж у вас голова, честное слово. Троллейбус до сих пор не вышел на линию — прохожих боится.

Я тут же вспомнил — желтый свет, потом зеленый. Троллейбуса я, конечно, не видел.

— Сегодня?

— Нет, четыре дня назад.

Значит, целых четыре дня я провел в коматозном состоянии. Только тут я понял, почему вырвался из мрака, как из бездны. Позже я узнал, что мне была сделана трепанация черепа, очень сложная и тяжелая. И чрезвычайно удачная. Но тогда я спросил только:

— Где жена?

— Ушла час назад... Все это время она просидела возле вас, ни на шаг не отходила.

— Совсем измучилась, — еле слышно прошептала сестра.

Но я услышал — несмотря на плотно забинтованные уши. Сердце сжала тупая боль, ничуть не похожая на ту, что сверлила мою разбитую голову.

— Позовите ее... прошу вас... Очень прошу... И поскорей, если можно.

— Да, конечно, — кивнул врач.

Обернувшись к сестре, он произнес несколько слов, которых я не расслышал. Потом снова взглянул на меня.

— Думаю, главная опасность миновала! — сказал он, на этот раз вполне серьезно. — Но, сами понимаете, необходимо быть очень осторожным. Не двигайтесь, не волнуйтесь, ни о чем не тревожьтесь, забудьте об этом несчастном случае. И вы уйдете отсюда возрожденным.

— Понимаю, — сказал я. — Но когда приедет жена?

— Не беспокойтесь, через полчаса будет здесь. Только бы удалось ее разбудить. За эти четыре дня она не спала и четырех часов. Где у вас стоит телефон?

— У меня в кабинете.

— Да, не очень удобно, она может и не услышать звонка. Ну и сильная все-таки женщина ваша жена, позавидуешь.

— Знаю, знаю... Не охнула, слезинки не уронила.

— Ну, насчет слез вы не совсем правы. — Врач улыбнулся. — Но не думайте о ней, думайте о себе.

Однако я уже почти его не слышал. Меня вдруг охватила приятная расслабленность, жесткая больничная койка

словно бы превратилась в лодку, плавно скользящую по глади озера. Счастливый, лежал я на ее дне и смотрел, как по синему небу плывут легкие облака. Погруженный в себя, в это неведомое прежде чувство, я незаметно заснул. А когда наконец открыл глаза, увидел рядом с собой ее — на том же самом табурете, где раньше сидел врач. Ее облик, такой знакомый и близкий, поразил меня.

— Это ты? — еле слышно проговорил я.

Она ответила бледной улыбкой, в которой чувствовалось огромное облегчение, готовое в любой момент прорваться слезами.

— Как это странно, что я жив. И знаешь, только теперь я понял, что все это время думал о тебе.

— Но ты же был в беспамятстве.

Однако глаза выдавали ее. Она была та же и все-таки совсем, совсем другая.

— Выдуманное слово,— ответил я.

— Какое?

— Беспамятство. Небытие. Где-то же я был все-таки, хоть и не помню где...

— Кажется, я тебя понимаю,— ответила она тихо.— Но как грустно, что тебя не понимают другие.

Я вдруг почувствовал странную слабость, показалось, что сейчас я вновь потеряю сознание. Но страха не было. Небытия не существует, все есть бытие. Наверное, я закрыл глаза, сейчас уже не помню, и попытался вновь заглянуть в тот странный мир, который таится глубоко в нас. И который мы так мало знаем. Нет, никогда мне больше не понять, что́ я там пережил. Но, несомненно, что-то огромное и сильное.

Через две недели она приехала за мной на машине. Я дожидался ее в вестибюле, нарядный, подтянутый. Даже надел глупый синий в белый горошек галстук, когда-то привезенный ею из Италии. Странно, но я чувствовал себя ребенком. Вот сейчас она погладит меня по головке, возьмет за руку и отведет в какую-нибудь кондитерскую угостить пирожным. Знаете, в какую кондитерскую? Ту самую, что на углу улицы Экзарха Иосифа напротив Старых бань. В ней еще продавали такие прекрасные, такие свежие пирожные. И бани, и кондитерская давно снесены, от них не осталось и следа. И все же они существуют во мне, а это значит, что они существуют на самом деле.

— Пойдем,— сказала она.

И мы пошли — женщина и мальчик в матроске с голубой ленточкой, щекочущей его щеки. Но, увидев машину, я опомнился. Счастливое мгновение улетело навсегда. Она заботливо усадила меня рядом с собой, бросила на заднее сиденье мой скудный багаж. Впрочем, какой багаж — несколько детективных романов да две-три коробки шоколадных конфет, принесенных сослуживцами.

— Дома тебя ждет большая почта,— сказала она, когда машина покатила по выщербленному асфальту.— Я нарочно ничего не приносила, тебе нужен был покой.

— И только?

— Ну, не только.— Она еле заметно покраснела.— Пришел сигнал твоей новой книги. Хотела сделать тебе сюрприз, да уж ладно... У меня и подарка-то нет.

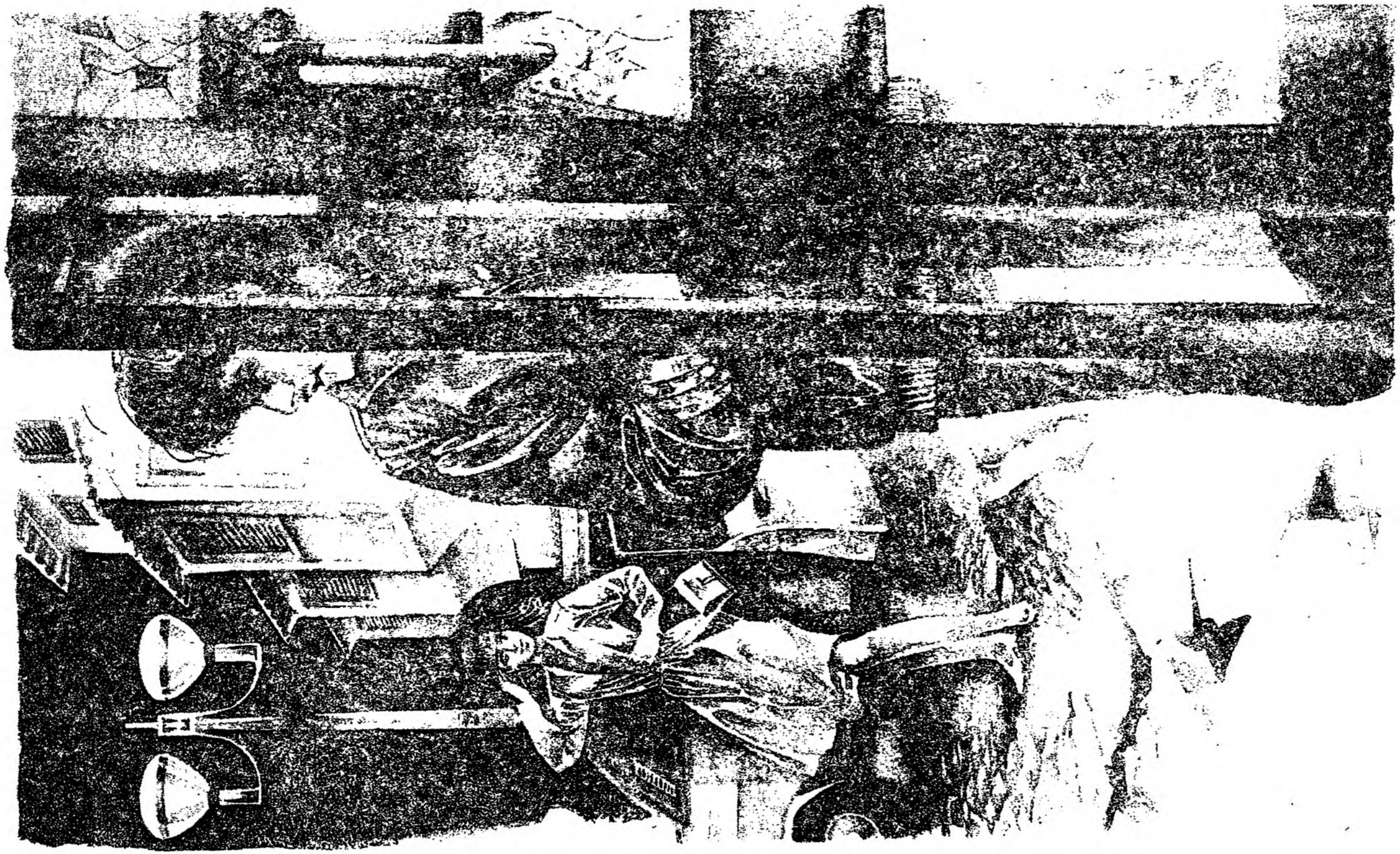
Моя книга об энзимах. Сейчас мне это было совершенно безразлично. Хотя в ней необыкновенная жизнь кое-где соприкасалась с обыкновеннейшей химией.

— Ты не рад?— спросила она, не отрывая взгляда от дороги.

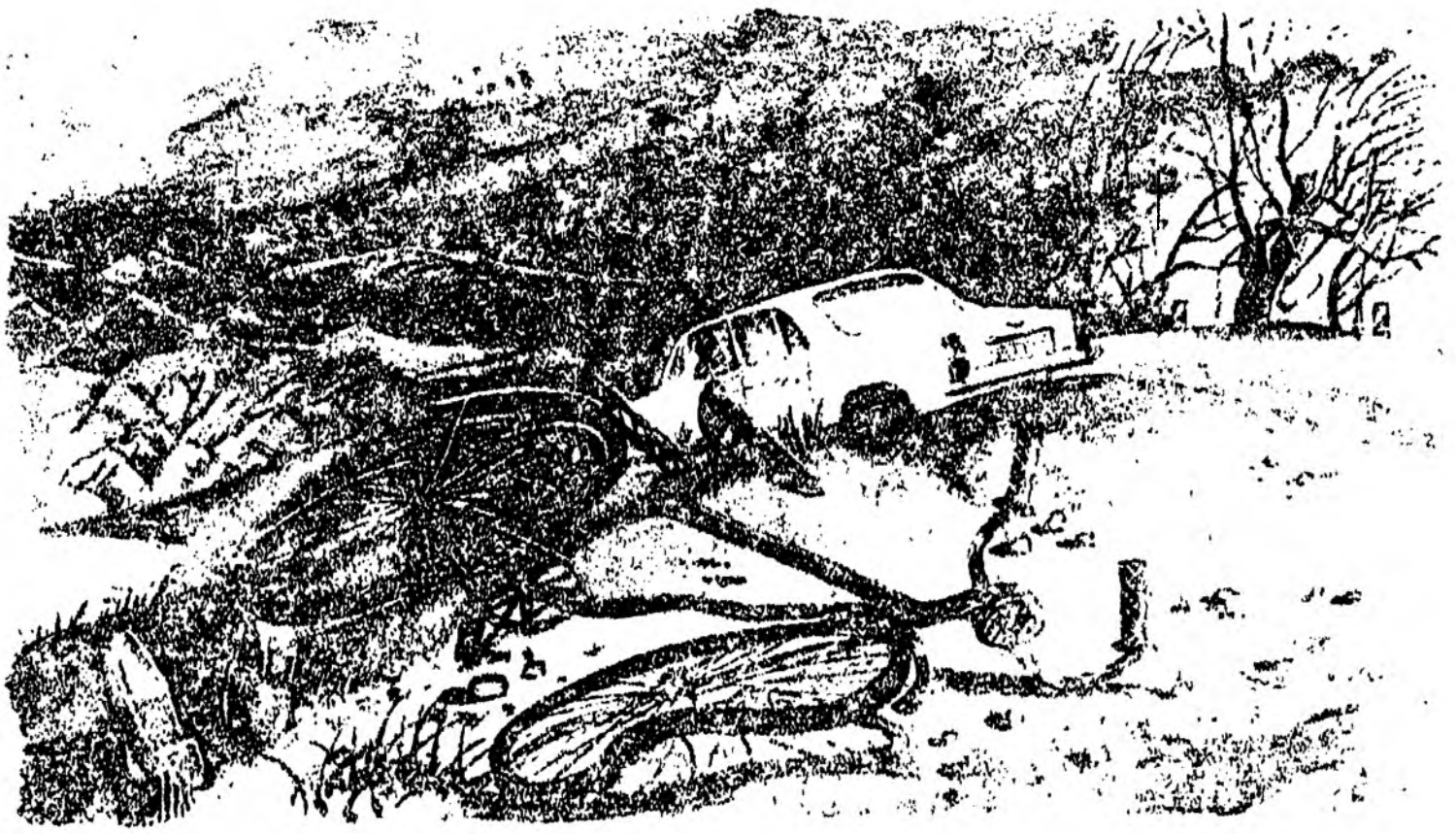
— Ни капельки,— неохотно ответил я.— И хочу тебе сказать, пока не поздно. Отныне я никакой не профессор. Я снова становлюсь самым обычным учеником. Пока не научусь понимать это. Если вообще пойму когда-нибудь.

И тогда случилось то, что мне и во сне не могло присниться. Она вдруг отпустила руль, схватила мою руку и поцеловала ее. Я ясно видел, как правое колесо рванулось к высокому гранитному парапету. Но даже не вздрогнул. Ударом больше, ударом меньше — кто из нас знает, что ему нужно в этом мире? Но в последний момент она ловко повернула руль и погнала машину по прямой пустынной улице.

Рассказы



Мой отец



1

Он встает раньше меня и всегда успевает первый занять ванную. Я сразу угадываю, пил ли он накануне, потому что тогда он урчит сквозь зубы бесконечные, бессвязные мелодии. Стены ванной обладают каким-то особым резонансом, и вся она начинает гудеть, как раковина. Он распевает до тех пор, пока не закашляется. Кашляет он долго, с надрывом, так что все вокруг содрогается. Хорошенько обхаркав зеркало и стены и утихомирившись наконец, он намыливает настоящим «Пальмоливом» свои гладкие, пухлые щеки.

На душе у меня было тоскливо. Я выбрался из постели и побрел на кухню. Цана, по обыкновению, даже не взглянула на меня. Но сегодня мне показалось, что она чем-то взвинчена, потому что ее костлявое лицо пошло багровыми пятнами. Когда я был маленький, мне частенько доставались от нее подзатыльники, и теперь она, наверное, страдала от того, что уже не могла дотянуться до моей тощей шеи. Но я, забыв про осторожность, присел на лавку, и мы с ней почти сравнялись ростом. Она, тотчас зашипев, как разъяренная кошка, подскочила ко мне, но замахнуться не посмела.

— Это ты насикал в умывальник? — спросила она в упор, сверкая своими зеленоватыми глазами.

Вот оно в чем дело!.. Я ухмыльнулся.

— Интересно, как ты догадалась? — спросил я.

— Сразу видно...

— Значит, он здорово напился! — подумал я вслух.— Забыл даже кран открыть.

Глаза у нее так засверкали, что мне стало страшно.

— Будь я твоим отцом, я бы вытолкала тебя в шею,— рявкнула она басом.— В кого ты уродился!

— Во всяком случае, не в тебя,— злорадно ответил я.

Это было более чем очевидно. Сухопарая, состоящая в основном из лицевых костей женщина не доставала мне даже до плеча. Тем не менее она, как старшая сестра отца, приходилась мне теткой. Цана не жила у нас, а только работала по дому до обеда. Каждый день, ровно в двенадцать, за ней заходил муж — банщик, тихий, робкий человек, почти без растительности на лице. Он молча жевал что-нибудь оставшееся с вечера, потом, как щенок, забивался в угол. Незадолго до прихода отца они шли домой.

— Мы, горцы, народ чистоплотный,— говорила Цана, проворно снуя по кухне.— Хоть и бедняками были, с виду никто бы не сказал... Твой отец был самым опрятным мальчиком во всем городе.

— Он и теперь пижон,— заметил я.

Она снова обернулась и гневно поглядела на меня:

— Об отце так не говорят!.. Кто отца не уважает, тот не человек!

Я вовремя сообразил, что не стоит сейчас раздражать ее, и замолчал. Да и спорить с ней опасно — того и гляди, засыплет старомодными сентенциями. Не дождавшись ответа, Цана махнула презрительно рукой и продолжала ворчать, не глядя на меня:

— Не знаю, куда идет мир, но не к добру. Такие, как ты, никакого общества не построят... Никакого!

— А я и не напрашиваюсь в строители.

— Вот и хорошо,— сердито отрезала она.— Иначе пиши пропало...

— Яйца всмятку? — дипломатично спросил я.

Она принесла поджаренный на решетке хлеб. Как бы

то ни было, но эта кикимора заботилась обо мне больше всех на свете.

— Слушай, ты мне не дашь три лева? — спросил я немного погодя.

Она помедлила с ответом.

— Ты не вернул мне еще тех двух.

— Ничего, я отдам все сразу.

Она знала, что я всегда плачу долги. Цана была моим единственным кредитором, и я возвращал ей все до последней стотинки, помня, что в трудную минуту она меня выручит. Отсчитывая деньги, она обычно хмурилась, ворчала себе под нос, но я знал, что дает она мне их от чистого сердца.

— Ладно! — сказала она.

Первая часть моего плана удалась. Но вторая наверняка сорвется, потому что зависит не от Цаны, а от отца. Немного погодя он вошел в кухню и, как обычно, ни с кем не здороваясь, плюхнулся на свое место. Лицо и даже глаза у него были красные, но тем не менее он казался свежим, как огурчик, и в недурном настроении. В отличие от меня он после пьянки всегда свежеет, морщинки разглаживаются и в глазах появляется почти человеческое выражение. Как и все коротышки, он выглядит моложе своих лет, в его шевелюре не найдешь седого волоса. Всего с месяц назад я обнаружил, что секрет не только в его здоровой горской натуре. Время от времени он прохаживался по вискам маленькой щеточкой, смоченной чернильной жидкостью. Я, конечно, быстренько спустил и то, и другое в унитаз, но он обзавелся новыми. Я отправил их туда же, но он хамски обрушился на Цану, и мне пришлось отступить. Не стоило подводить бедную женщину.

Цана молча подала завтрак и отцу. Он так и не удосужился взглянуть на меня, будто меня не было ни в комнате, ни вообще на свете. Он энергично заработал своими здоровыми челюстями, желваки на скулах прыгали, как живые. Лицевые мускулы у него хорошо развиты, и лицо всегда напряженное, как у человека, который вот-вот раскашляется. Зато взгляд у него отсутствующий, вернее, не отсутствующий, а лишенный выражения. Все же я думаю, что он лишь напускает на себя такой вид, потому что по

природе он далеко не спокойный и тем более не хладнокровный человек.

— А кто это Лопе де Вега? — вдруг спросил отец. — Путешественник?

— Нет... Путешественник — Васко да Гама, — ответил я. — А тот — знаменитый писатель.

— Что же он написал?

— Много всякой всячины, — усмехнулся я. — В том числе около двух тысяч пьес.

— Ты это серьезно? — спросил он.

— Вполне серьезно.

Он немного подумал и пробормотал:

— Надо полагать, что тогда за них платили не так, как теперь...

— Это ты правильно полагаешь, — заметил я. — Иначе он написал бы лишь несколько, и притом отвратных.

Но отец мой никогда не поддается на словесные провокации, и теперь он просто замолчал, будто ничего не слышал. Подцепив ножом огромный кусок масла, он стал точными движениями размазывать его по ломтю хлеба. Его прожорливость всегда раздражала меня.

— Послушай, тебе не следовало бы злоупотреблять маслом и яйцами, — сказал я равнодушным тоном. — Возраст уже не тот.

Я знал, что всякий намек на возраст выводит его из себя.

— Почему? — сухо спросил он.

— Сплошной холестерин!.. Засоришь мозги!

— Выдумки врачей, — уверенно отпарировал он.

— Вот именно! — поддакнула Цана у него за спиной.

Но отец даже не взглянул на нее. Он никогда не удостаивает ее взглядом. И, чтобы подтвердить свои слова, энергично навалился на бутерброд. Пережевывая кусок, он как будто успел что-то обдумать и добавил таким же уверенным тоном:

— По-моему, не цивилизация создала масло... Наоборот — масло создало цивилизацию.

Я с удивлением посмотрел на него — у него не было склонности к обобщениям.

— Ты думаешь?

— А как же?.. Где, по-твоему, родились самые великие умы? Например, Гете?.. Или Шекспир?.. В странах, где без сливочного масла не садятся за стол!

— Во всяком случае, ни в Дании, ни в Швейцарии пока что не родился ни один,— возразил я.

— Вряд ли!..— усомнился он.

— Припомни и сразу согласишься.

Он снова замолчал. Конечно, откуда было ему припоминать!

— Послушай, папа, ты не дашь мне сегодня на вечер машину?— спросил я, когда мы вышли в прихожую.

— Зачем тебе?

— Прокатимся с приятелем в «Копыто».

В это время он надевал плащ, и мне не было видно его лица. Но, когда он обернулся, оно не предвещало ничего доброго.

— Напьетесь там, и свалишь ее в пропасть!— сердито пробурчал он.

Ответ был вполне в его духе — он даже не подумал, что вместе с машиной свалимся и мы.

— Я не буду пить.

— Кто тебя знает,— нахмурился он.

— Обещаю тебе, что не буду пить...

— Я отлично знаю, чего стоят обещания теперешней молодежи!— резко возразил он.

— Я говорю не о теперешней молодежи, а о себе,— ответил я.— Неужели я не твой сын?

До чего хорошо изучил я этого человека, который считает себя неразрешимой загадкой и на этом строит все свои расчеты! Он призадумался, но выражение лица его смягчилось. Как бы там ни было, но свое он никогда не признает плохим.

— Слушай, мой мальчик, дело в том, что сегодня вечером она мне самому нужна,— миролюбиво сказал он.— Мне надо съездить за город с иностранцами...

— Если по службе, почему тебе не взять служебную машину?

— А ты не учи меня, что делать!— строго отрезал он.— Завтра дам тебе машину.

— Хорошо,— уныло ответил я.

Вечно это окаянное «завтра»... Завтра — это уже не сегодня,— таков наш девиз. Правда, его придумал Страхил, которого мы потом выперли из компании, но девиз остался.

— А что там хорошего, в этом «Копыте»? — спросил отец.

— Ничего особенного... Играет польский оркестр. И, кроме бара, это единственное место, где танцуют твист.

— Экая важность! — презрительно бросил отец.

Он бережно надел шляпу и подошел к зеркалу. В его взгляде промелькнуло человеческое выражение. То, что он увидел в зеркале, вероятно, вполне удовлетворило его. Легко повернувшись на каблуке, он, не сказав больше ни слова, вышел.

Я тяжело вздохнул и пошел к нему в кабинет. Это немного старомодный, но добротный и красивый кабинет палисандрового дерева, обставленный еще, наверное, до войны, когда отец был кем-то вроде курьера адвокатской конторы. Книжный шкаф, доходящий до самого потолка, уставлен журналами и книгами по его специальности. В последнее время он снова стал понемногу читать, но вряд ли это пойдет ему на пользу. Да и сам он, видимо, не слишком верит в оружие, которым другие владеют так умело, потому что большая часть книг разрезана лишь на первых страницах. Справа от шкафа висит чудесная старая картина Данаила Дечева. Когда-то они были друзьями, хоть мне и неясно, что у них могло быть общего. Я сел в мягкое кресло за письменным столом и удобно развалился. Что влечет меня в его кабинет, почему я сажусь в его кресло, за его стол? Почему роюсь в ящиках стола? Надо бы это проанализировать. Нет, лучше не надо — это как-то свяжет меня с ним. Ясно — раз так, значит, надо разобраться. Но по утрам мысли у меня работают вяло, и сейчас мне было не до анализа.

В левых ящиках не было ничего интересного. Но в среднем я нашел запасной ключ к машине и весьма изящную эмалированную дамскую зажигалку. Наверное, подарок вчерашних иностранцев. Утром он в кабинет не заглядывал. А вечером был здорово пьян и теперь может подумать, что зажигалку где-то обронил. Я попридержу ее несколько дней, и если он не хватится, подарю Бистре.

Вместе с ключом я сунул зажигалку в карман. Правые ящики заперты — там он хранит свои самые секретные вещи. Замки, правда, ерундовые. Будь Страхил с нами, он открыл бы их за полминуты. Но зато потом растрепал бы об этом по всему городу.

Телефон прозвонил так внезапно и резко, что я вздрогнул. Я взял трубку.

— Слушаю.

— Это ты, Евгений? — прозвучал слегка приглушенный, но ясный и мелодичный голос.

— Да, это я, мама...

Голос звучит тысячами крохотных, как колибри, колокольчиков.

— Отец дома?

— Ушел на работу.

— Пожалуй, так даже лучше,— ответила она, чуть подумав.— А ты сейчас свободен?

— Свободен, мама...

— Тогда приезжай, пожалуйста, ко мне...

— Почему ты не в институте? — с тревогой спросил я.— Ты не больна?

— Нет, нет... У меня отпуск...

— Хорошо, сейчас приеду,— ответил я.

Я положил трубку и глубоко вздохнул. Немного погодя, склонившись, чтобы дать ей поцеловать себя в щеку, я увидел ее блестящие, спокойные и нежные глаза. Исчезло воспоминание о колокольчиках; не осталось ничего, кроме смутной боли, которую я испытываю лишь в этом доме. И поэтому, как ни люблю я мать, я к ней не хожу. Это чувство живет во мне с той поры, когда она ушла от нас — теперь оно утихло, но затаилось, такое же страшное, как мысль о смерти. Ей этого никогда не понять, быть может, потому, что она не одинока и живет не для себя. И сейчас на ее лице лишь чудесное спокойствие и нежность,— конечно, она меня любит, но не понимает, иначе от ее спокойствия не осталось бы и следа.

Я оглянулся и сел на ближайший стул.

— Нет, не сюда,— сказала она.

— Почему, мама?

— Здесь тебе будет удобнее.

— Хорошо,— сказал я и перебрался на кресло.

Стоя спиной ко мне, она легким движением отодвинула стекло серванта.

— Хочешь рюмочку вишневки?

— Да, хотя... не найдется ли коньячку?

— Хорошо,— сказала она.

От коньяка, конечно, боль станет резче, но зато, быть может, скорее утихнет.

— Ты купила телевизор, мама?

— Да, наконец,— сказала она и впервые улыбнулась.— Эта рюмка не маловата?

— Маловата, но что поделаешь,— ответил я.— Ты оставь бутылку на столе.

Она испытующе оглядела меня.

— А ты не начал пить?

— Нет, это мне не грозит...

— И не надо,— спокойно сказала она.— Ты пошел в наш род. А у нас никто не пьет, нашим это идет во вред...

— Коньяк болгарский?— спросил я.

— Нет,— ответила она.— Петр привез с ярмарки... Петр — ее муж, но она очень редко поминает его при мне. Я налил себе вторую рюмку. На ее лице не отразилось ни протеста, ни сомнения. Она уселась напротив и сложила руки на груди.

— Прежде всего я хочу сказать, зачем я тебя позвала,— начала она.— Повод, во всяком случае, приятный для тебя...

Новость оказалась потрясающая. Десять лет тому назад они с моим отцом, каждый по отдельности, застраховались на десять тысяч левов. Согласно условиям полиса, я мог бы получить деньги в случае смерти кого-либо из них. Сейчас, поскольку они пережили оговоренный срок, сумма, естественно, перечислялась на их имя. Но дело было не только в этом.

— Теперь эти деньги и мои и не мои,— сказала она.— Ведь я предназначала их тебе... Поэтому я положила их на сберкнижку на твое имя...

Она вынула из ящика стола тоненькую красную книжицу и протянула ее мне. Окончательно растерявшись, я раскрыл ее. Кроме моего имени, там значился вклад на тысячу левов новыми деньгами.

— Это значит, что я, когда захочу, могу брать деньги? Так?

— Именно так, глупенький,— сказала она и погладила меня по голове.— Только не растранжирь их одним махом... Тебе уже двадцать лет... Пора чувствовать себя самостоятельным... А какая может быть самостоятельность, если на самые пустяковые расходы приходится просить...

Я призадумался.

— Сказать ему про эти деньги?— смущенно спросил я.

— По-моему. надо,— спокойно ответила она.

— А почему, собственно, надо?— возразил я.— Почему он ничего не сказал мне о своей страховке?

— Ты хочешь спросить, почему и он не отдал тебе деньги?— усмехнулась она.— Это совсем другое дело — ведь он тебя содержит.

— Да, но мог хотя бы сказать,— упорствовал я.

— Будто ты его не знаешь,— сказала она.— Что он молчал, это не важно... Вот если б он дал тебе хоть часть денег...

Она умолкла и задумалась — как мне показалось, совсем о другом. Я воспользовался моментом и налил себе третью рюмку.

— Ты видишься с Лили?— вдруг спросила она.

Лили была ее падчерица.

— Да, иногда... Почему ты спрашиваешь?

Она явно колебалась, сказать мне или нет.

— С этой девочкой что-то неладное,— озабоченно сказала она.— С некоторых пор ходит сама не своя... И в университете дела пошли не важно...

Я тоже призадумался, но в голову мне ничего не приходило.

— Порасспрошу ее,— сказал я наконец.— Хорошо?

— Хорошо,— сказала она.— Но только поделикатней...

2

Они сидели за своим излюбленным столиком за голубой шторой, у витрины. Когда я подсел к ним, из всех троих на меня посмотрела только Бистра. На миг мне показалось, что ее взгляд, острый и проница-

тельный, пронзил меня, как вращающаяся с бешеной скоростью бормашина. Я не раз поражался ее отнюдь не девичьей способности молниеносно высверливать тебя взглядом, а затем часами ковыряться во взятой пробе.

— Что с тобой? — спросила она с интересом.

— Ничего, Пепи, — равнодушно ответил я.

Но она, конечно, не поверила и еще долго тайком изучала меня из-под приспущенных ресниц. Правда, в кармане у меня лежало двадцать новехоньких пятилевовых банкнот, но неужели это могло как-то отразиться на моем виде? Внешность у Бистры обманчивая — не девушка, а сущий воробышек — до того она хрупка и миниатюрна. Но лицо у нее энергичное и даже не слишком привлекательное — она похожа на очаровательную маленькую старушку. Иногда она позволяет мне ткнуться носом ей за ухо, и это самое большее, что доступно мне в этом мире.

— Хочешь выпить? — спросил я. — Чего-нибудь хорошего?

— Здесь нет ничего хорошего, — ответила она.

— Но все же...

— Ты раздобыл деньги?

— Нам хватит, — ответил я.

— Украл! — убежденно воскликнула она. — Убил, как Раскольников, какую-нибудь старуху... Как ты вошел, я сразу почувствовала, что у тебя совесть нечиста.

Наконец-то и Владо с Жоро отвлеклись от своего разговора. Их догадка была куда проще — деньги я стянул у отца, — но по виду их нельзя было сказать, что они меня осуждают. Какие еще доходы могут быть у четверки студентов? Сегодня один пойдет на такое дело, завтра — другой, но компания должна жить. Против меня сидел, задумчиво покусывая сигарету, Жоро в изящных туфлях, в каучуковом галстуке, весь точно с витрины. У него чаще всего водились деньги. Зато у Владо — почти никогда. А если и появлялись, этот негодяй тратил их в одиночку — на книги.

— Четыре джин-фиса, — сказал я официантке. — Со льдом...

— Конечно, со льдом, не с кирпичами же... — сердито пробурчала она, отходя от столика.

Эта мрачная тетка всегда препирается с такими, как мы, а перед пожилыми клиентами готова в лепешку расшибиться. Очевидно, считает, что нам не место в ресторане, а по-моему, ее надо бы спровадить в какую-нибудь харчевню. Оба приятеля снова вернулись к прерванному разговору. Собственно, говорил один Владо, Жоро лишь внимательно слушал. А Жоро не терпит глупостей, поэтому я тоже прислушался, хотя и не особенно интересуюсь наукой. Гораздо больше меня интересует Бистра, но она не любит, когда с ней заговаривают. Для нее самое большое удовольствие — смотреть и наблюдать.

Владо объяснял, каким образом вирус рака проникает в клетку, и так убежденно, будто видел все это собственными глазами. По его словам выходило, что в клетку проникает лишь нуклеиновое ядро вируса, и тогда в ней оказывается два нуклеиновых ядра с общим свойством — служить проводниками различных биотоков.

— В сущности, эти нуклеиновые ядра,— торжественно заявил Владо,— являются микрокибернетическими машинами, которые хранят в себе всю информацию о наследственности...

Я с изумлением смотрел на него. У этого лохматого паренька в замасленном пыльнике голова работает как часы. Дальше все шло вполне логично: нуклеиновое ядро вируса вытесняет ядро клетки и подавляет ее своей информацией. И клетка начинает делиться беспорядочно в интересах размножения вируса.

— Какой гениальный паразитизм! — восхищенно воскликнул Жоро.

— Это ты сам додумался? — спросил я.

— Разве в этом дело? — скромно отпустил Владо.

Невыносимый тип! Надо его немного осадить.

— Послушай!.. По-твоему, выходит, что антибиотики уничтожают лишь белковую оболочку вируса... И тогда в крови остаются миллиарды свободно плавающих нуклеиновых ядер. Не так ли?

— Именно так! — радостно воскликнул Владо.

— Тогда как объяснить, что человеческий род до сих пор не погиб!

— Еще успеется!.. Загнемся все до одного! — с уверенностью ответил он.

Владо, с тех пор как стал заниматься кибернетикой, немного тронулся. А может быть, наоборот, только он и нормален. Владо считает, что существует трагическое, неразрешимое противоречие между биологической природой человека и возможностями развития его сознания. Он убежден, что через тысячу лет на земле не будет никаких существ, кроме кибернетических роботов. У них будет непостижимая сила ума, человеческое сознание и кое-какие, чуждые для нас, формы эмоциональной жизни. Они будут бессмертны, и проблема их духовного развития сведется к чисто технической проблеме совершенствования их производства. Забавно, что Бистра всегда с ненавистью выслушивает эти теории и готова выцарапать глаза нашему доморощенному гению. И сейчас она нетерпеливо перебила его.

— Довольно болтать глупости!.. Подумаем лучше, как провести вечер!

Моя идея поехать за город в «Копыто» на такси не встретила одобрения. Туда на такси, а возвращаться как? Владо предложил объединиться с Руменом и взялся уговорить его отвезти нас. Наступило тягостное молчание.

— Зануда он,— осторожно заметил Жоро.

— Владелец машины не может быть занудой,— возразила Бистра.

До сих пор не могу понять, когда она шутит, а когда говорит серьезно. Так или иначе, но ее замечание оказалось решающим. Поедем с Руменом, а значит, и со Звездой — не можем же мы все трое увиваться около одной Бистры, хотя она и не против такой ситуации. Пока мы договаривались, в кондитерскую вошла Лили, как всегда, элегантно одетая, с каким-то невысоким, волосатым парнем в куртке. Лили в общем мила, хотя на ее гладеньком личике нет ни одной примечательной черты, кроме изящного овала и прозрачных глаз. Увидев меня, Лили слегка шевельнула губами, что должно было означать улыбку.

— Что это за тип с Лили?— спросил я после паузы.

— Какой-то охламон,— ответил с презрением Жоро.— Пользуется успехом у дурочек, уверяя их, что женщины ничтожные существа... А они изо всех сил стараются доказать ему обратное...

Я снова оглядел парня. Не люблю людей, у которых волосы закрывают лоб, а у этого к тому же волосы немытые, тусклые, слипшиеся. Не голова, а сплошной мрак. Он навалился на столик, опершись подбородком на ладонь, и что-то молол. Лили, с застывшим лицом, молча глядела ему в рот, очевидно, загипнотизированная его дурацкой позой. Лили — недалекая, но чувствительная и, скорее всего, безвольная девушка. Скотине, что рядом с ней, досталась легкая добыча.

Немного погодя в кондитерскую ввалились еще два типа, отличающиеся от первого только кучерявостью. Как я и ожидал, они подсели к Лили, которая буквально окаменела на месте.

— Хватит таращиться! — сердито заметила Бистра.

— Слушай, Пепи, тебе понравился бы тот... с Лили?..

— Пфу! — фыркнула она с отвращением, даже не взглянув на него.

— Неужели Лили ни черта не понимает? — пробормотал я почти про себя.

— Нет, она слишком добрая, — ответила Бистра.

— Не хочешь ли ты этим сказать, что ты злая?

Бистра улыбнулась, а когда она улыбается, глаза ее сверкают из-под ресниц, как звездочки.

— Я свободна, — сказала она. — Могу быть доброй, злой, тщеславной, сентиментальной, наивной — какой угодно, по потребности...

— Что значит — потребность?

— Ну, смотря по обстоятельствам...

— В этом нет никакой логики, — возразил я. — Ты не можешь одновременно быть свободной и зависимой от обстоятельств.

— Это ты так думаешь! — пренебрежительно заявила она. — Быть свободным — значит уметь использовать обстоятельства...

Я не заметил, как Лили подошла к нашему столику, а лишь услышал ее дрогнувший голос:

— Можно подсесть к вам?

Я отодвинулся, и она села рядом. Лохматый упорно глядел прямо перед собой, как будто ничего не случилось, а оба его приятеля ухмылялись. Я почувствовал, что Лили из последних сил старается выглядеть спокойной.

— Хочешь чего-нибудь выпить?

— Нет, нет, спасибо!

Подбородок у нее слегка задрожал. И мне вдруг стало невыносимо жалко ее.

— Слушай, как-никак мы родственники,— сказал я.— Поэтому буду говорить с тобой напрямик... Прогони ты эту скотину! Соберись с силами и оторви его от себя!

Она ничего не ответила, но покраснела до корней волос.

— Прав я?— спросил я у Бистры.

— Как бог,— ответила она.

Я взял тонкую ручонку Лили и поцеловал бледные наманикюренные ногти.

И сразу из глаз у нее хлынули слезы. Бистра спокойно, без тени волнения, наблюдала за ней.

— В конце концов, каждый прав по-своему,— сказала Бистра.— Она сама знает, что для нее лучше...

Вечером, часов в семь, мы отправились в «Копыто» на машине Румена. Бистра сидела рядом с Руменом, а Звезда — с краю. У Звезды длинная шея, и она так неподвижно держит голову, что кажется, будто голова прикреплена у нее едва-едва — того гляди, отвалится. И лицо у нее неподвижное, зато тело необыкновенно гибкое. Вообще она симпатичная девчонка, потому что, подобно Эллочке Людоедке, признает лишь сотню слов, комбинируя из них такие нелепые сочетания, что мы всегда потешаемся от души. Уже совсем стемнело, приборная доска светилась мягким зеленым светом. По какой-то станции пел Модунио, но Румен стал крутить рукоятку настройки, пока не напал на джаз. Все молчали, кроме Владо и Жоро. Непонятно, почему именно этот щеголь утверждает, что «Тортилла Флэт» — единственная толковая книга Стейнбека. Шестицилиндровая машина легко проглатывала подъемы; слева и справа с придорожных столбиков сверкали кошачьи глаза. Мы не ехали а летели сквозь осенний мрак по дороге, которую расстилали для нас одних лучи фар. За спиной постепенно поднималось безбрежное море земных звезд, чуть притушенных оседающим ночным туманом. Вдруг Румен резко остановил машину.

— Лисица!— прошептал он, будто зверек мог его услышать.

Обе девушки так стремительно наклонились вперед, что чуть не стукнулись головами о стекло. Действительно, то была маленькая золотистая лисичка, грациозно поднявшая правую лапку. Глаза ее светились, как электрические лампочки, магическим зеленым светом. Девушки смотрели на нее, не шевелясь, затаив дыхание.

— Убежала! — промолвила наконец Бистра огорченным голосом.

Теперь машина, казалось, летела напрямик к вершинам гор. От мотора повеяло теплом. Если бы не отец, выдумавший свою глупую отговорку, то на месте Румена сейчас сидел бы я и Бистра была бы рядом со мной. Только бешеная езда вызывает на ее маленьком очаровательном личике выражение, похожее на покорность. Да и когда я один в машине, то испытываю почти такое же опьянение, и чем больше стрелка спидометра клонится к краю, тем сильнее растет во мне невыразимое чувство легкости.

Зал был безлюден. На пустых столиках красовались флажки, приборы, белые таблички с надписью «Занято». На эстраде прислоненный у самого края контрабас тянулся своей длинной шеей к отдельному кабинету. А там официанты расставляли приборы, вазы с цветами, и по их старательным движениям было видно, что они ждут какого-то важного гостя. Стефан подошел к нашему столику и вопросительно поглядел на нас. Наш заказ рассеял его сомнения, и он отошел успокоенный.

— Ты в самом деле ухлопал старушку? — спросил Владо тоном, в котором сквозило некоторое подозрение.

— Да, — подтвердил я, — маленькую, толстую старушку.

Он хотел спросить еще что-то, — наверное, куда я ее запрятал или не притянут ли их тоже за это дело, но осекся. По залу прошел плотный человек в чуть коротковатых черных брюках и подозрительно глянул на нас. За ним появился дирижер с детской челкой, в полосатом, как красная зебра, пиджаке. Метрдотель тут же прижал его к колонне; его густые, подстриженные усы стали торчком от напряжения. Все ясно — в честь важного гостя и дабы не компрометировать заведение, целый вечер будут играть одни польки и вальсы.

Все же оркестр начал с танго. И в этот момент в зал вошел отец с двумя пухленькими, с проплешью, человечками и красивой молодой женщиной. Конечно, он сразу заметил меня, но, не подав вида, уселся за свой столик. Его гости поместились спиной к нам, а сам он и молодая женщина — спиной к дансингу. Эта неожиданная для него деликатность мне даже понравилась. Молодая женщина слушала отца с такой почтительностью, что мне сразу стало ясно: она служит в его управлении.

— Это мой отец,— сказал я Бистре.— Тот, что рядом с дамой в синем.

— Вот как?— с интересом воскликнула она и мгновенно запустила свой буравчик.— А дама, между прочим, в зеленом... И одета со вкусом, если хочешь знать. Его подружка?

— Нет... служащая.

— А может быть, то и другое?

— Нет, нет,— сказал я.— Он трус. И никогда не позволит себе лишнего на службе.

Минут через пять Бистра сказала:

— Он ей нравится.

— Нет, просто она к нему подлизывается,— возразил я.

— Ничего ты не понимаешь,— уверенно заявила Бистра.

Пошли танцевать — Бистра с Жоро, Владо с Черной Орхидеей,— так мы прозвали Звезду. Румен допивал уже вторые сто граммов коньяку; его пухлые красные губы потемнели от табачного дыма. Он смотрел на Звезду. И я тоже. В самом деле, не часто увидишь на дансинге более пластичную и полную жизни фигуру.

— А холодна, как рыба! — заметил вполголоса Румен, словно отгадав мои мысли.

— Все они такие,— сказал я.

— Как бы не так,— пренебрежительно возразил Румен.— Твоя, например, сущий звереныш!..

Мне словно плеснули в лицо грязной жидкостью. Румен сидел, повернувшись к дансингу, иначе он заметил бы, как я изменился в лице. Неужели он успел узнать то, чего не знал я? Или брякнул наугад? Но в Бистре нет и сорока килограммов, ничто в ней не говорит о темпера-

менте или пробудившейся женственности. Когда она наконец вернулась к столу, я склонился над ее крохотным, бледным ушком и шепнул:

— Румен был твоим любовником?

— А ты был следователем? — спросила она, глядя на меня в упор.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Надо выспрашивать, — скаала она, — а не допрашивать.

— Вот я и выспрашиваю.

— Он — нет, — сказала она и снова уставилась на столик, за которым сидел отец.

Это еще куда ни шло. Я никогда не думал, случалось ли Бистре далеко заходить, а она никогда не уверяла меня в противном. Современные девушки, опасаясь насмешек, обычно скрывают свою девственность. Но все повадки у нее были еще девчоночьи, сдержанные, и отличалась она от Черной Орхидеи, как небо от земли. Так вот, значит, в чем все-таки отличие.

— Ты знаешь, что твой отец интересный мужчина? — вдруг спросила Бистра.

— Глупости! — грубо ответил я. — Он просто карлик!

— Нет, он хорошего роста, — сказала она. — Не суди о людях по себе.

— И ты не суди по себе, — сердито ответил я.

Но она, не обратив на мои слова ни малейшего внимания, усмехнулась и добавила:

— Я выйду за него замуж.

Мне захотелось дать ей по маленькой лягушачьей мордочке. Но она, видимо, была в восторге от своей идеи.

— Чудесно! — сказала она, схватив меня за руку. — Кроме всего прочего, я стану твоей мачехой. Будем сидеть целыми днями дома и целоваться... А он будет только кормить и поить нас.

— Еще немного — и получишь по физиономии! — взорвался я.

— Почему? — спросила она, удивленно подняв свои незаметные бровки.

Я не успел ей ответить. В зале наступило оживление, и у входа появился тот самый человек, которого ждали. Я со злорадством наблюдал за отцом. Ему страшно хоте-

лось, чтобы его заметили и почтили рукопожатием или хотя бы улыбкой. Если бы у него вместо шеи была пружина, то он, наверное, растянул бы ее через весь зал и поднес бы вошедшему свою голову, как горшок с цветами. Но высокий гость не замечал его. Тогда отец весь вытянулся и повернулся вместе со стулом к проходу, по которому персона неминуемо должна была пройти.

Наконец высокий гость заметил его, приостановился и поздоровался. Но, пожимая отцу руку, он рассеянно смотрел в сторону. Оба человечка с проплешью тоже встали с мест, почтительно поджав свои пухлые подбородки. Как я и полагал, оба оказались иностранцами. Отец представил их ему, и тот поздоровался с ними гораздо внимательнее и любезней. Секретарша стояла позади, отступив на полшага, явно считая себя недостойной такой почести.

— Скажите им, что я желаю им успеха в сделках! — сказал высокий гость, безошибочно обратившись к секретарше.

Она перевела.

— Это зависит в значительной степени и от вашей уступчивости, — довольно находчиво ответил один из иностранцев.

Высокое лицо, неопределенно улыбнувшись, двинулось дальше в сопровождении целой свиты. Когда он проходил мимо оркестра, красные зебры почтительно склонили перед ним свои ослиные головы. После этого в зале снова воцарился обычный шум; официанты, временно застывшие у стен, как статуи, снова деловито заплавали в облаках табачного дыма, потея от усердия.

Оркестр снова заиграл танго, но никто из нас не пошел танцевать.

— Приглашу твоего отца! — вдруг заявила Бистра.

— Ты с ума сошла!

Не успел я схватить ее за руку, как она, торопливо оправив платье, легкими, птичьими шажками подошла к нему.

— Евгений уступает вам свой тур! — соврала она с очаровательной улыбкой.

Я видел, как отец мгновение поколебался, глядя в сторону отдельного кабинета, и поднялся с места. Его улыб-

ка выглядела довольно натянутой. Но, смешавшись с толпой танцующих, он успокоился, поймал ритм и пошел вполне прилично. Как ни был он мне ненавистен в эту минуту, я перевел дух. Ведь покажи он сейчас свою невоспитанность, пятно пало бы и на меня. О чем они говорят между собой, я, конечно, не слышал, но она, подняв к нему свое крохотное личико, слушала его с таким проникновенным вниманием, будто он поверял ей свои самые задушевные тайны. Когда музыка умолкла, отец вернулся к своему столику, раскрасневшийся и явно довольный собой. Бистра подошла к нам, но не села.

— Твой отец приглашает нас к их столу,— сказала она.

— У нас своя компания! — сухо ответил я.

Бистра и бровью не повела, но в глазах ее словно блеснули стальные иглы.

— Вставай! — сдержанно сказала она.

— Ступай, ступай! — вмешался Румен.— По крайней мере, у нас будет повод пригласить папашину мамзель.

Я встал, и мы подошли к их столику. Оба иностранца, против ожидания, оказались очень любезными. Конечно, они первым делом протараторили, как они поражены тем, что у такого молодого отца такой взрослый сын. Секретарша перевела и приветливо улыбнулась мне.

— По правде говоря, я тоже удивлена,— сказала она.— Кстати, вы и не похожи друг на друга...

— Это мое единственное утешение,— ответил я.

Хотя Бистра оживленно болтала с отцом, она все же успела кольнуть меня предостерегающим взглядом, но отец ничего не слышал. Пожилой и более любезный иностранец спросил:

— Что же будут пить наши юные гости?

— Я предпочитаю виски,— ответил я.

— О, вы говорите по-английски?

— Если это можно назвать английским.

— Болгары на редкость скромный народ! — убежденно заявил он.

Отец, видимо, догадался, о чем идет речь, и хмуро поглядел на меня.

— Не можешь обойтись без виски! — пробурчал он.— Будто не знаешь, что за него надо платить валютой...

— Знаю!.. Но не говори этого слова, иначе они поймут...

И они действительно поняли.

— О, валюта не имеет значения,— сказал пожилой.— Было бы хорошее виски...

— Лучшее здесь — «Куин Эн»,— посоветовал я.

— Чудесно! — сказал пожилой.

Когда мы пригубили виски, Бистра подошла ко мне.

— Если ты не будешь держаться прилично, я больше никуда с тобой не пойду,— сказала она вполголоса.

Мне этот тон был хорошо знаком, хотя она редко прибегала к нему.

— Ладно! — сказал я.

— И пригласи секретаршу.

— Ладно! — сказал я.

Секретарша танцевала прекрасно. Но настроение у меня было так испорчено, что я молчал, как пень, хотя и понимал, что выгляжу неотесанным. Тогда секретарша заговорила первая:

— Вы отлично танцуете.

— Очевидно, потому, что ни к чему больше в жизни не способен,— ответил я.

— Не скромничайте,— улыбнулась она.— Вы прекрасно говорите по-английски... Это произвело на них впечатление.

Разумеется, Бистра неплохо воспользовалась моим отсутствием. Я видел, как она мурлыкает, как она оплетает отца сетью улыбочек и взглядов. И старый дурак попался на удочку — раскраснелся и расхорохорился, точно молодой боров. Чтобы не злиться, я увлек секретаршу на другой край дансинга. Она окончательно вошла во вкус танца; от ее округлой фигуры веяло теплом и радушием. Постепенно у меня вылетели из головы и Бистра, и вся эта чертовщина. На душе стало легко, теплота прикосновения словно проникала в меня, даже голова немного закружилась. Не знаю: ее доброта или мягкое, податливое тело так опьянили меня, но и того, и другого мне в жизни страшно не хватало.

Затем мы уже одной компанией снова пили виски. Пожилой иностранец прилип, как корабельная ракушка, к Орхидее. Другой взял курс на секретаршу, но она дели-

катно удерживала его на расстоянии, ища у меня сочувствия своей милой улыбкой. Я не решался снова пригласить ее танцевать,— мне было стыдно за только что испытанное чувство. Зато отец мой уже запросто танцевал с Бистрой. Я видел, как его пальцы, будто корни, врастают в ее спину.

Потом мы танцевали твист. Никто из нас не осмелился бы начать, но одна подвыпившая рыжая немка разожгла страсти. Бистра танцевала с Жоро, а я с Орхидеей. Обе танцевали с огоньком, и лишь дурак сказал бы, что твист им не к лицу. Развеселившийся оркестр заполнил зал ликующими звуками. На миг передо мной мелькнула возмущенная физиономия отца, и это еще больше раззадорило меня. Потом мелодия стала стихать, и гости, вскочившие, чтобы лучше видеть, снова расселись по своим местам. Последнее, что я заметил, было добродушное любопытство во взгляде человека из отдельного кабинета. Это меня немного успокоило. Когда мы вернулись к столику, отец старался не глядеть на меня.

Потом мне стало плохо. Я пошел в туалет и принял кое-какие меры. Но ничего не помогло. Я долго стоял, шатаясь из стороны в сторону, глядя на свою позеленевшую физиономию в зеркале. Когда я вернулся, Бистра оттащила меня к нашему столику. Оркестранты уже ушли; официанты рассчитывались с последними посетителями. Было очень душно, блеск ламп слепил глаза. Бистра сидела рядом, мрачно отвернувшись от соседнего столика. Я хотел было взять ее за руку, но она сердито вырвалась.

— Выпей немного минеральной! — сухо сказала она.

Часть жидкости пролилась мне на рубашку. Очевидно, у меня был очень жалкий вид, потому что она добавила уже гораздо мягче:

— Раз не можешь пить — не пей!.. Посмотри на отца... Думаешь, он меньше выпил?

Дальше у меня начались провалы в памяти. У машины лейтенант-автоинспектор предупредил Румена, что сразу же отберет у него права, если тот попытается сесть за руль. Кто-то предложил переночевать в гостинице.

— Я должна вернуться! — решительно заявила Бистра.

Откуда-то из мрака возник отец. Очевидно, он слышал наш разговор, потому что предложил нам подождать, по-

ка он вернется. Вряд ли он старался ради меня или заросшей рожи Владо. Когда он сел в машину, я заорал:

— А почему у него не отбираете права!.. Он тоже пил!

Друзья стали толкать меня локтями. Милиционер хмуро посмотрел на меня, но все же подошел к отцу. Перекинувшись с ним парой слов, он козырнул и ушел.

— Ты просто невозможен! — с яростью воскликнула Бистра.— Убирайся отсюда!

Я пошел на веранду — ближе к звездам. На те, что над головой, страшно было смотреть — мороз подирал по коже при мысли о ледяном мраке, в который они погружены. А звезды под ногами казались теплыми и близкими. Они мигали. И, видно, ни черта не понимали в своем деле, потому что все рассыпались кто куда. А мне хотелось, чтоб они выстроились и прошли мимо меня торжественным маршем. Но звезды даже не шелохнулись, равнодушно мигая мне в глаза. Я разозлился, орал и плевал на них, но они не обратили на это никакого внимания. Тогда я заплакал. Звезды размазались по небу и погасли. Когда я открыл глаза, река огней текла передо мной, вниз от Княжева, вливаясь в водоворот в центре города. И дальше были огни, и еще дальше. А совсем далеко, во мраке, светилось крохотное красное сияние. Это — земная Андромеда. А на небесной, может быть, сейчас тоже стоит какой-нибудь пьяный, пропащий парень и плюет на все и на всех.

Подошла Бистра и молча стала рядом. Я немного протрезвел.

— Где остальные? — спросил я.

Она помолчала и хмуро ответила:

— Румен смылся.

— А мы?

— Должен же кто-нибудь ждать твоего отца! — сердито ответила она.

Приглядевшись к ней в темноте, я догадался, что она замерзает в своем тонком платьице. Я начал стаскивать пиджак, но она остановила меня.

— Не надо!.. Ты только прикрой меня!..

Мы укрылись с ней пиджаком, но ее маленькое трепетное тело оставалось холодным и неподвижным. Пока

не подъехал отец, она не проронила ни слова. Я думал, что она займет место спереди, но она села рядом со мной. Отец тоже молчал, лицо у него было хмурое. Он вел машину уверенно, на большой скорости; на поворотах пронзительно визжали тормоза. Фары разметали все впереди; во мраке на мгновенье рождались камни, деревья и тотчас умирали.

— Это виски тебе боком вышло! — наконец проговорил отец.

— У него все прошло,— сказала Бистра.

И правда, мне было лучше. Я почувствовал, что правый бок, к которому она прижималась на террасе, теперь оледенел.

— И под конец можно было обойтись без твиста.

— Почему? — спросил я.

— Прежде всего потому, что это не танец! — сказал он.— Разве это танец, если не все могут танцевать?

— Ты хочешь сказать — если ты не можешь?

— Хотя бы и так.

— То-то и оно! — сказал я.— А я не хочу ни в чем походить на тебя... И делаю только то, что тебе не нравится.

Отец, полуобернувшись, поглядел на меня.

— Постыдился бы! — сухо сказал он.

Бистра толкнула меня локтем.

— Товарищ Игнатов,— тихо сказала она,— стоит ли окончательно портить этот вечер?

— На вас я не сержусь,— ответил отец.

— Ничуть? — с сомнением спросила она.

— Ничуть.

— Это хорошо!.. Если вы хотите по-настоящему помириться, отвезите нас в бар.

Он долго молчал, как будто не расслышав.

— Ни один разумный человек не ходит в бар,— наконец сказал он.

— О! Почему же?

— Потому что боится подмочить репутацию! — ответил я вместо него.

— Но вы будете там вместе с сыном... И, может... с будущей снохой,— вдруг выпалила она.

Немного озадаченный, он поглядел на нас в зеркальце.

— Нет, уже поздно,— холодно возразил он.— Завтра у меня доклад министру... Нужно явиться со свежей головой.

— Вот в этом я не уверена,— сказала она.— Мутная голова всегда интересней.

— Нет, не вынуждайте меня отказывать вам,— сказал он, и я уловил в его голосе нотку сожаления.— Сходим в другой раз. Я вам обещаю.

— Правда?

— Правда!— заверил он.

Машина по-прежнему взвизгивала на поворотах, фары разметали ночной мрак.

На следующий день я встал уже после его ухода. В то утро я был бы не в силах глядеть ему в глаза. Когда наружная дверь хлопнула, я кое-как оделся и поплелся на кухню. Цана мрачно поглядела на мою зеленую физиономию и ядовито заметила:

— Никто не обедал, никто не ужинал... Разве это дом?

— Конечно, нет,— ответил я.

Тут я вспомнил о подарке. Немного погодя она, не веря своим глазам, держала в руках красивую шерстяную кофту. Ее грубое лицо просветлело, на миг она стала другим человеком. Наконец она вздохнула, свернула кофту и сказала:

— Я знала, что ты настоящий парень.

Но, увидев, что я сажусь за стол, тут же строго добавила:

— Ступай умойся сначала!.. Не развалишься.

Бистра живет неподалеку от нас. Я позвонил у двери и стал ждать. За дверью ни звука — неприятная, гнетущая тишина. Родители работают, и, если Бистра ушла на лекции, в квартире никого нет. Только я решил позвонить еще раз, как за дверью послышался шорох. Дверь приоткрылась, и в узкой щели показалось сонное лицо Бистры.

— Это ты?— сказала она без особого воодушевления.— Входи!

Она была в длинной ночной рубашке, босая. Я вошел. Прихожая у них совсем маленькая — как ящик. Я крепко прижал Бистру к себе. Под шелковой рубашкой скользило шелковое тело, но глаза глядели на меня холодно

и удивленно. Не издав ни звука, она высвободилась из моих рук.

— Хватит дурака валять! — беззлобно сказала она и прошла в коридорчик.

Я шел следом за ней. Ее маленькие белые пятки шлепали по мозаичному полу, гибкая фигурка шуршала розовым шелком. Мы вошли к ней в комнату. Голубое стеганое одеяло было откинуто — видно, она только что встала с постели. Она нырнула в еще не остывшие простыни, мелькнув своими тонкими, стройными ножками.

— Садись сюда! — сказала она.

Дрожащими руками я пододвинул к ночному столику синий пуфик. Мы были совсем одни в пустой квартире; я мог бы даже задушить ее, если б захотел. Но в ее безмятежном взгляде не было и следа опасения...

— Ну и вид у тебя! — заметила она. — Будто вылез из умывальника...

Я промолчал.

— Вчера ты хватил через край! — подняв пальчик, добавила она с укоризной.

— Это ты хватила через край.

— Я? — удивленно спросила она. — Чем же?

— Своим жалким флиртом с моим отцом.

— Ууу, жалким! — насмешливо сказала она. — Отчего же жалким?

— Оттого, что вы разыгрывали его передо мной! — ответил я. — И оттого, что он годится тебе в отцы.

— Спасибо, мне хватает своего! — с иронией отпарировала она. — Когда толчешься целые дни с мальчишками, любой мужчина начнет нравиться...

Я расхохотался — притом совершенно непринужденно.

— Он все, что угодно, только не мужчина! — сказал я с презрением. — Он пример антимужчины.

— И это говоришь ты? — язвительно спросила она.

— Да, именно я! Пусть у меня мало своего, но оно настоящее... А у него ничего нет... Нет ни идей, ни характера, ни совести. Нет ничего, кроме некоторого общественного положения... И он держится за него, как слепой за палку... Попробуй царапни его ногтем — сразу же затопчет тебя в грязь.

— Я не знала, что ты такой! — с удивлением сказала она.

Я чувствовал, что задыхаюсь и уже хриплю от ярости.

— Может быть, я круглый идиот,— орал я.— Но зато я не жесток и не эгоистичен. Разве ты не поняла, что вчера тоже потерпела полное фиаско?..

Она приподняла бровки.

— Какое фиаско?

— И еще спрашиваешь! Разве он не отказался пойти с тобой в бар? Хотя ты умоляла чуть не на коленях.

Она покраснела, поджала и надула губы.

— Ничего ты не понимаешь! — сказала она с досадой.

— Понимаю, что тебе показали фигу! — ответил я.— И не потому, что ему не хочется... Он боится скомпрометировать себя... По-твоему, трус тоже мужчина?

Глаза ее сверкнули, как звезды.

— Сейчас я докажу тебе обратное! — резко сказала она.— Принеси телефон из гостиной!

Двигаясь как лунатик, я приволок телефон, и она проворно включила его в розетку за ночным столиком.

— Какой у него прямой телефон?

Я, как отпетый дурак, назвал ей номер. Она тотчас набрала его своим тонким пальчиком.

— Это товарищ Игнатов?.. Добрый день!.. Бистра вам звонит! — Лицо у нее сразу как-то прояснилось и стало приветливым.— Вы не сердитесь, что я вас беспокою?

Она крепко прижала трубку к уху и еле заметно подмигнула мне. И все же я прекрасно слышал идущий из мембраны небывало мягкий, ласковый голос, какого я еще ни разу не слышал у отца.

— Да! — говорила Бистра.— В сущности... я могу дать вам возможность извиниться передо мной... Лучше всего сегодня же... Вот как? — Она рассмеялась.— Ну, хорошо, я буду ждать вас в семь часов... в кондитерской «Берлин»... Место удобное... Хорошо! — продолжила она после краткого молчания.— Тогда вы можете туда и не заходить... Я увижу вашу машину в окно.

Щелкнула положенная трубка. Я был так поражен, что прирос к месту.

— Ну? — торжествующе сказала она.

Я молчал.

— Теперь ты понял, что ничего не понимаешь?

Но я еле расслышал ее слова.

— Ты в самом деле пойдешь туда? — наконец спросил я.

Наверное, мой голос прозвучал так странно, что она испытующе поглядела на меня.

— Н-нет,— нерешительно сказала она.— В сущности, я просто пойду и извинюсь... Иначе все получится совсем уж по-ребячески...

Откуда мне знать, только ли она извинится или уедет вместе с ним?.. Я сгорал от стыда, притаившись за будкой кассы на автомобильной стоянке. Он подъехал ровно в семь и остановил машину у входа в кондитерскую. Вскоре из дверей торопливо вышла она и скользнула на переднее сиденье. Я заметил, что, прежде чем сесть в машину, она оглянулась по сторонам, словно чуя, что я где-то поблизости.

Машина тронулась с места и, свернув вправо, на большой скорости устремилась к Пловдивскому шоссе. Я со всех ног кинулся за ней. На углу я снова увидел знакомый светлый верх машины — она пересекала по прямой перекресток у Ректората. Ближе к Орлиному мосту ее задние огни затерялись в рое других красных точек.

В этот миг в душе моей бушевало лишь чувство беспредельного, унизительного стыда. Я все еще бежал — нарочно, чтоб никто не замечал моих слез. Под ветвями каштанов стало темней, не было видно и прохожих. Я приостановился, отер лицо рукавом плаща и попытался унять неудержимо дрожащие губы. Наконец в жуткой пустоте под черепом стали возникать какие-то мысли.

К счастью, на стоянке у Орлиного моста оказались свободные такси.

— В Панчарево! — сказал я, зябко забившись в угол.

Если они не в «Лебеде», я настигну их в «Золотой рыбке». Но надо непременно проверить в обоих местах. Мне казалось, что такси тащится еле-еле, бренча своими дряхлыми железками. Время от времени щелкал счетчик и в красном окошечке выскакивали белые цифры.

— Не одолжите сигарету? — обратился я к шоферу.

— Можно,— сказал он, подавая коробку через плечо и не выпуская из вида дорогу.

Мы ехали целую вечность. Тем временем ярость моя испарилась, осталось лишь чувство стыда. Когда мы подъезжали к первому из ресторанов, я увидел из окна такси машину отца, аккуратно поставленную на стоянке.

Не знаю, стало ли мне легче. Но теперь я хоть знал, что делать. Самое главное сохранить спокойствие, небрежно поздороваться и сесть за их столик. Пусть думают, что хотят, но прогнать меня они не посмеют. И тогда все их планы и расчеты сразу рухнут. Я стоял перед освещенной стеклянной дверью, свет люстр бил в глаза, но я не решался шагнуть за порог. Гардеробщик глядел на меня совиным взглядом, собираясь что-то спросить. А я стоял у дверей и не входил. Я приказывал своей руке протянуться к никелированной ручке, но рука не слушалась. Я просил ее, но она деревенела все больше и больше. Тогда я вернулся к стоянке, вынул из кармана запасной ключ и завел мотор.

Только теперь я понял, что это, быть может, лучшее решение. Оставшись без машины, они ничего не смогут сделать. Ни в ресторане, ни за его стенами.

Я летел обратно по дороге и представлял себе его искаженное злобой лицо. Его мысли. Как всякому мелочному человеку, ему тяжко будет пережить такое поражение. Он может возненавидеть и ее, ибо, в конце концов, он пострадает из-за ее капризов...

При выезде из Панчарева какой-то автоинспектор поднял руку, пытаясь остановить машину. Я было притормозил, потому что документы у меня были в порядке, но потом снова дал полный газ. Если я предъявлю документы, отец узнает, кто увел машину. Теперь уже выбора не оставалось. Машина мчалась по темному шоссе, влажный асфальт свистел под шинами. Время от времени я поглядывал в зеркальце — у офицера мог оказаться под рукой мотоцикл. Самое опасное сейчас — увидеть вдали свет одиночной фары! Это самое опасное!..

Я сбавил скорость лишь при въезде в Горубляне. Мне казалось, что я спокоен, но руки предательски дрожали. Какая-то большая машина мчалась мне навстречу, слепя фарами. Предупреждая ее, я мигнул светом раз, другой. Наконец фары погасли, и впереди из мрака возник силуэт огромного грузовика. Я включил свет и увидел прямо пе-

ред собой велосипедиста. Рванул в сторону, но правое крыло сбило его и сбросило с дороги.

Я остановился. Во мне все дрожало. Я медленно открыл дверцу и вылез на дорогу. Тишина, мрак. Вдали на шоссе быстро удалялись красные огни грузовика. Я до боли в глазах всматривался в темноту справа от дороги, но ничего не видел.

Тогда где-то далеко позади вспыхнула одиночная фара. И в то же время из тьмы поднялась какая-то тень — безмолвная и страшная. Нет, мне не выдержать — глядеть на окровавленное лицо, давать показания, терзаться... Подхлестываемый страхом, я бросился к машине, включил зажигание и рванулся с места. Мощный мотор потянул ее вперед, машина набирала скорость и неслась все дальше сквозь сырой непроглядный мрак.

Суд



Каждое утро, ровно в семь, мама переставляет телефон из прихожей на мой ночной столик и включает его в розетку. Двигается она быстро, низкие каблучки щелкают по полу, ветерок от платья приятно холодит мне нос.

— Молоко на столе! — неизменно говорит она.

Посылаю ее ко всем чертям — про себя, конечно. Неужели она так плохо меня знает,— ведь спрячь она молоко даже в стиральную машину, я все равно найду. И вообще я никогда не просила ее затевать эту возню с телефоном. Наверное, воображает, что так у меня будет меньше шансов проспать. Глупости! Будто так уж трудно выдернуть вилку и отделаться от ее хитростей.

Но в то утро я была даже благодарна ей за раннее пробуждение. Мне снился кошмарный сон. Ночь. Я стою у окна, улицы подо мной пустынны и темны. И вдруг из-за горизонта показывается водородная бомба. Никто мне не говорит, что это водородная бомба, я даже понятия не имею, как она выглядит, но знаю, что это — она. Бомба не падает, а медленно движется по небу прямо к нашему дому, как огромная оранжевая сигара. Окаменев от ужаса, я стою у окна и ясно понимаю, что пришел конец. Хочется бежать, но нет сил оторвать остекленев-

шие глаза от бомбы. Через несколько мгновений мертвый город утонет в море пламени, и никто, кроме меня, не узнает отчего.

— Мама! — завопила я.

— Ты что? — спросила она.

Ее голос показался мне неуместно спокойным. Открыв глаза, я увидела, что она как раз включает телефон.

— Ничего, так просто! — ответила я, радуясь счастливому избавлению.

— Молоко на столе! — сказала она. — И колонку включила.

Опять заснуть я не посмела: страшно было снова увидеть во сне бомбу. Я смотрела сквозь прозрачное кружево занавески на небо — серое, омерзительное октябрьское небо. В коридоре слышались тихие, мягкие шаги отца — он не ходит, а крадется, как огромный старый кот. Отец, наверное, уже побрился, немного погодя позавтракает, и около восьми послышится короткое резкое щелканье английского замка у входной двери. Не могу понять, куда его носит так рано, если репетиции у них начинаются лишь в десять. Однажды Владо сказал мне, что видел его в половине девятого в красном зале «Болгарии», — он пил коньяк с полупьяными официантами. Вероятно, это было случайно; не думаю, чтоб он стал запивать. Вообще говоря, он пьет не так уж много и по-настоящему напивается не чаще раза в неделю. Но тогда он становится тихим, кротким, лишь тяжело отдувается и часами пропадает в уборной. Мама уже не бранит его: очевидно, привыкла.

Ровно без пяти восемь дверь хлопнула. По утрам он никогда не заговаривает со мной, как будто меня нет дома. И вообще я никогда не замечала у него никаких отцовских чувств. Еще недавно меня это очень злило. Иногда мне даже кажется, что он мне не отец, что они с мамой что-то скрывают от меня. Глупости, конечно, но факт остается фактом — мы совершенно друг на друга не похожи. Лицо у него крупное, мясистое, щеки дряблые и обвислые, возможно оттого, что он постоянно дует в свой тромбон. А у меня черты лица мелкие, острые, словно птичьи. У отца шея одна из самых дородных во всей республике, у меня — одна из самых тощих. На мать я тоже

не похожа. Вдобавок ко всему, они оба добродушны, как коровы, а я — холодна, зла и мстительна.

Я встала, пустила магнитофон и добрых четверть часа отплясывала в одной рубашке шейк в стиле Сильвии Вартан. Аж вспотела. Это заменяет мне утреннюю гимнастику, разминается не только тело, но и дух — я сразу становлюсь оживленней, веселей, уверенней в себе. Потом я, наскоро выпив молоко, пошла в ванную. Колонка гудела, и ванна, белая, гладкая и чистая, словно ждала меня. Я долго колебалась, взять ли мне немного маминой «Сильваны», и в конце концов отлила небольшую порцию. Дело не в щепетильности, но в прошлом месяце мама сделала мне замечание и даже дала денег, чтоб я купила свою «Сильвану», но я истратила их на другое. Я разделась. Страшно люблю, запершись в ванной и скинув одежду, выламываться и строить дикие рожи. Еще люблю смотреться в зеркало, но оно висит слишком высоко, и приходится забираться на ванну. Честно говоря, смотреть не на что. Плечи у меня хилые, ключицы торчат, а о груди лучше не говорить. Ног мне не видно, но вряд ли они толще рук моей матери. Я не придаю этому значения, но все же зло берет, когда всякие кретинки задаются, что они красивей меня.

Да, хороша жизнь, когда ты в доме одна. Лежу в зеленоватой пенистой воде, от которой разит сосновым лесом, болтаю ногами и мычу на разные голоса. Потом, зажав нос, погружаюсь на дно, хоть и знаю, что испорчу прическу. Так я бултыхалась в воде, пока не посинела, и проделала все, что могла, разве только не растиралась губкой, как советует мама. И это не от лени, а просто я не выношу губки. Сожмешь ее в кулаке, а как отпустишь, она опять становится прежней, как ни в чем не бывало. И, кроме того, тереть себе самой спину — удовольствие ниже среднего.

После ванны я уселась перед туалетным столиком в маминой спальне. Даром что работник умственного труда, а весь столик у нее заставлен всевозможными флакончиками от «Кристиан Диор». Я поднамазалась кое-чем, но понемножку, чтоб мама не догадалась. Она страшно злится, когда я трогаю ее снадобья. Чувствую, что рано или поздно она хорошенько оттаскает меня за волосы. Все эти

пудры и помады она пускает в ход ради своих писателей. Мама страшный сноб. Она работает в каком-то писательском издательстве и воображает, что сама тоже без пяти минут писатель. Однажды она позвала меня на их банкет. Было ужасно скучно; один усатый писатель зверски напился и все время тянул маму танцевать. Ко всему в придачу, она не познакомила меня ни с одним писателем и лишь время от времени кому-то показывала на меня пальцем. Наверное, она считала, что я еще недостойна знакомства с писателями.

И все же я без ее помощи познакомилась с одним, но не в издательстве, а в «Бамбуке». Я вовсе не пала так низко, чтобы ходить туда, но меня пригласили специально для того, чтоб познакомить с писателем. Против ожидания, он оказался не развалиной, а довольно-таки молодым. У него были красивые глаза и округлые сочные губы в моем вкусе. Но он оказался таким пошляком, что даже я испугалась, хоть и привыкла не обращать внимания на мелочи. Я не произвела на него никакого впечатления; он даже не взглянул на меня. Он все время таращился на какую-то тощую женщину с синими кругами под глазами, ровесницу моей тетки.

Зазвонил телефон, я подошла и взяла трубку.

— Это ты, Биса?

Предстоял долгий разговор. Я легла и укрылась одеялом.

— Да, я... ты откуда?

— От себя, из кабинета.

Просто диву даюсь, как этот старый мошенник умудряется говорить таким приятным, мягким голосом.

— Что ты делаешь? — спросил он.

— Ничего. Лежу и болтаю ногами под одеялом.

— Как жаль, что мы не можем поболтать ногами вдвоем!

Мне стало так противно, что я даже отставила трубку от уха. Но возмущаться нечего — сама напросилась.

— Мечо[1], ты уверен, что телефонистка не подслушивает?

— Будь спокойна, моя девочка, я говорю по прямому телефону. Какая у тебя программа на сегодня?

---

[1] М е ч о — медвежонок *(болг.)*.

Когда я слышу слово «программа», меня начинает тошнить.

— Никакой,— ответила я.— С утра пойду на лекции.

— А после обеда?

— После обеда будем играть в покер у Боби.

— Кто этот Боби?— недовольным тоном спросил он.

— Боби не он, а она... Я говорила тебе о ней, Мечо, не зли меня.

— Хорошо, хорошо,— примирительно сказал он.— Когда же вы начинаете?

— В три.

— И до скольких?

— Ну, почем я знаю!— сказала я, чуть не зевнув с досады.— Вот ведь человек! Отец не спрашивает, куда я хожу, а этому выкладывай!

— Слушай, воробышек, а ты не могла бы отложить покер?

— Нет,— сказала я.— Играть меня не так уж и тянет, но я не могу подводить партнеров.

— Я очень тебя прошу,— умоляюще сказал он, и голос у него правда был просительный.

Я почесала в раздумье нос.

— Мечо, если б ты знал, как это неудобно. Я никогда их не подводила.

— Ты ничем их не подведешь!— воскликнул он.— До трех еще далеко, они подыщут себе четвертую.

— Дело в том, что мы всегда играем своей компанией... Мы дали друг другу слово не пускать посторонних.

— Гм!— сказал он, и я поняла, что он рассердился.

— Ну, ладно,— сказала я.— А ты что предлагаешь?

— Чудесную прогулку, воробышек... На машине, конечно.

— Куда?

— Это мы с тобой решим... Ну, например, в «Копыто»...

— Слушай, не смей мне говорить про это идиотское «Копыто»...

Поняв, что брякнул невпопад, он замурлыкал в трубку:

— Вовсе нет — я не настаиваю... Просто я хотел сделать тебе приятное. В конце концов — выбор за тобой. А что ты скажешь об «Аистовом гнезде»?

Я зажмурилась и на миг представила, как мы бешено несемся на машине по ущелью.

— Слушай, Мечо, я предлагаю компромисс,— сказала я.— Я не могу не пойти. Но во что бы то ни стало постараюсь освободиться к пяти...

— Хорошо! — сказал он.— К пяти буду ждать тебя на нашем месте.

Трах! И он хлопнул трубку, будто щелкнув меня по носу. На вид он туповат, но если хорошенько подумать, то, в сущности, хитер, как выдра. Я встала и поглядела на часы. Да, конечно, первый семинар уже начался. Хорошо, что мы с Sir'ом друзья и он меня не отметит. Я поколебалась, стелить мне постель или нет, и решила, что не стоит. Вечером мама, заметив беспорядок, подумает, что я страшно торопилась на лекции. Я уверена, что она так это и истолкует, она всегда думает обо мне только хорошее. Подчас я искренне радуюсь, что она дружит с писателями.

Погода оказалась чудесной. Бывает иногда такое бодрое ненастье, сырое и свежее, как разрезанная репа. Блестели крыши, блестели стекла, желтые плитки бульвара сверкали, как полированные. Я шла медленно, так медленно, что вполне могла опоздать и на второй семинар. Сначала я остановилась перед Польским центром. Господи, какая тощая балерина, кожа да кости! Зато икры, как старинные булавы, если лягнет, то любой кенгуру позавидует. Потом я постояла перед витриной «Варшавы». В это время там еще пусто, только две девчонки сидели за ближним столиком. Они сосали сигареты, но так смешно, что я не могла отвести глаз. Сложив губки трубочкой и чуть прихватив желтый мундштук, они затягивались изо всех сил, так, что щеки слипались. Я чуть было не завернула туда, чтобы показать им, как курят порядочные девушки, но прошла мимо и остановилась перед музеем Сопротивления. На витрине были выставлены пистолеты, ручная граната, нож и какие-то документы. Но это что — другое было страшно. На деревянной рамке была растянута нижняя рубаха, какие теперь носят, пожалуй, только в деревнях. Рубаха была пробита пулей где-то под сердцем, кровь запеклась жуткими пятнами. Сейчас эти пятна были уже не красные, а бледно-кофейного цвета,

и это самое страшное. Я глядела, не смея шелохнуться. Будь мама рядом, она не преминула бы сказать, что этой рубахе я обязана своей свободой, которую, к тому же, совсем не ценю. Как пить дать, именно так бы она и сказала, хотя ее отец, мой покойный дедушка, торговал готовым платьем неподалеку, на улице Леге.

Я так расстроилась, что даже не взглянула на самую красивую витрину — перед баром «Астория». Бежала до самого университета и просто взлетела по лестнице. В вестибюле на нашем этаже было пусто, один только Бедо стоял, опершись о стену рядом с доской объявлений. Увидев меня, он ухмыльнулся и поманил меня пальцем. Терпеть не могу, когда меня подзывают, точно щенка, но тут я почему-то подошла к нему. Может быть, я еще не опомнилась от вида продырявленной рубахи. Бедо нагло смотрел на меня, его толстые губы лоснились, как всегда.

— Как дела, щегленок? — спросил он.

— Лучше всех,— сказала я.

Он подумал немного и добавил:

— Знаешь, как будет интересно, если ты после обеда придешь ко мне в гости. Я буду один, обещаю.

Меня охватило бешенство.

— Я бы пришла,— сказала я спокойненько,— но слышала, что армянские квартиры провоняли прованским маслом.

— Ты что-то спутала,— хмуро возразил он.— Мы православные и едим все.

— Может быть! — сказала я.— И все же попахиваете.

Тут он вдруг влепил мне такую пощечину, что моя маргаритка с левого уха отлетела к плевательнице. Секунду спустя я изо всей силы пнула его коленом под живот. Он даже не пикнул, лишь согнулся пополам. Умнее всего было бы моментально удрать, но я сама была так ошарашена своим поступком, что стояла и глядела на него разинув рот. Наконец взбешенный Бедо разогнулся, но в тот же миг лицо его застыло.

Я обернулась — по коридору шел миленький добрый Sir, со своими вечными тетрадями под мышкой. Увидев меня, он тайком погрозил мне пальцем. За его спиной слышался шум, я знала, что секундой позже сюда ворвут-

ся студенты. Я сразу же пристроилась к нему с левой стороны, чтобы он не заметил мою алеющую, как мак, щеку.

— Почему ты не была на семинаре? — спросил он.

— Проспала, Sir,— соврала я, не моргнув глазом.

Но он принял мои слова за выражение непосредственности и улыбнулся.

— Ты, видимо, хочешь мне что-то сказать?

— Нет, Sir... Но я спасаюсь от Бедо. Он собрался меня бить.

— Как так — бить? — Он не поверил своим ушам и даже остановился.— Какой Бедо?

— Бедрос... Фамилию я не могу произнести, очень трудная.

— Бедрос Хампарбурцян? — спросил он.

Боже, как он не вывихнул язык!

— Да, Sir...

Входя в вестибюль, Sir, наверное, заметил Бедо, потому что сейчас он вдруг обернулся. Бедо все еще стоял на месте и глазел на нас с таким видом, будто у него вынули изо рта лакомый кусок. Sir большой добряк, но когда разозлится, то так взглянет, что дрожь проймет. Наверное, такой взгляд достался и Бедо, потому что он сразу же поджал хвост и молча пошел вниз по лестнице.

До чего же мил наш Sir, как жалко, что нельзя выйти за него замуж!

У Боби далеко не уютно, но только у них можно спокойно поиграть в карты. Прежде всего стулья у них жесткие и с высокими спинками, так что все время приходится сидеть прямо, как свечка. И почему-то у них всегда холодно — даже летом можно окоченеть. Лишь к четырем часам Фанни выставила нам по рюмочке коньяку; да разве от такой рюмочки согреешься! Фанни, мать Боби, занятная женщина. Мясистая, вся в пятнах, за сто шагов воняет не то аптекой, не то парфюмерным ларьком. И при этом ходит как слон, потому что одно колено у нее замотано грязной шалью, а поясница — овечьей шкурой. Но в покер она играет зверски; это я уже от многих слышала. С нами она, конечно, не связывается, только

иногда присядет на две-три минуты, пока Боби болтает по телефону.

Вообще же партия у нас собралась серенькая.

Цецка играет трусливо и вступает в игру лишь на «тройку». И если получит свою «тройку», так краснеет, будто у стола зажгли лампу с красным абажуром. Звезда вообще не играет, мысли ее заняты чем угодно, только не картами. Сегодня она меня страшно разозлила. Мне достался фуль червей, Боби начала игру, я подняла ставку втрое. Но Звезда, словно не расслышав, рассеянно ковырялась в орешках.

— Ты играешь? — спросила я.

— Что? — вздрогнула она.

— Спрашиваю, ты играешь?

— Во что? — удивленно спросила она и спохватилась: — Ах, извините, я задумалась.

Фуль обжигает мне руки, но я, чтобы не выдать карты, спрашиваю небрежно:

— О чем же ты задумалась?

В сущности, я делаю ей комплимент — ведь она абсолютно не способна думать. Но своим глупым вопросом я испортила все дело. Она вдруг просияла.

— Знаете, в магазине при опытной фабрике выбросили шерстяной жоржет. Всего одну штуку, но расцветка потрясная!..

Даже Боби забыла про карты и вытаращила глаза.

— Какая?

Звезда начала рассказывать про прелести шерстяного жоржета, а я все время сжимала мой фуль, аж руки вспотели. До смерти ненавижу такие разговоры — про тряпки да разные туфельки. Сама я покупаю первое, что мне попадется, шьет мне мама, и все же я всегда одета с большим вкусом, чем они.

Наконец я не выдержала.

— Так ты будешь играть? — заорала я так, что Звезда подскочила на стуле.

— Буду, буду! — испуганно ответила она.

— Я утраиваю!

— А, тогда я пас!

Ну какая после этого игра! Разумеется, Боби сразу догадалась, что я зажала сильную карту, и увильнула. Она

вообще здорово играет, когда-нибудь заткнет за пояс и мать. В нашей партии чаще всего выигрывает она, изредка — Цеца. А мы со Звездой — никогда!

Настроение у меня окончательно испортилось. В половине пятого я начала лепетать, что у меня важное дело. Но Боби отпустила меня только в пять, да и то мне пришлось намекнуть, что жоржет распродадут без них. Тут они все вдруг засуетились, а Цецка спросила:

— А почем метр?

— Шестнадцать левов,— ответила Звезда.

— Кошмарно дорого,— сказала Цецка, и лицо у нее вытянулось.

Для нее все «кошмарно дорого», потому что отец ее работает вахтером на агрономическом факультете. Боби поддержала ее, но Звезда с ними не согласилась. И немудрено — ее отец делает аборты. Пока они препирались, я схватила плащик и сбежала по лестнице. Даже по улице я бежала как школьница, спешащая на свидание со студентом. Но, слава богу, я вовремя спохватилась и сбавила шаг. Как-никак я дама и должна вести себя с достоинством. Я пошла совсем медленно, стараясь не наступать на швы между плитами. В результате я налетела на какую-то старуху, взглянула на часы и немножко ускорила шаг. Нет, наверное, сорвется наша сегодняшняя встреча. Я загадала, что, если доберусь до улицы Шейново, не наступив ни на одну черту, все кончится хорошо.

Мечо давно поджидал меня в своей «Волге» неподалеку от ТАБСО. Смешно было смотреть, как он прикидывается, будто читает газету. Я уверена, что он заметил меня еще издалека, но лишь когда я подошла, удивленно приподнял брови и любезно улыбнулся. Смех разбирает, как гляну на его короткие ножки и иссиня-черные усы. Ему, наверное, перевалило за сорок пять, но что правда, то правда,— выглядит он моложе и лучше сохранился, чем отец. Плохо только, что он всегда долго копается, прежде чем заведет мотор.

— Поехали! — сказала я, опасаясь, как бы меня не увидел кто-нибудь из наших, выходя из студенческого кино. За такого кавалера меня на следующий день всю исколют насмешками.

— Спокойствие, маленькая барышня! — добродушно ответил он тоном пожилого дядюшки.

Наконец, покопавшись вволю, он завел мотор. Мы обогнули сзади памятник и выехали на бульвар. Столики перед «Берлином» были пусты, на скатертях желтели опавшие листья каштанов. Лишь за одним сидели несколько молодых парней и что-то пили. Они разом оглянулись и чуть не вывернули себе шеи, глазея нам вслед. Я толкнула Мечо коленом, но оказалось, что он тоже их заметил.

— Ну и нахалы! — сказала я. — Наверное, узнали тебя.

— Да, конечно! — неохотно промямлил он. — Мои служащие... Но они неплохие ребята.

Мы помолчали, а потом я сказала:

— Поедем побыстрей!.. Быстро-быстро!

— Хорошо, воробышек, — сказал он. — Дай только выехать из города.

Я, конечно, не поверила. Мечо никогда не поступается здравым смыслом. Разве только, когда назначает свидания студенткам.

— Обещаешь?

— Честное слово, — серьезно заявил он.

И вообще сегодня он казался мне каким-то необычным, не как всегда.

— Как покер? — спросил он.

— Ничего особенного, — ответила я. — Проиграла восемнадцать стотинок.

Я рассказала ему, как Звезда играет в покер, и про шерстяной жоржет. Он слушал внимательно, но ни разу не засмеялся. Евгений прав — Мечо туповат или же лишен чувства юмора, что почти одно и то же. Это изрядно злит меня — с ним просто не о чем говорить. Когда мы выехали из города, я напомнила ему:

— Помнишь, что ты мне обещал?

— Да, конечно, — ответил он и нажал на газ.

И мы полетели, ах, как чудесно мы летели! Воздух свистел, и шины свистели, а придорожные деревья мчались сломя голову. Я чуть не запрыгала на мягких пружинах.

— Еще немножко! — просила я. — Очень тебя прошу, прибавь еще немножко!

Он еще увеличил скорость. Я ужасно люблю сумасшедшую езду, просто бешусь от радости. Возможно, у меня низкое давление — надо будет как-нибудь смерить. А когда машина мчится с безумной скоростью, у меня словно кровь вскипает, я оживаю и становлюсь как пьяная. Однако мы едва не разбились. За крутым поворотом машина чуть не налетела на стоящую на обочине телегу. Мечо резко свернул в сторону, и только я подумала, что сейчас мы свалимся в реку, как он уже снова катил по шоссе. Я ничуть не испугалась, лишь мельком взглянула на него. Ни один мускул не дрогнул на его лице, он даже не побледнел, как это непременно случилось бы с Евгением. Что ни говори, а Мечо — настоящий мужчина, в этом ему не откажешь.

За всю остальную дорогу мы не проронили ни слова... Я даже не заметила, как мы подъехали к водохранилищу.

Он придержал машину и спросил:

— Может быть, хочешь посмотреть?

— Да,— согласилась я, хотя меня обычно мутит от красивых видов.

Я устала. Мне вообще не под силу длительная радость или волнение. По всему видно, что я сгораю быстро, как стружка, и притом до конца, не оставляя даже пепла. Из приличия — чтобы Мечо не счел меня бесчувственной, я все ж поглазела на озеро. Не то чтоб озеро было никудышное, скорее наоборот, но я просто не умею наслаждаться природой. Иногда мне кажется, будто и другие не умеют, но прикидываются, потому что так принято. Природа подавляет меня, зовет к смирению, а я вовсе не хочу смиряться ни перед кем — будь то родители, профессора или какая-то там природа. И сейчас среди этого простора я почувствовала себя маленькой-маленькой — точно лягушонок или паучок. Я отвела взгляд и включила радио.

Когда мы подъехали к ресторану, Мечо поставил машину на асфальтированную площадку и тщательно запер дверцы. Обыкновенно он сначала сам заходит в ресторан и, оглядев публику, возвращается за мной. Но на этот раз мы вошли вместе и, как я и ожидала, направились в пивной бар, куда обычно ходят клиенты вроде нас. Там нико-

го не было, даже официанта. Когда мы уселись, Мечо широко улыбнулся и сказал:

— Тебе нравится здесь?

— Очень! — воскликнула я.

— Сегодня я решил быть добрым! — заявил он. — Ведь в конце концов и ты пожертвовала кое-чем ради меня.

Я чем-то пожертвовала — смотри-ка! И откуда он это взял? Сболтнул глупость и сам, наверное, в нее не верит. Немного погодя появился официант. Проклятые мошенники готовы в лепешку расшибиться, увидев старикашку с молоденькой девицей, — знают, что им перепадет. Как правило, они не ошибаются, хотя Мечо как будто немного жмот.

— Водочки? — спросил Мечо.

— Ты ведь знаешь, что я не люблю...

— Маленькую рюмочку...

— Ну ладно, — сказала я.

Он заказал себе рюмку побольше, потом еще одну. Мы ели жареную рыбу и запивали белым вином. Потом перешли к бифштексу и запивали красным. Я хоть и выгляжу заморышем, но аппетит у меня дай бог — ем все подряд. И он подобрал все до последней крошки, до последней горошинки из гарнира.

— Что у вас на десерт?

— Только сутляш[1], — скромно ответил официант.

— Сутляш? — обрадовался Мечо. — Чего же лучше, ведь я не ел его с тех пор, как...

Я была уверена, что он скажет: «...с тех пор как развелся», — но он вдруг осекся. А если б и сказал, что тут плохого?

— ...был ребенком, — вывернулся он.

Мечо съел два сутляша, а я — один. Потом он, как ни в чем не бывало, снова принялся за красное. Я уже окосела и стала отставлять свой бокал, но он все подливал. Я болтала всякую чепуху, но вдруг заметила, что он совсем не слушает. Лицо у него осунулось, взгляд стал какой-то пустой и отсутствующий.

— Что с тобой? — спросила я.

— Ничего.

---

[1] Сутляш — сладкое блюдо из риса.

Но, поняв, что я не буду его расспрашивать, он разговорился сам.

— Плохи мои дела!.. Тучи собираются над головой.

Мне вдруг стало ужасно смешно — я представила себе, как он шагает по улице с тучами над головой.

— Какие тучи? — засмеялась я. — Дождь будет или град?

— Гроза! — серьезно ответил он.

— Из-за чего же? — спросила я из любезности.

— Сама знаешь!.. Скоро суд над Евгением.

Я призадумалась. Евгений, его сын, недавно сбил велосипедиста при весьма неприятных и для нас обстоятельствах.

— Мне не хочется говорить об этом! — сказала я.

— Мне тоже, — ответил он. — Но что бы мы ни делали, даром нам это не пройдет...

— Как то есть не пройдет? — с удивлением спросила я.

— Суд есть суд!.. Начнут копаться, и могут всплыть некоторые неприятные детали.

Я опять ничего не поняла.

— Какие детали? Говори хоть по-людски!

— Ясно какие! — В голосе его прозвучало нетерпение. — Например, может выясниться, что в это время мы с тобой были в «Лебеде».

— А какое это имеет отношение к катастрофе?

— Конечно, никакого, но кто знает, что взбредет на ум судье. А мне только этого не хватает — скандала по женской части. Запросто слечу с должности.

Меня даже затошнило. Во-первых, он изобразил меня чуть ли не женщиной легкого поведения, и, кроме того, я просто не выношу разговоров о деньгах и должностях. Очевидно, Мечо почувствовал свою ошибку и поспешно добавил:

— Ладно, не будем говорить обо мне, но твоя репутация под угрозой. В конце концов ты девушка, и притом студентка. А насколько я знаю, комсомол у вас не зевает. Глядишь, и притянут тебя на суд чести. И мне не совсем ясно, как ты будешь отвечать на вопросы разных остолопов.

— Экая важность! — сказала я.



Но в душе меня прохватила дрожь. Он махнул рукой.

— Не будем думать о плохом. Может, и обойдется.

Мы распили еще бутылочку. Голова у меня закружилась, но Мечо был трезв как стеклышко, разве лишь разболтался чуть больше обычного. Он посмотрел на часы.

— Ты когда должна быть дома?

— К девяти,— сказала я.

— Сейчас восемь... Можем потихоньку двигаться.

Мечо расплатился, оставив приличные чаевые. Снаружи было чертовски темно, я три раза споткнулась, пока добралась до машины. Мотор приятно заурчал, и мы тронулись.

Не проехали мы и десяти минут, как Мечо вдруг сбавил скорость и круто повернул вправо. Машина запрыгала по разбитой дороге и остановилась. Фары погасли, стало темно и страшно. Я хорошо знала, что будет дальше. Но делать было нечего, иногда приходится терпеть.

Хуже всего было то, что от него разило разными соусами, а усы так кололись, что я чуть было не завизжала. Ничего, стерпела. Но он стал слишком расходиться, и я отстранилась.

— Оставь, пожалуйста!

— Почему?— прохрюкал он.

— Так!.. В конце концов, ведь я...

Тут я умолкла. Нет, не могу я выговорить это слово, оно мне кажется отвратительным. Бывало, я говорила куда более скверные слова, а это вот никак не идет на язык.

— Что — ты?— спросил он.

— То, что ты думаешь!— ответила я со злостью.

Этим я словно подхлестнула его, и он сразу же навалился на меня. Делать было нечего, я распахнула дверцу и выпрыгнула наружу. Вокруг кромешная тьма, дальше носа ничего не видно. Я знала только, что надо бежать вверх, потому что перед этим мы куда-то спускались. Я натыкалась на какие-то обрывы, падала, но все же ускользнула от него. Я слышала, как он зовет меня в темноте, как он упрашивает и обещает, но я была так напугана, что не смела остановиться. Метров через сто я наконец выскочила на шоссе и как-то сразу успокоилась. Было не так темно; по серпантину, спускавшемуся с плоскогорья, бежали фары. Я решила остановить какую-нибудь из

машин, но тут из тьмы выскочил он. Он что-то говорил, но так задыхался, что я ничего не поняла. В это время машины со свистом промчались мимо, вниз по круче, обдав нас вихрем пыли. Конечно, они нас тоже увидели, потому что их фары просто ослепили меня. Хорошенькое представление мы им устроили; на месте шоферов я бы остановилась поглазеть. Все же я заметила, как расстроен и перепуган Мечо, и это меня окончательно успокоило.

— Слушай,— сказала я.— Вернись и выведи машину на дорогу. Будь уверен, я никуда отсюда не двинусь...

— Хорошо, хорошо! — понуро сказал он.— Но хотя бы сойди с шоссе, нечего забавлять проезжих...

Он внезапно исчез в темной бездне внизу. Я забилась в кусты, но присесть не решалась, чтобы не запачкать плащ и не выдать себя дома. Было вовсе не холодно, но меня бил такой озноб, что зубы постукивали. Этот проклятый тип возился внизу целую вечность. Мимо прошло еще несколько грузовиков, но я отсиживалась в кустах, моля бога, чтобы Мечо вернулся поскорее. Если бы он задержался еще на пять минут, я бы сама пошла его разыскивать.

Наконец он выполз из бездны, освещая дорогу лишь подфарниками. Я села рядом, и мы поехали. За всю дорогу он не сказал ни слова и даже не взглянул на меня. Видимо, он был так подавлен моими подвигами, что мне даже стало жаль его. Но что мне делать, если я такая бесчувственная, будто рыба, нафаршированная льдом? Почему-то я ничуть, ну ни капельки не похожа на остальных девушек, и это злит меня до смерти. Даже Цецка, даром что скромница, а стоит кому-нибудь дотронуться до нее пальцем, и она тут же накаляется до ста градусов. А раз я это про себя знаю,— что ж, сама и виновата. Если противно, так стой в стороне, не ввязывайся. В конце концов, любая игра должна вестись честно, по правилам. Как, например, шахматы. А я когда вижу, что мне грозит мат, прячу короля в карман и благополучно исчезаю. Это не дело.

Когда мы приехали в город, он высадил меня на какой-то темной улице, захлопнул перед носом дверцу и укатил. Подумаешь! Мне вдруг стало так легко, хоть лети! Теперь, если я не дура, надо будет хотя бы на год воз-

держаться от таких историй, но не знаю, устою ли. Беда в том, что память у меня короткая, и любопытна я — дальше некуда. Как бы то ни было, сейчас я была рада, что дешево отделалась, и бежала вприпрыжку до самого дома. В прихожей я хорошенько огляделась, чтобы увериться, не пострадал ли мой туалет от дуэли нашего века. Нет, все в порядке. Я открыла дверь и вошла в гостиную. За большим столом отец со своими тремя приятелями играли в бридж.

— Добрый вечер! — приветливо сказала я.

— Добрый вечер! — хором ответили они.

Они очень симпатичные люди, хоть и недалекие. Самый толковый из них — ударник, мне даже кажется, что он немного заглядывается на меня. Играли они с азартом, изредка отпивая по глоточку коньяка. Я заглянула в спальню — мама лежала на диване с толстой книгой в руках. Опять, наверное, уткнулась в своего Димитра Талева, перечитывает его чуть ли не десятый раз. Я снова вернулась в гостиную.

— Можно посмотреть? — спросила я.

Боже мой, какой робкий у меня голос! Услышала б меня Боби, она б каталась от смеха по полу.

— А ты знаешь эту игру, девочка? — спросил Спиридон, контрабасист.

— Немножко! — ответила я.

— Садись за мной! — сказал отец. — И не надоедай людям!

Я присмотрелась — играют в «плафон», и притом отлично. В комнате было тепло, пахло сигаретами и хорошим коньяком. Я окончательно пришла в себя и забыла про все неприятности. Люблю быть среди мужчин, лишь бы они не замечали меня. Пока их не прихватит, все они такие добрые и приятные.

Игра вдруг развернулась и стала очень интересной. Спиридон, партнер отца, начал с «двух без козырей». Отец объявил четыре бубны, имея на руках валетов и трефового туза. Ударник, сидевший слева от него, решил перейти к защите, объявив пять треф. На шесть бубен отца ударник ответил трефами.

Игра дальше развивалась таким образом. Ударник вышел с трефовым марьяжем. Спиридон сбросил потряса-

ющую карту — ни одной трефы, три бубны с тузом и десяткой. Отец побил трефовым тузом. Сейчас все дело было в том, чтобы нащупать бубновую даму и большой шлем. Следовало искать ее слева, там, где он получил отпор. Но я-то видела, что дама не там.

Отец пошел с маленькой бубны. Ударник выложил четверку. Отец подумал и взялся за десятку. Я не выдержала и ткнула его исподтишка пальцем в спину. Рука у отца дрогнула, он потянулся было к тузу, но выложил все-таки десятку. Хлоп! Тот, что сидел справа, побил дамой, пошел с трефы и выиграл! Отец выглядел очень огорченным, но поделом ему, ведь я его предупредила.

Когда игра закончилась, отец, проводив гостей, вернулся в гостиную. В его взгляде таился смех.

— Слушай, девочка, кто тебя учит шулерству? — спросил он.

— Как шулерству?.. Я же вообще не играла...

— Ладно, ладно, не притворяйся!.. А кто меня ткнул в спину?

Ну, что за человек! Я ему же хотела помочь, а он читает мне мораль!

— И ты не притворяйся! — сухо возразила я. — Будто я не видела, как ты заглядывал Евтиму в карты.

Он чуть не вытаращил глаза и вдруг расхохотался.

— Пусть даже так, но я уже взрослый, — ответил он. — А тебе не следует начинать с такого возраста... Что будет, когда ты доживешь до моих лет?

Я с удивлением поглядела на него. Неужели мне когда-нибудь будет столько лет, сколько ему? Что-то не верится, наверное, я умру раньше. Я ничего не ответила, лишь пожала плечами. В гостиную вошла мама.

— Ужинать будете? — спросила она.

— Я ужинала...

— Где ты ужинала? — с подозрением спросила она.

— У Боби, — мигом соврала я.

Похоже, что тон оказался не тот, и она, видимо, мне не поверила, потому что немного погодя снова спросила:

— Что же было на ужин?

— Жареная скумбрия!

Ну и брякнула! В этом году я ни разу не видела скумбрии в рыбных магазинах. Недавно мне очень хотелось скумбрии, но это совсем другое дело.

— Надо будет спросить Фанни,— сказала мама.— Интересно, где она достала скумбрию.

— Нигде! — заявила я.— Получили посылку от своего летнего хозяина из Созополя... Дяди Нико, если ты его знаешь...

Но она ничего не слышала о дяде Нико, и тем лучше. Не знаю, поверила ли она мне, но разговор на этом, слава богу, закончился, и я благоразумно поспешила перейти в спальню.

Следующее утро началось кошмарно. В десять минут девятого меня разбудил телефон. Спала я скверно и чувствовала себя разбитой. Желудок был в еще худшем состоянии.

Я взяла трубку.

— Алло!

— Попросите, пожалуйста, Бистру Григорову! — откликнулся слегка усталый женский голос.

— Да, это я... А кто говорит?

— Мать Евгения.

Я так перепугалась, что даже сама не поняла, как положила трубку. Но немного погодя телефон снова зазвонил.

— Нас, наверное, разъединили?

— Да, извините! — пробормотала я.

Совсем обалдела! Зачем было извиняться, если нас разъединили?

— Мне необходимо поговорить с вами.

А мне это вовсе не казалось необходимым. Что бы такое придумать?

— Извините, но мне надо идти на лекции. У нас обязательное посещение.

— Я вас очень прошу! — тихо сказала женщина.— Я подъеду к вам на такси. В крайнем случае поговорим по дороге.

Я стала лихорадочно соображать. Если ей так приспичило поговорить со мной, она наверняка не оставит меня в покое. Еще принесет ее, когда мама дома.

— Хорошо, приезжайте,— сказала я.— Буду ждать вас.

Я положила трубку. До сих пор не могу понять, почему я так испугалась, поняв, с кем говорю. Другое дело, если б она была женой Мечо, но ведь они давным-давно развелись. Я никогда не видела ее, но Евгений не раз мне говорил, что мать очень добрая и умная женщина. Наверное, она хочет что-то узнать у меня об Евгении, но что в этом страшного? И все-таки что-то было. Отец, мать, сын и я — в чужом пиру похмелье! Такую нелепую комбинацию и нарочно не придумаешь. В общем, получалось, что я каким-то образом сродни всем троим.

Я встала и наскоро оделась. Снова зазвонил телефон — это, конечно, Мечо.

— Воробышек, очень прошу тебя, прости меня,— мягко и ласково заговорил он.— Считай, что во всем виновато вино.

Чудак! Что прощать? Разве лишь то, что он оставил меня одну на темной улице.

— Ничего! — пробормотала я.— Забудь об этом.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он.

— Ничего,— ответила я.— Желудок пошаливает... Наверное, бифштекс был несвежий.

— Бифштекс тут ни при чем,— возразил Мечо.— Пожалуй, не надо было устраивать «ерш».

— Наверное,— сказала я.

— Будь здорова и не унывай, воробышек!.. Я скоро тебе опять позвоню.

И в ту же минуту он повесил трубку, а я почувствовала, что вовсе не горю желанием снова услышать его голос. Почему это несостоявшееся семейство так упорно меня преследует? Без них мне было бы куда лучше.

Наскоро умывшись, я пошла в гостиную. Слава богу, мама всюду прибрала и основательно проветрила — от вчерашних запахов не осталось и следа. Хоть я и была предупреждена по телефону, я удивилась, до чего быстро она прикатила... Она оказалась женщиной среднего роста, с приятным, но немного поблекшим лицом. Я сразу заметила, что она очень хорошо одета; темный костюм отлично сидел на ее тонкой фигуре. Очень даже интересную женщину упустил бедный Мечо, вот теперь и мается с разными недозрелыми студентками. Я провела ее в гостиную и усадила в кресло. Она внимательно разглядыва-

ла меня, просто с головы до пят. Не думаю, чтоб она осталась довольна, но что поделаешь — на всех не угодишь.

— Я хочу откровенно поговорить с вами! — начала она. — Вы, очевидно, догадываетесь, что речь пойдет об Евгении.

Я молча кивнула.

— Суд состоится через две недели. Не знаю, думали ли вы об этом, но положение его крайне серьезно. Единственная надежда — условное наказание. Если же оно будет не условным — с ним все кончено...

— Как то есть кончено? — удивилась я.

— Очень просто! — пояснила она. — Прежде всего его исключат из университета. Он останется без образования, без профессии, без будущего. И с пятном судимости. Скажите, кто примет на работу бывшего уголовника?.. Он просто погибнет, и я, как мать, не могу смириться с этим.

С виду она говорила очень спокойно, но голос ее вздрагивал. Надо отдать ей справедливость — она умела держаться с достоинством: какая-нибудь дура наверняка бы уже ревела.

— Я думала, что его не посадят! — пробормотала я. — Насколько я поняла, велосипедист тоже виноват.

— Велосипедист не виноват! — твердо сказала она. — Он тяжело ранен, потерял трудоспособность. Адвокат предупредил меня, что Евгений в очень тяжелом положении. Я должна прямо вам сказать, что единственный, кто может ему помочь, — это вы.

— Я?

— Именно вы! — сказала она, пристально глядя на меня. Ее взгляд, словно бы и мягкий, навалился на меня, как огромный камень.

— Я правда не понимаю, о чем вы, — искренне сказала я.

— Сейчас поймете, — ответила она. — Обстоятельства сложились так, что только вы знаете всю правду. Я пришла просить вас выступить свидетельницей на суде.

— Как так — свидетельницей? — удивилась я. — Я ведь не присутствовала при катастрофе... И ничего не знаю...

— Конечно, не присутствовали! — мягко заметила она. — Я вовсе не хочу, чтобы вы сочиняли или же давали ложные показания. Говорите только правду. Объясните

суду, что происходило в «Копыте», на следующее утро — у вас и вечером — в ресторане «Лебедь».

Я взбеленилась. Ясно, что этот олух все выболтал матери. Ни один стоящий мужчина так бы не поступил. Я чувствовала, как начинаю закипать, меня чуть в пот не бросило. Видимо, прав был Мечо со своими опасениями.

— Чем же это ему поможет? — сердито спросила я.

— Поможет! — так же мягко, но настойчиво сказала она.— Вы даже представить себе не можете, как поможет. Сейчас для суда события выглядят так: Евгений без всякого серьезного повода уводит отцовскую машину и несется по шоссе. Опасаясь погони, он превышает скорость и сбивает велосипедиста. А вы очень хорошо знаете, что на самом деле это не так. И мы должны доказать это суду. С его стороны это был не просто каприз. Он был потрясен, возбужден до предела, вне себя от отчаяния. Да вы лучше меня знаете, что он просто голову потерял от... от ревности.

— От ревности? — переспросила я в искреннем изумлении.— Почему же от ревности?

Честное слово, такая мысль до сих пор не приходила мне в голову. Ее олух и вдруг ревнивец — смехота, да и только! Я ощутила на себе ее проницательный взгляд, потом в нем мелькнуло колебание.

— А по-вашему, от чего?

— Я думала, что он просто решил позлить отца. Или же разыграть какую-то идиотскую шутку.

Мне показалось, что на лице ее отразилась беспомощность.

— Разве вы не были его подругой?

— Не знаю, что вы под этим подразумеваете! — сухо ответила я.

Она встрепенулась.

— Ничего плохого, конечно! Но неужели вы не знаете, что он влюблен в вас?

Мне стало смешно. Вот так влюбленный! Такие, как он, влюбляются на неделе по три раза.

— Я не думала об этом! — сказала я.— И другие ухаживали за мной — что ж, так всех и считать влюбленными?

Я почувствовала, что здорово ее задела. Видно, она очень любит своего сыночка, если так обиделась за него. Мне казалось, что она сейчас обрушится на меня, но она лишь опустила голову.

— Он действительно любит вас! — с горечью сказала она. — Подумайте немного, и вы все поймете. И, может быть, тогда войдете в его положение. Да разве это пустяк — пойти в ресторан с его отцом?

— Но он знал, что это просто шутка! — вскипела я. — Или, вернее, я это сделала на пари!

— Нет, не просто шутка! — сказала она. — Вы правдивая девушка и положа руку на сердце должны признать, что я права.

Да, пожалуй, что-то верное в ее словах было.

— Ладно — было и самолюбие! — добавила я.

Она вздохнула, машинально открыла сумочку и вынула коробку сигарет и элегантную зажигалку.

— Извините, могу я закурить? — спохватилась она.

— Пожалуйста!

Она глубоко затянулась, как мужчина, и лицо ее сразу подурнело.

— Не будем больше это обсуждать! — устало сказала она. — Проявим порядочность и изложим перед судом факты. Я думаю, что суд сумеет разобраться.

Нет, это уж слишком. Эта бесцеремонная особа, чтобы спасти своего сыночка, готова, не моргнув глазом, утопить кого угодно.

— Ничего не могу вам обещать! — хмуро сказала я. — Не знаю, понимаете ли вы толком, чего вы от меня требуете. Если поднимется шум, я запросто вылечу из университета...

— Никакого шума не будет! — сказала она. — Дело будет слушаться при закрытых дверях.

— А если — нет?

— Будет рассматриваться при закрытых дверях! — нетерпеливо повторила она. — В противном случае я освобождаю вас от обязанности выступить в качестве свидетеля.

Смотрите-ка — она меня освобождает! Столько форсу, как будто она на самом деле может меня обязать!

— Не знаю! — сказала я, пожав плечами. — Никакого злого умысла у меня нет, но вы слишком многого от ме-

ня требуете. Прежде всего, если я пойду на суд, узнает мама. А мне даже думать не хочется, что тогда будет.

— Мать ваша и так все узнает! — хладнокровно заявила она.

— Каким образом?

— Я ей расскажу,— ответила она.— И попрошу ее содействия. Не сердитесь, а поймите меня. Мой сын в опасности, и я должна за него бороться. Тем более что мне не надо ничего, кроме правды!

Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Я хорошо понимала ее. Эта женщина сдержит свое слово. Такие невзрачные на вид бабенки становятся страшными, если решатся на что-нибудь.

— Хорошо, я подумаю! — сказала я.— А пока прошу меня оставить, мне надо на лекции.

Она встала и, чуть слышно проговорив «до свиданья», пошла к выходу. На пороге она вдруг остановилась, испытующе посмотрела на меня и вполголоса сказала:

— Я все же запишу вас свидетелем, чтобы не упустить срока. А ваше право — явиться или нет.

Она ушла. Я в раздражении вскочила с места и чуть не пнула кресло, на котором она сидела. Ну конечно же, она зарвалась. Выходит, что ради ее сосунка, который не умеет владеть собой, я должна позориться перед всем миром. Нет уж, спасибо. Так я рассуждала, но на душе все равно было неспокойно. Эти матери, когда затронут их родительские инстинкты, становятся просто ведьмами. И моя мать тоже такая, хоть и выглядит доброй и тихой. Если она узнает про эту историю, у кого-то полетят перья. Скорее всего, у Мечо — для этой цели он самый подходящий. Для начала она процитирует ему что-нибудь, а что будет потом — лучше не думать. Умнее всего было бы самой рассказать ей все или хоть как-то ее подготовить. Но я знала, что не решусь на это. Уж такая я — жду, пока несчастье не свалится мне на голову, и лишь тогда начинаю пищать.

Я даже не заметила, как добралась до университета. Никуда не сворачивала, ни на что не заглядывалась. В аудитории кашляли и зевали, профессор что-то бубнил себе под нос. Не по нутру мне все это. И вообще непонятно, какого черта я поступила на отделение романской фило-

логии, когда французский мне вовсе не по душе. Приходится то и дело щекотать нёбо языком и кособочить рот. И французская литература мне не нравится, в ней нет ничего мужественного. Одно время я увлекалась Сирано, но потом и к нему остыла. В самом деле, с чего они взяли, что только тот, кто умеет болтать, умеет и любить? Даже Кристиан стал мне милее, несмотря на свои противные русые усики. Однажды я развела такую философию перед Sir'ом, и он страшно на меня обиделся. Надо с ним быть поосторожней.

Последняя лекция была поточная, и мне удалось смыться. Но в «Берлине» никого не оказалось, пришлось идти в «Телевизор». Я не люблю туда ходить, потому что отец часто проходит мимо. Однажды он увидел меня сквозь витринное стекло, но прикинулся рассеянным. Евгений тоже заходит туда, но, слава богу, после этой заварухи ни разу не появлялся. Сейчас там сидели оба его приятеля; Жоро, как всегда, чистенький и наутюженный, в идеально начищенных башмаках, и Владо — лохматый и небритый. Они пили одну минеральную и говорили сиплыми голосами, — наверное, накануне пропадали где-нибудь допоздна. Я подсела к ним, не дожидаясь приглашения, потому что они втравились в какой-то спор. Обычно я не вникаю в их болтовню, от нее только зло берет. В таких случаях я просто сижу рядом и глазею по сторонам. Но на этот раз смотреть было не на что — разве что на каких-то сопляков, которые пили вермут и ужасно воображали. Потом мне попался на глаза тот пошляк писатель в толстом черном свитере. Он тоже взглянул на меня, но как-то насмешливо и надменно. Я чуть не взорвалась — этому что еще нужно? Но вскоре я убедилась, что он даже не узнал меня, а просто у него такая манера смотреть на людей.

Через четверть часа мне все это порядком надоело, и я поневоле стала прислушиваться к разговору рядом.

— Все физики, как маньяки, убеждены, будто материя имеет некие неделимые элементарные частицы, — возбужденно говорил Владо. — Даже их последнее открытие — аннигиляция — всего лишь мистическая выдумка. Плюс и минус якобы дают нуль. Пусть так, но да-

же в математике нуль все же какой-то кружочек, а не бессмысленное ничто.

Жоро, в своем каучуковом галстучке, с укоризной глядел на него.

— Не передергивай, пожалуйста! — сказал он. — Аннигиляция означает, что масса перестает быть массой и превращается в энергию.

— Ну да, превращается, — сердито возразил Владо. — Если между двумя объектами существует знак равенства, это значит, что они являются двумя различными видами существования некоего первичного начала. Энергия не может быть каким-то нулем между материей и антиматерией. По их логике выходит, что и энергия должна быть составлена из каких-то элементарных частиц, которые являются либо материей, либо антиматерией.

— А как по твоей логике? — коварно спросил Жоро.

— По моей простой логике, хотя я и не физик, никаких элементарных частиц нет. Элементарно лишь их определение. Ь сущности, между бесконечно малым и бесконечно большим нет никакой принципиальной разницы, и то и другое непостижимо.

Жоро насупился и отхлебнул воды, хотя Владо успел не раз стряхнуть в нее пепел с сигареты.

— Глупости! — сказал он.

— А для меня это аксиома! — торжественно заявил Владо. — Я не уверен, спиралевидна ли вселенная или же искривлена, как говорит Эйнштейн. Но она чертовски похожа на воронку, в том смысле, например, что происходит из некоего неизмеримо малого начала и развертывается в непостижимую бесконечность. Нечто вроде клубов дыма, которые пускает курильщик и которые разрастаются беспредельно. Но и это сравнение примитивно и иллюзорно, так как пространственные измерения — лишь точка зрения, и ничего более. В сущности, бытие — непознаваемое для нас единство форм и проявлений, которые мы условно называем субстанцией.

У меня руки чесались — до того хотелось запустить пепельницей в голову этому небритому дураку. Ненавижу такие разговоры, они нагоняют на меня невыносимую тоску. Что-нибудь похожее, наверное, испытывает крот, когда вылезает из норы и это ужасное солнце бьет в его

подслеповатые глаза. А кроме того, я была уверена, что оба доморощенных физика ничегошеньки в физике не смыслят.

— Будет! — сердито сказала я и на всякий случай отодвинула пепельницу на другой конец стола.

Спорщики, по-моему, даже обрадовались — до того они запутались в собственных теориях.

— Ну и ну! — удивленно воскликнул Владо.— Откуда ты взялась?

— Добрый день! — сказала я.

— Ты где пропадала? С Евгением видишься?

— Нет,— сказала я.— А вы?

Они переглянулись.

— Не видно его,— ответил Жоро.— И даже к телефону не подходит...

— Вчера мне звонила его мать,— сказал Владо.— Меня не было дома, она передала, что опять позвонит.

«Дело ясное.— с досадой подумала я,— собирает свидетелей». Ребята стали рыться по карманам, собирая мелочь, чтобы расплатиться за минеральную воду.

— Владо, ты не проводишь меня до дому? — спросила я.

— Зачем? — удивленно спросил он.

— Так просто — пофлиртуем немного.

— А Жоро не лучше для этой цели? — спросил он со слабой надеждой в голосе.

— По-моему, нет...

— Ну, ладно,— согласился он.— Хорошо, ты хоть живешь недалеко.

Мы вышли на улицу. В это время она кишит народом, все бегут голодные и толкаются, как коровы. Чтобы меня не затерли, я ухватилась за руку Владо, но он этого даже не заметил. В сущности, это хорошо, это мне в нем нравится. А если нас увидит отец, то по одному виду кавалера сразу поймет, что подозревать меня не в чем. Совсем другое дело, если б он встретил меня, например, под руку с Мечо. Перед ВИТИЗом толпились маньячки с первых курсов, вокруг них увивались обожатели-снобы. Было довольно холодно, бедняжки мерзли в своих платьишках, но все же так усердно строили глазки, что мне стало дурно. Не выношу их сальные волосы и чулки под резинку,

как будто всех их принесло сюда из Ихтимана или Разграда.

— Ну, начинай! — заговорил наконец Владо.

— Что начинать? — не поняла я.

— Ты ведь собиралась флиртовать?

— Нет, я раздумала, — сказала я. — Сейчас мне хочется задать тебе один идиотский вопрос.

— Очень идиотский?

— Совершенно идиотский.

— Задавай! — сказал он и весь напыжился от гордости.

— Скажи мне, Владо, ты был когда-нибудь влюблен?

Он так разочарованно взглянул на меня, что я пожалела о своем вопросе.

— Ну, конечно!..

Я с любопытством оглядела его — занятно было бы посмотреть, как он пыхтит и млеет от любви.

— Хорошо, объясни мне тогда своими словами, как именно это происходит?

— Что тут объяснять? — недовольно пробурчал он. — Ты ведь романы читаешь? Там все объяснено точь-в-точь.

— Читаю, конечно. Но мне хотелось бы выслушать мнение нормального человека.

— Ты считаешь меня нормальным? — обиженно спросил Владо

— Нет, конечно, но ты, по крайней мере, можешь быть объективным. Писатели на этом зарабатывают, им простительно врать.

Владо почесал нос.

— Постой, вопрос не так уж прост. Можно, я немного подумаю?

— Пожалуйста. Сколько угодно!

Пока он размышлял, я глядела на очередь, вытянувшуюся у задней двери троллейбуса. Рожденные любить так толкались локтями у двери, что любой ответ заранее казался мне фальшивым и надуманным.

— Знаешь, что это такое? — вдруг заговорил Владо. — Ученые говорят, что это — вирусное заболевание. Но интересен результат. Внезапно, ни с того ни с сего, ты на-

чинаешь воображать, будто другой человек является началом и концом света.

— Нечто вроде твоей субстанции?

— Вот именно! — подтвердил он, довольный, что я его поняла. — А ты что ж — никогда не была влюблена?

— Если ты правильно мне объяснил, — пожалуй, никогда.

— Жаль! — сказал он.

— Почему жаль? — спросила я. — Ведь ты сам сказал, что любовь — болезнь?

— Ну и что ж? — сказал он, пожав плечами. — Дело в том, что каждый влюбленный готов ради любимой отказаться от самого себя. Ты понимаешь, как это важно? Это все равно как если бы некоторый предмет вдруг освободился от гравитационных сил. Это вид внутренней свободы, которую ни одно другое состояние не может тебе дать.

— Я не понимаю тебя! — сказала я. — По-моему, это скорее рабство.

Владо энергично замотал головой.

— Не совсем! — сказал он. — Внешнее рабство не страшно, особенно если ты его идеализируешь. Плохо, когда человек раб самого себя, раб своих инстинктов, например эгоизма, не говоря уже о благоприобретенных пороках вроде карьеризма и тому подобного.

Вряд ли он прав. То, что у тебя внутри, терпимо; плохо, когда кто-нибудь другой сядет тебе на шею. Но я не возразила Владо: терпеть не могу философствовать и обобщать.

— Слушай, — сказала я. — Как ты думаешь, Евгений был когда-нибудь влюблен в меня?

— Ну, конечно! — воскликнул он, не раздумывая.

— Он сам тебе сказал?

— Зачем ему говорить? Я не слепой.

— Вот уж не было заметно! — недовольно сказала я.

— Ну и ну — не было заметно! — с непонятной ехидцей воскликнул Владо. — Иногда он бывал просто смешон. Разве ты не помнишь, как последний раз он из-за тебя напился в стельку?

— Почему из-за меня?

— Потому что ты устраивала ему разные номера.

Я замолчала: не стоило расспрашивать его дальше. Если мать Евгения подцепит Владо, она сделает из него опасного свидетеля. До самого дома мы молчали. Придя домой, я застала наших за обедом. Отец, как всегда, даже не взглянул на меня, а мама встала и налила мне полную тарелку куриного супа. У нас очень редко готовят первое; наверное, от этого у меня хронический запор.

— Кто-нибудь приходил к нам сегодня? — внезапно спросила мама.

— Никто, — ответила я. — Откуда ты взяла?

— Так мне кажется, — сухо ответила она.

Она выразительно поглядела на отца, но тот уткнулся носом в тарелку и не обращал на нас никакого внимания.

— Ты куришь? — снова спросила она.

— Нет, — ответила я и умильным голосом добавила: — Дома, во всяком случае, не курю...

— Дело в том, что я вытряхивала пепельницу, — сказала она.

Я промолчала. И в то же время почувствовала, что петля начинает потихоньку затягиваться вокруг моей шеи.

Но прошло еще несколько дней, и ничего особенного не случилось. Я успокоилась и совсем было решила, что мой добрый ангел вылил в раковину все уготованные мне горькие чаши. Я начала регулярно ходить на лекции, и однажды Sir похвалил меня, сказав, что моя контрольная работа лучшая на курсе. Честолюбивая и завистливая Боби просто позеленела. Зато Цецка расцеловала меня на перемене и сказала, что очень, очень за меня рада. Она славная девчонка, жаль только, что мужчины вгоняют ее в такой трепет.

Как-то на троллейбусной остановке я встретила Бедо. Я притаилась, но он все же увидел меня, подбежал и сильно дернул за рукав плаща. Вид у него был свирепый.

— Я с тобой еще разделаюсь — так и знай! — пригрозил он. — Оторву голову, как цыпленку!

— Да ну? — сказала я.

Я так испугалась, что ничего умней сказать не нашлась.

— И не прикидывайся святой! — мрачно добавил он. — Я отлично знаю, чем ты занимаешься!..

Хорошо хоть, что я легко все забываю. Через несколько минут я уже шагала по бульвару, напевая под нос, а ря-

дом щелкали о тротуар каштаны, чистые и блестящие. Совсем даже неплохо жить в этом мире, лишь бы не натыкаться на неприятности. Но беда в том, что единственный способ не иметь неприятностей — это не встречаться с людьми. Придя к такому выводу, я моментально завернула в «Телевизор». Очень захотелось посидеть где-нибудь и поболтать, но в зале не оказалось никого из знакомых. Я бы подсела даже к Евгению, но его тоже не было.

Напоследок я стала ловить себя на том, что все чаще думаю об Евгении. И чем больше думаю, тем чаще вспоминаю разные мелочи. Теперь мне уже не казалось таким невероятным, что он влюблен в меня, непонятно только было почему. Вообще нет ничего хуже, чем анализировать жизнь. Иной раз начинаешь подозревать, что подлинная жизнь совсем не такая, какой она тебе представляется. Даже лица людей становятся совсем иными. Поэтому я никогда ничего не анализирую, а живу как придется. Начни что-нибудь анализировать, и оно неизбежно рассыплется и умрет у тебя в руках. Ну, вот и я взялась обобщать,— уж не старею ли я?

Вскоре снова начались большие неприятности.

Позвонил Мечо и попросил встретиться, хотя бы надолго. Я ждала его на нашем обычном месте, он пришел пешком и выглядел сильно озабоченным. Он повел меня в незнакомый кабачок, и притом в заднюю комнатку. Но когда мы проходили через общий зал, какие-то трое в плащах поднялись с мест и поздоровались с ним. Мне показалось, что они же глазели на нас, когда мы проезжали на машине мимо «Берлина». Мечо совсем приуныл и тяжело опустился на неуклюжий стул. Выбрит он был небрежно и показался мне немного постаревшим. Да и комнатка была отвратная — без окон, с полинявшими ковриками на стенах; пахло мастикой для полов и соломой от декоративных подушек.

— Что будешь пить? — спросил он.

Таким тоном спрашивают пьяниц. Нет, совсем не похож на себя добрый, изысканный Мечо.

— Все равно, — сказала я.

День был прохладный, и он заказал глинтвейн. Очевидно, и здесь его хорошо знали, потому что официантка чуть не бросилась ему на шею. Пока не принесли вино, он говорил о всяких пустяках, но было видно, что думает

он о другом. Лишь после двух стаканов лицо его немного разгладилось.

— Что у тебя нового? — спросил он.

— Ничего.

— Будто бы ничего! — возразил он. — Я слышал, что моя бывшая супруга заходила к тебе?

— Это она тебе сказала? — удивилась я.

— Скажет она! — неприязненно возразил он. — С ней я вообще не разговариваю, а тем более теперь, когда она совсем взбесилась... Но я узнал — город не так уж велик.

— Ну да, — сказала я. — Приходила.

— Просила выступить свидетельницей?

— Что-то в этом роде.

— И ты согласилась?

— Что я — с ума сошла?

Лицо у него прояснилось.

— Правильно, моя девочка! — с живостью воскликнул он. — С какой стати нам платить так дорого за чужие глупости!

Это верно, но мне стало неприятно. Как-никак Евгений ему сын, а он говорит о нем, словно о чужом человеке. Неужели ему так безразлична судьба собственного сына? Он испытующе поглядел на меня и продолжал, будто рассуждая вслух, однако время от времени поглядывая на дверь.

— Имей в виду, что если ты выступишь на суде, нам с тобой несдобровать. Особенно мне. Такие вещи люди никогда не прощают. Скандал само собой, но все, на чем мы держимся, тут же рухнет. И тогда — прости-прощай! Кто знает, куда меня сунут — то ли на утильсырье, то ли в «Бытовые услуги».

Никак не ожидала, что он так откровенно мне все выложит, будто разговаривает с приятелем. Неприятно видеть испуганного мужчину, а Мечо выглядел жалким до смешного.

— Ну и что ж такого? — сказала я. — Не сомневаюсь, что и там ты будешь директором.

— Не говори глупостей! — сердито проворчал он.

— Вовсе не глупости! — рассмеялась я. — На такой работе у тебя будет куда меньше хлопот и неприятностей.

Конечно, я нарочно подзуживала его. Забавно было смотреть, как у него перья становятся дыбом, будто у рассерженного петуха.

— Не учи меня жить! — сказал он, повысив голос.— Я хорошо знаю, кто я и что из себя представляю... А честь?.. А позор?.. А общественное положение?

Как его не понять! Такой солидный красавец мужчина, с такими усами, и вдруг — какой-то захудалый директор. Весь фасон будет испорчен.

— Ладно,— сказала я.— Мне тоже так легче. А сына твоего бросим львам — пусть разорвут его, как древних христиан.

Мечо обалдело поглядел на меня; он, видимо, понял, что сболтнул лишнее.

— За него не бойся! — небрежно бросил он.— У меня такие связи, что я и волоску не дам упасть с головы Евгения.

Начни он с этого, я, быть может, и поверила бы. Но сказанного не воротишь. Если б у него были такие необыкновенные связи, вряд ли б он так дрожал за собственную шкуру. Мы выпили все вино до капли, мне стало весело и даже расхотелось уходить, но он нетерпеливо глянул на часы.

— Мне пора!.. Надо идти на доклад к министру.

И снова он соврал. Я уже хорошо изучила его и знала, что ни к какому министру он не пойдет, коль от него разит вином и апельсинами. Когда мы проходили через зал, трое в плащах еще были там. Они почтительно привстали, но я заметила, как двое из них быстро перемигнулись. Что поделаешь с такими нахалами — мне оставалось лишь высунуть им язык. Когда мы вышли, Мечо, торопливо оглядевшись по сторонам, пробормотал:

— Мне надо спешить, моя девочка. И — выше голову!.. Ничего не предпринимай, не посоветовавшись со мной!.. Иначе мы пропали!

И бросил меня посреди улицы. Меня вдруг охватило такое омерзение, хоть кричи. В конце-то концов, неужели он считает меня дурочкой, которой можно вертеть как пешкой? Только теперь мне стало ясно, что и в «Аистово гнездо» он приглашал меня с корыстными целями. И если бы он в ту ночь в машине добился своего, я бы сейчас оказалась игрушкой в его руках. Я шла по улице, отшвыривая ногами каштаны, и чуть не плакала. Конечно, и я не без греха — нечего было соваться, куда не следует. Наверное, вид у меня был странный, потому что все про-

хожие оборачивались мне вслед. Правда, ничего особенного не случилось, но мне было чертовски тяжко и противно.

Вернувшись домой, я хорошенько выплакалась. Такое со мной бывает очень редко — быть может, раз в год. Мама, придя с работы, сразу же уставилась на меня.

— Ты почему плакала? — спросила она напрямик.

— Я — плакала? Ты же знаешь, что я никогда не плачу.

Это правда — перед ней я не плакала уже несколько лет.

— Полно, полно,— ласково сказала она.— Будто я не вижу, что у тебя глаза красные!

— Не знаю, с чего бы это,— сказала я.— Но я не плакала.

Мама внимательно поглядела на меня.

— Потерплю еще немного! — сказала она.— Насильно учить тебя уму-разуму я не стану.

Я так оторопела, что убежала на кухню. Непонятно все же, на что она намекала. Вряд ли она могла узнать про мои далеко не детские похождения. Иначе б она уже сто раз, мягко выражаясь, отодрала меня за уши. Поразмыслив, я немного пришла в себя. И все же два дня я никуда, кроме как на лекции, не ходила. Видно, не так уж много нужно человеку, чтобы зажить размеренной и добропорядочной жизнью.

На третий день мне позвонил Владо — до этого он никогда мне не звонил.

— Биса, ты не заглянешь завтра в «Телевизор»? — спросил он.

— А что, я кому-то нужна?

— Нет, но я хочу с тобой поговорить.

— Сказать по правде, мне не хочется.

— Ладно! — сказал он.— Буду ждать тебя ровно в одиннадцать. Не забудь!

И повесил трубку. Признаться, это приглашение немного встревожило меня. Прежде всего, Владо никогда никому не назначает свидание на определенное время. В «Телевизор» он является, как залетная птичка, и уходит, не сказав «до свиданья». Всегда находятся друзья, которые расплачиваются вместо него за минеральную воду или кофе. Завтрашняя встреча ничуть меня не привлекала, но

деваться было некуда. На другой день я пошла туда, нарочно опоздав на полчаса, но Владо сидел и ждал меня. Он ничего не сказал, будто и не назначал мне свидания. Мы пили кофе, он говорил что-то о Годаре, но не заносился, как некоторые снобы. И когда я успокоилась, решив, что он уже забыл, зачем позвал меня, он внезапно спросил:

— Ты будешь свидетельствовать по делу?

И он пристально, как гипнотизер, уставился на меня.

— Да подите вы ко всем чертям! — вскипела я. — Что вы дергаете меня, каждый в свою сторону? Я-то тут при чем?

Владо ничуть не смутился, лишь почесал небритую щеку.

— Как то есть при чем? — спокойно спросил он. — В сущности, все из-за тебя и началось...

— Еще чего — из-за меня! — возмущенно воскликнула я.

— А из-за кого же? В «Копыте» он чуть не взбесился от ревности...

Опять двадцать пять — я, видите ли, во всем виновата. Я уже устала отбиваться от них.

— Постой, а ты-то сам явишься?

— А как же иначе?

— Дело хозяйское!.. Но на этот раз вы обойдетесь без меня!

— И ты явишься! — спокойно возразил он. — В противном случае ты сама исключишь себя из нашего общества.

Я даже рот разинула. Никогда не думала, что он может заговорить в таком тоне.

— Ты хочешь сказать — из нашей компании?

— Нет! — сказал он, покачав своей немытой головой. — Из общества, в котором ты живешь и учишься.

— Ааа, значит, запугиваешь! — разозлилась я.

Теперь и он вышел из себя.

— Постыдись, дуреха!.. Зачем мне тебя запугивать? Никогда этим не занимался. Просто-напросто я объясняю тебе, как человеку, что случится, если ты меня не послушаешься.

— Пусть даже так! — сказала я. — Тогда лучше я сама себя исключу, чем ждать, пока меня исключат другие.

Он внимательно поглядел на меня.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего особенного. Если эта история выплывет наружу, за меня сразу возьмется комсомольская организация.

— Не бойся! — миролюбиво заметил Владо.— Они тебя поймут.

— А если нет?

— А если нет, найдутся люди, которые объяснят им, как поступить! — нетерпеливо возразил Владо.— Раз я обещаю, значит, я уже все обдумал...

Потом он объяснил мне, насколько серьезно положение Евгения. Хуже всего то, что он пытался скрыться. Завел машину в какой-то переулок, старательно вытер руль и рычаги управления, чтобы не осталось отпечатков пальцев, и отправился домой спать. На другой день он выглядел совершенно спокойным, да и бояться вроде было нечего — все следы были тщательно уничтожены.

— Как же его поймали? — спросила я.

Владо с удивлением посмотрел на меня.

— Ты разве не присутствовала при разговоре Игнатова с автоинспектором?

— Нет, конечно. Я стояла в стороне.

— Дело в том, что капитан разглядел Евгения, когда пытался остановить его в Панчареве. Он не обратил на него особого внимания, но записал номер машины. И когда Игнатов поднял шум, что у него украли машину, капитан догадался, в чем дело. Он примерно описал, как выглядит похититель. Тогда Игнатов сам полез в ловушку и Евгения втянул. «Уж не Евгений ли это?» — подумал он вслух. Спрашивается, с чего это ему пришло в голову?

Я-то знала с чего, но промолчала.

— Ну, и потом?

— Потом нашли брошенную машину, увидели оцарапанное крыло. На велосипеде обнаружили следы краски от этой самой машины. Капитан вспомнил, как проговорился Игнатов, и Евгения вызвали для расследования. И он, конечно, сразу же во всем признался.

— Я всегда знала, что он дурак! — со злостью сказала я.

— Почему дурак? — пожал плечами Владо.— В конце концов...

— Конечно, дурак! — перебила я его.— Надо было либо сразу идти в милицию, либо отрицать все до конца. Какой суд осудил бы его на основе таких шатких улик?

Владо забарабанил пальцами по столу.

— Объективно говоря, это так! — пробормотал он.— Но ведь на свете существует еще и совесть.

У него, оказывается, есть совесть! Если так, то почему же она так долго молчала? Меня, например, совесть никогда не беспокоит.

— Не знаю, есть ли у него совесть! — угрюмо сказала я.— Но что характера у него нет, это ясно.

Домой я вернулась в полном замешательстве. Конечно, я ничего не обещала Владо, но дело не в этом. Когда вернулась мама, мне пришлось насвистывать разные мелодии, чтобы уверить ее, будто все в порядке. Не знаю, удалось ли мне обмануть ее, но в тот вечер она мне показалась необычно молчаливой и расстроенной.

Прошло еще несколько дней. Очень хотелось позвонить Мечо, и не ради забавы, а чтоб он меня немножко подбодрил; ведь как-никак интересы у нас общие. Но я так и не осмелилась. После нашей последней встречи он стал мне как-то противен. Самое странное при этом, что я сочувствовала ему больше, чем Евгению. Так уж я устроена — даже в кино я становлюсь на сторону злодеев, а не тех, кто их преследует и неизменно расстраивает все их планы. Кто знает, быть может, во мне сидит врожденное злодейство. Но у бедного Мечо положение и правда незавидное. У бедняги ведь нет абсолютно ничего, кроме директорского места, которого он, по словам Евгения, вовсе не заслуживает. Нет ни жены, ни сына, ни подруги, и даже ума в обрез, недаром он то и дело попадает впросак. Он может существовать, лишь присосавшись к чему-нибудь, как пиявка. Но мне и пиявок жалко и, когда я вижу их в банке, так и хочется сунуть им палец. Разве они виноваты, что по-иному не могут жить?

Об Евгении я думала реже, у него друзей и защитников хоть отбавляй. Да и в душе я не была так уж уверена, что он заслуживает оправдания. Что ни говори, а раздавить человека — не пустяк. Доказывай после этого, что ты прав, а все остальные — виноваты.

Иногда по утрам звонил телефон, но я не поднимала трубки. Боялась, как бы это не оказался Мечо или ка-

кой-нибудь еще возмутитель спокойствия. Изо всех сил я старалась не думать обо всей этой неприятной истории. Я давно заметила, что если на что-нибудь не обращать внимания, то оно само собой мало-помалу исчезает. Наверное, это и правда так, недаром чаще всего болеют те, кто только и думает о болезнях. А я никогда ничем не болею, даже гриппом.

Но на этот раз так не получилось. Однажды вечером, за несколько дней до суда, мама неожиданно спросила меня:

— Ну, как ты решила, Бистра, пойдешь на суд?

Я так и примерзла к месту. А она говорила совсем спокойно и смотрела на меня, не сердясь.

— Какой суд?

— Не прикидывайся, я все знаю.

Слава богу, что она не знает всего, иначе от ее спокойствия ничего бы не осталось.

— А как ты думаешь? — осторожно спросила я.

— Ты непременно должна пойти!.. Другого выхода нет!

— Почему?

— Сама знаешь почему. Прежде всего это твой долг.

— Мой долг! — взвизгнула я и почувствовала, что меня понесло.— Запомни: мне это слово непонятно. И, может, слово распрекрасное, но вы его так испохабили, что тошно слышать.

Она еле заметно усмехнулась, а быть может, мне только показалось. Нет, вид у нее был очень удрученный.

— Я говорю о долге, чтобы не обидеть тебя,— сказала она.— А если ты подумаешь хорошенько, то убедишься, что это в твоих интересах.

— В моих интересах? — воскликнула я.— Хорош интерес: стоять перед судом и срамиться на глазах у всех!

Мама вздохнула.

— Так или иначе, а шила в мешке не утаишь,— с горечью сказала она.— А когда люди увидят тебя, они поймут, что ничего страшного не произошло.

— Конечно, ничего страшного не произошло! — воскликнула я.— Ведь я тогда просто пошутила. Да и то потому, что Евгений накрутил меня.

— Не сомневаюсь! — убежденно сказала мама. — В нашей семье все порядочные и добрые люди. Это у нас в крови.

Бедная мама! Как хорошо, что она витает в своих литературных облаках.

— Ладно, допустим, что я пойду на суд. А ты придешь?

— Нет! — сказала мама. — От этого унижения я тебя избавлю.

Вот этого-то ей не надо было говорить. Я взбеленилась и раскричалась на весь дом:

— Не пойду, хоть на кол меня сажайте! Не пойду, не пойду, не пойду! Так и знай: ни за что на свете не пойду!

Я бросилась на постель и заревела.

Никогда мне не забыть тот мерзкий день.

Слушание дела было назначено на девять, но началось в десять. Евгения до суда я не видела, лишь на миг мне показалось, что где-то мелькнула его долговязая фигура. Да и Владо сразу же утянул меня в какой-то вестибюль, а потом в вонючий буфетик. Наверное, он считал нужным занимать и развлекать меня, но делал это так неумело, что я совсем скисла. Наконец он это заметил и перешел на анекдоты. Все они были бородатые, но чтоб хоть как-то сохранить форму, я старалась улыбаться. Мне никогда раньше не приходило в голову, что этот рассеянный парень такой добряк. Все же Владо удалось заинтриговать меня, рассказав со всеми подробностями биографию Элизабет Тейлор. Исключительная женщина — четверо мужей, миллион глупостей, — но я ей ничуть не позавидовала. Четверо таких породистых мужиков, как ее кобели, — слишком много для любой нормальной женщины. Владо очень обрадовался, заметив, что я оттаяла, и начал громоздить новые подробности, но в эту минуту появилась мать Евгения.

Я заметила ее издалека — у нее был очень расстроенный вид. Она подошла к нашему столику и окинула меня холодным, отсутствующим взглядом.

— Мне очень жаль, но процесс будет открытым! — сухо сказала она. — Согласно нашему уговору, вы имеете право не выступать.

— Спасибо, — сказала я, — но я выступлю.

Я нарочно не смотрела на нее, но зато увидела, как просиял Владо.

— Вот и прекрасно! — взволнованно сказала она.— Если так, то примерно через четверть часа подойдите к залу.

Не успела она отойти, Владо стукнул кулаком по столу так, что опрокинул стакан.

— Браво! — воскликнул он.— И запомни навсегда, что не обывателям нас судить. Ничего, пусть сидят в зале... Правы мы или виноваты, мы отвечаем только перед собой или, самое большее,— перед всеми честными людьми.

Пожалуй, он был не совсем прав, но я промолчала. В этом мире так устроено, что именно обыватель может запросто оплевать тебя. Немного погодя мы подошли к залу заседаний. Суд уже давно начался, и возле двери с унылыми лицами слонялись свидетели. Я сразу же заприметила возле одной из мраморных колонн крепко сколоченную фигуру Мечо. Наверно, и он меня увидел, потому что тотчас же повернулся ко мне своей массивной спиной. Ну и пусть — он уже не мог меня задеть.

— Видела его? — шепотом спросил Владо.

— Не говори мне о нем, пожалуйста,— сердито ответила я.

— Вот не думал, что он придет,— задумчиво пробормотал Владо.— Значит, он не так уж глуп, как о нем говорят.

Сначала вызвали Владо, а потом меня. Когда я вошла в зал, то снова увидела его — он сидел в первом ряду и так смотрел на меня, будто хотел подбросить меня, как птенчика, в воздух. Я так смешалась, что не заметила, есть ли еще в зале люди. За барьером я увидела Евгения — он был бледен как полотно, но держался спокойно. На мгновенье наши взгляды встретились, и мне показалось, что он вспыхнул.

— Сюда, сюда, товарищ! — нетерпеливо сказал судья.— Станьте передо мной!..

В кино я видела много разных судебных процессов, но этот был такой убогий и будничный, что мне стало стыдно, и я впервые в жизни пожалела, что бог обидел меня ростом. Быть бы как Фанни! Пока судья задавал мне формальные вопросы, я разглядывала судебных заседателей.

Одна из них — лопоухая женщина с массивной нижней челюстью людоеда, другой — мужчина средних лет, на первый взгляд довольно приветливый и воспитанный. Сам судья выглядел настолько буднично, что вполне мог бы продавать лотерейные билеты. Догадались бы хоть накинуть какую-нибудь мантию на его потрепанный костюм. Сбоку сидел совсем уж невзрачный юноша в расстегнутой рубахе, хотя на дворе стоял ноябрь. Потом выяснилось, что это прокурор.

— Клянусь! — машинально пробормотала я.

— Расскажите, что вам известно по делу! — небрежно спросил судья.

— Ничего мне не известно! — ответила я так сердито, что сама испугалась своего тона.

Судья вытаращил глаза.

— Зачем же вы сюда пришли?

— Откуда я знаю! — сказала я. — Меня попросили, я и пришла. Если у вас есть вопросы — задавайте, пожалуйста.

За спиной у меня пронесся гул голосов, и я первый раз почувствовала, что зал битком набит.

— Тишина! — строго сказал судья.

Он снова повернулся ко мне.

— Расскажите, пожалуйста, что случилось в ресторане «Копыто». Затем на следующее утро в вашем доме и так далее.

Я начала рассказывать сперва со всеми подробностями, а потом мне как-то все сразу надоело, и я стала запинаться и пропускать подробности. Да и как тут было разговориться, когда судья все время смотрел на меня с явным неодобрением. Мужчина-заседатель слушал внимательно, зато женщина словно оглохла — такой бесчувственный и пустой был у нее взгляд. Кое-как закруглившись, я сердито замолчала. Судья раза два-три перебивал меня из-за пустяков. Мои ресторанные похождения, видимо, отнюдь его не очаровали.

Потом судья спросил, есть ли у кого-нибудь вопросы. У прокурора вопросов не было. Но передо мной вдруг возник низенький, пузатый человечек с облысевшей головой. Вид у него был приветливый и доброжелательный. Немного погодя я догадалась, что это адвокат Евгения.

— Я бы хотел еще немного поговорить с нашей симпатичной свидетельницей,— начал он сладеньким голоском.

— Довольствуйтесь, пожалуйста, общепринятыми обращениями! — сухо перебил его судья.

— Хорошо! — сказал адвокат, склонив голову.— Вернемся к началу. Вы сказали, что пришли в ресторан «Копыто» целой компанией. Вас лично кто пригласил?

— Евгений пригласил нас всех! — ответила я.— Он сказал, что у него есть деньги.

— Но все же именно вы были, так сказать, его дамой?

— Да,— кивнула я.

— Насколько я понимаю, до того дня вы не были знакомы с отцом Евгения?

— Нет, там я увидела его впервые.

— Именно так; благодарю вас. Вы помните, что вы пили?

— Сначала вино, потом виски.

— А-а — виски! — с завистью пробормотал адвокат.— Вполне естественно, если с вами были иностранцы. А после этого вы танцевали, не так ли? Вы лично сколько раз танцевали?

— Не помню. Раз пять-шесть... Или чуть больше.

— Так, так! — благосклонно закивал адвокат.— Молодая девушка идет в ресторан, главным образом, чтобы потанцевать. И с кем же вы танцевали?

Я хорошо понимала, куда клонит пузатенький пройдоха, но делать было нечего.

— Точно не помню. Но с партнерами из-за нашего столика.

— Да, разумеется, кавалеров у вас было достаточно... А сколько раз вы танцевали, например, с товарищем Игнатовым?

— Три или четыре раза! — хмуро ответила я.

— А с Евгением?

— С Евгением я не танцевала.

— Странно! — сказал адвокат.— Не танцевать именно со своим кавалером!

— Я была зла на него,— сказала я.

— За что? — спросил он, и глаза у него заблестели.

— Я не помню точно... Но он плохо отозвался о своем отце.

— Вы хотите сказать — несправедливо?

— Просто бестактно!.. Все вокруг слышали его.

— Да, да,— сочувственно поддакнул адвокат.— Наверное, наш общий друг нервничал или был чем-то взвинчен, как вы думаете? Ведь неспроста он позволил себе какой-то выпад против отца, да еще в его присутствии... Как вы это истолковали?

— Я это никак не толковала! — сухо ответила я.

— По этому вопросу достаточно! — вступился судья.

Адвокат сделал замысловатый жест, изображающий полное недоумение.

— Хорошо, если вы так полагаете! — пробормотал он.— Тогда продолжим.

И снова, со своей притворно приветливой улыбкой, обратился ко мне.

— Итак, на следующее утро Евгений пришел к вам. Вы помните, в котором часу это было?

— Наверное, около девяти,— ответила я.

— Довольно-таки рано после столь напряженной ночи. Вы еще спали?

— Ну да... Но я встала и открыла ему.

— Так, как были — в ночной рубашке?

— Постыдитесь! — воскликнула женщина с тяжелой челюстью.

Адвокат растерянно поглядел на заседательницу и тут же с живостью повернулся ко мне.

— Объясните сами заседателю — почему вы впустили его?

— Потому что он позвонил! — со злостью ответила я.

— Все ясно! — сказал адвокат, разведя руками.— И, надеюсь, запротоколировано.

Он снова повернулся ко мне, но на этот раз лицо его было уже не приветливым, а скорее хмурым и суровым.

— Товарищ Григорова, вы сказали, что Евгений вас рассердил и поэтому вы пригласили его отца. Если не секрет,— чем именно он вас рассердил?

Я не из стыдливых, но тут я почувствовала, что краснею до корней волос.

— Как вам сказать... Он назвал его трусом или чем-то в этом роде.

— М-да! Возможно,— озабоченно пробормотал адвокат.— Но это должно было бы рассердить его отца, а не вас.

— На этот вопрос можете не отвечать,— сухо заметил судья.

Так мне и следовало бы сделать, но у меня почему-то мелькнула глупая мысль, что я должна защитить Мечо. И, конечно, я сама сунулась в ловушку.

— Во всяком случае,— сказала я,— товарищ Игнатов не давал мне никаких поводов. Весь вечер он держался абсолютно корректно.

— Поистине странно!— удивленно воскликнул адвокат.— Откуда же у вас возникла уверенность, что вы выиграете пари? И как вы решились позвонить ему по телефону? Да еще с таким странным предложением? Позвонить мужчине, который годится вам в отцы?

Ну и ну! Я поняла, что, как бы я ни ответила, все равно я влипла.

— Не знаю, как вам это объяснить!— промямлила я.— Но есть вещи, которые женщина чувствует интуитивно.

Адвокат порывисто засунул руки в карманы. Казалось, он растерялся и даже отступил на несколько шагов, бормоча себе под нос:

— Женщина... да, женщина...

Позади раздался смех. Судья сердито оглядел зал и громко звякнул колокольчиком.

— Тишина или я освобожу зал!— сказал он.— Адвокат Василев, не устраивайте здесь представлений... Вы закончили свои вопросы?

— Фактически — да!— любезно ответил адвокат.— Осталось еще несколько мелких.

— Без них нельзя обойтись?

— Боюсь, что нельзя.

— Тогда пожалуйста!.. Но без спектаклей!

Адвокат опять повернулся ко мне; выражение лица у него теперь было сугубо деловое.

— Итак, товарищ Григорова, вы явились на свидание, товарищ Игнатов тоже сдержал слово! И дело с концом — вы выиграли пари! Зачем же вам понадобилось ехать в ресторан «Лебедь»?

— Товарищ Игнатов пригласил меня.

— Вы могли отказаться под каким-нибудь предлогом.

— В конце концов, это вопрос воспитания,— ответила я.— Сказав по глупости «а», приходится говорить и «б».

— «Воспитание»! — мрачно пробурчал адвокат.— С таким воспитанием вам может не хватить всей азбуки.

Тут я вспыхнула, как порох.

— Вы просто бесстыжий человек! — воскликнула я.— А еще пригласили меня, чтобы я спасала вашего клиента!

— Правильно! — сказала женщина с тяжелой челюстью.

Адвокат понял, что хватил через край, и мигом преобразился.

— Искренне прошу вас извинить меня! — сказал он.— Вы правы! Еще два мелких вопроса. За каким столиком вы сидели в ресторане? В каком месте?

— Вопрос не по существу! — перебил его судья.

— Хорошо, согласен! — кивнул адвокат.— Последний вопрос. Когда вы сидели в ресторане, заходил ли разговор об Евгении?

— Нет.

— Вы уверены?

— Вполне.

— Чудесно! — удовлетворенно заметил адвокат.— Благодарю вас.

Я повернулась и пошла к скамье, на которой сидел Владо. Зрители так откровенно глазели на меня, что мне чуть не стало дурно. Я почувствовала, что не смогу пройти еще раз по залу, если в нем останется хоть один человек.

Следующим свидетелем был шофер такси, который вез Евгения до ресторана «Лебедь». Он рассказал, что парень был очень расстроен, иногда даже тер глаза платком.

— Сколько он вам заплатил? — с любопытством спросил адвокат.

— Дал мне две бумажки по два лева,— ответил шофер.— И просто вылетел из машины, я не успел даже дать ему сдачу.

В зале снова засмеялись. Зрители веселились, ждали только повода похихикать.

— Я в самом деле освобожу зал! — сердито сказал судья.— Предупреждаю в последний раз.

Появился какой-то капитан милиции на мощных коротких ногах. Он давал показания захлебывающимся от враждебности голосом и все время называл Евгения «нарушитель». Прокурор задал ему несколько вопросов, смысл которых сводился к одному: был Евгений вне себя или нет, но, спасая свою шкуру, он действовал достаточно ловко и осмотрительно. Доехав до города, он так тщательно протер все наружные части машины, что отпечатков пальцев нельзя было найти даже на багажнике. При этом он поставил машину в темное и безлюдное место, где незаметно успел проделать все, что надо. Все же под конец прокурор ухитрился задать совсем глупый вопрос:

— На допросе обвиняемый пытался скрыть свою вину?

— Нет, он сразу признался! — добросовестно ответил капитан.

— И признал все обстоятельства?.. Даже то, что после происшествия остановил машину? И что снова поехал, не оказав помощи раненому?

— Да, все! — подтвердил капитан.

— Но разве этот факт вы не установили сами, при экспертизе?

— Следы остались очень нечеткие! — насупившись, сказал капитан. — И этот факт не был зафиксирован в протоколе.

От меня не скрылась снисходительная усмешка адвоката Васильева. Он тотчас же взял слово. Вид у него был подчеркнуто недовольный.

— Товарищ капитан, вы все время именовали Евгения Игнатова «нарушителем»... Скажите, пожалуйста, какие у вас для этого основания?

— Как — какие? — недоуменно спросил капитан.

— Прежде всего он украл машину своего отца...

— Как вы сказали? — спросил адвокат таким тоном, будто не расслышал. — Я думал, что вы лучше знакомы с фактами. Вам известно, что обвиняемый имел от отца доверенность на право вождения машины?

— Да, известно, — ответил капитан. — Но в данном случае он взял машину отца без его разрешения.

— Возможно, что он провинился перед отцом; это совсем другой вопрос. Но он ничем не провинился перед законом.

— Я не могу с этим согласиться! — строго сказал капитан.

— Представим себе, что обвиняемый остановился! — продолжал адвокат. — Вы бы проверили его документы и после этого пропустили бы его, не так ли?

— В этом смысле вы правы, — неохотно признался капитан.

— Поэтому не торопитесь с квалификацией поступков! — сухо заметил адвокат. — Теперь продолжим. Немного погодя к вам подходит отец. Вы сразу видите, что номера машин совпадают, и описываете ему приблизительные примеры мнимого вора. Вы помните дословно этот разговор?

— Я сказал ему, что похититель высокий, худощавый парень.

— Что же он вам ответил?

— Он сказал: «Уж не мой ли это сын?»

— Так! — В голосе адвоката прозвучали торжествующие нотки. — И на основании этого заявления вы впоследствии арестовали сына?

— Да, именно так! — мрачно ответил капитан.

Зал за моей спиной сдержанно ахнул.

— Вот это я и хотел узнать! — с удовлетворением заметил адвокат.

Затем начался допрос пострадавшего — щуплого человечка, кожа да кости. Из его сбивчивого рассказа мне стало ясно, что у него пострадала не только рука, но, вероятно, и голова. Адвокат Василев вцепился в него тоже, хотя на беднягу жалко было смотреть.

— Вы сказали, товарищ, что ехали на велосипеде по полотну дороги вплотную к обочине. Так?

— Так, — ответил человечек.

— А почему не по обочине? Каждый велосипедист знает, что там гораздо безопаснее.

— Я опаздывал! — ответил человечек. — По обочине быстро не поедешь.

— Адвокат Василев, вы очень хорошо знаете, что шоссе разрешено для велосипедистов, — перебил его судья.

— Запрещено, товарищ судья! — миролюбиво возразил адвокат.

— Как то есть — запрещено? — недоуменно спросил судья.

— Недавно запрещено! Поздновато спохватились, конечно, но это так. Следовало бы наложить запрет гораздо раньше.

— Продолжайте! — сказал судья.

Адвокат снова обратился к человечку.

— В том месте шоссе совершенно темное, не так ли?.. Нет ни одного фонаря... Неужели вы не заметили свет фар машины, идущей сзади?

— Ничего не видел! — пролепетал человечек.

— Странно! — сказал адвокат. — Выходит, что обвиняемый гнал машину с погашенными фарами по совершенно темному шоссе.

— Да нет, было не темно, — возразил человечек. — Навстречу шел грузовик и светил фарами... Как же я мог увидеть огни сзади?

— Именно так! — с довольным видом сказал адвокат.

— Вы не правы, коллега! — раздался чей-то голос.

Очевидно, это был адвокат истца — пожилой мужчина в пиджаке, изобильно присыпанном перхотью.

— Вы просто спекулируете на печальном происшествии! — добавил он. — Вы знаете, что при плохой видимости шофер обязан снизить скорость и даже остановиться.

— Да, да, конечно! — согласился адвокат Василев. — И тем не менее очевидно, что мой доверитель был ослеплен фарами встречной машины.

Последним из свидетелей вызвали Мечо. Он прошел по залу твердым, внушительным шагом и встал перед судьей. Я никогда не видела его таким щеголеватым и идеально выбритым. Он даже подстригся специально, и вышло слишком коротко, не по возрасту. Держался он невозмутимо, весь его вид внушал почтение. Лишь женщина с тяжелой челюстью глядела на него мрачно, чуть ли не с отвращением. Разумеется, адвокат Василев сразу же вцепился в него.

— Товарищ Игнатов, вы часто давали сыну свою «Волгу»? — вежливо осведомился он.

— Не очень часто, — сдержанно ответил Мечо. — Когда он просил.

— Очевидно, он пользовался у вас доверием, если вы давали ему такую дорогую машину. Он хорошо водит?

— Да, очень хорошо.

— В день происшествия он просил у вас машину?

— Не помню... Нет, он просил за день до этого, но тогда она была нужна мне самому.

— Были ли у вас недоразумения с машиной? Какие-либо конфликты? Брал ли он когда-нибудь машину без вашего разрешения?

— Нет, таких случаев не было! — ответил Мечо.

— Так!.. По дороге к ресторану заходила ли речь о вашем сыне?

— С какой стати нам было говорить о нем? — сухо возразил Мечо.

— Почему? Разве вы не знали, что она подруга вашего сына? — любезно спросил адвокат.

— Мне это и в голову не приходило! — хладнокровно соврал Мечо.

— Да, конечно. Было бы весьма безнравственно отбить подругу у собственного сына, — согласился адвокат. — А в ресторане вы не вспоминали о нем?

— Нет, конечно.

— Что вы сделали, когда обнаружили, что машина украдена?

— Я обратился к дежурному милиционеру. Он сказал, что машина с таким номером отъехала час тому назад. За рулем сидел молодой человек.

— И вы заявили ему: уж не мой ли это сын?

Мечо мрачно молчал.

— Так? — нетерпеливо переспросил адвокат.

— Не помню. Может быть, и сказал! — враждебно отрезал Мечо.

— Да, вы это сказали — капитан подтвердил! Я вас спрашиваю — почему у вас возникла эта нелепая мысль?.. Зачем было вашему сыну ехать так далеко, в Панчарево? И к тому же уводить вашу машину?

— Капитан очень похоже описал его, — смутившись, ответил Мечо.

— Высокий молодой человек, — повторил адвокат. — Ведь таких тысячи! Почему же похититель непременно должен был оказаться вашим сыном?.. Кроме того, вы сами сказали, что из-за машины у вас с ним не было никаких ссор. И что за весь вечер вы ни разу не упомянули его имени...

— Не могу вам этого объяснить! — мрачно сказал Мечо. — Бывает, что придет что-нибудь в голову, сам не знаешь откуда.

— Может быть, из глубин подсознания? — спросил адвокат.

Я невольно поглядела на Владо — он просто сиял от удовольствия.

— Прошу вас без иронии! — сухо сказал Мечо.

— Хорошо. На следующий день вы не спрашивали сына, не он ли взял машину?

— Не спрашивал! — сердито ответил Мечо.

— Очень странно, товарищ Игнатов. Милиционера спрашиваете, а сына не смеете. Может быть, вам было неудобно его спросить?

— Почему же неудобно?

— Вот и я удивляюсь! — ехидно поддакнул адвокат. — Но вы сказали ему хотя бы, что машина украдена?

Никогда не думала, что Мечо когда-нибудь так крепко прижмут к стене. Он лишь хлопал глазами, не зная, что ответить.

— Кража такой дорогой машины не пустяк! — продолжал адвокат. — Подобное событие встревожит любого нормального человека. И он, естественно, поделится этим с самыми близкими людьми.

— У меня нет привычки делиться с сыном своими заботами! — рассерженно сказал Мечо. — Чем мне поможет такой растяпа...

— Ясно, товарищ Игнатов, ясно! — грустно сказал адвокат. — У меня нет больше вопросов...

Мечо сдержанно поклонился и быстро вышел из зала. Ему изрядно пощипали перья, его великолепие померкло; он даже побледнел. Я украдкой поглядела на Евгения. Он сидел, опустив голову и закрыв лицо руками. Мне показалось, что он плачет. Но когда он поднял голову, я увидела, что глаза у него сухие; лишь губы слегка дрожали. И я подумала: как же они будут жить вместе после всех этих событий?

— Чисто сработал! — пробормотал рядом Владо.

— Кто? — не поняла я.

— Ясно — кто... Адвокат...

На этом допрос свидетелей закончился. Дали слово прокурору, но я была в таком смятении, что почти его не слышала. Помню только, что он назвал Евгения избало-

ванным, несерьезным юношей, который транжирит по ресторанам отцовские деньги. Толковал что-то о его легко возбудимой, незрелой натуре. И, несмотря на это, изобразил его чуть ли не хладнокровным злодеем, который тщательно обдумал каждый шаг своего преступления. Под конец прокурор заявил, что строгий приговор будет иметь воспитательное значение не только для него, но для тысяч подобных избалованных и разболтанных юношей, которые ежедневно злоупотребляют доверием общества.

Затем говорил адвокат потерпевшего. Тот начал с основ социализма, заявив, что они заложены надежно, но тем не менее некоторое привилегированное и избалованное жизнью меньшинство...

— Прошу без обобщений! — сердито одернул его судья.

Несмотря на предупреждение, гражданский истец продолжал примерно в том же духе. Выходило, что его, собственно, ничуть и не интересует жизнь этого испорченного деньгами и высокими постами меньшинства — пусть делают, что хотят, но если они в придачу ко всему начинают давить автомобилями честных тружеников, которые неустанно кладут кирпич за кирпичом в вышеупомянутые основы, то должны по крайней мере за это платить.

Наконец дали слово адвокату Василеву, и он схватил его с таким остервенением, будто не собирался расставаться с ним до конца жизни. Конечно, как я и ожидала, самые тяжелые камни посыпались на мою голову. Меня он не упоминал, а говорил о нашей молодежи, или, как он сам уточнил, о незначительной скверной прослойке нашей трудовой сознательной молодежи. Эта прослойка, по его мнению, страдает легкомыслием и верхоглядством и лишена элементарного чувства ответственности. Отсутствие сдерживающего, морального начала он назвал явлением, над которым общество должно глубоко задуматься. Это явление толкает молодежь к легким удовольствиям, никчемной растрате сил и душевному опустошению. «Действительно, — воскликнул он, — как объяснить такой факт, когда девушка из хорошей семьи, которая дружит с милым и отзывчивым юношей, вдруг очертя голову бросается в объятия его отца?»

— Постыдитесь! — возмущенно воскликнула женщина-заседатель.— Перед вами, в конце концов, ребенок!

Но адвокат Василев не устыдился, а еще стремительнее понесся вперед. Толкуя мои показания, он объяснил собравшимся, что характер моих отношений с Евгением не подлежит никакому сомнению. Особенно старательно он напирал на тот факт, что я приняла Евгения в ночной рубашке, что было несомненным доказательством интимности наших отношений. Я чуть было не крикнула, что я и его приняла бы в одной рубашке, притом без малейшего риска для себя, но пришлось сдержаться. Итак, безумно влюбленный в меня Евгений был потрясен ужасающим фактом — его любимая стала подружкой его собственного отца.

Тут адвокат Василев сделал небольшое отступление, сказав о родителях, которые не только не умеют воспитывать своих детей, но и всем своим поведением дают им пример всяческой порочности. С особым ожесточением он набросился на Мечо, которого, слава богу, уже не было в зале. Поведение Мечо в тот злополучный вечер ясно говорило о его нечистой совести. Отец прекрасно понимал сына и знал правду о его чувствах ко мне. Он догадался, что никто, кроме Евгения, не стремился бы разрушить его идиллию. Чувствуя себя виноватым и пристыженным, он даже на следующий день не посмел заговорить с ним о краже машины.

С ужасом поняв, что произошло, Евгений берет такси и чуть ли не в слезах мчится в Панчарево. Он растерян, возмущен до глубины души, его честь оплевана, глаза застилает кровавая завеса ревности. Им овладела одна-единственная мысль — во что бы то ни стало помешать нам, преградить нам путь к грехопадению. Не придумав ничего лучшего, он решает хотя бы лишить нас гнезда грехопадения. При этих словах женщина-заседатель так поморщилась, что адвокат невольно повернулся к ней спиной.

Затем Евгений забирается в машину и летит назад. Он бежит не от капитана милиции, а от нас — от кошмара воспоминаний, от стыда за свою поруганную честь. Все в нем рухнуло, все раздавлено, и над пустыней бушуют лишь вихри чувств. Сверкают встречные фары, появляется какой-то невнимательный велосипедист и — несчастье

неизбежно. После бурного взлета голос адвоката заметно спал, но он все же успел привести суду целую кучу смягчающих обстоятельств. В заключение он сказал, что осудить такого человека, как Евгений, это все равно что осудить самое понятие человечности, свои самые сокровенные чувства, веру в подлинную справедливость. Сидя спиной к залу, я чувствовала, что он всей душой согласен с адвокатом и сочувствует Евгению.

Наконец адвокат Василев умолк и, вспотевший и довольный, уселся на место. Суд удалился на совещание, и в зале моментально разгорелись бурные споры. Мать Евгения подошла к сыну и поцеловала его в щеку. Евгений ничего ей не сказал; он остолбенело глядел в одну точку.

— Похоже, что наш приятель вылезет сухим из воды! — с удовлетворением заметил Владо.

Немного погодя суд вошел, и судья прочел приговор. Евгения осудили на шесть месяцев условно с выплатой потерпевшему тысячи левов возмещения. Зал откликнулся единодушным возгласом одобрения. Я сидела как приговоренная к стулу и не знала, радоваться мне или злиться. Единственное, что мне запомнилось, это мимолетный грустный взгляд женщины-заседателя, единственного человека в зале, который мне сочувствовал. Я ушла с этого злополучного процесса, по крайней мере, с одним поучительным выводом, которого я в жизни не забуду,— никогда не судить о людях с первого взгляда.

Пока Владо здоровался с Евгением, я, как хорек, шмыгнула из зала. Я старалась не оглядываться по сторонам, не останавливаться, никому не перебегать дорогу. Я даже не заметила, как выбралась на улицу, и мне все еще казалось, что все вокруг с нахальным любопытством смотрят на меня. Был обеденный перерыв, буднично звенели трамваи, вереницы машин толпились перед светофором. Поглощенные своими заботами, вокруг сновали люди, и я наконец поняла, что никто не обращает на меня никакого внимания. Вдруг мне стало так легко, что я чуть не вспорхнула. Все неприятности остались позади, можно все начинать с начала, с самого начала. Так, наверное, чувствуют себя только что разродившиеся роженицы.

Дождавшись зеленого света, я перешла на другую сторону. Машины шли одна за другой, тормозили, и в воздухе приятно пахло бензином. Из поворачивающего на перекрестке трамвая какой-то малец задорно подмигнул мне. Почему-то я ощутила вдруг жуткий голод. Чуть было не завернула в ближайшую закусочную, но вовремя вспомнила, что забыла дома деньги. Ничего, как-нибудь потерплю до дому, только бы мама проявила деликатность и ни о чем не стала меня расспрашивать. Все события последних дней словно умерли во мне, не хотелось даже вспоминать о них, никогда.

Я услышала за спиной торопливые шаги; рядом со мной оказался Евгений. Мне показалось, что он стал еще выше, но я не осмелилась поднять глаза и взглянуть на него.

— Бистра, прошу тебя, мне надо сказать тебе два слова,— умоляюще сказал он.

— Убирайся! — прикрикнула я на него.— Убирайся, пока не получил пинка!

— Я очень тебя прошу! — сказал он.

— Чего тебе от меня надо? — вскипела я.— Шкура цела, чего ж тебе еще?

— Я должен тебе все объяснить!

— Не надо! И без того все ясно!

Он замедлил шаг и остался позади. Я тоже остановилась, хотя все во мне кипело.

— Ступай! — сказала я.— И не смотри на меня как отравленный!

Несколько прохожих услышали и ухмыльнулись. Какой-то цыганенок крикнул весело:

— Двигай, старик! Пока не схлопотал по шее!

Евгений нерешительно нагнал меня и пошел рядом. Вид у него был хуже некуда.

— Ну? — буркнула я.— Чего тянешь — говори!

— Бистра, я не знал, что тебя привлекли в свидетели,— сказал он.— Я категорически запретил им, но они меня подвели.

— Кто — они?!

— Моя мать... и адвокат!

Тон у него был самый искренний, и, возможно, он меня не обманывал. И все же то, что он сказал, показалось мне чудовищно глупым.

— Хорошо, что они тебя не послушали! — сказала я. — Иначе угодил бы за решетку как миленький!

— Может быть, это было бы и лучше! — уныло заявил он.

Нет, чем только этот тип думает! Ну, все у него не как у людей.

— Допустим, ты прав, — сказала я. — Но как быть с университетом?

— Так или иначе — придется бросать! — глухо ответил он.

Я поглядела на него — он не шутил.

— Зачем же бросать?

— Попросту говоря... Так сложилось. После всей этой истории я не могу вернуться к отцу.

— Иди к матери!

— Нет, нет! — решительно воспротивился он. — И без того у нее со мной куча неприятностей... Не хочу садиться ей на шею. Да и ее семья мне совсем чужая.

— Как же ты будешь жить? — озадаченно спросила я.

— Как-нибудь устроюсь! — ответил он. — Сейчас я работаю в Кремиковцах[1], там и останусь.

Он протянул мне ладони. Обману не было — все ногти были сбиты и оцарапаны. Я шагала рядом с ним, не видя, куда я ступаю. Значит, ничего не начнется с начала, все так и останется запутанным, как теперь.

— Ты знаешь анекдот о том, как двое съели лягушку? — спросила я.

— Конечно, знаю, — уныло ответил он.

— Зачем же нам с тобой жрать лягушку? И притом до последней косточки?

Он ничего не ответил. Мы долго шли молча.

— Давай посидим где-нибудь? — робко предложил он.

Я хотела было отказать ему, но вспомнила о маме. Да и аппетит вдруг пропал.

— Ладно! — сказала я.

«Телевизор» уже опустел — все ребята ушли обедать. Мы сели за столик и заказали кофе и минеральную. Пока мы ждали, вдруг, как из-под земли, появился Владо — как всегда, рассеянный и неопрятный, но безупречно выбритый.

---

[1] Кремиковцы — металлургический завод недалеко от Софии.

— Так и знал, что вы здесь! — сказал он, подсаживаясь к нам.

Принесли воду. Владо сразу же ухватился за стакан Евгения. Мы долго молчали, наконец Владо сказал:

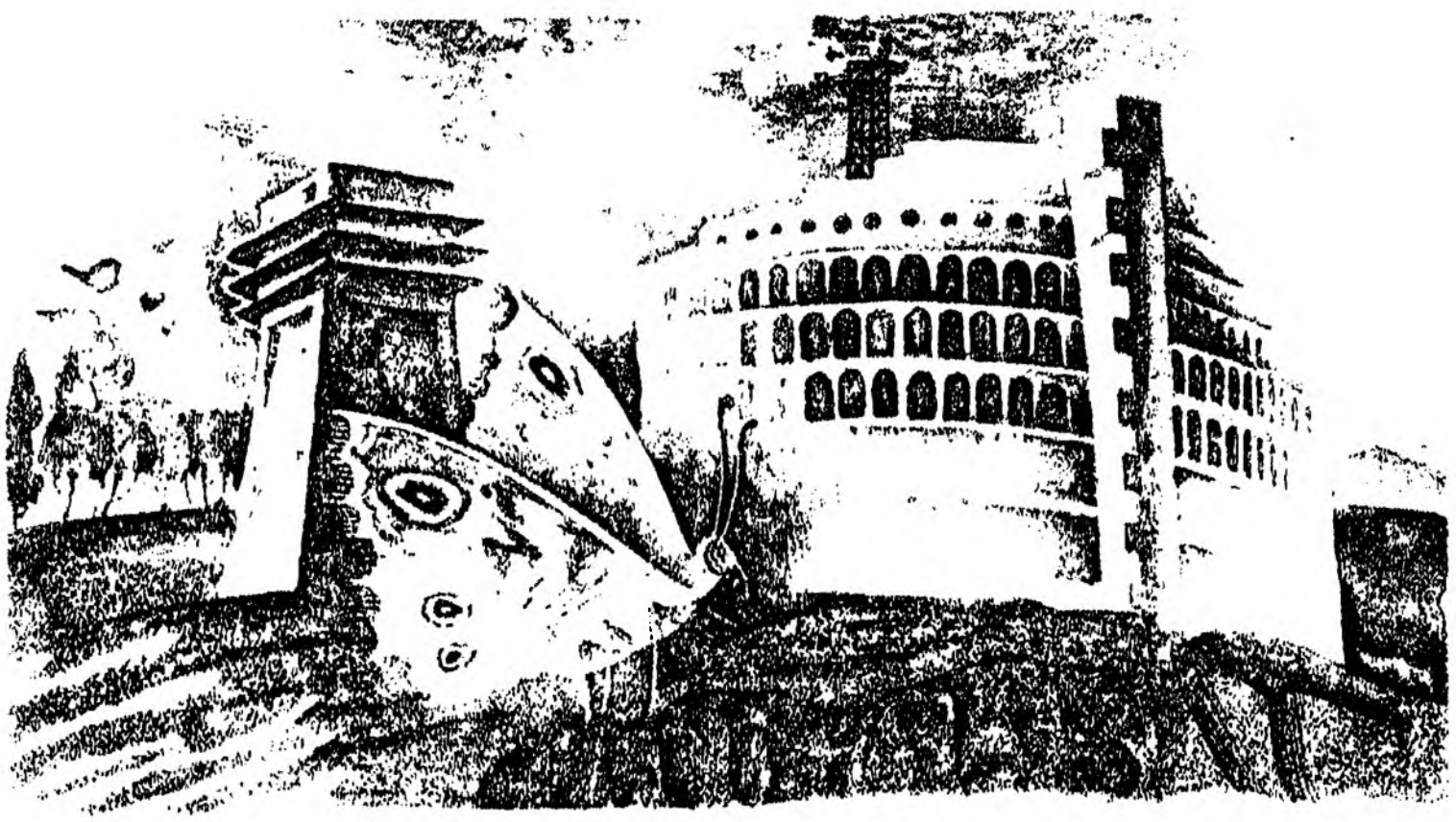
— Твоя мать просила тебя прийти к обеду.

— Не пойду! — твердо ответил Евгений.

— Если не пойдешь, не показывайся мне на глаза! — сказала я. — Мало тебе, что ты ей все нервы вымотал, опять зачем-то ее злишь...

Евгений ничего не ответил, только в раздумье поглядел в окно. Ноябрьское солнце заливало всю улицу мягким теплым светом. Кое-где желтели опавшие листья. Быть может, это были последние погожие дни года; наверняка последние.

Синие бабочки



1

Ему снилось в тот миг зеленое небо с белыми, нежными облаками, которые спокойно плыли над бескрайней равниной. Снились коричневые скалы и блеснувшее между ними, словно голубое око, маленькое горное озеро. Снились красные крыши под темными соснами — хотелось глубоко вдохнуть сладостный смоляной запах.

— Пора вставать, Алек...

— Да, мама,— ответил он тихо.

И будто чья-то ласковая рука с робкой нежностью коснулась его сердца.

— Пора, Алек!

Он облаком несся над степью и смотрел, как мелькают в высокой траве пестрые спины антилоп. А потом открыл глаза и увидел склоненное над ним железное лицо Дирака.

— Прибываем? — глухо спросил он.

— Да, Алек,— спокойно ответил робот.— Пора просыпаться...

Человек незаметно вздохнул и огляделся. Сознание вернулось к нему внезапно и резко; теперь он уже совер-

шенно четко понимал, что находится в рековаленсцентной камере корабля «Нептун», на расстоянии шестнадцати световых лет от Земли, которая только что ему снилась. Все то время, пока неслись они песчинкой, затерянной в звездном хаосе, каждая клеточка его существа жила земными образами и звуками.

— Вы звали свою мать, Алек,— сказал робот.— Я не знал, что у вас была мать.

Человек почувствовал, как у него защемило сердце. Это странное создание Багратионова с лицом-маской роденовского мыслителя говорит на самом жестоком из всех языков — на точном, исключающем ошибки языке машины. Да, у него была мать. Была когда-то... За те шестнадцать световых лет, которые неумолимо разматывал звездный корабль, давно уже сошли в могилу все близкие люди, оставленные на Земле.

— Да, была,— ответил он.

— А почему она не пришла на космодром проводить вас?

— Она не в состоянии была это сделать, Дирак,— с горечью объяснил Алек.— Ведь у нее обыкновенное, слабое материнское сердце.

— Да, понимаю,— сказал робот.

Он не понимал, этого он никогда не поймет.

— И все-таки — вас провожало много людей. Разве они все были бессердечны?

Камера вдруг как бы перестала существовать, человек видел над собой прозрачный купол обсерватории, видел совсем близко родные, близорукие глаза.

«Ты уверен, что тебе это необходимо, Алек?»

«Уверен, дорогая,— ответил он.— Уверен».

«Но почему, Алек? Разве тесен тебе наш бедный мир? Разве он совсем не устраивает тебя?»

«Ты не должна так говорить! — сказал он.— Я очень хорошо знаю, что это самый богатый и самый прекрасный из всех миров».

«И все-таки ты хочешь его покинуть».

«Так нужно»,— ответил он.

«Бедный ты мой малыш,— сказала она с мокрым от слез лицом.— Бедный, несчастный мой...»

Солнце сияло на чистом небе, веял легкий, теплый ветер, слабая еще весенняя травка зеленела между бетонными плитами космодрома. Когда он поднимался по крутым ступеням в звездолет, сотни объективов следили за малейшим его движением. Но он не обернулся, у него не было сил взглянуть еще раз на тех, кто прощался с ним навсегда. И еще месяц спустя он не мог позволить себе посмотреть на маленькую звездочку, печально и нежно посылающую в бесконечность свой бледный отсвет. Нет сил, откуда их взять...

— Тебе плохо, Алек? — спросил робот.

Человек вздрогнул:

— Нет, ничего! Не беспокойся, Дирак. Я чувствую себя нормально. А как Казимир?

— Сейчас он в биологической камере.

— Я хочу его видеть, — сказал Алек.

Робот нажал одну из кнопок на маленьком пульте, экран засветился. Казимир лежал полуобнаженный под ярким светом рефлектора, недвижимый и бледный; жизненная сила понемногу возвращалась к нему. По тонким биопроводникам, густой сетью покрывавшим его грудь, пульсировала плазма. Дирак, несомненно, сделал все, что нужно, и тем не менее Алек ощутил неясный страх. Строгий, почти суровый профиль Казимира казался совершенно безжизненным, глаза ввалились, словно у покойника. Да, анабиоз — один из видов смерти, хотя и строго дозированной.

— В каком он состоянии? — спросил Алек встревоженно.

— Все нормально... Через два часа разбужу.

— Ну, хорошо, — сказал человек.

— Сейчас принесу тебе поесть. И, прошу тебя, не делай глупостей, попытайся проглотить.

— Не беспокойся, — ответил Алек и через силу улыбнулся. — Как ты думаешь, смогу я стоять?

— Не хуже, чем после любого другого путешествия..

— Тогда попробуем.

— Нет, еще рано.

— Я хочу, Дирак. Прошу тебя, дай мне руку.

Робот молчал в нерешительности. Желания людей были для него законом, кроме тех, конечно, которые могли

обернуться серьезной опасностью для них самих. Но сейчас, кажется, человеку ничто не угрожало.

— Хорошо,— сказал он.— Но только ненадолго.

И он протянул ему свою холодную руку в мягкой рукавице. Алек медленно поднялся, но вдруг почувствовал, что ему дурно.

— Да, действительно еще рано,— обессиленно произнес он.— Иди, Дирак, принеси поесть. Может быть, тогда мои дела пойдут на лад.

Дирак посмотрел на него отполированными, блестящими линзами и бесшумно исчез.

Часы неутомимо тикали на стене — круглые, старые, смешные часы. Время проделывало с ними разные шутки, но они все так же педантично и уверенно, с обманчивой точностью делали свое дело. Они были слепы и беспомощны; только Дирак из каких-то особых соображений уделял им серьезное внимание. А люди на них даже не смотрели.

Невооруженным глазом можно было уже видеть Хелу — маленькую синюю звездочку, холодную, не мерцающую. Она вызывала у него сейчас странное чувство: смесь враждебности и горькой, неясной боли, наполнявшей сердце. Что бы он там ни встретил, это не станет ему близким, всегда будет чуждым, далеким и непонятным. Какие бы живые существа ни населяли ту планету, они тоже никогда не поймут его.

Неожиданно засветился экран, и он увидел перед собой Казимира, его бледное лицо, его глаза, которые сейчас улыбались.

— Здравствуй, Казимир,— ласково сказал Алек.— Как ты себя чувствуешь?

— Отлично!— послышался слабый голос.— Отлично, старик. А ты?

— Как Виннету, вождь индейцев!— засмеялся Алек.— Знаешь, ты очень изменился! Во всяком случае, выглядишь моложе.

— И ты — честное слово... Видна ли Хела?

— Да, звездочка так себе,— сказал Алек.— Вряд ли, старик, стоило ради нее топать такую даль...

По лицу пилота пробежала тень.

— Ради нее? — повторил он. — Да ради нее, Алек, я, честно, и пальцем бы не пошевелил.

— Я знаю, о чем ты думаешь, — улыбнулся Алек. — Не думай об этом. Мы отправились в путь, и мы его пройдем. А как только достигнем своей цели, у нас будет еще более желанная — вернуться обратно.

— Что происходило, пока я спал?

— Ничего особенного... Обычные явления — астероиды, радиационный пояс. Но наша старая скорлупка держится превосходно.

— С помощью Дирака, разумеется. А тебе не приходило в голову, Алек, что вселенная чертовски однообразна?

— Но мы еще не встретились с живой природой, старик.

Пилот пожал плечами.

— Кто знает! Я тебе прямо скажу, что нисколько не удивлюсь, если на Хеле нас встретит Багратионов. Ни капельки не удивлюсь...

Дверь камеры Алека бесшумно открылась, и вошел Дирак. Алек прежде всего взглянул на поднос с принесенной пищей.

— Вот это хорошо! — кивнул он, довольный. — Ты, наверно, хочешь есть, Казимир?

— Ужасно! — сказал пилот. — Но твоя кухня, Дирак, совсем меня не вдохновляет.

— Почему моя? Ты забываешь, что ваше меню составляли три института.

— Черт бы их побрал! — воскликнул с возмущением пилот.

— Вспомни, какое заявление ты сделал по этому поводу в прессе? — вставил безжалостно Дирак.

— Дернуло же меня трепаться!

— Вульгарный жаргон, приятель, — невозмутимо заметил робот. — Язык космического путешественника не должен быть таким...

— Ты прав! И поэтому тоже катись ко всем чертям.

Дирак взял поднос.

— Не хотите ли посмотреть какой-нибудь фильм?

— Нет, спасибо,— ответил пилот.— Я хорошо выспался.

— А ты, Алек?

— Я бы посмотрел что-нибудь,— заколебался Алек.

— Так что же?

— Ну ладно... Выбери из архива что-нибудь об индейцах или привидениях.

— Браво!— воскликнул Казимир.— О привидениях даже я бы посмотрел. Надоела мне до смерти эта космическая скука.

Дверь бесшумно закрылась.

2

Ракета отделилась от звездолета без всякого толчка, так легко и бесшумно, словно кенгуренок, выскользнувший из благословенной материнской утробы. Стоя у командного пульта, Казимир несколько мгновений видел тонкую красную черточку — след, оставленный ракетой; черточка быстро растаяла, как таст во мраке огонек брошенной сигареты. На минуту им завладел паниче-
ский ужас при мысли об одиночестве, мучительная спазма сжала горло. Куда они полетели, зачем он отпустил их? И что он будет делать один в этой огромной пустыне, если с ними приключится беда?

Под ним, все такая же синяя и таинственная, плыла Хела. Отсюда она казалась немногим больше, чем Луна с Земли. Сквозь тонкую завесу облаков поверхность ее едва просматривалась — более темная у экватора, прозрачно-синяя возле полюсов. Мощный телескоп звездолета ощупывал всю планету в течение трех дней, прежде чем было выбрано место для посадки. Планета состояла не из континентов, суша широким поясом охватывала только ее центральную часть. Не было ни гор, ни внутренних морей. Не было даже островов на двух спокойных, прозрачных океанах, омывающих полюса. Вся суша была покрыта бескрайними лесами, рассеченными множеством синих озер. Если этот мир и в самом деле населен людьми, думал Казимир, то они едва ли отличаются от земных орангутангов. И в этот зверинец необходимо послать своего единственного друга...

Казимир обеспокоенно повернулся к пульту; экран засветился. Он вдруг увидел возбужденное лицо Алека, который всматривался в планету. Рядом с ним Дирак хладнокровно орудовал у пульта управления — железное его лицо, как всегда, было спокойным и безжизненным.

— Ну как ты там, старик? — спросил Казимир.— Как тебе нравится скорость?

— Кошмар! — ответил Алек весело.— Всего лишь сто километров в секунду!

— Как работают установки?

— Превосходно!

— Будьте все-таки осторожны,— сказал пилот, и в голосе его прозвучала тревога.— Боюсь, вы там обнаружите комаров величиной с голубя.

— Ну это бы еще ничего! — улыбнулся Алек.— А вот как бы водяная змея не проглотила ракету.

— На этот раз она подавится,— сердито сказал пилот.— И все же будь внимателен, старик, смотри в четыре глаза...

Экран погас. Теперь перед Алеком и Дираком еще ярче светилась Хела, красивая и спокойная. Им оставалось до нее часов десять — ничтожный шаг в бесконечности, которую они уже пересекли. Дирак все так же уверенно и безучастно управлялся с аппаратурой, не обращая никакого внимания на планету. И понятно, ведь для него в этом не было ничего удивительного — просто цель, а не повод для переживаний. Она не могла вызвать у него никаких чувств. По существу, именно в отсутствии эмоций заключалась его сила, его преимущество перед людьми на всем протяжении их совместного путешествия. Иначе он, наверное, уже сто раз сошел бы с ума, сто раз вернул бы звездолет обратно или, поддавшись слепой ярости, направил бы его прямо на какое-нибудь пылающее солнце. Но люди были уверены в нем и спокойно отдали себя в его руки. Лишенный чувств, он мог противостоять природе, поскольку не зависел от нее. Для него не существовало ни времени, ни пространства. Все было только поводом для размышлений. Но даже гигантский разум, располагающий огромными знаниями, не был главным — единственной и постоянной сущностью были для него люди и их указания. Это было сильней и действенней всех ин-

стинктов, которые природа могла бы вложить в живое существо. Багратионов действительно сотворил чудо, может быть, величайшее в бескрайнем космосе, который они сейчас бороздили.

Алек очень хорошо понимал все это и не раз с затаенным дыханием вглядывался в умное, благородное лицо робота. Его черты, скопированные с произведения древнего скульптора, были действительно прекрасны. Но Алек боялся смотреть в пустые глаза, в блестящие линзы, которые недвижно светились на железном лице. Тогда ему казалось, что он выдаст какую-то тайну, нарушит фатальный закон и произойдет самое страшное — машина внезапно осознает себя. Хотя в конце концов это ее право, и в такие минуты Алек испытывал неясное чувство вины. В такие минуты, неизвестно почему, он старался разговаривать с роботом особенно тепло и ласково, но робот отвечал ему, как всегда, вежливо и разумно. Это раздражало человека.

Да, Алек часто ловил себя на том, что робот его раздражает. Прежде всего своими безапелляционными высказываниями. Своей самоуверенностью, пренебрежительным отношением ко всякого рода сомнениям и неподтвержденным выводам. Это чувство боролось в Алеке с глубокой признательностью, которая неизменно брала верх. И тогда Алек снова становился дружелюбным и ласковым.

Когда они стали приближаться к планете, он спросил:

— Как наши дела, Дирак?

Теперь робот не сводил глаз с аппаратуры.

— Скорость пятнадцать километров в секунду,— ответил он.— Расстояние от...

— Я спрашиваю тебя: благополучно ли мы сядем?

— Нет никаких оснований, чтобы мы не сели...

Теперь Хела заполнила собой весь горизонт, она была уже не такая ярко-синяя, к синему добавился нежный оттенок резеды. За полупрозрачной сеткой тонких, ослепительно белых облаков просматривался далекий континент. В тот момент они еще не видели озера, куда должны приводниться,— оно было на обратной стороне планеты, там, где сейчас рождался рассвет.

— Входим в верхние слои атмосферы,— доложил немного погодя Дирак.— Плотность воздуха больше предполагаемой.

— Сбавь скорость!

— Ты же хорошо знаешь, Алек, что регулятор скорости автоматический.

— Я не совсем доверяю автоматам,— любезно сообщил человек.

— А я очень доверяю,— сказал робот.— До сих пор еще ни один автомат не подвел.

— До сих пор не значит всегда.

— Разумеется,— спокойно ответил Дирак.— И все-таки я не вижу причин для беспокойства. В автомат заложены и отклонения от нормы.

Спустя час они пролетели над озером — тоненькой синей полоской среди лесов. Дирак все так же, не отрываясь, следил за приборами.

— Длина озера восемьдесят километров,— сообщил он.— Ширина в среднем около пятнадцати километров. Глубина в центральной части около трехсот метров, возле берегов около двухсот. Чрезвычайно удобно для посадки и для взлета.

Им полагалось еще раз облететь всю планету, постепенно снижаясь, и на минимальной скорости приводниться на поверхности озера. Снова ночь и снова день, как во сне. Облачная пелена сгустилась, участки суши реже попадались на глаза.

Наконец Дирак сказал:

— Приготовиться!

Когда ракета утонула в молочной белизне облаков, сердце Алека защемило от счастья. После безрадостной пустыни вселенной, после бесконечного океана ледяной темноты эта мягкая, теплая белизна была для него нежным объятием, воркованием голубя, песней — всем тем, что оставил он на далекой Земле.

Потом осветилась и засверкала синяя озерная гладь, и синева наполнила все его существо. Все ближе, ближе — толчок! Ракета нырнула в водную бездну, и теперь только зеленоватые сумерки струились за кристально-прозрачным иллюминатором.

3

Когда они вышли на берег, шел тихий светлый дождик, но облака вскоре рассеялись и над ними засияло чистое небо.

Алек стоял на берегу и ощущал под собой живую землю. Он смотрел на небо и не мог сдержать слез, они текли и текли по лицу. Он был потрясен: чудо, которого он ожидал долгие годы, все-таки произошло! У него снова есть земля, небо, облака. У него есть натуральный воздух и чистая небесная высь. Он обрел снова тепло, исходящее от природы. Обрел чувства, которые воспринимали все это. Только голос пропал, горло не издавало звуков, он не мог произнести ни единого слова. И ничего не мог поделать с собой в эту минуту — только глубоко дышал, чувствуя, как возвращаются к нему силы и неугасимая жажда жизни.

В двух шагах от Алека стоял робот. Железная голова его медленно поворачивалась, словно телевизионная камера. Да, по существу, она и была камерой. Сейчас все, что его окружало, надлежало запечатлеть на миниатюрных кассетах в образах и звуках. И нужно впоследствии воспроизвести это сотни, тысячи раз, столько, сколько захотят люди. Все, чего коснулись его холодные глаза, становилось с той минуты бессмертным.

Наконец Алек сказал:

— Ну что, Дирак?

— Я все ожидал увидеть, только не это...

Он действительно был ознакомлен со всеми открытиями космонавтов.

— Правда, чудесно? — спросил Алек.

— Это похоже на бутафорию...

Алек готов был поклясться, что в голосе робота прозвучали нотки разочарования. Теперь уже и он окинул окрестности критическим взором. В самом деле, что-то было не в порядке, но что — он еще не мог понять. Конечно, здесь другая природа. Деревья не были похожи на земные деревья, скорее их можно назвать гигантскими цветами. Огромные заостренные листья высотой в несколько десятков метров поднимались прямо от земли. Массивные стебли, гладкие зеленые, тянулись вверх и заканчивались громадным цветком в форме колоко-

ла — желтым, бледно-розовым, сине-зеленым. На мгновение Алеку показалось, что он превратился в ничтожную букашку и в таком обличье попал из космоса на клумбу с тюльпанами. Землю покрывал жесткий мох, напоминающий скорее какую-то синтетическую материю. Да, странный лес, чистый и нетронутый, словно в первый день творения.

— Что тебя удивляет? — спросил Алек.

— Разве ты не видишь? — ответил Дирак.— Абсолютно никаких признаков жизни. Мы стоим тут уже двадцать минут, а я не видел даже мошки.

— Правда? — спросил Алек.

— Я заметил бы даже муравья в траве,— сказал уверенно Дирак.— Но никого нет. Словно все это создано в какой-то гигантской лаборатории.

Алек озадаченно взглянул на него. На мгновение его охватил страх.

— Не спеши, Дирак,— сказал он.— Мы же будем ходить, увидим еще...

— Конечно,— бодро подхватил робот.— Действительно, почему бы здесь не существовать высшей форме жизни?..

— Тогда идем... Ты взял оружие?

Дирак снисходительно улыбнулся — ну разумеется. Иногда люди задают поистине глупейшие вопросы. Его главная задача в этой экспедиции — охранять человека, обеспечивать безопасность и надежность. Все остальное второстепенно.

Они медленно двинулись вдоль берега. Быстрей идти было просто невозможно. Трава была такая жесткая и так переплелась, что они спотыкались на каждом шагу, вытаскивая ноги словно бы из специально расставленных капканов. Дирак успел оторвать один стебель и теперь внимательно его рассматривал.

— Обыкновенное растение,— констатировал он.— По принципу фотосинтеза. Да иначе и не может быть. Откуда бы тогда здесь взялся кислород?

Они бродили так до тех пор, пока Алек совсем не выбился из сил.

— Давай вернемся,— предложил он.— Дальше можно на вездеходе...

Именно в тот момент и пролетела первая бабочка. Она поднялась с большого желтого цветка и опустилась шагах в десяти от них. Это была огромная бабочка: размах ее крыльев был не менее трех метров. Но Алека поразили не столько размеры этого живого существа, сколько его необыкновенная красота, странная и декоративная, как все вокруг. Крылья были бархатисто-синие, с темными прожилками, усеянные бледно-желтыми пятнами. Грациозные усики, заканчивающиеся маленькими желтыми шариками, беспокойно трепетали над ее головой. Тело было словно обтянуто нежной, мягко отсвечивающей тканью, которую вряд ли могли создать человеческие руки. Несмотря на свои размеры, бабочка казалась легкой, стройной и изящной, как цветок.

— Она смотрит на нас! — взволнованно сказал Алек.

Бабочка действительно смотрела прямо на них своими огромными, блестящими черными глазами, похожими на драгоценные камни. Алек ясно ощутил в ее взгляде любопытство, волнение, живой интерес. Неожиданно бабочка слегка пошевелила крыльями, и до их слуха донеслась странная музыка.

— Это она говорит! — воскликнул Алек.

Но Дирак загадочно молчал. Его сверхразум, очевидно, делал в эти секунды тысячи оценок. И все-таки вывод был совсем скромным.

— Это обыкновенное насекомое! — заявил он.

Алек двинулся к бабочке медленно, чтобы не спугнуть ее. Она не пошевелилась, только усики ее вытянулись, словно антенны. И он опять прочел в ее глазах тревогу, а затем страх. Бабочка расправила крылья и взлетела. Движения ее были плавными и гармоничными, не похожими на полет земных мотыльков. Она почти уже достигла дерева, когда вдруг перевернулась в воздухе и тяжело упала на землю.

Алек оглянулся, пораженный. Позади него Дирак, как всегда спокойный и безучастный, складывал свое смертоносное фотонное ружье.

— Ты что, с ума сошел?

Дирак посмотрел на него пустыми, ничего не выражающими линзами.

— Она скрылась бы от нас, Алек,— ответил он спокойно.— Так или иначе нам необходимо доставить один экземпляр на Землю.

— Но это же не насекомое, идиот! — в ярости закричал Алек.— Разве ты не видишь, что это разумное существо?

Гнев его, очевидно, смутил робота; он растерянно крутил головой.

— Давай рассудим спокойно, Алек,— проговорил наконец Дирак, снизив тон.— Это наверняка обыкновенное насекомое. Разумные существа не летают по деревьям, а живут в домах, трудятся, создают материальные блага. А ты сам видел, что у бабочки нет рук, как она может трудиться?

Алек понял, что возмущаться бесполезно.

— Ты никакой не Дирак,— сказал он с досадой.— Ты самый обыкновенный дурак.

Но робот не сдавался.

— Не сердись, Алек, поразмысли спокойно,— продолжал он ровным голосом.— Ты хорошо знаешь, что даже кроманьонец имел орудия труда: камень или палку — и умел владеть ими. Он был хоть как-то одет. А у этой бабочки нет ничего, кроме того, что дала ей природа. Совершенно очевидно, что ее нельзя отнести к разумным существам. Тобою просто владеют импульсы и аффектация...

Логика Дирака, как всегда, была безупречна.

— И все-таки сегодня ты совершил убийство,— ответил Алек.— Ты первый робот-убийца на свете.

Но это была мысль, которую Дирак не воспринимал.

— Хорошо, Алек, выскажи мне хотя бы свои доводы,— сказал он.— По каким признакам ты относишь ее к разумным существам?

— По ее взгляду,— резко ответил человек.— Только по взгляду! Такого выражения глаз не может быть ни у зверя, ни у насекомого. Такие глаза могут быть только у разумного существа.

— Это не научное объяснение! — заявил робот.

Алек махнул рукой и подошел к мертвой бабочке. Дирак стрелял без промаха. Световой луч вошел в грудную клетку; маленькое пытняшко, ожог, указывало на точное

попадание. Мертвая бабочка лишь отдаленно напоминала изящное существо, которое еще совсем недавно смотрело человеческими глазами.

— Отнеси ее в ракету,— сказал Алек сухо.— И попробуй забальзамировать.

Дирак подошел к бабочке и молча поднял ее. Синие крылья поникли, словно ангельские крыла. Алек, растроенный, шел сзади. Когда они уже подходили к ракете, Дирак тихо произнес:

— А она совсем легкая...

Человек мрачно молчал.

Спустя два часа они тронулись в путь на маленьком электрическом вездеходе. Облака исчезли, горизонт был совершенно чист, и на небе громадной звездой сияло далекое солнце. Машина бесшумно скользила по мягкому ковру трав; прокладывать дорогу не было надобности, так как деревья росли на достаточном расстоянии друг от друга. Оба молчали. Алек — все еще под впечатлением неприятного происшествия, Дирак следил за оборудованием. Не прошли они и нескольких километров, как Дирак внезапно затормозил.

— Бабочки! — сказал он тихо.

На этот раз бабочек было три, все три синие, грациозные, как та, которая была убита. Они без всякого страха опускались совсем рядом с вездеходом. Алек увидел, что смотрят они с любопытством, но без всякого опасения. Когда бабочки осмотрели вездеход, они, словно три старые кумушки, сбились в кружок, их усики оживленно затрепетали. Снова Алеку показалось, что он слышит тихую музыку.

— Дай-ка мне магнитофон,— сказал он.

Алек быстро сменил катушки, потом осторожно открыл дверь. Сначала бабочки никак не реагировали, но когда он отошел от машины, они испуганно зашелестели крыльями, а потом взлетели с панической быстротой.

— Держу пари, что они еще вернутся,— сказал негромко Алек.— Но ты не выходи, ты своим видом их совсем перепугаешь.

Он поставил магнитофон на землю и нажал кнопку. Через несколько секунд в странном лесу зазвучала одна из прелюдий старого Бриттена. Звуки вылетали из миниатюрного аппарата, чистые, мелодичные; лес впитывал их,

они далеко разносились в мягком, прозрачном воздухе. Прошло около минуты, прежде чем прилетела первая бабочка. Она села совсем близко и, как зачарованная, разглядывала магнитофон. Потом вслед за ней прилетели две остальные. Алек не двигался; обе посмотрели на него с робким любопытством, а затем словно забыли о нем. Маленький аппарат притягивал их с какой-то неудержимой силой, они придвигались к нему все ближе, доверчивые и кроткие, забыв про все на свете. Теперь их глаза выражали тихую радость, блаженство. Тема бури внезапно их растревожила, они даже взлетели, но быстро вернулись обратно. Финальную часть они слушали потрясенно. Алек нажал кнопку, музыка смолкла. Наступила долгая тишина, а затем к небу вознесся хор звуков, одновременно и нежных, и молящих. Алек улыбнулся.

— Хотят еще,— сказал он тихо.

— Несомненно,— пробормотал в своей металлической кабине робот.

Бабочки боязливо посмотрели на них и тотчас взлетели. Алек заметил, что сели они на ближайшее дерево, и до слуха его снова донеслась тихая мольба.

— Достаточно на сегодня,— улыбнулся опять Алек и сел в машину.— Поехали, Дирак!

Вездеход бесшумно двинулся по травяному ковру.

— Тебе слово, Дирак!— заговорил Алек.— Жажду услышать твое компетентное мнение.

Робот ответил на это не сразу.

— Первые выводы представляются мне весьма абсурдными,— высказался он наконец не слишком охотно.

— А именно?— с иронией спросил человек.

— У меня создалось впечатление, что они боятся не машины, а нас. Можно допустить, что машину они уже видели, а людей нет. Их удивило, что именно люди вышли из машины, может, они ожидали увидеть нечто иное...

— Верно,— кивнул Алек.— А что иное?

— Это очень важно...

— Разве на тебя не произвело впечатление, как они воспринимают музыку? Они слушают совсем как люди. И при этом, пожалуй, тоньше чувствуют ее.

Но по этому пункту Дирак выразил несогласие.

— Не знаю, читал ли ты книгу Фанзена «Животные и музыка»? — спросил он. — Там описаны еще более любопытные случаи.

В течение нескольких часов синие бабочки непрерывно мелькали у них перед глазами, а затем бесследно исчезли. Но к полудню они сделали одно открытие, которое заставило мыслительный аппарат Дирака раскалиться чуть ли не добела. Они нашли жилище бабочек.

Это было настоящее жилье, построенное, вне всякого сомнения, разумным существом. Но даже Алек, который готов был увидеть нечто подобное, был озадачен. Сооружение стояло под тремя крышами из стекла или из материала, подобного стеклу. Все три крыши были вознесены на несколько метров от земли и опирались на металлические колонны. Остальные детали тоже были сделаны из металла. Жилища, в общем, не походили на дома, скорее это были клетки, не разделенные внутри ничем, кроме тонких поперечных балок. На одной из таких балок сидели две бабочки и с испугом смотрели на них. Всезнающий Дирак сейчас же принялся анализировать обстановку.

— Металл — по всей вероятности, никель, — сказал он. — А стекло очень высокого качества, почти не отличается от нашего хрустального стекла. Здание поднято над землей, очевидно, от сырости и наводнений. Окон нет, но, по некоторым признакам, осуществляется естественная вентиляция.

— А для чего, по-твоему, служат эти голубятни? — спросил Алек.

— Видимо, в них живут бабочки...

— Ты хочешь сказать, что неразумные существа могут строить жилища из никеля и стекла? — иронизировал Алек.

— Я хочу сказать совсем не это, — возразил Дирак. — Ясно, какие-то разумные существа построили здание для твоих музыкальных бездельниц.

Высказанное Дираком соображение было не таким уж глупым для робота, и Алек улыбнулся.

— А где же, как ты думаешь, разумные существа? Неужто у них свои особые дома? Свои дороги, склады, магазины?

Дирак молчал в затруднении.

— Действительно, все очень странно,— ответил он наконец.— Но если ты считаешь, что эти бабочки спускаются в шахты и добывают руду, а потом льют металл, ты жестоко ошибаешься.

— А ты пошевели немного мозгами,— сказал Алек мстительно.— У тебя же должны быть хоть какие-нибудь предположения.

— У меня есть около двухсот предположений,— угрюмо ответил Дирак.— Но бессмысленно делать предположения, не имея достаточно фактов.

— Ну выскажи самое серьезное.

— Самое серьезное? Скажем, это своеобразный заповедник для бабочек, и разумные существа обеспечили им здесь наилучшие условия для жизни...

— Ну что ж, возможно,— пожал человек плечами.

До наступления сумерек они видели еще несколько домов для бабочек. Они были сделаны из того же материала, хотя и различались по форме. Можно было говорить о некотором архитектурном разнообразии, но внутреннее устройство жилищ было одинаковым. И ни в одном из них не заметили они ни одной вещи, которая бы свидетельствовала, что бабочки ведут образ жизни разумных существ.

Ночь застигла их в лесу. Хотя бояться как будто было нечего, Дирак настоял на том, чтобы переночевать в вездеходе. Алеку хотелось спать на воздухе, в спальном мешке, но робот был неумолим. Потом Алек установил связь со звездолетом и подробно рассказал Казимиру последние новости. Казимир слушал его внимательно, не перебивая, и под конец сказал:

— Вряд ли можно допустить, Алек, чтобы там не было никакой другой формы жизни. Если есть бабочки, то, во всяком случае, должны быть и гусеницы.

— Верно,— встрепенулся Алек.— Как это не пришло мне в голову?

— У меня была такая мысль,— вставил Дирак.— Но факт, что мы еще не встретили ни одной. Возможно, здешние бабочки размножаются как-то иначе.

— Может быть и так,— согласился Казимир.— Но уж если есть гусеницы, они должны быть размером с теленка. Вы бы их наверняка заметили.

— Мы не искали их,— сказал Алек.

— Нет, на деревьях гусениц нет,— категорически заявил Дирак.— Это я установил. В конце концов чем бы они питались? Листьями? Но я не видел ни одного изъеденного листа.

— И все же будьте бдительны. Эта чересчур стерильная природа затаила какую-то непонятную угрозу.

Закончив разговор с Казимиром, они погасили свет, и вездеход словно опустился в черную бездну — такая темная была ночь. У Хелы не было луны, только звезды мерцали на далеком незнакомом небе. Не доносилось ни звука, будто они находились в изолированной камере. Пустота и тишина угнетали здесь сильнее, чем в межзвездных пространствах. Алек пытался заснуть и не мог: мозг его был взбудоражен, чувства обострены. «Какой призрачный мир,— думал он с беспокойством.— Неужели возможна природа, создавшая один-единственный вид живых существ?»

— Не спится, Алек?— услышал он голос Дирака.— Хочешь, я дам тебе снотворное?

— Нет, не надо, дружище,— благодарно ответил человек.

Засыпал он с тревожными мыслями, но сон его был спокойный и крепкий. Когда он открыл глаза, ему показалось, что спал он всего несколько минут, а над ним, за иллюминатором, сияло ясное и теплое синее небо.

4

На следующий день в полдень они сделали свое самое удивительное открытие.

Вначале у них не было ощущения, что они наткнулись на что-то необычайное. Это были строения, почти не огражденные, стояли они на голой возвышенности, под ярким солнечным светом и всем своим видом напоминали гигантские оранжереи. При этом стояли они не на металлических колоннах, а прямо на земле. Как и повсюду, здесь ни дорог, ни тропинок и никаких признаков жизни вокруг не было. Странные здания блестели на вершине холма, одинокие и нереальные, словно из старой сказки.

Вездеход легко забрался наверх, и они поспешили выйти из машины. И остановились, пораженные. Нет, это не были дома бабочек, это было что-то совершенно иное.

Внутри помещений виднелись трубы, провода, какая-то мебель, похожая на шкафы, длинные эмалированные холодильники. Много предметов можно было различить сквозь прозрачные стены, не было только людей, хотя все говорило о присутствии разумных существ.

И дверей тоже не было. Они обошли со всех сторон просторное стеклянное здание, но не увидели в нем ни малейшего отверстия, словно оно было герметическим

— Как ты объясняешь это чудо? — спросил растерянно Алек.

— Может, оно открывается с помощью какого-нибудь механизма,— сказал Дирак.— Или имеет подземный ход

— Сделай одно отверстие! Как-нибудь войдем.

Дирак настроил лучевой пистолет на малую мощность и легким движением руки вырезал в толстой стеклянной стене отверстие размером с небольшую дверь. Первым вошел Дирак, за ним человек. Сделав всего несколько шагов, Алек взволнованно воскликнул:

— Посмотри, Дирак! Готов поклясться, что это термометр! И даже самый обыкновенный ртутный термометр!

— А вот радиаторы отопления,— сказал Дирак, потрогав рукой белый эмалированный шкафчик.

В помещении действительно было тепло и приятно, прогретый равномерно воздух был свежий и чистый. Алек подошел к одному из холодильников и осторожно приоткрыл крышку. На дне холодильника были уложены шесть превосходных зеленовато-желтых дынь. Алек смотрел на них в полном изумлении, потом взял одну в руки.

— Что это, по-твоему, Дирак? — спросил он весело.

— Наверно, яйца,— спокойно ответил тот.— Яйца синих бабочек.

— Правильно! — обрадовался Алек.— Они теплые. Это вовсе не холодильник, а просто-напросто инкубатор.

Но Дирак не ответил. Его взор был устремлен на что-то позади человека.

— Гусеницы! — тихо сказал он.

Алек резко обернулся. В глубине длинного помещения он тоже увидел двух гигантских гусениц, мохнатых и зеленых, впившихся возмущенным взглядом в непрошеных гостей. Обе они стояли выпрямившись, придерживаясь верхними лапками за ближайшие предметы. Все говорило за то, что они здесь у себя дома.

— Здравствуйте, хозяева! — дружелюбно сказал Алек.

Гусеницы не удостоили его ответом и все так же сердито смотрели на него. «Глупейшее положение»,— смущенно подумал человек. Стоя с яйцом в руке, он чувствовал себя почти вором, забравшимся в чужой дом. Алек решил положить яйцо на место, но неловко повернулся, оно выскользнуло у него из рук и с треском разбилось.

Алек быстро взглянул на гусениц. Их гнев перешел в ужас. И, прежде чем Алек успел сделать малейшее движение, он словно подкошенный рухнул на пол. Дирак молниеносно направил оружие на неожиданного врага, обе гусеницы вспыхнули. Но в тот же миг его тряхнуло, как от сильного удара электрического тока; нить, связывающая его с внешним миром, мгновенно оборвалась. Он не упал, только руки его опустились безжизненно, в металлическом корпусе замер едва уловимый шум, который был его жизнью. Стеклянный дом заполнили гусеницы, которые быстро приближались к своим жертвам.

Электрическая лампочка загорелась ярким светом и погасла. Лента восприятия внезапно включилась, и Дирак увидел себя в окружении трех гусениц в смешных рабочих халатах, с никелированными инструментами в руках. Он сразу понял: они делают то, что делали бы техники Багратионова. Они его ремонтировали. Сейчас ближайшая из гусениц ловко завинчивала левый грудной клапан, под которым было смонтировано предохранительное устройство. Дирак быстро повернулся. Он находился в какой-то просторной комнате; стены комнаты были сделаны как бы из слоновой кости, мягкий свет ламп падал на его линзы.

— А где Алек? — громко спросил он.— Он жив?

По-видимому, они расстроили регулятор звука. Он исправил его сам и снова спросил уже обычным голосом:

— Где Алек?

Гусеницы ничего не отвечали; смотрели на него с молчаливым любопытством и страхом. Внезапно в его включенном автоматическом радиоприемнике прозвучал негромкий, приятный человеческий голос:

— Встаньте!

Он не разобрал слов, но поспешно встал. В нескольких шагах от него, опершись о черный металлический стол, стояла сравнительно небольшая седая гусеница с внимательными, спокойными и умными глазами.

— Где Алек? — в третий раз спросил Дирак.

Седая гусеница смотрела недоумевающе. Тут робот понял, что нужно сделать, и включил радиопередатчик. Лицо седой гусеницы прояснилось.

— Я Лос планеты Вар,— сказала она.— Теперь я вас понимаю... Мы не воспринимаем звуковых волн. На звуковых волнах говорят наши бабочки. Будем разговаривать через ваш аппарат.

Дирак молчал. Все это время его сложный ум с лихорадочной быстротой перебирал миллионы комбинаций. В конце концов он решил, что расшифровал основные слова.

— Я Дирак с планеты Земля,— ответил робот.— Я мыслящая машина БА-6 конструктора Багратионова.

На седом мохнатом лице Лоса появилось выражение, похожее на странную улыбку.

— Дирак! — воскликнул он.— Здравствуйте, Дирак! И простите нас за маленькую неприятность, которую мы вам причинили.

Позднее Дирак восстановил в репродукторе весь разговор, но сейчас понял только смысл приветствия.

— Где Алек? — спросил он.— Алек — человек! — Он рукой показал, какого роста Алек.— Я хочу знать: жив ли Алек?

Лос кивнул, потом протянул руку к какой-то кнопке. Засветился экран, и Дирак ясно увидел своего повелителя и друга. Он лежал под хрустальным куполом в какой-то камере, которая очень напоминала биокамеру звездолета. Лос увеличил кадр до самого крупного плана, и Дирак уловил, что Алек дышит.

— Алек жив! — сказал Лос.— Он получил электрический шок, который временно его парализовал. Не беспокойтесь, мы его восстановим.

Дирак снова углубился в миллионы своих комбинаций.

— Благодарю вас,— сказал он.— Надеюсь, это не скажется отрицательно на его здоровье?

Лос не понял.

— Идемте со мной! — сказал он.

Три гусеницы, которые только что ремонтировали Дирака, встревоженно переглянулись. Лос это заметил.

— Не беспокойтесь,— сказал он им.— Нам не угрожает ни малейшей опасности. От него можно ожидать чего угодно, кроме неразумного поступка.

Лос быстро повернулся к стене, нажал кнопку, и перед ним открылась маленькая дверь.

— Пожалуйста,— сказал он.

Это был лифт; они спускались с головокружительной быстротой. Когда Дирак насчитал восемнадцать этажей, лифт остановился, и они очутились в длинном коридоре без каких-либо признаков дверей или окон. Помещение освещалось мягким, неизвестно откуда лившимся светом, который позволял различать самые отдаленные предметы. Дирак удивился, видя, как быстро передвигается Лос по мягкому полу, сделанному словно из пробкового дерева. Лос остановился, нажал хрустальную кнопку, и они оказались в просторной длинной комнате. И здесь тоже не было окон, но воздух был свежий и свет такой же ясный. Вдоль длинных стен стояли металлические шкафы.

— Это часть моей библиотеки,— сказал Лос.— Здесь вы найдете все, что вам нужно: учебники, энциклопедии, атласы, наглядные пособия. Все это поможет вам быстро и эффективно овладеть языком и познакомиться с основами нашей цивилизации. Надеюсь, что это вам не доставит больших затруднений. Я понял, что вы отличная мыслящая машина, Дирак; должен признать: у нас такой еще нет.

— Я беспокоюсь за Алека,— сказал робот.— Мне трудно будет работать, если я не узнаю, как он себя чувствует.

Лос не понял, но его добрые и умные глаза смотрели ласково.

— Я не понимаю вас, Дирак. Вы поработайте здесь, а потом мы поговорим.

Через некоторое время Дирак остался один в библиотеке и сразу же взялся за дело. Ему не нужно было читать бесконечное множество текстов: они отпечатывались в его механическом мозгу со всеми точками и запятыми и оставались там навсегда. Он неутомимо, педантично перелистывал и перелистывал, только изредка останавлива-

ясь на несколько минут. Тогда в нем с бешеной скоростью начинали работать миллионы клеток, впитывая материал и превращая его в прочные знания. Часов через восемь к нему пришел Лос.

— Алек в полном сознании,— сказал он.— Первым делом он спросил о вас.

Необычный рокот прозвучал в металлической груди робота.

— Спасибо,— ответил Дирак на языке Вар.— Могу ли я его видеть?

— Конечно,— сказал Лос.— Но чтобы не терять времени, лучше на телеэкране.

Лос включил телевизор, на широком серебристом экране появилось лицо Алека. Лицо было изможденное, бледное, как у человека, перенесшего тяжелую болезнь. Но едва он увидел Дирака, глаза его радостно заблестели и слабый румянец окрасил щеки.

— Здравствуй, Дирак,— сказал он.

— Здравствуй, мальчик! Как ты себя чувствуешь?

— Сносно,— ответил Алек.— Самое удивительное, что впервые за все это время я захотел есть.

— Неужели тебя не кормят?

— Давали какую-то отвратительную пасту. Наши хозяева, видимо, не придают особенного значения вкусовым качествам.

Дирак повернулся к Лосу и перевел ему. Услышав ответ, он снова посмотрел на экран.

— Он говорит, что пища была очень калорийная и богатая витаминами... Приготовленная специально для восстановления сил ослабленного организма.

— Ты разговариваешь с ними?— изумился Алек.

— Да, хотя по весьма странному методу.

— Может быть, она и была калорийная,— вздохнул Алек.— Но я тебе честно признаюсь, что я просто сплю и вижу жареного цыпленка.

— Мне очень жаль, Алек,— серьезно ответил робот.— Но на этой планете нет ничего, кроме гусениц и бабочек.

— Я понимаю. А что со мной произошло?

— Ничего особенного. Небольшой электрический шок.

— Только этого еще не хватало! — усмехнулся человек. — Теперь мне кажется, что мой мозг стал твердым, как бильярдный шар.

— Лос сказал, что тебе дадут пищу из наших продуктовых запасов. В чем ты еще нуждаешься?

— В чем нуждаюсь? Дирак, у этих странных хозяев нет ни постелей, ни стульев, я уже не говорю о подушках и матрацах. Должен тебе сказать, что спина у меня затекла от жесткой гладкой плоскости, на которой я лежу.

Робот не слишком точно перевел, но Лос сразу понял, в чем дело.

— Конечно, у нас есть мягкая материя, — сказал он. — Попробуем ее приспособить.

Дирак перевел, после чего добавил:

— А теперь отдыхай и восстанавливай силы. Хочу тебя предупредить, что нам предстоит большая работа.

Дирак провел в библиотеке еще три дня. За это время Лос навещал его несколько раз и уходил, весьма довольный успехами своего ученика. На третий день он долго и обстоятельно беседовал с роботом. Дирак понял, что Лос серьезно готовится к своему первому разговору с человеком.

6

Они стояли вдвоем на веранде лечебницы, обращенной к лесу. Природа здесь больше напоминала земную, особенно деревья, похожие на гигантские кусты, осыпанные множеством цветов, больших, ярких. И воздух был более прохладный и влажный, в нем чувствовалось едва уловимое соленое дыхание океана. Гусеницы позаботились, чтобы их ничто не беспокоило, и теперь они могли разговаривать без помех. Алек внимательно слушал размеренную речь Дирака.

— Вар — одна из трех планет, входящих в звездную систему, которую они называют Зитой, — начал он. — На самой близкой к Зите планете нет жизни, как на нашем Меркурии. На второй планете богатая и разнообразная жизнь, очень напоминающая нашу мезозойскую эру.

— Правда? — заинтересовался Алек. — Нужно посмотреть, нельзя ли добраться и туда.

— Это не совсем безопасно,— заметил Дирак.— Итак, Вар — сравнительно молодая планета. Древняя фауна ее не слишком отличается от земной. Но в палеолите появляется впервые синяя бабочка. Именно ее личинки, гусеницы, произвели коренной перелом в развитии животного мира. Остальные виды просто прекратили свое существование. Гусеницы отличаются тем, что они одни из всех животных обладают необыкновенным оружием — электрическим зарядом. Это не ново в природе, но гусеницы планеты Вар исключительно сильны. Впрочем, ты сам мог в этом убедиться, хотя они не собирались тебя убивать, а просто лишили способности двигаться.

— И весьма успешно,— пробурчал Алек.— Думаю, что не забыть мне об этом всю жизнь.

— Сначала они убивали других животных только когда приходилось защищаться,— продолжал Дирак.— Гусеницы питаются исключительно растениями, так что они ни в коей степени не были заинтересованы в сохранении других животных. Они и уничтожили их совершенно сознательно, чтобы обеспечить себе и главным образом своим бабочкам, которые совершенно беспомощны, полную безопасность.

— У кого же появилось сначала сознание — у гусениц или бабочек?

— По-моему, у гусениц,— ответил Дирак.— Но они никогда не говорят ничего подобного, бабочки для них в любом случае остаются существами высшего порядка. Но факт, что именно у гусениц возникает способность к труду и организованная общественная жизнь. После того как они истребили все высшие формы жизни на планете, они уничтожили химическими и другими средствами и низшие виды — насекомых, паразитов и так далее.

— Весьма кровожадные создания,— заметил Алек.

— Нисколько! Подобных слов вообще нет в их словаре. Не существует таких понятий, как вражда, ненависть, жестокость, алчность. А понятия «счастливый», «радостный», «печальный» они употребляют только тогда, когда речь идет о бабочках. У гусениц просто нет эмоциональной жизни в земном понимании.

— Не может быть! — невольно воскликнул Алек.

— Это правда,— серьезно возразил Дирак.— По-видимому, все их существование основывается на биологиче-

ских принципах. Они не бесполые в точном смысле слова, но совершенно лишены половых чувств. Инстинкт продолжения рода проявляется у них в заботе о бабочках и в стремлении достичь невредимыми этой стадии. Это настолько сильно в них, что определяет все общественные отношения.

— Объяснение кажется мне не совсем научным,— пошутил Алек.

— Для планеты Вар это абсолютно научно,— с прежней серьезностью ответил робот.— И посему развитие их общества совершенно отлично от нашего. Прежде всего здесь нет ни рас, ни наций. На Варе не было ни одной войны. Не было классов. С самого начала и до сих пор их общество — цельный коллектив. Гусеницам нужно лишь самое необходимое. Все свои мечты, надежды и желания они откладывают до своей второй жизни в качестве бабочек. Это для них не религия, не идея, а естественное состояние. Поскольку они лишены чувств и страстей, настоящее в определенном смысле им безразлично.

— Но тогда они глубоко несчастны! — воскликнул Алек.

— Едва ли,— ответил робот.— Они спокойны и уравновешенны, поскольку ими движут стремление к определенной цели и уверенность, что они ее достигнут. Любое мыслящее существо, имеющее определенную цель в жизни, не может быть несчастным, Алек! Разве я, по-твоему, несчастен?

— Нет, конечно же,— пробормотал Алек.— Но тогда не понятно, что является стимулом для науки, для прогресса в этой цивилизации?

— Ты рассуждаешь совсем как земной человек,— ответил Дирак.— Наука может развиваться, даже если нет людей. Представь себе, что человеческий род внезапно вымер от какой-то неизвестной эпидемии. И на свете останутся только машины, созданные Багратионовым. Нет, наука не умрет! Мы будем продолжать развивать ее, пока не воспроизведем вас снова, хотя бы начать пришлось с обыкновенной амебы. В конце концов наука — это такая материя, которая, будучи однажды создана, начинает развиваться по своим собственным законам, иногда даже во вред людям. Но на Вар дело обстоит иначе. Здесь люди-гусеницы относятся к науке строго рацио-

нально. Время от времени они сознательно ограничивают развитие отдельных наук, особенно технических. Они делают все, чтобы сохранять, насколько возможно, почти спартанский образ жизни. Например, они никогда не производили оружия для самоистребления. Они открыли атомную энергию, но используют ее главным образом для создания тепла на планете. Теоретически они знакомы с термоядерной энергией, но не стремятся применять ее на практике. Они знакомы с тремя измерениями, а транспортные средства их ограничены до минимума и служат только для перевозок. Три века назад у них были космические корабли, с их помощью они изучили свою звездную систему Зита. Теперь они перестали совершать полеты, потому что считают это бессмысленным занятием. Но зато у них на очень высоком уровне медицина и отчасти биология. Например, они не знают смертного исхода при болезни или несчастном случае.

— А философия у них есть? — перебил Алек.

Дирак в затруднении молчал.

— Я встречал это понятие,— сказал он.— Но ни разу не встретил ни одного названия философского труда... Может быть, это есть у бабочек...

— Теперь кое-что проясняется,— сказал Алек.— По логике вещей, у этих гусениц, очевидно, нет искусства.

— Почти нет, если не считать архитектуры и некоторых элементов декоративной живописи. Искусство — достояние бабочек, у которых эмоциональная сторона жизни развита очень сильно и составляет основу их существования. Они считают эту фазу более высокой, а почему — им и самим не совсем ясно. Это фаза счастливого существования — время эмоций, красоты, любви и в конечном счете полового размножения.

— Значит, эмоциональную жизнь они связывают только с наличием полового чувства? — спросил изумленный Алек.

— В конечном счете так и получается,— ответил Дирак.— Но, может быть, я поспешил с заключением. Впрочем, ты знаешь, как тяжело переносят представители рода человеческого период увядания. Люди на Земле начинают тогда походить на гусениц, только без их надежды превратиться в бабочек.

— Верно,— кивнул Алек.

— Здесь же гусеницы избавлены от такой драмы, поскольку для них это естественное и временное состояние. Они живут надеждой, а надежда подчас значит больше всего на свете.

— И ты знаешь больше, чем полагается знать мыслящей машине,— пробормотал Алек.— Но интересно, куда же это приведет?

— Ты имеешь в виду чувства?— осторожно спросил Дирак.

— Возможно,— еще более осторожно ответил человек.— И кто же такой Лос?..

— Сейчас поймешь... У них имеются две фазы существования, строго ограниченные по времени. Первая фаза — фаза гусеницы — длится ровно сорок лет. Они могли бы увеличить или уменьшить этот срок, поскольку им давно известен код наследственности, но они считают его самым целесообразным по многим причинам. Точно к концу этого срока они превращаются в коконы, из которых через десять месяцев выпорхнут бабочки. Насколько я понял, каждая бабочка помнит о своей прошлой жизни и не является новой, вновь рожденной индивидуальностью. Гусеницы предоставили им самую красивую, с наиболее стабильным климатом часть континента — ту, возле экватора. Сами остались жить в более суровом климате океанского побережья. Здесь их города, заводы, вся их цивилизация. Бабочки живут, надо полагать, не занятые никаким трудом. Единственная их полезная деятельность — продолжение рода. Любовная жизнь не ограничена институтом брака. Видимо, чувства у них возникают стихийно и не обусловлены сроками. Единственная обязанность бабочек перед обществом — отложить яйца в отведенных местах, обо всем остальном заботятся гусеницы. Но за свою красивую жизнь они наказаны природой: живут очень мало, всего десять лет.

— Десять лет ничегонеделания — это совсем не мало! — усмехнулся Алек.

— Теперь вернемся к Лосу,— продолжал Дирак.— Ты сам понимаешь, что сорок лет — слишком короткий срок, чтобы поддерживать на нужном уровне столь сложную цивилизацию. Осуществляет эту трудную задачу Совет из двадцати старейшин, каждый из которых носит имя Лос. На языке Вар это значит «печальный». Совет печальных

управляет всем обществом, единственная цель которого — достичь счастья путем перерождения.

— Чудесно! — пробормотал Алек.

— Но они едва ли так думают, — сказал Дирак. — В конце сорокового года каждый из тех, кто избран Лосом, искусственно сдерживает свое биологическое развитие. Лос не становится ни коконом, ни бабочкой. После десятимесячной летаргии он пробуждается снова гусеницей, принося себя в жертву обществу. У него нет своей личной цели, надежды на счастье. Они воплощают не только печаль, но и полную безнадежность. Единственный смысл их существования — обслуживать низшую фазу своего общества.

— Может быть, их жизнь и безнадежна, и печальна, но я им завидую, — тихо сказал человек.

Дирак не сразу ответил, но его пустые линзы как-то особенно пристально нацелились на человека.

— Сомневаюсь в твоей искренности, Алек, — сказал наконец он. — Казимир не зря утверждает, что не встречал такого жизнелюбивого человека, как ты.

— Это не имеет значения.

— Как же не имеет? Да ты ведь не откажешься от самой малой малости, Алек. Даже от матраца, даже от цыпленка.

— Вот именно поэтому! — воскликнул человек. — Должен тебе сказать, что я всегда сомневался в смысле тех высших цивилизаций, которые не могут дать ни мучеников, ни героев.

— Глупо, — сказал Дирак. — Ты вправду меня удивляешь.

— Может быть, и глупо, — пожал плечами человек. — Но я так это понимаю.

— Даже Лос так не думает, хотя он является своего рода мучеником ради общества.

— Это Лос номер один?

— Да.

— А кто его выбирает?

— Ты, конечно, понимаешь, что все происходит отнюдь не путем парламентских выборов. Это власть, к которой никто не стремится, которая не приносит никаких благ, одни тяготы. Совет сам намечает будущего Лоса, отбирая его из самых способных в отдельных отраслях на-

уки. Каждый Лос, достигший стопятидесятилетнего возраста, автоматически исключается из Совета, независимо от его заслуг перед обществом, и вскоре, лишенный цели и смысла своего существования, умирает...

— Несколько жестоко,— сказал Алек.— Но так и должно быть.

Он немного подумал и добавил:

— Я хочу видеть Лоса.

— Ты увидишь его утром,— сказал Дирак.— Но я прошу тебя, будь осторожен и внимателен.

— Что ты этим хочешь сказать?

— Может быть, с этого следовало начать,— сказал Дирак.— Дело в том, что Лос отказался пропустить меня к вездеходу. Я хотел установить связь с Казимиром, но из осторожности не сказал ему об этом. И все-таки он меня не пустил. Мне кажется, они считают нас своими пленниками.

— Ты полагаешь?

— Возможно, они опасаются нас, поэтому хотят изолировать от нашей базы. Они считают, что мы попали сюда с ракеты, и не знают, что вокруг Вар кружит наш звездолет. Я, со своей стороны, ничего им не сказал.

Алек взглянул на него с любопытством.

— Честное слово, я не знал, Дирак, что ты способен лукавить.

— Я способен на все, когда речь идет о вашей безопасности,— ответил робот.— И поэтому считаю: с ним надо держаться очень осторожно и рассеять все его сомнения.

Алек молчал.

— Я думаю, что мы поймем друг друга,— сказал он.— С печальным человеком всегда можно договориться. Главное, чтобы он не был бесчувственным.

Он внутренне сжался, сказав последнее слово, но Дирак не подал вида, что воспринял слова человека как обидный намек. И, чтобы переменить тему, человек быстро взглянул на часы.

— Ровно через сорок пять секунд мне принесут пищу,— сказал он.— Эти гусеницы чертовски точны...

— У меня такое же впечатление,— бесстрастно ответил Дирак.

Он тоже посмотрел на часы. Теперь они оба молчали. Алек вдыхал соленый ветер океана, который усиливался к вечеру. Солнце скрылось, утонул в мягких сумерках лес, казавшийся сейчас еще более пустынным. Алек вздохнул.

— Очень хочется увидеть серну,— сказал он тихо.— Или хотя бы обыкновенную козочку...

Дирак не ответил и посмотрел в дальний конец веранды. Там появилась зеленая гусеница, которая медленно ползла, толкая перед собой столик на колесах.

7

Дверь отворилась перед ними, и они вошли в огромный зал с потолком сводчатым и голубым, как небо. Никакой мебели в зале они не заметили, и все же он производил торжественное и праздничное впечатление. В глубине его, опершись на тонкую металлическую рамку, их ждал Лос. Человек с любопытством уставился на него. Седое мохнатое лицо старейшины казалось добрым и кротким, но взгляд был живой, сосредоточенный и проницательный.

— Я приготовил для вас сюрприз,— сказал Лос и показал на предмет, стоявший у стены.— Это у вас называется стулом?

Дирак переводил очень быстро, почти синхронно. Человек посмотрел туда и улыбнулся. Теперь он тоже заметил этот предмет. Это ни в коем случае не было стулом, но могло сойти за стул. Алек подошел и осторожно сел. Лос смотрел на него все тем же внимательным, немигающим взглядом.

— У меня есть к вам несколько вопросов, Алек,— сказал он.— А потом я в вашем распоряжении.

— Прошу вас...

— Дирак сказал мне, что у земных людей умственная и эмоциональная деятельность протекает одновременно. Вы считаете такой образ жизни более совершенным?

— Мне трудно вам ответить,— сказал Алек.— Я слишком поверхностно знаю ваш мир. Но он представляется мне организованным вполне разумно.

— Все-таки не могли бы вы высказать какие-то принципиальные суждения по этому вопросу?

— Я мог бы сказать, что индивид, который совмещает в себе две природы, является полноценным если не для общества, то по крайней мере сам по себе.

— Как это понимать? («Будь внимателен, Алек»,— добавил Дирак от себя.)

Алек все осмысливал быстро, но так и не догадался, от чего предостерегал его робот.

— Очень просто,— ответил он, взвешивая слова.— Одна плюс одна получается две.

— Такой способ мышления кажется мне несколько механическим,— сказал Лос.— Углерод плюс кислород — и получится, насколько мне известно, яд...

— Признаю, что я привел не слишком удачный пример,— сказал Алек.— Но положительным является уже тот факт, что двойственная природа человека способствует более интенсивному душевному горению.

— Да, естественно,— кивнул Лос.— Но следует ли считать большую интенсивность духовной жизни решительным преимуществом? Не является ли более важным внутренняя гармония и цельность душевного мира?

— Я хочу сказать, одновременное сосуществование в человеке эмоционального и рационального начал обогащает его,— ответил Алек.— Индивид, которому свойственно только одно из этих начал, по существу, полуиндивид.

— Да, в этом мне хотелось бы разобраться!— сказал задумчиво Лос.— Итак, вы считаете, что на Вар живут полусущества? («Будь очень внимателен»,— прибавил от себя Дирак.)

Лишь теперь Алек понял, куда клонит собеседник.

— Нет, нет, прошу вас, я совсем не хотел этого сказать!— возразил он.— Я вполне допускаю, что ваше общественное устройство более совершенно, чем наше. Но скажите, Лос, разве вы не сожалеете, что вам недоступен мир красоты, счастья и чувств — мир бабочек?

— Я понимаю ваш вопрос,— сказал Лос.— Но ведь в конце концов почти каждый житель Вар обретает свое счастье. И притом не в смешанном, а в чистом виде, счастье, какое вы себе даже представить не можете...

Алек задумался, как дальше направить разговор.

— Вероятно, вы правы,— заколебался он.

— Подумайте, Алек,— подхватил с живостью Лос.— Разве последовательное деление на два начала не более целесообразно? Каждое из них существует в чистом виде, они не мешают взаимно одно другому и могут проявляться в полную силу...

— Это не так просто,— сдержанно ответил Алек.— Мы стремимся, чтобы чувства наши облагораживали ум, а ум сообщал чувствам глубину и проникновенность.

— Ответ не по существу,— сказал Лос.— Подобная взаимосвязь существует и у нас, только последовательно, поэтапно. Иначе эмоциональная жизнь бабочек была бы совершенно примитивной.

— Я не спорю с вами, Лос, о преимуществах вашего и нашего миров. Поскольку они оба созданы природой, они естественны. Но они не могут быть абсолютно совершенными. В каждом из них надо искать совершенство по законам его собственного развития.

— Это правильно,— сказал Лос (а Дирак присовокупил: «Тебе, пожалуй, удалось вывернуться»).

Лос помолчал и затем мягко добавил:

— Мне кажется, Алек, что перед вашим обществом стоят более серьезные трудности. Эти два начала очень сильны, очень обособлены и всегда в разладе. Какое-нибудь из них неизбежно берет верх и вытесняет другое. А обрести гармонию представляется мне крайне сложной задачей.

— Правильно,— подтвердил Алек.— Но как бы могли мы развиваться, если бы не было этих двух противоречивых факторов, которые и стимулируют процесс развития?

— Но если они взаимно отталкиваются?

— Даже если так... Все же это толчок к соревнованию и прогрессу. Но теперь фактически положение у нас иное.

— Вы хотите сказать, что разум смирился?

— Наоборот, мне кажется, он всегда более неуступчив и настойчиво стремится взять перевес. Именно несколько его серьезных побед в истории нашего развития показали ему, что эти победы, достигнутые в одиночку, не приносят полного удовлетворения.

Лос надолго задумался.

— Ваша эмоциональная природа в моем представлении дерзкая, живучая и сильная,— сказал он наконец.— И мне кажется, что вашему разуму очень тяжело ей противиться.

— А почему вы так думаете?— спросил с любопытством Алек.

— Насколько я понимаю, вы относитесь к хищным животным?

— То есть?

— Вы ведь до сих пор едите мясо животных,— сказал Лос.— У нас только хищники в доисторические времена питались мясом.

— Ну это неважно,— нахмурился Алек.— И не может иметь никакого значения для человечества, прошедшего такой долгий путь исторического развития.

— Весьма произвольное суждение,— сказал Лос с горечью.— Даже самый длинный путь развития закодирован в наследственности. Иначе чем вы объясните ваши войны, ваши революции, истребление друг друга на протяжении целых веков. Кровавой истории вашего развития не могла не способствовать ваша пища, которую вы употребляете; она сообщает кровавые тона вашим эмоциям... И как же может жить с ними в мире чистый и беспристрастный разум?..

Алек заметил с удивлением, что доводы Лоса его раздражают. Неужели человек-гусеница в чем-то прав? Или просто-напросто он хотел вырвать у него какое-нибудь неосторожное признание?

— Мне трудно найти убедительные контраргументы, Лос,— сказал он.— Но, к сожалению, факты говорят об обратном. Проблемой последних эпох является не технический прогресс, а увядание чувств. И надо сказать, вопреки всем вашим предположениям, наше общество намного гуманнее вашего. Мы не истребили жизни на своей планете. У нас живут на свободе тысячи диких и приручeнных животных...

— Чтобы иметь возможность их убивать?— спросил Лос.— Чтобы не забыть о древнем прекрасном ремесле, об охоте?

— Не совсем так. Мы действительно убиваем некоторых. Но у нас есть огромные заповедники.

— Но гусениц и бабочек все же истребляете.

— Простите, Лос, но у нас они не относятся к разумным существам. Они просто насекомые. И мы не истребили всех гусениц, хотя они наносят серьезный вред нашим лесам. Мы их сохраняем ради красивых бабочек, которым радуются наши дети.

— Жаль, что вы не захватили ни одного экземпляра,— задумчиво проговорил Лос.— Это бы представило огромный интерес для наших ученых.

— В следующий раз не упустим...

— Рассчитываете установить с нами постоянные контакты? («Будь внимателен, Алек»,— настойчиво предупредил Дирак.)

— Цель наших путешествий единственная — знание,— осторожно ответил Алек.— Но если вы будете в нас нуждаться, мы никогда не откажем в помощи.

— Спасибо,— сухо ответил Лос.— Это все, что я хочу знать. Теперь я к вашим услугам.

Алек пристально посмотрел на него.

— Прежде всего у меня есть к вам просьба, Лос,— сказал он.— Позвольте нам выйти на связь с нашим воздушным кораблем.

В глазах Лоса что-то промелькнуло.

— Зачем вам связь?— спросил он.— Разве на корабле есть люди?

— Вы меня не поняли. Речь идет не о ракете, на которой мы опустились. А о фотонном звездолете, облетающем Вар. У нас нарушились ежедневные обязательные сеансы связи. Наши товарищи очень тревожатся за нас.

Лос устремил на него свой проницательный взгляд.

— У вас правда есть такой звездолет?

— Вы меня удивляете, Лос... Если не верите мне, спросите ваших ученых. На ракете можно в лучшем случае долететь от одной планеты до другой.

— А не хотите ли вы на самом деле установить связь с вашей Землей?

— А разве это не одно и то же?

— Для нас не одно и то же.

— Я не понимаю... Вы боитесь нас?

— Возможно, у нас есть на то причины,— ответил Лос.— И весьма серьезные.

— Интересно узнать, какие?— сказал Алек.

Лос медленно покачал мохнатой седой головой.

— Вы неискренни, Алек,— сказал он огорченно.— Вы же не можете не знать. Во-первых, вы убили бабочку. Уже тысячи лет ни одна бабочка не умирала насильственной смертью. Должен сказать, это событие просто потрясло нас.

— Тогда и вы будьте искренни, Лос. Вы же хорошо знаете, что это недоразумение. Мы думали, что бабочки обыкновенные насекомые. Даже в глазах жителей Вар истребление насекомых не является преступлением. Вы истребили миллионы видов...

— Это верно. Но и убийство бабочки — тоже факт. Жители Вар испуганы и встревожены.

— Вы должны объяснить недоразумение и успокоить их. Здравый, трезвый рассудок поможет им разобраться.

— К сожалению, это еще не все. Совет опасается, что ваша планета истощена или ей грозит уничтожение. И вы ищете другую, с подходящими климатическими условиями, которую вы сделаете своей колонией. Совет опасается, что вы примете нас за низшие существа и сочтете себя вправе истребить нас для того, чтобы создать более высокую цивилизацию. Особенно много опасений внушает Совету то, что вы хищники. И в конечном итоге нельзя сбрасывать со счета, что на ваш разум могут повлиять незнакомые нам чувства.

Алек глубоко задумался.

— Надо признать, что все ваши опасения не лишены оснований,— сказал он наконец.— Но не в данном случае. Конечно, вы не знаете нашего мира, его гуманных принципов, так что любое наше объяснение вы можете принять за ложь. Все-таки я хочу вас убедить, что у нас нет никаких намерений захватить Вар, и прошу вас поверить мне...

— А если Совет не поверит? Не забывайте, Алек, что стоит вопрос о нашем существовании.

— Это невыгодно для вас со всех точек зрения,— ответил Алек.— Если вы попытаетесь задержать нас или погубить, наши товарищи не оставят это без последствий.

— Что это значит? — спросил сдержанно Лос.

— Достаточно нашему звездолету облететь Вар на малой высоте — и планета превратится в пепелище. И это не единственная возможность.

— Я должен понять ваши слова как угрозу или как обыкновенный шантаж?

— Ни то, ни другое, Лос. Мы пришли к вам как братья. Чтобы не нанести вам ни малейшего невольного ущерба, мы подвергли стерилизации каждую вещь, которую взяли с собой. Вы, наверно, обследовали нашу пищу и наши вещи и знаете, что это правда. И, конечно же, один звездолет не может обратить в колонию целую планету. В ваших интересах освободить нас добровольно. А если не поверите — приготовьтесь защищаться. Раньше чем через тридцать два световых года мы не сможем добраться сюда, а это для вас века...

Алек умолк. И Лос молчал, он был подавлен и мрачен.

— Благодарю вас, Алек, за откровенность,— сказал он.— Лично я считаю, что вы правы. Но решение может принять только Совет. Утром я сообщу его вам.

Потом Алек и робот шагали вдвоем по длинному коридору.

— Я думаю, что старик на нашей стороне,— сказал Дирак.

— Почему?— едва заметно улыбнулся человек.

— Твоя логика была безупречна. Поскольку они разумные существа, они все воспримут правильно. И можно не опасаться, что их разум будет ослеплен какими-либо чувствами.

8

Экран засветился, и в тот же миг Алек увидел встревоженное лицо Казимира.

— Алек!— воскликнул он.— Что случилось?

— Ничего особенного,— спокойно ответил Алек.— Были небольшие осложнения, но теперь все уладилось...

— Бабочки?

— За бабочками появились гусеницы! Хочешь на них взглянуть?

— Если нет ничего лучшего!— засмеялся Казимир.

Несколько минут Казимир с интересом всматривался в телеэкран.

— Да, приличная архитектура,— сказал он.— Высокие двери. Они что, ходят выпрямившись?..

— Сейчас поймешь... Но здания, конечно, имеют свои неудобства. У них лестницы как детские горки. Подняться на второй этаж — настоящий подвиг.

— Это они? — содрогнувшись, спросил Казимир.

— А что, не нравятся? — улыбнулся Алек.

— Бр-р! Как в страшном сне...

— Вблизи они выглядят симпатичнее,— сказал Алек.— И в конце концов никакой опасности, что тебя пригласят танцевать. Они глухонемые.

— Ах вот как!

Казимир снова стал наблюдать, молча и сосредоточенно.

— Можно кое-как выдержать. У исследователей Алфагея меньше шансов, чем у тебя. Они тебе не причинили вреда, Алек?

— Позднее я тебе расскажу. А сейчас у нас хорошие отношения, ведем философскую дискуссию.

— О чем?

— Старые, вечные темы...

— Алек, ты ничего от меня не скрываешь? Где Дирак?

— Не беспокойся, он в полной исправности,— ответил Алек.— Они содержали нас как пленников, но теперь мы свободны. При одном условии: надо доказать, что наш звездолет существует на самом деле.

Опасная искра мелькнула в глазах пилота:

— Ну это не проблема...

— Нет, нет, прошу тебя, Казимир, не наделай глупостей. От тебя требуется только одно: вечером, в одиннадцать часов, запустить сигнальную ракету... Выбери самую яркую.

— Ты уверен, что вы в полной безопасности? — нахмурившись, спросил Казимир.

— Уверен.

— Сколько времени предполагаешь еще провести там?

— Думаю, еще дней десять.

— И все-таки, прошу тебя, будь осторожен... Если что с вами случится, планета их лопнет как мыльный пузырь.

— Не подозревал, что ты такой кровожадный,— улыбнулся Алек.— Но скажи, что у тебя?

— А что у меня может быть? — пожал плечами Казимир.— Скука смертная. Подумываю, уж не смонтировать ли Дирака-второго, а то и поболтать не с кем.

— Неплохая идея. Только не забудь демонтировать его к тому времени, как мы вернемся.

— А что?

— Ну как тебе сказать... Может быть, Дираку-первому будет неприятно увидеть свое второе «я».

Казимир засмеялся.

— Ты все такой же,— сказал он.— Передай привет Дираку. Может быть, среди этих гусениц у него развились чувства.

— Багратионов не исключает такой возможности...

— Не смеши меня!

— Я кончаю, Казимир,— сказал Алек.— Отныне будем поддерживать регулярную связь.

— Ты что, приглашен на банкет?

— Слава богу, эта беда меня миновала,— улыбнулся Алек.— В меню нет ничего, кроме хлорофилла. А иногда даже и он искусственный.

— Не позавидуешь тебе...

— До свиданья, Казимир!

Экран погас.

9

Алек сидел на своем мягком стуле без спинки и думал о том, насколько быстро приспосабливается человеческое сознание к самой странной обстановке. Теперь все ему представлялось естественным, и даже мохнатое лицо Лоса казалось почти человеческим. Все-таки он не мог сдержать улыбки, когда президент планеты Вар с удивительной ловкостью стал карабкаться по отвесной стене к одному из верхних шкафов библиотеки. Лос вернулся, держа в руках металлическую пластинку, похожую на гравюру.

— Это первый Лос нашей планеты,— сказал он.— Его называли Лосом Философом.

Алек удивленно посмотрел на него.

— Дирак говорил мне, что у вас нет такой науки.

— Да, теперь и правда нет,— ответил Лос.— Три века назад она была отменена специальным указом Совета.

Алек усмехнулся.

— Это нельзя назвать свободой мысли.

— Не знаю, какой смысл вы вкладываете в слово «свобода», Алек. Для нас это отсутствие принуждения. У нас свобода каждому индивиду гарантирована в рамках наших законов и традиций.

— Для нас это значит несколько больше,— снова усмехнулся Алек.— Мы ни в коем случае не мешаем людям думать, о чем они хотят, а также излагать свои мысли в письменной форме.

Лос задумался.

— Не знаю, разумно ли это,— сказал он.

— И все же почему надо было запрещать философию?

— Она оказалась просто ненужной,— ответил Лос.— Наша философия пыталась открыть законы развития. Эти законы нам дала наука. А что касается самых общих закономерностей и самых общих целей, то мы пришли к выводу, что нет иных законов развития, кроме тех, которые предлагает сама природа: развитие индивида от низшей стадии к высшей.

— Все ясно и просто,— пробормотал Алек.— И все же, надо полагать, были и другие мнения?

— Были, конечно,— кивнул Лос.— Особенно сильным было монистическое учение, проповедовавшее взгляды, подобные вашим. Они считали, что природа разумного существа должна быть единой и неделимой и что наука должна стараться обеспечить такое единство. К этой школе принадлежал самый известный их философ по имени Син Темный. Сейчас я вам его покажу.

Лос снова вскарабкался по полкам и принес тонкую книжку, отпечатанную на какой-то особенной бумаге. На титульном листе была помещена фотография, которая сразу приковала внимание Алека.

— Он, однако, не был лишен чувств,— задумчиво сказал Алек.

— Возможно,— неуверенно ответил Лос.— Он отличался особенно дерзким и беспокойным умом.

— Может, вы прочтете мне что-нибудь?

Лос нехотя открыл первую страницу и стал читать:

«Куда стремишься ты, слепое существо? К какому темному морю текут реки твоих жсланий? У тебя нет глаз,

они слепы к чудесам, что окружают тебя. У тебя нет слуха, и ты не слышишь глас истины. Синие льды полюсов навеки заморозили твое сердце. Для чего твой холодный разум и для чего твои мертвые руки, если все, что они создают, печально и бессмысленно?»

Лос внезапно смолк.

— Но это же не философия! — воскликнул Алек.— Это поэзия...

— Нет, нет, это не поэзия,— недовольно ответил Лос.— Это просто мысли, дерзкие и необоснованные. Поэзию могут создавать только бабочки.

— Вы не могли бы показать мне что-нибудь из поэзии?

Лос с удивлением взглянул на него.

— Поэзия не записывается,— сказал он.— Это запрещено.

— Запрещено? Почему?

— Разве не ясно? У бабочек столь высокая поэзия, что она недоступна нашему пониманию. Кто не может ее воспринять, тот просто осквернит ее...

— Но что есть поэзия?

— Поэзия есть красота! — убежденно ответил Лос.

— И природа — красота...

— Нет, это красота их отношения к природе. Красота их отношения к любви. Не знаю, как выразиться точнее, Алек. Поэзия — материализованный образ движения их души. Кванты их духовной энергии, их непостижимого для нас счастья...

Алек молчал.

— Но разве их поэзия лишена мысли? — спросил он наконец.

— Конечно же, нет.

— А откуда же берутся мысли?

— Бабочки мыслят на основе знаний, которые они получили в своей предыдущей жизни,— ответил Лос.— Но это мысли, пронизанные светом, а их глубина, наверно, неизмерима.

Дирак беспокойно взглянул на часы.

— Пора идти,— сказал он.

Немного погодя они втроем поднялись на плоскую крышу резиденции. Океан был совсем близко, и возле освещенной пристани стояло несколько кораблей, широ-

ких и приплюснутых, словно черепахи. Фосфоресцирующие башенные краны бесшумно снимали с них какую-то студенистую массу. Соленый йодистый запах был сегодня сильнее обычного.

— Это морские водоросли,— объяснил Дирак.— Они извлекают из них хлорофилл.

Алек как будто не слушал его.

— Лос, не можете ли вы мне дать книгу Сина Темного?— спросил он вдруг.

— Нет, Алек, ее запрещено выносить.

— Запрещено выносить в пределах планеты Вар. Но не на далекую, незнакомую Землю.

— И без того вы доставите на Землю чрезмерно много знаний...

— Но я хочу принести им мысли, Лос,— ответил человек.— Знания могут оказаться бесполезными. Ведь никто из нас не может с точностью утверждать, какие именно знания пригодятся земным людям. А вот мысли...

— Смотрите!— прервал его Дирак.

Они обернулись и посмотрели на черное небо. Почти в самом зените вспыхнуло облачко и быстро расплылось, словно фиолетовая медуза. Спустя несколько минут оно стало совсем прозрачным, сквозь него проступили неяркие звезды. Алек незаметно взглянул на Лоса; на его лице можно было прочесть странные, неподобающие ему мысли.

— Красиво, не правда ли?— тихо спросил Алек.

— Да, поистине,— ответил Лос.

Человек молча улыбнулся.

10

Они стояли на берегу озера Ин, неподалеку от серебристого корпуса ракеты. Поляна перед ракетой вся была синяя от бабочек. Снова звучала музыка, озеро волновалось как живое, ликующе шумели леса планеты Вар. Лос слушал перевод Дирака, он выглядел сосредоточенным и внимательным, но по выражению лица нельзя было понять, о чем он думает. Бабочки, как всегда, были необычайно возбуждены, волновались, как озеро, и ликовали, как леса. Только железное лицо Дирака было безучастным — он смотрел на ракету.

Наконец музыка кончилась, бабочки затрепетали нежными крыльями, и все вокруг снова заполнилось звуками, тихой мольбой. Но магнитофон молчал. Алек отдал его Дираку и спросил:

— Понравилось ли вам, Лос?

— Мне кажется, что вы меня понимаете,— задумчиво сказал президент.

— Правда,— улыбнулся человек.— Я понял, что иногда вы в самом деле печальны, Лос... Но никогда не чувствуете себя несчастливым.

Ничто не дрогнуло во взгляде Лоса.

— Но вот вы несчастливы, Алек! — ответил он.— Хотя у вас есть и сердце, и ум. Чего же вам не хватает?

— Я потерял близких, Лос.

— Но разве вы не вернетесь к ним?

— Не знаю. Мне кажется, это будут уже чужие люди.

Лос помолчал.

— Вы как Син,— сказал он.— Как Син Темный. Я принес вам его книгу.

Лос остался на берегу. Ракета медленно заскользила по воде, потом все быстрей и быстрей, мягкие волны плескались у его ног. Наступил момент, когда она взлетела и серебряной стрелой вонзилась в синюю плоть неба. Мгновение — и перед ними снова распростерлась величественная и страшная пустыня звезд и мрака.

Однажды осенним днем на шоссе



Белый стул был без спинки, и я почувствовал, что дрожу от напряжения. Я пробыл здесь уже почти час, и за все это время он ни разу не пошевелился на своем тесном ложе. Может быть, поэтому простыня была совершенно несмятой, как если бы под ней лежал не человек, а покойник.

— Нет смысла,— сказал он утомленно.— Ни малейшего смысла во всей этой истории...

Я хотел возразить ему, но почувствовал, что мне просто не справиться с собой. Он немного помолчал, а затем снова заговорил, без всякой связи с предыдущим:

— Все, что мы называли субъективной жизнью, все это, в сущности, нечто нереальное... Как, например, нереальны облака, отражающиеся на глади озера. Когда ветер поднимет зыбь и отражение исчезнет, это ведь не значит, что исчезли и сами облака... Все, что в тот миг произошло на поверхности озера, смерть без смысла и значения...

— И все-таки надо жить,— возразил я машинально.

— Зачем?

— Потому что это естественно...

— Очевидно, ты прав,— сказал он неуверенно.— Естественно, но безрадостно. Появляешься из ничего,

существуешь и снова превращаешься в ничто. Другое дело, конечно, если достигнешь какой-то цели, в которой заключается весь смысл твоей жизни...

Я молчал. В комнате, большой, светлой, незаметно стемнело, откуда-то донесся далекий гул. Только его лицо оставалось все таким же белым, с чистыми, гладко выбритыми щеками и вздрагивающими рыжеватыми ресницами. Он перевел взгляд на окно и тихо сказал:

— Будет гроза, тебе надо ехать...

— Ничего,— ответил я.— У меня машина, ничего...

— Нет, ты иди... На шоссе будет скользко, это опасно...

Действительно, оставаться здесь дальше не было смысла. Я чувствовал, как начинает рушиться даже то немногое, что мне с таким трудом удалось укрепить в нем. Я встал и бодро протянул ему руку, но он вяло улыбнулся и не подал своей.

— Иди, иди!

Доктора Веселинова я еще застал в кабинете; он сидел, склонившись над рентгеновскими снимками. Один из снимков, который он держал в руках, неизвестно почему напомнил мне далекую, рассеянную в черном мраке галактику.

— Ну, как, по-вашему, ему лучше?— спросил он, не поворачивая головы.

— Мне кажется, лучше,— ответил я.

— Необходимо все-таки ему внушить... Без операции я не гарантирую, что он вообще выживет.

— Да, понятно,— сказал я.

Доктор наконец оторвался от снимков и поднял на меня странные глаза оливкового цвета.

— Теперь остается рассчитывать только на вас, на ваше влияние. Его душевные силы на исходе...

У меня заболела голова — от волнения и больничных запахов. Когда я вышел на улицу, над горами действительно висели черные грозовые тучи, но в ту минуту я не обратил на них внимания. Нервные маленькие смерчи крутились по асфальту двора и разбивались в прах о мою машину. Едва я тронулся, как по стеклу застучали первые капли, крупные и стремительные, словно пули. Лишь тут мелькнула у меня мысль, что шины уже очень изношены. Но я особенно не встревожился — после такого тяжкого

дня я чувствовал себя совершенно опустошенным. Дал задний ход, выбрался на дорогу и потащился неспешно в гору, не прибавляя скорости.

Буря застала меня уже на первых километрах. Это была, очевидно, одна из запоздавших сентябрьских бурь, но разразилась она с достойным грохотом и треском. Смотровое стекло заливали такие потоки воды, что пришлось остановиться. Я осторожно отвел машину на обочину и выключил мотор. Дождь лил с прежней силой, громовые разряды следовали непрерывно, один за другим. В Искырском ущелье я попал однажды в такую же грозу, и мне даже понравилось. Все же на этот раз я хорошо сделал, что остановился: по асфальту, словно река, неслась черная мятежная вода, в которой время от времени отражались мертвенные отблески молний. Рядом, почти сразу же за асфальтом, ничем от него не отделенная, тянулась дышащая испарениями пропасть. Со своего места я не видел, насколько она глубока, но можно было не сомневаться, что моя машина, окажись она на дне, выглядела бы детской игрушкой.

Я приоткрыл боковое стекло и пересел подальше от руля, чтобы брызги не летели в лицо. Потом закурил сигарету и откинулся на сиденье. Чувствовал я себя скверно, мысль о смерти не оставляла меня. Я готов был примириться с ней, вот что самое страшное. Хотя трудно было понять, что значит примириться с мыслью о смерти — ведь никто живой не может ощутить саму смерть!

От моего костюма все еще исходил больничный запах, действуя мне на нервы. А что произойдет, если я вдруг двинусь прямо, к самой пропасти? Каждый назвал бы это безумством. Но в таком случае разве не безумство все, что мы совершаем в своей жизни? Вот о чем, быть может, размышляет в душе мой друг. По спине у меня пробежала легкая дрожь, и я торопливо поднял стекло.

Гроза как будто стала утихать. Дождь, мутный, серый, еще шел, но уже ослаб, его сносило ветром. Я снова включил мотор. Видимо, где-то далеко на западе в плотном слое облаков приоткрылось оконце, потому что на асфальте появились розоватые блики. Я снова двинулся по горной дороге, а затем постепенно стал прибавлять скорость. Я совсем позабыл про свои изношенные шины, колеса с приятным шелестом несли машину по влажному

асфальту. Розовых отблесков становилось все больше, даже маленькие березовые рощицы, которые устроились на склонах гор, казались красными.

Я проехал, наверно, километра два, когда увидел на дороге человека. Заметил я его еще издали, он появился откуда-то слева; брел, слегка горбясь, один в этом пустынном месте, и от всей его фигуры веяло унынием.

Пока я смотрел на него со спины, он казался мне человеком пожилым, даже старым. Сухощавый, плечи опущены, в морщинистой шее чувствовалось напряжение, как у вола, который терпеливо тянет куда-то свою повозку. Подъехав ближе, я увидел, что на нем изношенные штаны и грубая брезентовая куртка. Замызганный полупустой рюкзак болтался у него за плечами, словно незрелая, сбитая ветром груша. Я уже совсем проехал мимо, когда вдруг неожиданно для себя остановился. Раньше я часто брал в машину случайных попутчиков, но давно уже не делал этого — то ли стал равнодушнее, то ли просто обленился. Но тут все же затормозил. Колеса пробуксовали, однако снова я не придал этому никакого значения. Открыв дверцу, я посмотрел назад на старика. В сущности, стариком его назвать было нельзя — ему, наверно, не было и шестидесяти, хотя лицо действительно изборождено морщинами, с грубой, обветренной кожей, какая бывает у заядлых грибников, шатающихся по здешним лесам.

Человек мимолетно взглянул на меня, но продолжал свой путь, очевидно, не предполагая, что я остановился ради него. У меня мелькнула мысль, что он совсем не промок, видно, успел где-то укрыться от дождя.

— Садитесь,— сказал я.— Если, конечно, нам по пути...

Он с сожалением взглянул на свои грязные ботинки.

— Я вам тут наслежу...

— Ничего, садитесь...

Человек, явно колеблясь, подошел к машине. Я открыл заднюю дверцу, он сел, и опять я про себя отметил, что его просторная куртка почти сухая.

— Спасибо,— сказал он негромко.

Однако рюкзака он не снял, может быть, опасался, что, когда выйдет из машины, забудет свои грибы. А может, вообще не привык ездить в машине...

— Куда держите путь? — спросил я от нечего делать.

Человек ответил не сразу:

— Да так, иду просто... Куда ветер дует...

Слова были простые, обычные, но голос его удивил меня. Такой хорошо поставленный, звучный голос мог принадлежать, скажем, бывшему учителю гимназии.

— Вот и хорошо,— сказал я.— Я еду до Владо Тричкова...

— Да, я знаю,— проговорил он.— У вас там дача.

— Извините, может быть, мы с вами знакомы? У меня, к сожалению, неважная память на лица.

— Нет, нет, вы меня не встречали,— ответил он.— А я однажды видел вас, вы стреляли из духового ружья...

Я вспомнил о том случае с досадой и странным ощущением вины. Действительно, года два назад я купил такое ружье для сына, но решил попробовать игрушку, и кончилось тем, что я перебил воробьев во всей округе.

— Да, правда,— пробормотал я недовольно.— Словно бес в меня вселился...

— Одна из страстей, которая исчезнет у людей в последнюю очередь,— обронил он негромко.

— Какая страсть?

— Да вот эта — убивать.

Голос его прозвучал мягко, в нем не слышалось никакого упрека.

— Ну, не все можно называть убийством,— возразил я обиженно.— Ведь это же охота.

— Ну да, охота,— согласился он.— Но в конечном счете гибнет живое существо...

Я обернулся и взглянул на него. Он показался мне усталым и грустным; сидел, рассеянно устремив взгляд куда-то сквозь стекло.

— Вы случайно не вегетарианец? — задал я дурацкий вопрос.

— Нет,— ответил он.— Не вижу в этом никакого смысла. Несколько лет назад, например, когда конь становился старым и не мог работать, его сдавали на бойню. И все же в стране было много лошадей. Теперь их сменили трактора... Что выиграли лошади? Разумеется, ничего. Может быть, лет через двадцать кони останутся только в зоопарках...

— К сожалению, это так,— подтвердил я.

— Действительно, к сожалению... Блага, которые дает нам природа, оценить по достоинству бесконечно трудно.

Было очень неожиданным и удивительным услышать подобные мысли от такого простоватого на вид человека. И мне показалось странным, что я до сих пор ничего о нем не знал и не слышал. Если он здешний, то не мог же он оставаться никем не замеченный. Во всяком случае, в нем было что-то загадочное.

— Вы живете где-то поблизости?

— Нет, не совсем,— ответил он уклончиво.

— Мне подумалось, что вы шли от какого-то дома...

— Почему?

— Ваша одежда была почти сухой, когда я остановил машину.

— Ах да, я и забыл, что вы интересуетесь криминалистикой,— ответил он шутливо.

Это было уже чересчур! Я снова обернулся к нему, и наши взгляды скрестились. Ни у кого не встречал я столь проницательного и твердого взгляда.

И вдруг что-то мелькнуло в этих глазах.

— Осторожнее! — воскликнул он.

Но в голосе его не слышалось испуга, и я не затормозил. Только в следующее мгновение стало ясно, что машину заносит. Я быстро повернулся, взглянул, что там впереди, но машина уже начала скользить вниз по длинному и крутому склону, который терялся где-то за поворотом. Теперь машина летела вниз, уже совершенно неуправляемая. Я даже не успел ничего предпринять. И ранее случалось мне впадать в полное оцепенение, как теперь; я просто бездумно держал руль и не ощущал ничего — ни ужаса, ни отчаяния. Осознавал только, что машина сорвалась и летит в пропасть.

Именно летит — вот, пожалуй, самое точное слово. Я помню, что не успел даже зажмуриться в предчувствии страшного удара. И вдруг с изумлением заметил, что машина, вместо того чтобы рухнуть вниз, плавно, как птица, проносится над бездной. Я только придерживал руль, машина развернулась сама, и колеса легко, почти без толчка, коснулись асфальта.

С минуту я сидел словно в трансе. Первой моей мыслью было, что все происходит во сне. Но нет, на сон не похоже. Я хорошо сознаю все, четко вижу мокрые листья

и грязь на асфальте, ручеек, стекающий по изборожденному дождевыми потоками обрыву. Вижу птиц, усевшихся на телефонных проводах, совершенно ясно слышу пыхтенье паровоза, ползущего где-то в горах. Но яснее всего вижу бездну справа от себя, с ее резкой глубиной, мутную, взбаламученную бурей реку. Не сон, но, может быть, галлюцинация? Правда, галлюцинациям я не подвержен, тем более будучи в трезвом уме и здравой памяти.

Я совсем позабыл о человеке, сидевшем сзади. Неожиданно раздался его голос, по-прежнему ровный и негромкий:

— Не стоит уж так изумляться. Все, что произошло,— факт реальный и вполне естественный.

Я вздрогнул и обернулся. Он спокойно сидел на своем месте, словно бы ничего и не случилось.

— То есть как реальный?

— Абсолютно реальный! — ответил он серьезно.— Вы человек культурный, вы же знаете, как называется это явление.

— В том-то и дело, что такого явления не существует,— ответил я, все еще не вполне придя в себя.— Во всяком случае, ни один человек на свете этого не видел...

— Не стоит утверждать так безапелляционно... Разве вы ничего не слышали о левитации?

— Слышал, разумеется; но ведь это же какой-то факирский фокус... И кроме того, подобный фокус вряд ли можно проделать с легковой машиной.

Незнакомец улыбнулся.

— Да, с машиной несколько труднее... Но принцип тот же.

— Не хотите ли вы сказать, что знаете и умеете применять законы антигравитации?

— Да, что-то в этом роде...

— Но для этого нужен какой-то мощный источник энергии? — усомнился я.

— Понятие об энергии отнюдь не исчерпывается тем, что знают о ней люди...

Знают люди? Что он хочет этим сказать? Разве он не человек? Но какое бы значение ни крылось в словах, факт оставался фактом. Перед моими глазами все еще стоял грязный след от колес, оборвавшийся почти у самого края

пропасти. И вместо того, чтобы лежать где-то там внизу со своей вдребезги разбитой машиной, я мирно сидел за рулем в нескольких метрах от возможной катастрофы. Я человек без предрассудков, я готов признать, что существует даже дьявол, но только в том случае, если увижу его собственными глазами. А человек на заднем сиденье мог быть похожим на кого угодно, только не на дьявола.

— Вы сделали это ради меня? — продолжал я задавать вопросы.

— Не совсем так... Ведь вы по моей вине чуть не попали в беду. Если бы я не сел в машину, этого бы не случилось.— Он откинулся назад и прибавил: — Ну поехали.

Я молча включил мотор и только теперь припомнил, что не выключал его. Я вел машину на небольшой скорости, руки у меня все еще слегка дрожали. Когда мы проехали сотню-другую метров, я снова подал голос:

— В сущности, каждый земной человек, кто бы он ни был, тайно верит в чудеса. И я только сейчас ясно осознал, почему. Потому что он никак не может примириться с мыслью о смерти.

— Вот уж что нельзя назвать чудом,— возразил он,— а также каким-то особенным благом. Бессмертие сознания не является проблемой в существующей и возможной жизни. Проблема совсем в другом...

— В чем именно?

— Много хотите знать,— шутливо сказал он.— Вообще проблема заключается в самом существовании...

— А вы земной человек? — спросил я внезапно.

Он промолчал.

— Интересно бы услышать ваше мнение...

— Мне это представляется совершенно невероятным,— ответил я.— То, что вы уже умеете, люди, наверно, смогут делать только спустя сотни лет...

— Оптимизм хорошая вещь,— сказал он.— И все же я не верю, что это будет так скоро.

— Отсюда следует, что вы посланец некой внеземной цивилизации?

— Вы мыслите логично! — ответил он.

— А разве это неверно?

— Доверяйте своей логике...

— А почему вы не отвечаете мне прямо?

— Очень просто,— сказал он.— Я обязан хотя бы формально придерживаться инструкций, которые мне даны.

— Ясно,— кивнул я.

Некоторое время мы ехали молча, но мысль моя продолжала напряженно работать. Любопытно все же, как легко, как быстро свыкается человек с самыми необычайными явлениями, стоит только ему однажды поверить в них. Я, кажется, действительно поверил, хотя разум мой все еще сопротивлялся.

Дождь перестал, и впервые с тех пор, как началась гроза, мимо проехали два грузовика. Это словно бы придало мне храбрости, и я спросил осторожно:

— Куда же вы направляетесь?

— Я уже сказал — просто так, путешествую...

— Тогда, может быть, заедете ко мне?

— А почему нет?— ответил он.— Такому человеку, как я, некуда спешить...

Мы были уже недалеко от Владо Тричкова. Навстречу попадались люди, по обочине босой мальчишка тянул на короткой веревке большую белую козу. Как всегда, перед кафе стояло несколько грузчиков, из открытых окон слышался обычный гомон. Я свернул с шоссе на узкую ухабистую дорогу, и она привела нас к даче.

— Приехали!— проговорил я, вздохнув с облегчением.

Мы вылезли из машины и пошли по дорожке. У ворот я нарочно пропустил его первым. Мы шли вдвоем под нависшими ветвями деревьев, задевая влажную листву. Крупные дождевые черви, розовые, отмытые дождем, ползали повсюду, и я заметил, как он осторожно переступал через них. Господи, совсем обыкновенный человек. Все в нем было очень земным, очень будничным — стоптанные ботинки, брюки, уже изрядно поношенные, даже рюкзак, в котором он, наверно, прячет свои удивительные сокровища. Да мне бы и во сне никогда не приснилось, что я встречу такого представителя звездных миров!

В холле он снял рюкзак, я предложил ему мягкое кресло, а сам расположился напротив. В ту минуту я не чувствовал ни смущения, ни беспокойства, ни даже особой почтительности — словно бы ко мне в гости зашел один из старых друзей. Теперь я мог смотреть ему прямо в лицо, но это ничего не прибавило — и лицо было самым

обыкновенным. Он выглядел человеком из плоти и крови — от седых волос в бороде до рыжеватых выгоревших ресниц.

Неожиданно меня охватило неприятное чувство, что я стал жертвой какой-то мистификации.

— Что-нибудь выпьете? — спросил я.

— Стакан томатного сока, если можно, — ответил он спокойно.

Томатный сок и правда был в холодильнике.

— Добавить немного водки?

— Нет, только сок...

— Вы знаете, что еще есть в холодильнике?

— Да, набит основательно, — шутливо отозвался он. — И кроме всего прочего, там блюдо мелкой жареной рыбы.

Это было верно. Несколько дней назад я наловил рыбы в верховьях Искыра. Я сам ее жарил, но поесть еще не успел.

— Кстати, — сказал я обрадованно, — хотите достану?

— Нет, нет, спасибо, я не голоден...

— В конце концов ведь вы, в точности как я, из плоти и крови... И, конечно, можете испытывать голод...

— Не совсем верно, — возразил он. — Тот, кого вы видите перед собой, скорее великолепная имитация...

— Как это понять?

— Вот так!

Он сосредоточился на миг, потом вдруг взмахнул рукой и ребром ладони ударил по круглому столику, разделявшему нас. Но вместо того чтобы стукнуться о стол, рука прошла сквозь твердый материал, словно была бесплотной. Я был поражен. Неизвестно почему, это произвело на меня даже более сильное впечатление, чем фантастический полет моей машины над бездной.

— Теперь вы видите, сколь странными свойствами может обладать материя, — по-прежнему шутливо заметил он. — Не правда ли, с ней можно сделать все, что угодно.

— Я где-то читал, — пробормотал я в изумлении, — что просто... это абсолютно невозможно...

— И я тоже об этом читал, — усмехнулся он. — Для вас действительно невозможно. Так же как и наши возможности не безграничны. Но во вселенной возможно

все. Невозможно только, разумеется, создавать субстанцию. Она существует, и этим все исчерпывается.

Я молчал — не мог собраться с мыслями.

— Ну а как насчет вашего томатного сока? — спросил он.

Я встал и так же молча пошел на кухню, открыл холодильник. Прежде всего мне бросилось в глаза блюдо с рыбой. Я взял две жестяные банки томатного сока, два чистых стакана и вернулся в холл. Незнакомец сидел за столом все в той же позе и задумчиво смотрел в широкое окно. Пока я открывал банки с соком, он не произнес ни слова, и у меня было такое чувство, будто его вообще нет в этой комнате. Наконец я разлил сок и взял свой стакан.

— Давайте чокнемся! Хотя бы и томатным соком...

— Давайте чокнемся, — согласился он.

Стекло звякнуло, он поднес свой стакан к пересохшим губам. И как мне показалось, выпил с удовольствием.

— Позвольте задать вам еще один не слишком тактичный вопрос, — сказал я. — Насколько я понимаю, вы здесь, на Земле, не для того, чтобы своими знаниями помочь развитию нашей цивилизации, Тогда ради чего? Контролируете?

— Нет, конечно. Контролировать вас или помогать вам — значит вмешиваться в вашу жизнь. А мы никогда этого не будем делать. Я здесь в качестве обыкновенного наблюдателя от нашей цивилизации и беспристрастного информатора...

Не знаю почему, но это сообщение меня не удивило.

— Так я и думал, — пробормотал я.

Он с любопытством взглянул на меня:

— А именно?

— Логика очень простая, — ответил я. — Бесконечность вселенной предполагает неисчислимое множество форм материи. И разумеется, нельзя утверждать, что только здесь, на нашей маленькой планете, существует та единственная форма, которую именуют человеческим сознанием. По-моему, это абсурдно.

Он чуть заметно улыбнулся.

— Разве не так? — удивился я.

— Продолжайте, продолжайте...

— Итак, наша цивилизация существует всего несколько тысяч лет, и все же это единая развитая цивилизация.

Скоро нога человека вступит и на другие планеты. А если бы она существовала несколько миллионов лет? Логика подсказывает вероятность существования во вселенной еще более развитой, могучей цивилизации; очевидно, для нее не представляло бы особой проблемы узнать о нас и войти с нами в контакт. Я не раз сам себе задавал вопрос, почему этого не происходит, почему так изолирована и одинока наша маленькая планета.

— Но я мог бы вам возразить, что время и пространство реально существуют,— ответил он спокойно.— И что масштабы, по которым живет ваша цивилизация, несоизмеримы с масштабами времени и пространства в нашей Галактике.

— Нет, такое утверждение представляется мне абсурдным,— сказал я.— Мне трудно поверить, что даже скорость света — предельная скорость, с которой мы можем передвигаться в пространстве. Все эти понятия крайне относительны. Абсолютна сама субстанция. И глубокое проникновение в ее сущность, наверно, откроет много возможностей для непосредственных контактов и обмена информацией. Тогда почему их нет? Очевидно, потому, что это не нужно и лишено смысла.

Я замолчал и посмотрел на него выжидающе.

Он тоже молчал и медленно, словно машинально покачивал головой.

— Следует признать, что ваши рассуждения отнюдь не лишены логики,— ответил он наконец.— И несмотря на это, они весьма произвольны. Приведу один простой пример. Если, как вы говорите, возможны любые комбинации материи, то разве нельзя предположить, что существует и такая комбинация — одна Галактика с одной человеческой цивилизацией?

— Почему же нет? — спросил я легкомысленно.

— Но тогда рушится ваша теория о непременных контактах.

Да, конечно, он был прав.

— И кроме того,— продолжал незнакомец,— не стоит приписывать всякому сознанию те качества, которые свойственны сознанию земного человека. Ведь возможно и такое сознание, которое отличается от вашего, и вы просто не заметите его, не обратите внимания. Или оно заметит вас, но окажется, что вы находитесь вне сферы

его интересов. Разве вы замечаете муравьев, ползающих по вашему саду, хотя знаете, что это живые существа? И вы не стремитесь ведь чем-то помочь им?

— Но они же не разумные существа!

— А кто вам сказал? Может быть, это не столько абсолютно точный факт, сколько ваше о них представление? И, может быть, все совершенно не совпадает с вашей точкой зрения на то, что вы, люди, называете развитием? Кроме того, вы говорите о сознании вообще, в космическом масштабе, и не умеете отметить хотя бы одно постоянное и характерное его качество. Можно допустить, например, что самым существенным качеством сознания является недолговечность. Или самоуничтожение на определенном этапе развития. Тогда отпадает и ваш основной тезис о бескрайнем его совершенствовании на протяжении огромного периода времени.

— Да, вы правы,— ответил я смущенно.— Хотя сам факт вашего присутствия не говорит в пользу таких доводов.

— Я говорил сейчас не о фактах, а о вашей логике.

— Тогда я предпочел бы, чтобы мы поговорили о конкретных фактах.

Он снова покачал головой.

— К сожалению, конкретные факты мы с вами не будем обсуждать.

— Но почему?— спросил я с досадой.

— Я мог бы, конечно, вам объяснить... Но нужно, чтобы вы сами добыли свои знания. И своими собственными усилиями изменяли жизнь... Как вы не можете усвоить, что именно в этом смысл существования земного человека?

Голос у него был тихий, но глубокий, с каким-то странным тембром, и впервые мне пришла в голову мысль, что это не совсем человеческий голос.

— Вероятно, вы правы,— ответил я.— То, что вы сказали, я понимаю, но не могу вникнуть в сущность вашей нравственности. Ведь вот вы живете среди нас, видите страдания, ложь, насилие, видите, как, беспомощные, отчаявшиеся, бьемся мы иногда в заколдованном круге невежества. И в то же время хорошо знаете, как помочь укрепиться всему доброму и справедливому. Но не вме-

шиваетесь. Не искажает ли это смысл вашего существования?

Он взглянул на меня как-то особенно.

— Тогда вообразите себе, что в нашей нравственности намного больше разума, чем чувства.

— Трудно мне это понять,— сказал я.— Ваша цивилизация более совершенна, чем наша; значит, ваша нравственность должна быть выше. И, вероятно, у вас вызывают ужас некоторые явления, с которыми мы свыклись. Войны, например. Представьте себе, что завтра перед нашим человечеством встанет угроза ядерного самоуничтожения. Неужели вы даже этому не помешаете?

— Нет, конечно,— твердо сказал он.— Вы обязаны сами найти выход из кризиса. Если мы вам помешаем, вы не приобретете иммунитета и впоследствии погибнете от еще более страшной катастрофы.

— Да, вывод логичный! И тем не менее я не могу его принять. Почему вы не можете избавить нас от мук, в которых мы сами не повинны? Спасите хотя бы от рака... Или от туберкулеза.

— Ведь я уже объяснил вам,— ответил он, слегка нахмурясь.— Те, кто умнее меня, решили, как следует поступать, и я не имею права ничего изменить.

Внезапно меня осенило:

— Тогда помогите хотя бы моему другу. Согласитесь, что один-единственный случай вмешательства не изменит исторического пути развития человеческого общества.

Он молча откинулся назад. И мне показалось, что в тот момент он заколебался.

— Нет, я не имею права! — сказал он, опять нахмурившись.

— А почему же вы помогли мне? Почему избавили меня от смерти?

— Тогда я подумал, что это несчастье случилось по моей вине. А я не имею права быть виновным.

Меня вдруг охватило чувство безнадежности, и я замолчал. Молчали мы оба. На улице уже стемнело, но в комнате было все так же светло, как днем. Странно, в ту минуту на меня это не произвело особенного впечатления.

— И все-таки вы будете соучастником в наших делах,— сказал я.— Я опишу все, что сегодня случилось.

— Ну, тут нет проблем,— усмехнулся он.— Я в одно мгновение мог бы стереть в вашем мозгу все, что вы собираетесь запомнить.

— И вы действительно это сделаете?

— Да нет, конечно... Пишите что хотите. Все равно никто вам не поверит...

— Не поверят отдельному случаю, возможно, но поверят истинам, которые я выскажу.

— Они давно известны людям,— ответил он.— Я не открыл вам никакой Америки.

Это были его последние слова, которые я помню. Проснулся я на рассвете одетый, в том же кресле, где сидел накануне вечером. Вернее, там, где меня усыпили. Незнакомец прикрыл меня легким одеялом и, разумеется, исчез.

Нет, я помнил все, он не посягнул на мою память. Я встал и открыл окно. Солнце еще не показалось из-за горной вершины, но весь двор передо мной был залит нежным сиянием. В глубине двора, словно маленькие планеты, белели хризантемы. Было очень тихо, ни один лист не шелохнулся на деревьях. Бисеринки росы едва заметно переливались радужными цветами. Не знаю, в каком мире живет он, но наш мир действительно прекрасен. И может быть, в его одиноких скитаниях это было единственной ему наградой?

Несколько дней я жил словно во сне. Естественно, я работал, но все, что ложилось на бумагу, казалось мне вялым и пресным, как трава. Потом я бросил работу и принялся читать. Но и чтение не помогало. Наконец в воскресенье я завел машину и осторожно спустился вниз по узкой проселочной дороге. Выбравшись на шоссе, я свернул налево по направлению к санаторию, хотя как будто и не думал туда ехать. Чем быстрее сокращалось расстояние, тем сильнее росла в душе тревога, и я чувствовал, как у меня начинают дрожать колени. Но несмотря на это, я все прибавлял скорость; машина неслась по шоссе на своих лысых, стершихся шинах. Вскоре я увидел место, где едва не произошла катастрофа, но не остановился. Я просто сгорал от какого-то внутреннего нетерпения.

Даже не помню, как добрался я наконец до санатория. Постучал в белую дверь кабинета доктора Веселинова

и вошел, не ожидая приглашения. Врач сидел на своем обычном месте, разглядывая рентгеновские снимки. Он посмотрел на меня, на лице его было написано изумление.

— Это просто невероятно! — сказал он вдруг осипшим голосом.

Я почувствовал, как огромное облегчение, словно чужая горячая кровь, растеклось по моим жилам.

— Невероятно? А что именно?

— Ваш друг выздоровел.

— Как это выздоровел? — Я лицемерно изобразил удивление.

— А вот так. По-настоящему, абсолютно выздоровел. Вот его снимки — словно бы он никогда и не болел. Его легкие полностью обновились.

Я не стал смотреть снимки, мне незачем было их смотреть.

— Не может быть! — сказал я. — Наверно, просто перепутали снимки.

— Как то есть «не может быть»? — ответил он раздраженно. — Это факт! Перед вами уже вторые снимки, все было сделано под моим личным контролем.

Я счел благоразумным промолчать. Во взгляде доктора по-прежнему сквозило недоумение, он глуповато хлопал выгоревшими ресницами.

— Я сделаю завтра научное сообщение! — воскликнул он. — Мои коллеги будут потрясены!

— Не стоит делать никакого сообщения, — усмехнулся я.

— Почему? — удивился он.

— Потому что это невозможно обосновать научно. Вы просто сообщите об одном факте, которому не сможете дать научного объяснения.

Он нахмурился, но промолчал.

— И во-вторых, что очень важно, поймите, вам никто не поверит.

— Ну почему не поверят? — вспылил он. — Ведь есть же снимки!

— Снимки, снимки... Чепуха! Вы ведь видели по крайней мере двадцать снимков «летающих блюдец», но не поверили?

— Да, но... существует этот выздоровевший человек...

— Смею утверждать, что и это вам не поможет...

— Вы что, не верите? — спросил он резко.

— Я-то, конечно, верю. Но другие не поверят. Вы научный работник, разве вы сами не понимаете? Это невозможно. Все ваши коллеги подумают, что вы или сумасшедший, или мошенник. Второе представится более вероятным, но и более печальным.

Теперь он перестал моргать, как будто протрезвел. Незаметно, молча наблюдал я, как мучительно он размышляет, его здоровый, свежий ум просто разрывался там, в черепной коробке!

— А знаете что, ведь вы совершенно правы,— облегченно вздохнув, наконец произнес он.— Конечно же, единственный факт еще не доказательство...

— А где он?

— Кто? — спросил он рассеянно.

— Мой друг.

— Встал, естественно. Понемногу гуляет в парке.

Всего несколько шагов отделяли меня от раскрытого окна. Я сразу же увидел его — он стоял возле декоративного куста и держал в руках что-то белое, похожее издали на птичье яйцо. Он рассматривал предмет сосредоточенно, время от времени проводя по нему ногтем.

— Что ты там делаешь? — окликнул я его.

Он вздрогнул и обернулся. Лицо его неузнаваемо изменилось, оно не было похоже на лицо того человека, которого я навещал несколько дней назад.

— Ничего,— ответил он смущенно.

— А что ты держишь в руке?

— Улитку...

— Сейчас же положи ее обратно,— сказал я раздраженно.— Слышишь?

— Почему?

— Потому что я тебе это говорю!.. Идем, быстро!

Он не стал спорить, повернулся и начал бережно устраивать улитку на веточке. Но когда он отнял руку, она сорвалась и упала. Он нагнулся и поднял ее с земли.

НАДЕЖДЫ И ОПАСЕНИЯ ПАВЛА ВЕЖИНОВА

Вспоминаем неожиданно,
Непредвиденно, негаданно
То, что было и не видано,
Да и впредь не предугадано.

Леонид Мартынов

История человечества обычно пишется как история обретений и достижений. Да и как иначе? Так подтверждается и укрепляется наша вера в прогресс, в совершенствование человека и человечества и соответственно увеличиваются желание и силы способствовать дальнейшему улучшению жизни на нашей планете. Плохо, если вера эта переходит в сознание превосходства не только над неандертальцами и кроманьонцами, но и над людьми более близких к нашему времени эпох, в снисходительное поглядывание на них на том основании, что они не ведали о биноме Ньютона и атомном ядре, не пользовались благодеяниями, предоставленными нам электрическим током и двигателем внутреннего сгорания, не знали новейших экономических и политических теорий, не видывали чудес авиации и кинематографа. В этой безоглядной самоуверенности есть что-то от невоспитанности чувств, от незнания, а подчас и от нежелания знать что-либо о конкретной жизни современников Гомера и Данте, резко отличающейся от нашей. И порой в своем современнике, вроде бы образованном и начитанном, прозреваешь дикаря, хвастливо трясущего удачно заостренным камнем. Вот тогда жалеешь, что не написана иная история чело-

вечества — история промахов и потерь, история того, как, цивилизуясь, человек не только приобретал, но и терял, все дальше уходил от природы и постепенно прощался с теми или иными качествами своего организма и духа, без которых не мог прожить тогда, когда не имел в своем распоряжении телефонов и электрокаминов, радиозондов и эхолотов.

Середина XX века, его сороковые — шестидесятые годы были ознаменованы небывалой дотоле верой в науку, особенно в ее естественные отрасли. Верилось, что с помощью математических методов, при посредстве моделирования может быть разгадана любая загадка животного, растительного и человеческого мира, может быть решен любой вопрос — как те, что именуются вечными, так и те, что возникли и возникают на наших глазах. Вспышка такой веры имела вполне реальные основания: гигантские, ошеломляющие успехи многих наук и отраслей техники. Непознанное, неведомое еще оставалось, но перестало пугать и волновать, потому что стало ясно: либо до него не дошли еще руки теоретиков и практиков программирования, либо пока что не удалось верно сформулировать задачу для постановки ее перед ЭВМ, либо задача оказалась сложной для существующих электронно-вычислительных устройств и нужно подождать, пока будут созданы еще более мощные и совершенные. Как-то сразу уверовали в это и молодые, и старые, и люди науки, особенно их молодое поколение, и самые обычные люди, узнающие о достижениях науки и техники из популярных журналов и телевизионных передач, и люди искусства.

Советский поэт Борис Слуцкий писал в 50-е годы:

Что-то физики в почете,
Что-то лирики в загоне...
Значит, что-то не раскрыли
мы, что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья —
наши сладенькие ямбы.
Это самоочевидно.
Спорить просто бесполезно.
Так что даже не обидно,
а скорее интересно
наблюдать, как, словно пена,
опадают наши рифмы
и величие степенно
отступает в логарифмы.

В романе Павла Вежинова «Ночью на белых конях» есть небольшая сцена, рисующая это бессомненное отношение к науке:

«— Не может быть, чтоб ты это помнил! — удивленно сказал ему отец.— Ты же был совсем маленький!

— Как видишь, помню.

— В таком возрасте,— пробормотал отец недоумевая.— Но это противоречит науке!»

Опыту ближних, а порой даже и собственному опыту не хотелось верить, если он противоречил выводам и решениям науки. Но роман написан в конце 70-х годов, и в нем сказались и другие веяния: «И тогда сын впервые усомнился в точности и всесилии науки. И это сомнение осталось у него на всю жизнь». Эффект последних двух фраз становится еще более значительным оттого, что сын впоследствии стал микробиологом с мировым именем, академиком.

Другой герой П. Вежинова (из повести «Измерения», входящей в эту книгу), ученый-биолог, в дни «подведения итогов» приходит к таким выводам: «Сам ученый, я в принципе терпеть не могу технократов за их близорукость и самонадеянность... Искусство живо, как природа, наука же — скальпель, который часто ее убивает...»

Здесь все не случайно — и то, что подобные чувства и мысли возникают у ученых, и то, что они высказаны в произведениях, написанных писателем немолодым, с долгой и непростой человеческой и творческой биографией. Трезвое осознание реальных возможностей науки, понимание того, что ей под силу, а перед чем она останавливается, пропуская вперед другие сферы человеческой культуры, и должно исходить от человека науки, кругозор которого достаточно широк, чтобы включать в себя не только проблемы науки, но и проблемы мира и человечества. Такими представлены у Вежинова и академик Урумов, и герой «Измерений». Они олицетворяют проявившуюся в последних произведениях болгарского писателя реакцию на избыточную веру во всестороннее могущество науки. По установившемуся стереотипу новое в искусстве, науке, общественной жизни всегда связано с молодежью — с поколениями, только вступающими в жизнь, свободными от вчерашних и позавчерашних, устаревших и устаревающих представлений о жизни, о способах ее видения, познания и созидания. Но стереотип есть стереотип, и, даже основанный на реальных и преобладающих фактах, он

не учитывает исключений, примеров обратного, достаточно богато представленных в истории человеческого духа, когда новые мысли и чувства, художественные гипотезы, научные представления и социальные теории возникали в творчестве не юнцов, а зрелых мужей.

На исходе века, в его последней трети или четверти, когда стали зарождаться поначалу робкие, а затем все углубляющиеся сомнения во всесилии научно-технического подхода к решению многочисленных и многообразных проблем, встающих перед людьми, когда стала обнаруживаться и разоблачаться опасная «близорукость и самонадеянность» технократии, все эти сомнения и опасения легче оказалось выразить не юнцу, выросшему и воспитанному в атмосфере упоенности невиданными возможностями науки и техники, а человеку, чьи знания о людях и об обществе были и шире, и глубже. Жизненный опыт Павла Вежинова включает в себя войну и революцию, загнивание и разрушение старой жизни и строительство новой, разочарования и надежды, он впитал великое множество долгих и кратких человеческих судеб, их диковинное разнообразие, их общность и различия, хранил великое множество коллизий, общественных и личных, шаблонных и уникальных. Он даст право произнести новое и важное слово о человеке, право либо выразить новую, либо напомнить незаслуженно забытую старую, но верную и нужную мысль.

Право в конце концов есть у каждого писателя. Каждый ли умеет им воспользоваться? Павлу Вежинову это удалось.

Четыре его повести — «Барьер», «Белый Ящер», «Измерения» и «Озерный мальчик»,— появившиеся одна за другой, составили настоящий том. Они объединены общим пафосом, общей мыслью писателя, озарившими нынешний период его творчества. Но, прежде чем рассматривать составляющие этого пафоса, обратимся к вопросу о форме вежиновских повестей.

Почему — фантасмагории? Разве нельзя было чувства и мысли, обуревавшие автора, выразить в сугубо реалистических сюжетах, к которым привычны и Вежинов, и его читатели? Более того, некоторые из этих мыслей и чувств уже и находили такое реалистическое выражение. Еще раз вспомним роман «Ночью на белых конях» (это произведение не случайно так часто при-

ходит на память: во многом оно знаменовало собой начало нового периода творчества, в нем наметилось многое, получившее дальнейшее развитие в представленном здесь цикле повестей), вспомним один из разговоров академика Урумова с его племянником, талантливым молодым ученым Сашо:

«— Совесть — это не только разум, это еще и отношение к миру, чувство.

– Похоже, у меня нет ни такого отношения, ни такого чувства... Я привык все оценивать. И потом, зачем мне совесть, если во мне самом нет зла, как, наверное, нет и добра. Но, по-моему, я неплохо их различаю, когда с ними сталкиваюсь».

Но ведь то же самое говорит о себе и «белый ящер» Несси Алексиев: «Пороки мне не свойственны. Как и добродетели, разумеется. Я просто разумный человек». И еще: «Совести у меня нет». Вежинову, однако, показалось мало реалистического изображения современного технократа Сашо, и он рассказал нам небывалую историю мутанта с гипертрофированным аппаратом разума и абсолютным отсутствием эмоциональных начал. Фантасмагория позволила писателю острее и оголеннее выразить, быстрее и нагляднее раскрыть читателю свои тревоги и свои заботы о роде человеческом, о его прошлом, настоящем и, самое главное, о будущем его на земле.

Сашо — это цветики; посмотрите, каковы могут быть ягодки, говорит Вежинов своей повестью «Белый Ящер». Каким будет человек, если он постепенно вытравит из себя, из своего душевного обихода чувства любви и ненависти, восторга и отвращения, вдохновения и тоски, радости и отчаяния, зависти и стыда, вытравит самое душу, когда он откажется от совести, от морали, от различения добра и зла и заменит все это компьютерно вычисляемыми соображениями целе- и нецелесообразности. Да и человек ли это будет? По-видимому, нет, ибо постепенно ему будет становиться чуждо все человеческое, он потеряет способность расти, взрослеть и мужать, развиваться, достигать вершин, да и не будет для него в мире ни вершин, ни низин.

Для понимания того, что являет собою такое существо, как Несси, очень важны несколько фраз в повести, описывающих, как он, пытаясь понять, чем же он отличается от внешне похожих, но внутренне отличных от него людей, присматривается к детям. «Может быть, и вправду в этом нежном возрасте образуется именно то, чего ему так не хватает... Он все чаще сидел

в маленьком квартальном скверике, внимательно наблюдая за детьми, гонявшими по аллеям, за детьми, которые кричали, толкались, рвали друг у друга игрушки, колотили друг друга, а затем дружно ревели — и побитые, и драчуны. Несси просто не мог понять, почему все это вызывает у взрослых такое умиление... Что стоящее может сложиться в стихии озорства и шалостей? И Несси потерял к детям всякий интерес». Пожалуй, здесь, как нигде, проявилась присущая Несси и невидимая ему самому «пустая самонадеянность еще более пустого ума». Ему оказываются непонятны не только высокая поэзия детства, но даже элементарная целесообразность его как школы жизни. Детство становится всего лишь необходимой стадией физиологического процесса роста, работа лишается творчества, любовь — своего духовного содержания. Смысл жизни сморщивается, съеживается, превращается в ствол без корней и листвы. И ум — казалось бы, «самое совершенное и самое ценное из всего, что есть у человека»,— лишаясь пищи, оказывается пуст. Ему не над чем биться и мучиться — кроме технологических задач и научных отвлеченностей. И еще — и это, может быть, страшнее всего: он совершенно одинок, точки соприкосновения с подобным ему разумом случайны и недолговечны — лишь от начала до конца решения той или иной задачки.

Защитники и апологеты воспитания человека в таком технократическом духе могут возразить писателю, что ведь это и хорошо: уменьшатся связи — но уменьшатся и конфликты, внешние и внутренние, человек сможет их разрешать, прибегая лишь к силе разума, наконец-то на земле воцарится спокойная, прямо-таки райская жизнь, когда все будут правы и не будет виноватых. Нет, отвечает писатель, исследующий проблему до конца, «...не могут же все быть правыми вот так, для себя, тогда у нас будет не общество, а сборище людей, где каждый с трудом выносит остальных». Нет, ибо человек, не прошедший через счастье и горе, через слезы и смех, через любовь и дружбу (а всего этого лишен Несси), страшен. Страшен и для других, которых «с трудом выносит» и которых способен, не очень-то задумываясь, уничтожить, как только они заденут его более обычного — как Несси уничтожает Кирилла, а потом еще нескольких, совсем незнакомых ему людей. Но страшен и для самого себя, ибо ломается и самоуничтожается, как только перед ним оказывается не отвлеченная, математически оформленная,

а реальная сложносоставная жизненная задача, требующая для своего решения сил ума и сердца, душевного закала, развитых и воспитанных чувств. «Впервые с тех пор, как он себя помнил, его разум отказывался принять решение. Это было настолько невероятно, что просто повергало его в какое-то внутреннее оцепенение». Разум забуксовал именно потому, что не было питающих его родников чувств; усох и иссяк не один разум — усох и иссяк тот несовершенный человек, каким был Несси. Он уходит из жизни — ему нечего делать в ней.

И с помощью образных средств, метафорически, и впрямую, почти публицистически, говорит Вежинов в своих произведениях о том, что человек ценен и важен именно в своей полноте и завершенности, что человек, сильный *только* разумом или *только* чувствами,— это человек несовершенный. «Воспитать гармонически развитую личность намного сложнее, чем изобрести какую-нибудь электронную машину» — так формулирует писатель одно из своих заветных убеждений.

Возвратимся к форме вежиновских повестей. Да, они фантасмагоричны, экспериментальны (в последние десятилетия такие книги часто встречаются и в европейской, и в нашей — например, эстонской — прозе), но и то и другое исчерпывается лишь фабулой и таким построением сюжета, при котором обычные наши современники поставлены в необычные ситуации. Да и те персонажи, что оказываются носителями каких-либо чудесных свойств, во всем остальном являют большое сходство с людьми, среди которых мы живем. Выше уже отмечалась одинаковость мыслей и речей «белого ящера» и современного молодого ученого Сашо: примеров такого подобия можно было бы привести куда больше.

В остальном же — в описаниях действительности и характеров, встреченных в ней,— Вежинов выступает таким же реалистом, каким мы знали его по прежним его произведениям, таким же зорким и наблюдательным писателем. Конечно, угол, аспект наблюдения действительности у писателя соответствующий, и видит и отображает он в своих повестях те ее черты, которые, что называется, льют воду на его мельницу. С одной из таких благоприобретенных в нашем веке черт характера современного человека читатель сталкивается на первых же страницах повести «Барьер»: «Сажусь в машину и тут же включаю мотор. Его тихий рокот несравненно приятнее журчания

воспетых поэтами горных потоков и мгновенно успокаивает меня... Я уже не один, со мной мотор». А вот другое признание героя повести — композитора Антония Манева: «...Я не люблю относиться к людям по-человечески — чтобы не выглядеть потом наивным. В этой черте человеческого характера, как бы привлекательна она ни была, мне виделось нечто обидное». Писатель точно подмечает и фиксирует подобные черточки характера и поведения, свидетельствующие о растущей оторванности человека от мира, о его отвычке от общения с другим человеком и о свычке с неодушевленной машиной, о постепенном утрачивании им умения пользоваться некоторыми своими чувствами, об опасности, что эти чувства могут атрофироваться и исчезнуть. В самом деле, если ради того, чтобы выглядеть суперменом, приучать себя не выказывать удивления ни перед чем, рано или поздно можно вообще лишиться возможности удивляться.

Отвергая холодный, отчужденный разум как единственное, что определяет человеческое поведение, Вежинов всем циклом своих повестей призывает сохранять, развивать и углублять человеческие чувства. Подобно призывам беречь окружающую среду, ярко и талантливо поддержанным литературой, и этот призыв необычайно актуален в современном мире, где существует опасность подмены многоцветной гаммы чувств десятком несложных расхожих ощущений. К чему это может привести, Вежинов показывает и в «Барьере», и в «Измерениях», и в «Озерном мальчике».

Блестящий профессионал-музыкант, Антоний Манев все реже испытывает потребность не только в духовном, но и в физическом общении с людьми. Ему достаточно самого себя, своей музыки, своего автомобиля. Он не нуждается ни в ком, как и в нем не нуждается никто. Он и не замечает, что душа его начинает ссыхаться, выветриваться, все скупее и однозначнее реагировать на жизнь, окружающую его,— а коль скоро он этого не замечает, то и оснований для тревоги нет. Легкое ощущение внутреннего неблагополучия, собственной душевной недостаточности появляется в нем после того, как рядом с ним оказывается Доротея. Девушка менее образованная и более ограниченная в том, что касается знаний и культуры, чем Манев, она обладает большой, даже чудодейственной способностью видеть, слышать и понимать другого человека, способностью, перешед-

шей в душевную потребность, в необходимость. То, что для Манева — алогизм, род болезни, для Доротеи естественно и просто: «Сама не всегда понимаю, как это у меня получается... Да и зачем понимать...» Не найдя ни в Маневе, ни в ком другом человека, которому оказалась бы нужна энергия ее личности, не найдя в этом мире душевного отклика, Доротея уходит из жизни. Лишь это открывает Маневу глаза на самого себя, на свою оскудевшую чувствами душу, на свою недостойную нормальность: «Подобно многим нормальным людям, я инстинктивно воспринимал как ненормальное все, на что сам не был способен. Или то, что другие делали не так, как я. Теперь я прекрасно понимаю, что это не что иное, как проявление невежества и посредственности». Понимает, что рядом с ним жил и существовал не абсурд, не нонсенс, а редкий, невозможно редкий человеческий цветок, который он загубил «своим ничтожеством или слабостью».

Как к чему-то недолжному, не имеющему прав на существование, относится безымянный герой повести «Измерения» к своему дару провидеть некоторые будущие события, перешедшему к нему с генами от бабушки Петры — необразованной крестьянки с душой, богатой чувствами, богатой пониманием другого человека. И тоже под влиянием драматических событий приходит к выводу и решению: «Отныне я никакой не профессор. Я снова становлюсь самым обычным учеником. Пока не научусь понимать это. Если вообще пойму когда-нибудь».

Валентин Радев, герой повести «Озерный мальчик», наделен недюжинным даром воображения. Но этот дар всем мешает — и отцу, великому мастеру по устройству своего и чужого жизненного благополучия, и матери, и учительнице Цицелковой, которая требует от детей лишь проявления умеренности и аккуратности. Все ждут от мальчика «нормализации», все нетерпимы к его человеческому таланту. Никто всерьез не хочет разглядеть этот талант и хоть как-то помочь ему — даже дядя мальчика, профессор Мирчо Евгениев, понимающий, что «память — основа сознания, а воображение — его вершина», понимающий, как велик и редок дар воображения. Мальчишеская душа разрывается между миром мечты, без которого «он не мог жить», и реальным миром, где никто не хочет понять Валентина, где мальчик оказывается лишним, раздражающим всех. Но даже трагический финал не всем открывает глаза на исти-

ну — так, учительнице Цицелковой никогда, видимо, не понять своей вины, не выйти за пределы своей ограниченности и нетерпимости, настолько она погрязла в «невежестве и посредственности», которые смог осознать и осудить в себе Антоний Манев. Кстати, отметим, что в «Озерном мальчике» почти нет элементов фантастики. Вежинов не лукавит, когда говорит: «В этой истории нет ничего необыкновенного, кроме самого мальчика. Но если бы не он, истина никогда бы не открылась нам».

Вежинов видит, какие сложные задачи он ставит. Современный мир, современного человека он пишет точно и жестко: «Слишком много лиц, событий, зрелищ тянут в разные стороны душу человека, ставшую разреженной, как атмосфера на Марсе, которая не может удержать в себе ничего живого. И чем дальше, тем становится все более разреженной. Не знаю, что должно случиться, чтобы люди вновь обратились к себе, осознали себя, поняли свои настоящие чувства. А то они окончательно превратятся в муравьев, которые при встрече узнают друг друга не иначе как на ощупь». В то же время в отличие от некоторых западных писателей, пишущих об опасности эмоционального обеднения человечества, Вежинов не пессимистичен, не нервозен. Он любит людей и верит в них. Эта любовь, эта вера сказываются в поэтичности его повестей, в их одухотворенности, в той надежде, которая светит в его книгах.

Вежинов уверен и уверяет нас, что человек прекрасен лишь тогда, когда он совершенен, когда разум и чувства в нем взаимодополняют, обогащают друг друга, в том, что эмоциональная недостаточность, слепота и глухота не только уродливы, но и смертельно опасны. Он уверен и уверяет нас в том, что человек и в себе и в другом должен стремиться не разрушать, а создавать человека, быть внимательным и терпимым к другому, самому стремиться и увлекать других к духовному обогащению и тем противостоять силам вне и внутри человека, толкающим к стандартизации души, к обезличке и одновременно к самодовольству и снобизму. Он уверен и уверяет нас, что в человеке, в его душе и разуме таятся невиданные и непознанные силы. «А вы считаете,— говорит в «Барьере» доктор Юрукова,— что человечество знает все о так называемой энергии?.. Мы все еще не знаем ни всех возможностей человеческого сознания, ни к чему

может привести развитие мыслящей материи». И эти силы, и эти богатства могут быть вскрыты только в том случае, если человек будет внимателен и бережен, понимающ и терпим к себе и к другим, будет ценить и беречь, культивировать и развивать как обычные человеческие чувства, так и редчайшие их проявления. Это необходимо, чтобы была живой и по-прежнему прекрасной наша Земля, чтобы был жив и становился прекраснее человек, и потому Вежинов не устает повторять: люди, будьте совершенны!

Юрий Болдырев

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Барьер. *Перевод М. Тарасовой* 5
Белый Ящер. *Перевод Л. Лихачевой* 91
Озерный мальчик. *Перевод М. Тарасовой* 196
Измерения. *Перевод Л. Лихачевой* 263

РАССКАЗЫ

Мой отец. *Перевод Н. Попова* 321
Суд. *Перевод Н. Попова* 350
Синие бабочки. *Перевод Р. Белло* 407
Однажды осенним днем на шоссе. *Перевод Р. Белло* 450

Ю. Болдырев. Надежды и опасения Павла Вежинова 467

Вежинов П.

В 26 Синие бабочки. Повести и рассказы: Пер. с болг. / Послесл. Ю. Болдырева: Ил. А. Яцкевича.— М.; Правда, 1990.— 480 с., ил.

В настоящей книге представлены фантастические и детективные произведения известного болгарского прозаика Павла Вежинова — «Барьер», «Измерения», «Озерный мальчик», «Однажды осенним днем на шоссе» и другие.

В $\frac{4703000000-1837}{080(02)-90}$ 1837—90 84. 4 Бл

Scan Kreider

Литературно-художественное издание

ВЕЖИНОВ Павел

СИНИЕ БАБОЧКИ

Повести и рассказы

Редактор
Е. А. Дмитриева

Оформление художника
Г. А. Раковского

Художественный редактор
Т. Н. Костерина

Технический редактор
В. С. Пашкова

ИБ 1837

**Сдано в набор 25.11.88. Подписано к печати 04.11.89.
Формат 84 x 108$^{1}/_{32}$. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,83. Уч.-изд. л. 26,84.
Тираж 300 000 экз. (3-й завод: 200 001 — 300 000 экз.).
Заказ № 1269. Цена 2 р. 90 к.
Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
Отпечатано в типографии издательства «Советская
Кубань», г. Краснодар, ул. им. Шаумяна, 106.**

2 р. 90 к.